

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ



2022
Том 21. № 3

ISSN 1728-1938

Эл. почта: puma7@yandex.ru

Веб-сайт: sociologica.hse.ru

Адрес редакции: ул. Старая Басманная, д. 21/4, к. А205, Москва 105066

Тел.: +7-(495)-772-95-90*12454

Международный редакционный совет

Николя Айо (Университета Фрибура, Швейцария)
Джеффри Александер (Йельский университет, США)
Ян Вальсинер (Университет Альборга, Дания)
Виктор Вахштайн* (РАНХиГС, Россия)
Гэри Дейвид (Университет Бенгли, США)
Владимир Камнев (СПбГУ, Россия)
Дмитрий Куракин (НИУ ВШЭ, Россия)
Александр Марей (НИУ ВШЭ, Россия)
Питер Мэннинг (Северо-восточный университет, США)
Альбер Ожбен (Высшая школа социальных наук, Франция)
Александр Павлов (Институт философии РАН, Россия)
Энн Роулз (Университет Бенгли, США)
Ирина Савельева (НИУ ВШЭ, Россия)
Ирина Троцук (РУДН, Россия)
Никита Харламов (Университет Альборга, Дания)
Руслан Хестанов (НИУ ВШЭ, Россия)

Учредители

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Александр Фридрихович Филиппов

Редакционная коллегия

Главный редактор
Александр Фридрихович Филиппов

Зам. главного редактора
Марина Геннадиевна Пугачева

Члены редколлегии
Светлана Петровна Баньковская
Андрей Михайлович Корбут
Наиль Галимханович Фархатдинов

Редактор веб-сайта
Наиль Галимханович Фархатдинов

Литературные редакторы
Максим Сергеевич Фетисов
Перри Франц

Корректор
Инна Евгеньевна Кроль

Верстальщик
Анастасия Валериановна Меерсон

* Физическое лицо, признанное иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

О журнале

«Социологическое обозрение» — академический рецензируемый журнал теоретических, эмпирических и исторических исследований в социальных науках. Журнал выходит четыре раза в год. В каждом выпуске публикуются оригинальные исследовательские статьи, обзоры и рефераты, переводы современных и классических работ в социологии, политической теории и социальной философии.

Цели

- Поддерживать дискуссии по фундаментальным проблемам социальных наук.
- Способствовать развитию и обогащению теоретического словаря и языка социальных наук через междисциплинарный диалог.
- Формировать корпус образовательных материалов для развития преподавания социальных наук.

Область исследований

Журнал «Социологическое обозрение» приглашает социальных исследователей присылать статьи, в которых рассматриваются фундаментальные проблемы социальных наук с различных концептуальных и методологических перспектив. Нас интересуют статьи, затрагивающие такие проблемы как социальное действие, социальный порядок, время и пространство, мобильности, власть, нарративы, события и т. д.

В частности, журнал «Социологическое обозрение» публикует статьи по следующим темам:

- Современные и классические социальные теории
- Теории социального порядка и социального действия
- Методология социального исследования
- История социологии
- Русская социальная мысль
- Социология пространства
- Социология мобильности
- Социальное взаимодействие
- Фрейм-анализ
- Этнометодология и разговорный анализ
- Культурсоциология
- Политическая социология, философия и теория
- Нарративная теория и анализ
- Гуманитарная география и урбанистика

Наша аудитория

Журнал ориентирован на академическую и неакадемическую аудитории, заинтересованные в обсуждении фундаментальных проблем современного общества и социальных наук. Кроме того, публикуемые материалы (в частности, обзоры, рефераты и переводы) будут интересны студентам, преподавателям курсов по социальным наукам и другим ученым, участвующим в образовательном процессе.

Подписка

Журнал является электронным и распространяется бесплатно. Все статьи публикуются в открытом доступе на сайте: <http://sociologica.hse.ru/>. Чтобы получать сообщения о свежих выпусках, подпишитесь на рассылку журнала по адресу: farkhatdinov@gmail.com.

RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW



2022
Volume 21. Issue 3

ISSN 1728-1938

Email: puma7@yandex.ru

Web-site: sociologica.hse.ru/en

Address: Staraya Basmannaya str., 21/4, Room A205, Moscow, Russian Federation 105066

Phone: +7-(495)-772-95-90*12454

International Advisory Board

Jeffrey C. Alexander (Yale University, USA)
Gary David (Bentley University, USA)
Nicolas Hayoz (University of Fribourg, Switzerland)
Vladimir Kamnev (Saint-Petersburg State University, Russia)
Nikita Kharlamov (Aalborg University, Denmark)
Ruslan Khestanov (HSE University, Russia)
Dmitry Kurakin (HSE University, Russia)
Alexander Marey (HSE University, Russia)
Peter Manning (Northeastern University, USA)
Albert Ogien (EHESS, France)
Alexander Pavlov (Institute of Philosophy, Russia)
Anne W. Rawls (Bentley University, USA)
Irina Savelieva (HSE University, Russia)
Irina Trotsuk (People's Friendship University of Russia, Russia)
Victor Vakhshayn (RANEPa, Russia)
Jaan Valsiner (Aalborg University, Denmark)

Establishers

HSE University
Alexander F. Filippov

Editorial Board

Editor-in-Chief
Alexander F. Filippov

Deputy Editor
Marina Pugacheva

Editorial Board Members
Svetlana Bankovskaya
Nail Farkhatdinov
Andrei Korbut

Internet-Editor
Nail Farkhatdinov

Copy Editors
Maxim Fetisov
Perry Franz

Russian Proofreader
Inna Krol

Layout Designer
Anastasia Meyerson

About the Journal

The Russian Sociological Review is an academic peer-reviewed journal of theoretical, empirical and historical research in social sciences.

The Russian Sociological Review publishes four issues per year. Each issue includes original research papers, review articles and translations of contemporary and classical works in sociology, political theory and social philosophy.

Aims

- To provide a forum for fundamental issues of social sciences.
- To foster developments in social sciences by enriching theoretical language and vocabulary of social science and encourage a cross-disciplinary dialogue.
- To provide educational materials for the university-based scholars in order to advance teaching in social sciences.

Scope and Topics

The Russian Sociological Review invites scholars from all the social scientific disciplines to submit papers which address the fundamental issues of social sciences from various conceptual and methodological perspectives. Understood broadly the fundamental issues include but not limited to: social action and agency, social order, narrative, space and time, mobilities, power, etc.

The Russian Sociological Review covers the following domains of scholarship:

- Contemporary and classical social theory
- Theories of social order and social action
- Social methodology
- History of sociology
- Russian social theory
- Sociology of space
- Sociology of mobilities
- Social interaction
- Frame analysis
- Ethnomethodology and conversation analysis
- Cultural sociology
- Political sociology, philosophy and theory
- Narrative theory and analysis
- Human geography and urban studies

Our Audience

The Russian Sociological Review aims at both academic and non-academic audiences interested in the fundamental issues of social sciences. Its readership includes both junior and established scholars.

Subscription

The Russian Sociological Review is an open access electronic journal and is available online for free via <http://sociologica.hse.ru/en>.

Содержание

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Еще раз о социологии и социальной аналитике в эпоху развития
искусственного интеллекта. 9
Андрей Резаев, Наталья Трегубова

«Перестать пинать мертвую лошадь примордиализма»:
актуальные повестки дня в конструктивистских
исследованиях этничности. 31
Евгений Варшавер

Назад к представлениям: в поисках оснований для коллективной
памяти. 59
Оксана Головашина

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

Отражение ценностей российского общества в Посланиях Президента
Федеральному Собранию. 84
Георгий Борщевский

Бизнес как источник рекрутирования высокопоставленных
чиновников федеральных экономических министерств России. 104
Денис Тев

СОЦИОЛОГИЯ ПРОСТРАНСТВА

Самореализация и дети: логики использования пространства
в нарративах россиянок. 127
Иван Забаев, Елизавета Кострова, Мария Голева

СТАТЬИ И ЭССЕ

Памятник vs ветхость: как городские сообщества используют маркеры
прошлого в борьбе за «право на город» в Иркутске. 155
Дмитрий Тимошкин

Факультативные группы, невидимые индивиды:
трансформация социальных отношений в новой
технологической реальности. 174
Руслан Хестанов, Александр Сувалко

РУССКАЯ АТЛАНТИДА

- Джеймс Скотт и Александр Чаянов: от крестьян через революции
к государствам и анархиям 202
Александр Никулин

ОБЗОРЫ

- Конвергируемость реальных и виртуальных сообществ в цифровом
пространстве: социологический обзор 229
Феликс Шарков, Наталья Кириллина
- Urban History: между историей и социальными науками 250
Игорь Стась

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД КНИГОЙ

- Философия путешествий, общение с местностью
и «ландшафтная аналитика» 286
Михаил Немцев

РЕЦЕНЗИИ

- Рационализм и страсть, или Вебер глазами Фрейда 303
Олег Кильдюшов
- Онтологическая безопасность в международных отношениях:
о механике присвоения территорий в сознании наций 309
Петр Куслий
- Апокалипсис как образ жизни 319
Максим Фетисов

Contents

SOCIOLOGICAL THEORY AND RESEARCH METHODOLOGY

Sociology and social analytics in the era of the artificial intelligence evolutionment	9
<i>Andrey Rezaev, Natalia Tregubova</i>	

“Stop beating the dead primordial horse”: actual agendas in the constructivist research of ethnicity	31
<i>Evgeni Varshaver</i>	

Back to Representations: in Search of Grounds for Collective Memory	59
<i>Oksana Golovashina</i>	

POLITICAL SOCIOLOGY

References to the Russian Society’s Values in the Presidential Addresses to the Federal Assembly	84
<i>Georgy Borshchevskiy</i>	

Business as a source of the recruitment of high-ranking officials of Russian federal economic ministries	104
<i>Denis Tev</i>	

SOCIOLOGY OF SPACE

Self-realization and Children: Logics of Space Usage in the Narratives of Russian Women	127
<i>Ivan Zabaev, Elizaveta Kostrova, Mariia Goleva</i>	

PAPERS AND ESSAYS

“Monument” versus “dilapidation”: the discursive marking of local history as a factor of the “production of space” in Siberian cities (in the example of Irkutsk).	155
<i>Dmitry Timoshkin</i>	

Facultative Groups, Invisible Individuals: The Transformation of Social Relations in the New Technological Reality	174
<i>Rouslan Khestanov, Alexander Suvalko</i>	

RUSSIAN ATLANTIS

- James Scott and Alexander Chayanov: From the peasantry through
revolutions, to the states, and anarchies. 202
Alexander Nikulin

REVIEW ESSAYS

- The convergence of real and virtual communities in the digital space:
a sociological review. 229
Felix Sharkov, Natalia Kirillina
- Urban History: between History and Social Sciences. 250
Igor Stas

REFLECTIONS ON A BOOK

- The philosophy of travel, communication with locality,
and 'landscape analytics' 286
Mikhail Nemtsev

BOOK REVIEWS

- Passion and Rationalism: Max Weber in Freud's Eyes. 303
Oleg Kildyushov
- Ontological security in international relations: on the mechanics
of appropriation of territories inside the consciousness of nations 309
Petr Kusliy
- Apocalypse as a Way of Life 319
Maxim Fetisov

Еще раз о социологии и социальной аналитике в эпоху развития искусственного интеллекта¹

Андрей Резаев

Доктор философских наук, профессор, ведущий научный сотрудник,
руководитель международной исследовательской лаборатории ТАНДЕМ,
факультет социологии СПбГУ.

Адрес: ул. Смольного, д. 1/3, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 191124

E-mail: rezaev@hotmail.com

Наталья Трегубова

Кандидат социологических наук,

ассистент кафедры сравнительной социологии СПбГУ.

Адрес: ул. Смольного, д. 1/3, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 191124

E-mail: n.tregubova@spbu.ru

В статье рассматривается ситуация с современным кризисом в социологии и обосновывается неизбежность той или иной трансформации социологии в XXI веке. Авторы утверждают, что наиболее логичный в теоретико-методологическом отношении и безболезненный для сообщества социологов путь развития — это трансформация социологии в «социальную аналитику». Социальная аналитика понимается как умение правильно поставить исследовательскую проблему о жизни людей в постоянно изменяющемся и находящемся в состоянии неопределенности обществе и предложить способы решения этой проблемы адекватными для данного этапа развития методами. Статья выделяет ключевые элементы и раскрывает сущностные характеристики социальной аналитики. В завершение авторы рассматривают перспективы социальной аналитики в исследовании проблем, связанных с распространением технологий искусственного интеллекта.

Ключевые слова: кризис социологии, социальная аналитика, социальные науки, кризис капитализма, искусственная социальность

Постановка проблемы

В нескольких публикациях, посвященных проблемам и перспективам развития социальных наук в эпоху развития искусственного интеллекта (Резаев, Стариков, Трегубова, 2020; Резаев, Трегубова, 2021), мы затрагивали проблему социальной аналитики в связи с кризисом социологии. Мы утверждали, что наиболее перспективный вариант преодоления ее современного кризиса — это возможность трансформации социологии в «социальную аналитику». В настоящей статье мы бы хотели, во-первых, более подробно обосновать неизбежность той или иной трансформации социологии; во-вторых, сформулировать наши подходы к трактовке существа «социальной аналитики»; в-третьих, показать, почему превращение социологии в «социальную аналитику» — наиболее логичный в теоретико-методологическом отношении и безболезненный для сообщества социологов путь развития.

1. Работа опубликована при поддержке Программы «Университетское партнерство».

Настоящие размышления не имеют своей целью «закрыть» проблему или «похоронить» социологию. Напротив, в развитие профессиональной дискуссии о логике выхода социологии из «кризиса» мы стремимся показать необходимость и возможность трансформации социологии как науки и учебной дисциплины в обществе, которое, с одной стороны, находится в состоянии неопределенности, с другой стороны, требует новых теоретико-методологических ориентиров для развития в эпоху искусственного интеллекта и искусственной социальности.

Три этапа развития современного кризиса социологии

Утверждения о том, что социология переживает кризис, не оригинальны и не новы². Еще в 1970 году американский социолог Алвин Гоулднер выпустил монографию «Наступающий кризис западной социологии» (Gouldner, 1970). Кризис, о котором писал автор, связан с критикой парсоновского синтеза и последовавшего за ним расцвета структурного функционализма. Гоулднер фиксирует, что в 1960-е годы былое единство американской социологии сменяется разнообразием концептуальных и методологических направлений, которые все дальше отходят от структурного функционализма — и содержательно, и идеологически.

С тех пор для социологов стало своего рода хорошим тоном рассуждать о кризисе своей дисциплины. Книга Гоулднера осмысляет первый этап кризиса социологии; второй этап был ознаменован выходом доклада комиссии Гулбенкьяна (Gulbenkian commission) под председательством Иммануила Валлерстайна. Комиссия провела три встречи в 1994–1995 годах, результатом которых стал доклад о перестройке социальных наук (Wallerstein, 1996). В докладе обозначены три ключевые проблемы, с которыми сталкиваются современные социальные науки в целом и социология в частности: 1) ложный универсализм, присущий западному мышлению и лежащий в основании социальных наук; 2) анахронизм существующего деления на научные дисциплины в соответствии с объектом познания; 3) неадекватная позитивистская методология. Авторы доклада — в критичном, но оп-

2. Рассуждая о кризисе социологии, мы сталкиваемся со следующим затруднением: можно ли утверждать, что социология находится в кризисе, если многие (или даже большинство) из тех, кто именует себя социологами, кризиса не замечает? В самом деле, дискуссия о кризисе социологии (и в англоязычной, и в русскоязычной литературе) проходит, преимущественно, среди теоретиков. Многие исследователи, погруженные в эмпирическую работу, относятся к таким дискуссиям настроенно-скептически. Мы полагаем: утверждать, что кризис существует, можно, поскольку речь идет о кризисе социологии как научной (и учебной) дисциплины. В отдельных областях исследований (внутри социологии и на ее границах) кризис может вовсе не замечаться или ощущаться лишь косвенно. А может быть и так, что кризисные явления, такие как поиск новых теорий и методов за пределами собственной дисциплины, приводят к подъему некоторых исследовательских направлений. Наше предположение заключается в том, что там, где ощущается не кризис, а подъем, исследователи как раз и занимаются тем, что мы именуем «социальной аналитикой». В целом же дискуссия о том, как видят (или не видят) кризис социологи разных специализаций, представляется чрезвычайно интересной. Однако она выходит за рамки настоящей статьи, более того — требует участия социологов с иными позициями и с иным исследовательским опытом. Мы можем лишь надеяться, что когда-нибудь такая дискуссия состоится.

тимистичном тоне — призывали к отказу от устаревших разделений и к поиску новых форм организации исследований и преподавания в социальных науках.

В это же время, в 1995 году выходит статья немецкого социолога Герхарда Вагнера, принадлежащая иной традиции социальной мысли, ориентированной прежде всего на вопросы теории (Вагнер, 1996). Автор начинает с наблюдения, что проблема кризиса социологии давно и прочно вошла в дискуссии самих социологов, и затем рассматривает эту проблему в связи с отсутствием в социологии единой теории. Он анализирует лумановскую попытку построения «супертеории», которая бы включала в себя уже существующие теории — и признает данную попытку неудачной. Вагнер намечает пути для дальнейшего развития социологии, связанные с поиском единства в многообразии теорий.

На третьем этапе кризиса социологии в начале XXI века проблема теоретического единства все еще обсуждается, однако на первый план выходят новые проблемы. Прежние дебаты о «кризисе» или «конце» позволяли социологам критически смотреть на себя со стороны и видеть точки роста дисциплины. Сейчас речь идет скорее о попытке спасти то, что осталось от «золотого» и «серебряного» века социологии (если считать таковыми период парсоновского синтеза, за которым последовали бурные и блестящие 1970-е с развитием разнообразных и многочисленных исследовательских направлений). Дискуссия на третьем этапе, когда происходит переход от умеренного недовольства к плохо скрытому отчаянию, проанализирована в работе (Резаев, Трегубова, 2021). Анализ можно суммировать следующим образом. В конце XX — начале XXI века в ответ на внутренние (интеллектуальные) и внешние (институционально-организационные) проблемы социологии была предпринята попытка их решения в русле умеренной социальной критики. Сегодня данная попытка воспринимается некоторыми как окончательная потеря интеллектуального единства, как капитуляция науки перед идеологией и обслуживающей ее риторикой. Другие возражают: идеал социального ученого, запертого в «башне из слоновой кости», — вовсе не то, к чему стоило изначально стремиться, и социология идет именно туда, куда нужно.

Данные позиции возникают, например, в дебатах Петра Штомпки и Майкла Буравого (Sztompka, 2011; Burawoy, 2011), где формулируется дилемма: или универсальная социология, выявляющая социальные закономерности, или исследования в помощь глобальному гражданскому обществу, которое противостоит засилью рынка и государства. Предельно упрощая эти позиции, можно говорить о том, что социологи сталкиваются с необходимостью выбора образа того, чем они занимаются: или социальная наука, построенная по образцу наук естественных — «социальная физика», или исследовательский активизм, удивительно похожий на социализм. Но действительно ли социологам нужно выбирать между социальной физикой и социализмом? То, чем занимались и продолжают заниматься многие — и, вероятно, лучшие — из социологов, не похоже ни на проверку социаль-

3. Разумеется, мы не хотим свести позиции Штомпки и Буравого к подобному упрощению. Позиции обоих авторов гораздо сложнее.

ных законов, ни на выработку позиций по политически острым вопросам. Однако в том, чем они — «хорошие» социологи⁴ — занимаются, часто есть, с одной стороны, наиболее перспективное в теоретическом и эмпирическом отношении развитие первого подхода, а с другой стороны, наиболее значимые и продуктивные для прогрессивной динамики общества разработки второго подхода.

По сути дела, именно это (то, в каком виде сегодня предстают лучшие образцы исследований современных социологов) мы и называем «социальной аналитикой»⁵.

Дальнейшее обсуждение будет организовано вокруг поиска ответов на три вопроса:

1. Каковы отличительные особенности и ключевые составляющие социальной аналитики?
2. Где искать социальную аналитику сегодня?
3. Каковы перспективы развития социальной аналитики в современном мире, где активно развиваются и распространяются технологии искусственного интеллекта?

Однако перед этим рассмотрим еще один вопрос: как проблема кризиса социологии обсуждается среди отечественных социологов и как их позиции соотносятся с позицией авторов настоящей статьи?

«Кризис социологии» в дискуссиях российских ученых

В российской/русскоязычной социологии также можно выделить три этапа обсуждения кризиса социологии⁶: 1) анализ теоретико-методологических затруднений в современной социологии; 2) обращение к нынешнему кризису как к очередному

4. «Хорошие» здесь — те социологи, которые обосновывают решения исследовательских вопросов на междисциплинарной основе и видят в предлагаемых обществу решениях не ответ, но последующий вопрос.

5. Здесь возникает вопрос: почему вместо «социальная аналитика» мы не можем сказать «современная социология»? Проблема в том, что слово «современный» изменяет свое значение вместе с историческим контекстом. Скажем, во времена СССР под «современной историей» понималась история страны после Великой Октябрьской революции. В социальных науках слово «современный» (modern) обычно связывается с развитием капитализма, при этом критики капитализма уже давно рассуждают о постсовременности, постмодернизме. Таким образом, «современная социология» означает скорее социологию, которую мы оставили в прошлом, социологию до нынешнего этапа ее кризиса.

6. Далее мы рассматриваем аргументы, которые относятся к проблеме кризиса социологии *в целом*. На русском языке существуют очень интересные дискуссии о том, что представляет собой и чем должна быть *российская* социология. Однако они остаются за пределами нашего рассмотрения. Следует также отметить, что русскоязычная социология не ограничивается российской: многие ученые из бывших республик СССР пишут по-русски. Мы попытались найти аргументы о кризисе социологии в работах зарубежных коллег из стран СНГ и обнаружили, что собственно «кризис» не попадает (как нам удалось понять) в поле их внимания. Пути развития социологии — да, проблемы социологии в конкретной стране — да, но не кризис социологии как научной дисциплины. Почему внимание научного сообщества устроено именно так — вопрос для отдельного обсуждения.

этапу развития социологии; 3) осознание необратимых последствий данного кризиса.

В рамках первого этапа следует прежде всего выделить работу Александра Филиппова, в которой анализируется состояние и перспективы развития теоретической социологии (Филиппов, 2008). Согласно аргументации ученого, теоретическая социология — это способ (один из способов) самоосмысления общества, и ее отсутствие в России — проблема не только социологии, но и общества. При этом рассогласование между социологическими теориями, созданными на основе осмысления опыта западных стран, и нашим собственным дотеоретическим опытом создает напряжение, плодотворное для теоретической работы — включая теоретизирование «по ходу» проведения конкретных эмпирических исследований. В рамках осмысления проблем методологии отметим нашу попытку обосновать значение сравнительной социологии для развития современных социальных наук (Резаев, Стариков, Трегубова, 2014). Данная попытка основывалась на переосмыслении тезиса Эмиля Дюркгейма о том, что сравнительная социология — не есть отрасль социологии, но сама социология, в той мере, в которой она стремится объяснить факты.

Оглядываясь назад и оценивая аргументацию авторов, отметим: на наш взгляд, предложенные сценарии развития социологии могут быть успешными только при выходе за дисциплинарные рамки, в которых социология сегодня существует — отдельно от философии, от политической науки, от истории и т. д. Сложившиеся рамки кажутся тесными как для серьезного теоретизирования о социальной реальности, так и для организации сравнительных исследований. И здесь ключевым является даже не постановка правильного «диагноза», а поиск альтернативы — что может быть дальше?

Один из возможных ответов на вопрос «что дальше?» возникает на втором этапе осмысления кризиса в отечественной социологии. Здесь он рассматривается как поиск новых путей развития, который не требует, однако, радикальных изменений. Данную позицию отстаивает, например, Николай Романовский, который связывает проблемы социологии не с внутренними дисциплинарными проблемами, а с кризисом общества (Романовский, 2016). Автор предлагает искать «точки роста» в социологии, прежде всего в области теории и методологии — в цивилизационном анализе, использовании больших данных и т. д. (Романовский, 2015). Такое решение находится в русле обсуждений, которые были характерны для англоязычной социологии на рубеже XX–XXI веков (Резаев, Трегубова, 2021). Нетрудно видеть, что оно коренным образом расходится с нашей позицией: мы предполагаем, что время частичных изменений прошло, что социология с необходимостью преобразуется в нечто иное, и от нас зависит, во что именно она превратится.

На третьем этапе осмысления современного кризиса интеллектуальные и организационные проблемы начинают восприниматься как то, что ставит под вопрос саму социологию. При этом в дискуссиях российских социологов критикуются оба направления разрешения кризиса, предложенные в международной социоло-

логии, — и проект глобальной/публичной социологии Майкла Буравого, и проект универсальной социальной науки Петра Штомпки.

Критика проекта глобальной социологии представлена в работе Никиты Покровского, который фиксирует проблемы дисциплины, связанные с ее отчетливым идеологическим «креном» (Покровский, 2019). Анализируя материалы XIX Международного социологического конгресса, состоявшегося в 2018 году в Торонто, он замечает: из тем и даже из содержания пленарных заседаний вовсе не очевидно, что перед нами — конгресс социологов. В подобного рода мероприятиях становится все меньше исследовательской составляющей, все больше — риторики социальных изменений в русле вполне определенной идеологии; и даже слово «социология» исчезает из названий сессий. Вопрос, насколько серьезны данные изменения и не приведут ли они к перерождению социологии, автор оставляет открытым. Мы солидаризируемся с характеристикой, которую дает современной социологии Никита Покровский, и полагаем, что перерождение уже имеет место. То, что сегодня очевидно при рассмотрении «фасада» Международного социологического конгресса, характерно в большей или в меньшей степени для самых разных частей социологической (и не только) дисциплины.

В отношении критики проекта социологии как универсальной социальной науки особый интерес представляет статья Михаила Соколова (Соколов, 2015а) и последовавшая за ней дискуссия. Основной аргумент Соколова состоит в следующем: единство социологии, несмотря на все исторические повороты, обеспечивается тем, что социологи воспринимают ее как «науку об обществе» — в буквальном смысле, подобно тому, как физика — это наука о природе. Однако социология не очень похожа на физику, отсюда возникает необходимость убедить себя (и только потом — других) в том, что деятельность социолога похожа на деятельность «настоящего ученого». Один из способов сделать это — пережить радость и новизну научного открытия, особенно открытия теоретического. Но здесь социологов подстерегает опасность: число теорий все увеличивается, поиск истинного знания (а не просто нового языка описания) представляется все менее реалистичной перспективой, и, как следствие, ощущение новизны исчезает. В результате социологи теряют интерес к интеллектуальным дискуссиям (и вовлекаются в социальные движения).

Комментарии к статье Соколова содержат справедливые указания на то, что работа социологов не сводится к тем жанрам, которые были в ней перечислены (Хархордин, 2015), и что сама способность определять свою деятельность как «социологию» должна быть предметом отдельного обсуждения (Вахштайн, 2015). Для нас, однако, наибольший интерес представляет ответ автора на комментарии (Соколов, 2015б), где он ставит вопрос: почему социология не стала частью журналистики, почему она не решает конкретные проблемы для конкретной аудитории? Понимание социологии как разновидности социальной журналистики существовало, например, в рамках Чикагской школы, почему же оно не было реализовано? Автор затем замечает, что на этот вопрос и должна была ответить его статья.

Данная позиция, как нам представляется, довольно близка нашей. Михаил Соколов анализирует кризис социологии, связывая его с постепенным «выгоранием» проекта универсальной социальной науки, построенной по образцу наук естественных⁷. Он обращает внимание на альтернативный проект — «социология как журналистика, только надежнее» (Там же: 82). Мы также фиксируем кризис социологии и предлагаем альтернативный проект. Однако для нас альтернативой является не социальная журналистика, а *социальная аналитика*, которая, как мы увидим, может включать в себя первую. Что же такое социальная аналитика?

Чем является и чем не является социальная аналитика

Прежде всего нужно сделать неизбежную оговорку. У значительной части русскоязычных читателей словосочетание «социальная аналитика» ассоциируется с различными экспертами (и «экспертами») политических ток-шоу эпохи 2000-х. Для нас социальная аналитика — вовсе не это.

Итак, что такое социальная аналитика?

Начнем с примера — с ситуации, знакомой многим исследователям. Вам на рецензию пришла научная статья. Вы, вероятно, отличите: а) хорошую статью, б) статью хорошую по задумке, но слабую по исполнению, от в) «безнадежной» статьи: как ее ни переделывай, будет плохо. Первую вы похвалите и ограничитесь списком пожеланий, ко второй составите солидный список замечаний. Но что делать с третьей? Скорее всего, дело также окончится списком замечаний. Несмотря на то что вы видите, что статья «безнадежная», очень трудно сформулировать формальные основания, чтобы ее отвергнуть.

Сходный пример из жизни преподавателя: на кафедре проходит утверждение тем студенческих работ. Допустим, каждого студента просят сформулировать исследовательский вопрос, на который он/она планирует ответить в своей работе. Некоторые вопросы кажутся вам перспективными, некоторые — откровенно скучными, некоторые — недодуманными. Но есть такие вопросы, о которых вы думаете: никакого нового знания с таким вопросом студенты не получают. Это интуитивно ясно вам (и, быть может, некоторым вашим коллегам), но разъяснить и доказать, почему это так, практически невозможно.

Социальная аналитика — именно то, чего недостает «плохой» статье или «плохому» исследовательскому вопросу. Иными словами, в самом первом приближении социальная аналитика — это умение правильно обозначить исследовательскую проблему о жизни людей в постоянно изменяющемся и долгое время находящемся в состоянии неопределенности обществе и затем предложить способы ее решения адекватными для данного этапа развития методами. Принципиальной характеристикой социальной аналитики является понимание того, что возника-

7. В другом месте он также указывает на искусственность исторически сложившихся границ между социальными науками и внутри них: Соколов, 2021.

ющие варианты решения проблемы есть не что иное, как определение системы координат новых исследовательских вопросов.

Таким образом, три элемента социальной аналитики — это:

1. Формулировка исследовательской проблемы, адекватной современному состоянию неопределенности общественного развития.
2. Определение соответствующих (как правило, меж-/а-дисциплинарных) подходов и методов ее разрешения.
3. Осознание того, что получаемые результаты являются не чем иным, как основой формулировки последующих исследовательских вопросов.

В исследовательской деятельности правильно поставить вопрос — это половина дела. Еще раз повторим: формализовать, что значит «правильно» — очень сложно. Однако можно попытаться выделить некоторые характеристики. Во-первых, это вопрос, на который можно дать внятный и определенный ответ. Часто, хотя и не всегда, хороший исследовательский вопрос также обладает новизной, связывает вещи или понятия нетривиальным образом. Во-вторых, правильная постановка вопроса уже подсказывает возможные варианты ответа на него. В-третьих, формулировка вопроса очерчивает круг средств, которыми исследовательская проблема может быть решена: какие теории и методы использовать, где найти данные. Наконец, правильная постановка вопроса предполагает, что после получения ответа возникнут новые вопросы.

Когда мы ставим в центр внимания исследовательскую проблему, все остальное становится вспомогательным, второстепенным по отношению к ней. Все остальное — это развитие социологической теории, методология, источники и базы данных, наконец, это наши собственные ценности и/или политическая повестка, позволяющие выбрать из всего многообразия социального мира то, что мы хотим исследовать. Все это — «коробка для инструментов» (toolbox) социального аналитика. Разумеется, это не умаляет значимости тех, кто занимается созданием «инструментов» — теоретиков, методологов, даже идеологов.

Наверное, все (или почти все) «хорошие» социологи знают это. При задумке и реализации исследования теоретические, методологические и идеологические амбиции исследователя отступают на второй план. Важнее оказывается решить задачу — и здесь мы ищем подручные средства в самых разных местах. Другой вопрос, что при представлении результатов исследований наши амбиции обычно снова вступают в игру.

Если посмотреть под этим углом, например, на работы классиков социологии, многое становится на свои места. Наиболее пытливые студенты удивляются: почему эти люди, часто писавшие банальные или, наоборот, «заумные» на первый взгляд вещи, продолжают считаться классиками? Особенно учитывая, что многие выводы этих работ были опровергнуты в позднейших исследованиях, а их методологическая строгость не дотягивает до современного уровня профессионального мастерства. Понятно, что классики жили в позапрошлом веке, но все же...

Суть дела в том, что классики ставили «правильные» вопросы и, пытаясь ответить на них, создали социологическую теорию и методологию. Так, Эмиль Дюркгейм спрашивал: «Как так получается, что одни категории людей более склонны совершать самоубийство, чем другие? Виновата ли в этом природа, погода, особенности характера или особенности социальных связей этих людей? И если последнее, то какие именно особенности?» Макса Вебера интересовал другой вопрос: «Как так получилось, что современное капиталистическое предприятие возникло именно в Западной Европе? Как людям пришло в голову вкладывать все деньги в предприятие, вместо того чтобы тратить их на себя? И по каким причинам такое предприятие оказалось жизнеспособным?» Вопросы Дюркгейма привели его не только к написанию «Самоубийства», но и к разработке собственной версии методологии социологии в «Правилах социологического метода». Плодами трудов Макса Вебера стала не только «Протестантская этика и дух капитализма», но и многочисленные исследования экономической и религиозной жизни Китая, Индии, Древнего Израиля (где современный капитализм не возник), а также очерки по теории и методологии социальной науки. Ответы классиков привели к новым вопросам, новые вопросы — к новым исследованиям, которыми занимались уже другие ученые. Именно так классики стали классиками⁸.

Составляющие социальной аналитики

Из чего состоит деятельность социального аналитика? И какими умениями он должен обладать?

Мы полагаем, что принципы социальной аналитики могут быть суммированы в трех «А»:

- *артикулировать* (articulate) проблему/исследовательский вопрос;
- *анализировать* (analyze), как и что с этим делать;
- *аргументировать* (argument) одно из возможных решений, которое, по сути, есть не что иное, как новый вопрос.

«И это все? Где же здесь наука?» — спросит читатель. В самом деле, где теоретические обоснования, где методологическая строгость, где проверка внутренней и внешней валидности результатов исследования?

Вопрос о том, в какой мере и в каком смысле социальные науки — это науки, является предметом серьезных дебатов со времен появления самой идеи социальной науки⁹. Мы полагаем, что соблюдение критериев научности в социологии также следует рассматривать с точки зрения постановки и решения исследовательской проблемы. С этой точки зрения они — способ обезопасить себя от критики оппонентов, сделать анализ убедительным для тех, кто не спешит соглашаться с его результатами. Иными словами, в социальных науках есть некоторые стандар-

8. Сходный аргумент разрабатывается в: Соколов, 2007.

9. Любопытного читателя адресуем к некоторым работам, суммирующим дискуссии и излагающим ключевые аргументы: Collins, 1989; MacIntyre, 2007; Розов, 2008.

ты «хорошей работы», причем они различаются по школам и исследовательским направлениям и определяются не столько дисциплинарными границами, сколько характером данных и методов. Социолог-количественник скорее найдет общий язык с экономистом, а социолог-качественник — с антропологом.

Научные стандарты оказываются важны для социального аналитика на втором этапе (втором «А» в нашей терминологии) — собственно анализа. Здесь от социального аналитика требуется то же, что от хорошего социального ученого. Во-первых, правильно сформулировать теорию (модель) социального явления или процесса; во-вторых, понять, на каких данных это можно исследовать; в-третьих — как именно исследовать. При этом важно следующее: социальный аналитик не ограничивает себя дисциплинарными границами. Если исследовательская проблема касается государства или рынков, социальный аналитик не будет игнорировать эти явления, а смело пойдет учиться к политологам или экономистам — их теориям, их методам, их способам работы с данными. Для этого социальный аналитик должен обладать как минимум тремя качествами:

- То, что в английском языке называют *quantitative literacy* — умение работать с количественной информацией. Сюда входит и базовое знание математики, и владение основами анализа количественных данных, и умение оценить результаты такого анализа. В последнее время сюда также все чаще входят базовые навыки программирования и работы с онлайн-данными: умение их найти и привести в пригодный для анализа вид. Разумеется, это не значит, что любой социальный аналитик на зубок знает теорию вероятностей и владеет пятью языками программирования. При знании основ необходимые умения и навыки могут быть приобретены по мере решения исследовательской проблемы. Или задачи могут быть делегированы, а «количественная грамотность» социального аналитика позволит оценить качество выполненной работы.
- По аналогии с этим можно говорить о *qualitative literacy* (Small, 2018) — об умении работать с информацией качественного характера: с записями интервью, историческими документами, материалами СМИ, описаниями наблюдений, фото- и видеоматериалами. Сюда относятся как собственно работа с качественными данными, так и способность отличить хорошее исследование от плохого, добросовестную презентацию от попытки произвести впечатление внешними эффектами.
- Наконец, следует не забывать о «теоретической грамотности» — об умении формулировать теоретическую модель объекта, аргументировать выбор этой модели, а также видеть, какие именно данные могут ее подтвердить, какие — нет. Такое умение является необходимым при работе с литературой в малознакомой области знаний, если ваша цель — понять, что из нее будет полезно для решения исследовательской проблемы.

На третьем этапе (третье «А») — обоснования решения проблемы и постановки новых проблем — социальному аналитику нужны базовые навыки аргу-

ментации и презентации, а также интеллектуальная честность. Но помимо этого, оказывается важным еще одно качество:

- Умение выстроить нарратив (историю) для себя и для тех, кому нужно представить результаты анализа. В ходе самого анализа обычно возникает много сюжетов, большинство из которых потом оказываются побочными. Но по завершении анализа то, что было сделано, необходимо выстроить в связную историю: проблема — основные линии ее решения — выводы и новые вопросы. Что-то при этом с необходимостью останется за пределами нарратива (иногда оно становится материалом для новых исследований). Важно также умение сделать историю понятной и интересной для конкретной аудитории: других исследователей или студентов, бизнес-заказчика или широкой общественности.

Суммируя, можно сказать, что от привычного образа социолога социального аналитика отличают две вещи. Во-первых, он/она сосредотачивается на проблеме исследования, игнорируя дисциплинарные границы. Во-вторых, и как следствие первого, социальный аналитик умеет одновременно и больше, и меньше социолога, так как освоил базовые навыки работы с социальной информацией из самых разных областей. При этом социальный аналитик готов учиться новому и делегировать выполнение конкретных задач там, где это требуется.

Социальная аналитика за пределами социологии

Следующий закономерный вопрос: только ли социологи занимаются социальной аналитикой? Очевидно, нет. Экономисты и антропологи, историки и географы, лингвисты и политологи, философы и математики — все они (кто-то чаще, кто-то реже) становятся социальными аналитиками. Но почему мы имеем столько социальных наук, если все они занимаются социальной аналитикой? Чтобы ответить на этот вопрос, приведем цитату Иммануила Валлерстайна, которая суммирует выводы доклада комиссии Гулбенкьяна:

«В течение первой половины XX века целые разделы обществоведения выделились в самостоятельные научные дисциплины, которые были признаны научным сообществом. Каждая из них определяла себя посредством противопоставления смежным дисциплинам. <...> Все произошедшие после 1945 года миро-системные изменения — возвышение Соединенных Штатов и обретение ими роли мирового гегемона, политическое возрождение незападного мира и экспансия миро-хозяйства, как и сопровождавшая ее экспансия мировой университетской системы — способствовали разрушению [этой] логики... В наши дни три великих разделения XIX века — «прошлое — настоящее», «цивилизованное — иное» и «государство — рынок — гражданское общество» — абсолютно несостоятельны в качестве интеллектуальных маркеров. Невозможно выступить с серьезными заявлениями в так называемых областях социологии, экономики или политологии, которые не относились бы к истории, равно как невозможно провести серьезный исторический

анализ, не прибегнув к так называемым обобщениям, почерпнутым из других общественных наук» (Валлерстайн, 2004: 294-295).

Таким образом, границы между социальными науками, изначально полезные для разграничения сил и областей деятельности, сегодня становятся препятствием для осмысленной аналитической работы. И социальная аналитика призвана соединить, что было разделено.

Рассмотрим четыре исследования разных авторов (двух философов и двух социологов), которые, на наш взгляд, представляют собой примеры состоявшейся социальной аналитики. На этих примерах мы увидим, как социальная аналитика при постановке «хороших» вопросов выходит за пределы дисциплинарных границ.

Первый пример — монография «После добродетели: Исследования теории морали» Аласдера Макинтайра (MacIntyre, 2007). Автор начинает с вопроса: почему сегодня почти любые дебаты по вопросам этики приводят к радикальному несогласию, к неспособности убедить оппонента? Всегда ли было так, а если нет — что изменилось и почему это так сейчас? Для того чтобы ответить на поставленные вопросы, Макинтайр переходит от концептуального анализа моральных систем к истории моральных учений, от них — к истории нравов и обратно, попутно затрагивая проблемы границ философского и социального познания. Такая форма исследования оказалась настолько непривычна для его коллег, что добрая половина упреков к книге была в том, что Макинтайр смешивает философию и историю. На что автор возражал: только так и может выглядеть исследование при искомой постановке проблемы. По результатам анализа у автора накопилось столько новых вопросов, что их хватило еще на три монографии (Ibid.: ix).

Второй пример — книга Марты Нуссбаум «Прячься от человечности: Отвращение, стыд и закон» (Nussbaum, 2001). Макинтайр в своем исследовании соединяет философию и историю, Нуссбаум — философию, психологию и право. Она ставит вопрос: следует ли учитывать такие эмоции, как отвращение (disgust) и стыд (shame) при вынесении судебных приговоров? Ответ на поставленный вопрос может быть простым: нет, не следует, так как эмоции в принципе не должны учитываться в сфере права. Однако Нуссбаум полагает, что этот ответ неправильный. Она опирается на собственную теорию эмоций, где они понимаются как ценностные суждения, чтобы провести разграничения между конкретными эмоциями — их содержанием и их ролью в правоприменении. От практического вопроса о судебных приговорах она переходит к более общему: на какую «политическую психологию» мог бы опираться либерализм, чтобы его принципы могли быть успешно воплощены в праве? (Интерес к либерализму связан с тем, что автор относит себя именно к этой традиции.) В своей монографии Нуссбаум переходит от моральной философии к конкретным юридическим кейсам, от них — к исследованиям когнитивных психологов и психоаналитиков, чтобы затем проанализировать их с точки зрения философии эмоций и вернуться к универсальным моральным принципам. Все исследование, таким образом, балансирует между философским трактатом и теоретически нагруженным анализом эмпирических кейсов.

Третий пример — книга «Капиталисты поневоле. Конфликт элит и экономические преобразования в Европе раннего Нового времени» Ричарда Лахмана (Lachmann, 2000). В данной монографии автор стремится ответить на тот вопрос, который ставил Макс Вебер и многие после него: как так получилось, что капитализм возник там и тогда, где и когда он возник? Лахман начинает с констатации: «что-то случилось» в Западной Европе в XV–XVIII веках, и затем переходит к детальному и скрупулезному анализу того, что же именно случилось. Рассматривая аномалии и контрпримеры к «большим теориям» (веберовской, Марксовой и др.), он движется от одного исторического вопроса к другому: от вопроса о подъеме и упадке городов к проблеме конфликта сельских аристократий, от сравнения элит в Англии и Франции — к вопросу о действительном распространении «протестантской этики» в Европе (подробнее см.: Жихаревич, Резаев, 2013). Детальный исторический анализ, направляемый критикой существующих теорий, позволяет автору сформулировать собственные обобщения. Которые, разумеется, ставят новые вопросы как для социологов (например, применима ли теория элит в версии Лахмана для анализа процессов в постсоциалистических государствах?), так и для историков (например, были ли средневековые люди так рациональны, как это предполагает автор?).

Рассмотренные примеры — это монографические исследования, в которых подробно и обстоятельно рассматриваются «большие» вопросы. Последний пример социальной аналитики, который мы здесь приведем, — иного рода. В начале статьи мы рассматривали, как различные социологи оценивают кризис социологии. Но те, кто рассуждает о кризисе социологии, иногда, в процессе своих рассуждений, сами занимаются социальной аналитикой. Почему? Потому что ответить на вопрос о причинах и последствиях кризиса трудно, если не выходить за рамки социологии — к осмыслению собственного опыта, в область философии, психологии, истории науки. Примером такого рода социальной аналитики, на наш взгляд, является статья Михаила Соколова, в которой автор стремится ответить на вопрос: почему социологи очень часто не цитируют исследования, которые имеют прямое отношение к тому, чем они занимаются? (Соколов, 2021) Пытаясь разгадать эту загадку, автор выстраивает теорию, в которой идеи и суждения из социальной психологии и социологии сплетаются с наблюдениями из повседневной жизни так, что их становится трудно различить. Что только идет на пользу самой аргументации, ведь границы между дисциплинами, согласно мысли автора, являются условными, можно даже сказать — случайными.

Рассмотренные примеры показывают, как по-разному может выглядеть социальная аналитика. И здесь нужно подчеркнуть два момента. Во-первых, постановка проблемы и выводы, к которым приходят аналитики, с необходимостью зависят от их позиции (от их ориентации на ценности, как сказал бы Макс Вебер). Это не мешает дискуссии и приращению знания, но является их необходимым условием. Во-вторых, собственно анализ в рамках социальной аналитики существует в различных формах: как философское рассуждение с привлечением эмпириче-

ских примеров и контрпримеров, как исследование и сопоставление конкретных кейсов, как поиск и обоснование обобщений с обсуждением границ их применимости. Важна не форма, не жанр, но аргументированность и добросовестность исследователя. Именно это позволяет людям с разными исходными позициями в конечном итоге соглашаться друг с другом.

Каждый сам себе аналитик?

Социальная аналитика, однако, не ограничивается стенами университетов, академий и исследовательских организаций. В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с проблемами, которые требуют правильной постановки вопроса (запроса), выбора нужной информации среди информационного «шума», анализа этой информации и в итоге — принятия решений. Например: как найти хорошего врача? Какую благотворительную организацию поддержать? Можно ли доверять этому деловому партнеру? Как лучше устроить на работу нового сотрудника? Почему в одном заведении сети большая выручка, а другое приносит одни убытки? Ответ на все эти вопросы также требует социальной аналитики, и здесь мы редко можем себе позволить отложить выводы и подождать, как мы это делаем в науке. Более того, в повседневной жизни мы наталкиваемся на те же пределы в социальном познании: собеседник может соврать, в данные может закрасться ошибка, или они могут отсутствовать, техника дает сбой, а наш собственный разум — тем более.

Вероятно, принцип «сам себе социальный аналитик» работал всегда. Однако сегодня мы находимся в ситуации, когда вопрос о социальной аналитике стоит наиболее остро. В наши дни у большинства людей есть доступ к значительным объемам данных в онлайн-среде, к инструментам их сбора, обработки и анализа. При этом старые и новые медиа дают нам доступ к разнообразным суждениям и точкам зрения практически по любым вопросам, интересующим широкую (и не очень) общественность. Таким образом, онлайн-среда, с одной стороны, предоставляет доступ к данным и стимулирует возможности научиться с ними работать, с другой стороны — блокирует нашу активность лавиной доступных объяснений и интерпретаций.

Именно здесь ключевой становится социальная аналитика — не как профессия и даже не как призвание, а как ключевое умение сознательного гражданина/потребителя. Вероятно, именно здесь могут пригодиться социологи (а также философы, экономисты, антропологи и др.) — уже как преподаватели. Принципы и составляющие социальной аналитики, о которых мы писали выше, могли бы стать подарком тем, кто получает высшее образование. И, возможно, это помогло бы ответить на вопрос: зачем нужен университет в XXI веке¹⁰?

10. Ситуация с кризисом университета еще сложнее, чем с кризисом социологии. «Конец», «катастрофа», «руины» — как только не называли исследователи положение, в котором находятся современные университеты! Впрочем, уважаемый читатель, скорее всего и сам это знает — если работает в университете.

Перспективы социальной аналитики

Итак, социология (как наука и как учебная дисциплина) только выиграет от превращения в социальную аналитику. Более того, нам представляется, что в противном случае социология однозначно проиграет. Где же обитают эти чудесные, удивительные существа — социальные аналитики? На какие деньги, в чьих интересах, в рамках каких организационных форм они проводят социальную аналитику?

Чтобы найти ответ на этот вопрос (а мы и сами хотели бы его знать!), начнем издалека. Социология возникает как попытка осмыслить новый тип общественных отношений. Из анализа отдельных эмпирических сюжетов у классиков рождаются определения современного общества: органическая солидарность (в противовес механической), рационально-легальный тип господства (в противовес традиции и харизме), капиталистическое общество (в противовес феодальному и его предшественникам). Одно из объяснений, почему социология находится в кризисе, таково: классические теории и обобщения уже не годятся, потому что характер социальных связей, экономического производства, форм управления слишком сильно изменился (Esping-Andersen, 2000). Если понимать современное общество как общество капиталистическое, это означает: либо меняется характер капитализма, либо капитализм скоро сменится чем-то иным.

Соответственно, кризис социологии определяется тем, что ее интеллектуальные ресурсы и организационные формы связаны с современным (капиталистическим) обществом. Кризис капитализма в настоящее время определяется постоянной, «хронической» неопределенностью, которая складывается под влиянием как минимум трех факторов. Первый фактор — это социально-экономические кризисы, динамика которых становится все менее предсказуемой. Второй — это природные катаклизмы, от изменений климата до текущей пандемии COVID-19. Плохо предсказуемые, они оказывают существенное, иногда решающее влияние на жизнь общества. Третий фактор — одновременное развитие онлайн-среды и технологий искусственного интеллекта (ИИ), которые вместе приводят к рождению новой социальной реальности — «искусственной социальности» (Резаев, Стариков, Трегубова, 2020).

Социология росла и развивалась вместе с распространением капиталистических отношений. Теперь, когда характер этих отношений меняется, она сама должна искать новые формы. С этих позиций, развитие социологии в начале XXI века в направлении социальной критики и участия в социальной политике представляется поиском таких форм. Однако, на наш (и не только) взгляд, попытка эта оказывается скорее неудачной (Резаев, Трегубова, 2021). Слишком часто она приводит к отказу от научных стандартов и аргументации в поисках подтверждения собственной точки зрения — что вполне ожидаемо в идеологически однородной среде.

Итак, поиск новых организационных форм (что легче сказать, чем сделать) становится необходимым условием развития социальной аналитики. Где же ис-

кать эти формы? Прежде всего мы полагаем, что они возникнут из форм старых. Кризис университета приводит к тому, что здесь и там появляются новые формы взаимодействия: здесь — междисциплинарный исследовательский коллектив, там — совместная магистерская программа. В бизнес-организациях оказывается чрезвычайно востребованной аналитика данных, над которой вместе работают математики и социологи, психологи и программисты. В рамках социальной журналистики возникает все больше добросовестных исследований, которые не только востребованы читателями, но и влияют (иногда) на принятие решений. Разумеется, возможно и возникновение совершенно новых организационных форм, и в наши дни такие формы будут почти наверняка связаны с развитием онлайн-среды.

В связи с этим мы бы хотели еще раз проговорить сюжет, к которому обращались несколько раз. Сюжет этот связан с развитием технологий искусственного интеллекта и онлайн-культуры. Почему при обсуждении социальной аналитики важно говорить об ИИ?

Во-первых, сегодня все больше данных, инструментов их сбора и анализа — а также препятствий к их сбору и анализу — находится онлайн. Для того чтобы понимать, где какие данные найти и что с ними можно сделать, нужно хорошо знать онлайн-среду и алгоритмы, поддерживающие ее функционирование, многие из которых — это алгоритмы ИИ. Таким образом, ИИ — это одновременно часть исследовательского «поля» и исследовательского инструментария. Поэтому современный социальный аналитик должен иметь некоторое знание об ИИ.

Во-вторых, развитие ИИ непосредственно связано с динамикой капитализма. Использование новых технологий меняет характер капиталистических отношений (Zuboff, 2019). Выживет ли капитализм, или нечто новое придет ему на смену — в любом случае, это произойдет не без участия ИИ. И социальная аналитика не может этого не учитывать.

Наконец, возникновение и распространение технологий ИИ меняет социальные связи и общественные отношения. ИИ становится активным посредником и участником взаимодействий между людьми, что приводит к возникновению взаимозависимости между человеком и машиной. Проблемы, возникающие в цепочках взаимодействий между людьми и алгоритмами ИИ — на производстве, дома, в городском пространстве, в онлайн-среде, — требуют особого внимания со стороны социальных аналитиков.

Социальная аналитика в эпоху ИИ, как мы уже отмечали (Резаев, Стариков, Трегубова, 2020; Резаев, Трегубова, 2021), характеризуется *а-типичностью* и *а-дисциплинарностью*.

Социальная аналитика характеризуется а-дисциплинарностью, поскольку она игнорирует дисциплинарные различия там, где они мешают поставить и решить проблему. Выше мы рассмотрели примеры исследований, в которых авторы выходят за пределы дисциплинарных границ, когда того требуют ответы на поставлен-

ные ими исследовательские вопросы. В случае проблем, связанных с ИИ, а-дисциплинарность нужна вдвойне. ИИ изначально создавался как проект, выходящий за рамки существующих научных областей. Сегодня над созданием ИИ трудятся множество узких специалистов, однако координация их деятельности требует а-дисциплинарной перспективы. Тем более ее требует анализ взаимодействий и взаимозависимостей между людьми и алгоритмами ИИ.

А-типичность связана с тем, что социальная аналитика предполагает ре-конфигурацию существующих составляющих социологии и других социальных наук для исследований не-социальных феноменов. Не-социальные феномены — это феномены, которые не описываются в терминах общественных отношений. Распространение взаимодействий и взаимозависимостей между человеком и ИИ относятся, на наш взгляд, именно к таким феноменам. Кроме того, следует упомянуть изменения климата и глобальные и региональные пандемии. Они, бесспорно, имеют социальные последствия и происходят в определенном социальном, политическом и экономическом контексте — однако отнюдь не сводятся к этому, но, напротив, оказывают обратное воздействие на социальные отношения.

Выводы

Представленные в настоящей статье рассуждения могут, как нам представляется, вызвать три типа реакций. Оптимисты с энтузиазмом согласятся с тем, что социальная аналитика должна развиваться в социологии и за ее пределами. Пессимисты будут ратовать за сохранение существующих дисциплинарных границ — или просто отвергнут идею социальной аналитики как очередную утопию. А реалисты спросят: что в этом, собственно, нового? Разве сотрудничество между учеными из разных дисциплин, широкая эрудиция, грамотная работа с данными и осмысленные исследовательские вопросы не существовали в социальной науке прошлого и позапрошлого веков?

Авторы настоящей статьи относят себя к реалистам. И на поставленный вопрос мы отвечаем: конечно, существовали и продолжают существовать сегодня. Однако сегодня этого уже недостаточно: социальная аналитика, «растворенная» в практиках социальных ученых, требует кристаллизации в новых интеллектуальных и организационных формах.

Переходя к формулировке выводов настоящих рассуждений, мы хотели бы еще раз обратить внимание на три вопроса, которые были поставлены в начале статьи, с тем чтобы дать на них предварительные ответы и суммировать тем самым наши аргументы:

1. *Каковы отличительные особенности и ключевые составляющие социальной аналитики?* Социальная аналитика характеризуется умением правильно поставить исследовательскую проблему о жизни людей в постоянно изменяющемся и долгое время находящемся в состоянии неопределенности

обществе и предложить способы решения этой проблемы адекватными методами. Ключевые составляющие социальной аналитики могут быть сформулированы в принципе «трех А»: *артикулировать* проблему/исследовательский вопрос; *анализировать*, как и что с этим делать; *аргументировать* одно из возможных решений, которое, по сути, есть не что иное, как новый вопрос.

2. *Где искать социальную аналитику сегодня?* Социальная аналитика существует в университетах, в бизнес-организациях и некоммерческих организациях, в социальной журналистике, а также в жизни рядовых граждан, которые пытаются решить возникающие проблемы на основании принципа «трех А». Социальная аналитика существует поверх дисциплинарных, организационных и институциональных границ.
3. *Каковы перспективы развития социальной аналитики в современном мире, где активно развиваются и распространяются технологии искусственного интеллекта?* Необходимость социальной аналитики диктуется кризисом современного (капиталистического) общества и сопутствующим ему кризисом дисциплинарной структуры социально-научного знания. Перспективы развития социальной аналитики связаны с возникновением новых форм исследовательской деятельности — междисциплинарных, а в перспективе — а-дисциплинарных. Исследование проблем ИИ имеет особое значение для развития социальной аналитики, так как именно здесь, по нашему мнению, наиболее очевидно проявляется необходимость и неизбежность социальной аналитики.

Вместо заключения

В завершение статьи сформулируем три суждения о социальной аналитике, вокруг которых могут выстраиваться дальнейшие дискуссии о будущем социологии:

1. Социальная аналитика представляет собой трансформацию социологического знания на современном этапе развития общества, который характеризуется постоянной неопределенностью в социально-экономическом развитии, природными катаклизмами, имеющими важные социальные последствия, а также появлением новых элементов в структурах социальных взаимодействий — технологий искусственного интеллекта.
2. Социальная аналитика использует концептуальные и методологические инструменты различных наук и сочетает разные способы исследования и формы презентации, не замыкаясь внутри узких дисциплинарных жанров. Социальная аналитика стремится к познанию общества в эпоху неопределенности, основываясь не только на достижениях точных наук, но и на понимании человеческой природы, которое содержится в философии, в гуманитарных дисциплинах, в искусстве.

3. Социальная аналитика призвана ответить на некоторые важные — для человека, для группы людей, для человечества в целом — вопросы об изменяющейся, неопределенной социальной реальности. При этом социальная аналитика предлагает не окончательные решения, но новые вопросы об этой реальности.

Литература

- Вагнер Г. (1996). Социология: к вопросу о единстве дисциплины // Социологический журнал. № 3–4. С. 60–83.
- Валлерстайн И. (2004). Конец знакомого мира: Социология XXI века. М.: Логос.
- Вахитайн В. С. (2015). Салоны и клубы. Ответ Михаилу Соколову // Социология власти. Т. 27. № 3. С. 69–80.
- Жихаревич Д. М., Резаев А. В. (2013). Тупики и повороты исторического анализа раннего капитализма: «Капиталисты поневоле» Р. Лахмана // Экономическая социология. Т. 14. № 4. С. 125–136.
- Покровский Н. Е. (2019). Левый марш международной социологии на фоне Ниагарского водопада // Социологические исследования. № 2. С. 9–15.
- Резаев А. В., Стариков В. С., Трегубова Н. Д. (2014). Сравнительная социология: общая характеристика и перспективы развития // Социологический журнал. № 2. С. 89–113.
- Резаев А. В., Стариков В. С., Трегубова Н. Д. (2020). Социология в эпоху «искусственной социальности»: поиск новых оснований // Социологические исследования. № 2. С. 3–12.
- Резаев А. В., Трегубова Н. Д. (2021). От социологии к новой социальной аналитике: кризис социологии и проблема искусственного интеллекта // Социологическое обозрение. Т. 20. № 3. С. 280–301.
- Розов Н. С. (2008). «Спор о методе», школа «Анналов» и перспективы социально-исторического познания // Общественные науки и современность. № 1. С. 145–155.
- Романовский Н. В. (2015). О «точках роста» современной теоретической социологии // Социология: методология, методы, математическое моделирование (Социология: 4М). № 40. С. 88–113.
- Романовский Н. В. (2016). Дискурс кризиса (в) современной социологии // Социологические исследования. № 4. С. 3–12.
- Соколов М. М. (2007). Величие классиков: Скромная попытка преодолеть пропасть между институциональными и интеллектуальными объяснениями // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. Т. 84. № 4. С. 144–164.
- Соколов М. М. (2015а). Социология как чудо. Процесс sense-building в одной академической дисциплине // Социология власти. Т. 27. № 3. С. 13–57.
- Соколов М. М. (2015б). Мир Смысла, он же Мир Судьбы и Сожаления: ответ Олегу Хархордину и Виктору Вахштайну // Социология власти. Т. 27. № 3. С. 81–92.

- Соколов М. М.* (2021). Наука как церемониальный обмен: теория пространств внимания, академического статуса и символической борьбы // Социологическое обозрение. Т. 20. № 3. С. 9–42.
- Филиппов А. Ф.* (2008). О понятии теоретической социологии // Социологическое обозрение. Т. 7. № 3. С. 75–114.
- Хархордин О. В.* (2015). Социология как доставка, поставка или проставка смысла жизни // Социология власти. Т. 27. № 3. С. 58–68.
- Burawoy M.* (2011). The Last Positivist // Contemporary Sociology. Vol. 40. № 4. P. 396–404.
- Collins R.* (1989). Sociology: Proscience or antiscience? // American Sociological Review. Vol. 54. № 1. P. 124–139.
- Gouldner A. W.* (1970). The Coming Crisis of Western Sociology. London: Heinemann.
- Esping-Andersen G.* (2000). Two societies, one sociology and no theory // British Journal of Sociology. Vol. 51. № 1. P. 59–77.
- Lachmann R.* (2000). Capitalists in Spite of Themselves: Elite Conflict and Economic Transitions in Early Modern Europe. New York: Oxford University Press.
- MacIntyre A.* (2007). After Virtue: A Study in Moral Theory. 3rd ed. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
- Nussbaum M.* (2004). Hiding from Humanity: Disgust, Shame, and the Law. Princeton: Princeton University Press.
- Small M. L.* (2018). Rhetoric and Evidence in a Polarized Society. Harvard University. Public lecture Coming to Terms with a Polarized Society Lecture Series. URL: https://scholar.harvard.edu/files/mariosmall/files/small_2018_rhetoricandevidence.pdf.
- Sztompka P.* (2011). Another Sociological Utopia // Contemporary Sociology. Vol. 40. № 4. P. 388–396.
- Wallerstein I.* (ed.) (1996). Open the Social Science. The Report of the Gulbenkian Commission on the Restructuring of the Social Sciences. Stanford: Stanford University Press.
- Zuboff Sh.* (2019). Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. New York: Public Affairs.

Once again about Sociology and Social Analytics in the Age of Artificial Intelligence Advancement

Andrey Rezaev

Doctor of Science (Philosophy), Director of International Research Laboratory TANDEM, St. Petersburg State University. Address: Ul. Smolnogo, 1/3, Saint-Petersburg, Russian Federation 191124.
E-mail: rezaev@hotmail.com

Natalia Tregubova

PhD in Sociology, Assistant Professor of Comparative Sociology Chair. Address: Ul. Smolnogo, 1/3, Saint-Petersburg, Russian Federation 191124.
E-mail: n.tregubova@spbu.ru

The article argues that the logic and prospects for resolving a continued crisis in sociology will lead social scientists to reconsider the idea of 'social analytics'.

The paper advances a general view of prominent scholars about sociology being in crisis since the 1970s. It articulates the theoretical and methodological necessity of transforming sociology into social analytics in the age of artificial intelligence and artificial sociality. The paper proposes the basic characteristics and discusses essential elements of 'social analytics' as a transdisciplinary and potential anti-disciplinary academic subject. The authors assert the key components of social analytics in the principle of "three A's":

- Articulate the problem.
- Analyze how and what to do with it.
- Argue one solution, which is nothing more than a new question.

The paper argues that an explicit and systematic engagement with social analytics provides a more accurate portrayal of an unstable social world. It opens the potential for empirical and theoretical inquiry into new realities in capitalism/s development and offers a compelling alternative for challenging dominant frames for discussing the future of sociology and sociologists.

Keywords: crisis of sociology, social analytics, social sciences, crisis of capitalism, artificial sociality

References

- Burawoy M. (2011) The Last Positivist. *Contemporary Sociology*, vol. 40, no 4, pp. 396–404.
- Collins R. (1989) Sociology: Proscience or antisocial science? *American Sociological Review*, vol. 54, no 1, pp. 124–139.
- Esping-Andersen G. (2000) Two societies, one sociology and no theory. *British Journal of Sociology*, vol. 51, no 1, pp. 59–77.
- Filippov A. F. (2008) O ponjatii teoreticheskoy sociologii [On the concept of theoretical sociology]. *Russian Sociological Review*, vol. 7, no 3, pp. 75–114.
- Gouldner A. W. (1970) *The Coming Crisis of Western Sociology*, London: Heinemann.
- Kharkhordin O. V. (2015) Sociologija kak dostavka, postavka ili postavka smysla zhizni [Sociology as a delivery or supply of the meaning of life]. *Sociologija vlasti*, vol. 27, no 3, pp. 58–68.
- Lachmann R. (2000) *Capitalists in Spite of Themselves: Elite Conflict and Economic Transitions in Early Modern Europe*, New York: Oxford University Press.
- MacIntyre A. (2007) *After Virtue: A Study in Moral Theory*. 3rd ed, Notre Dame: University of Notre Dame Press.
- Nussbaum M. (2004) *Hiding from Humanity: Disgust, Shame, and the Law*, Princeton: Princeton University Press.
- Pokrovsky N. E. (2019) Levyy marsh mezhdunarodnoj sociologii na fone Niagarskogo vodopada [Against the backdrop of Niagara falls, international sociology marches left]. *Sociologicheskie issledovaniya*, no 2, pp. 9–15.
- Rezaev A. V., Starikov V. S., Tregubova N. D. (2014) Sravnitel'naja sociologija: obshhaja karakteristika i perspektivy razvitiya [Comparative sociology: An overall outline and prospects for the future]. *Sociologicheskij zhurnal*, no 2, pp. 89–113.
- Rezaev A. V., Starikov V. S., Tregubova N. D. (2020) Sociologija v jepohu «iskusstvennoj social'nosti»: poisk novyh osnovanij [Sociology in the age of 'artificial sociality': search of a new basis]. *Sotsiologicheskie issledovaniya*, no 2, pp. 3–12.
- Rezaev A. V., Tregubova N. D. (2021) Ot sociologii k novoj social'noj analitike: krizis sociologii i problema iskusstvennogo intellekta [Sociology on the Way to New Social Analytics: The Crisis in Sociology and the Problem of Artificial Intelligence]. *Russian Sociological Review*, vol. 20, no 3, pp. 280–301.
- Romanovsky N. V. (2015) O «tochkah rosta» sovremennoj teoreticheskoy sociologii [About "growing points" in modern theoretical sociology]. *Sociologija: metodologija, metody, matematicheskoe modelirovanie (Sociologija: 4M)*, no 40, pp. 88–113.
- Romanovsky N. V. (2016) Diskurs krizisa (v) sovremennoj sociologii [Discourse of crisis of (in) contemporary sociology]. *Sociologicheskie issledovaniya*, no 4, pp. 3–12.

- Rozov N. S. (2008) «Spor o metode», shkola «Annalov» i perspektivy social'no-istoricheskogo poznaniya ["Dispute on method", "Annals" school and perspectives of socio-historical knowledge]. *Obshchestvennyye nauki i sovremennost'*, no 1, pp. 145–155.
- Small M. L. (2018) *Rhetoric and Evidence in a Polarized Society*. Harvard University. Public lecture Coming to Terms with a Polarized Society Lecture Series. Available at: https://scholar.harvard.edu/files/mariosmall/files/small_2018_rhetoricandevidece.pdf.
- Sokolov M. M. (2007) Velichie klassikov: Skromnaja popytka preodolet' propast' mezhdu institucional'nymi i intellektual'nymi objasnenijami [Greatness of the Classics: A Modest Attempt to Bridge the Gap between Institutional and Intellectual Explanations]. *Monitoring of Public Opinion*, vol. 84, no 4, pp. 144–164.
- Sokolov M. M. (2015a) Sociologija kak chudo. Process sense-building v odnoj akademicheskoy discipline [Sociology as a miracle. The process of sense-building in one academic discipline]. *Sociologija vlasti*, vol. 27, no 3, pp. 13–57.
- Sokolov M. M. (2015b) Mir Smysla, on zhe Mir Sud'by i Sozhalenija: otvet Olegu Harhordinu i Viktoru Vahstajnu [The World of Meaning, also known as the World of Fate and Regret: Reply to Oleg Kharkhordin and Viktor Vakhstein]. *Sociologija vlasti*, vol. 27, no 3, pp. 81–92.
- Sokolov M. M. (2021) Nauka kak ceremonial'nyj obmen: teorija prostranstv vnimanija, akademicheskogo statusa i simbolicheskoy bor'by [Science as a ceremonial exchange: A theory of attention spaces, academic status, and symbolic struggle]. *Russian Sociological Review*, vol. 20, no 3, pp. 9–42.
- Sztompka P. (2011) Another Sociological Utopia. *Contemporary Sociology*, vol. 40, no 4, pp. 388–396.
- Vakhstein V. S. (2015) Salony i kluby. Otvet Mihailu Sokolovu [Salons and clubs. Reply to Mikhail Sokolov]. *Sociologija vlasti*, vol. 27, no 3, pp. 69–80.
- Wagner G. (1996) Sociologija: k voprosu o edinstve discipliny [Sociology: bout the question of unity of discipline]. *Sociologicheskij zhurnal*, no 3–4, pp. 60–83.
- Wallerstein I. (2004) *Konec znakomogo mira: Sociologija XXI veka* [The End of the World As We Know It: Social Science for the Twenty-first Century], Moscow: Logos.
- Wallerstein I. (ed.) (1996) *Open the Social Science. The Report of the Gulbenkian Commission on the Restructuring of the Social Sciences*, Stanford: Stanford University Press.
- Zhikharevich D. M., Rezaev A. V. (2013) Tupiki i povoroty istoricheskogo analiza rannego kapitalizma: «Kapitalisty ponevole» R. Lahmana [Deadlocks and turns of historical analysis of early capitalism: Capitalists in spite of themselves by R. Lachmann]. *Ekonomicheskaja sociologija*, vol. 14, no 4, pp. 125–136.
- Zuboff Sh. (2019) *Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*, New York: Public Affairs.

«Перестать пинать мертвую лошадь примордиализма»: актуальные повестки дня в конструктивистских исследованиях этничности¹

Евгений Варшавер

Руководитель Группы исследований миграции и этничности, старший научный сотрудник, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; доцент, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Адрес: пр-т Вернадского, 82, Москва, Российская Федерация, 119571
E-mail: varshavere@gmail.com

В статье описывается положение дел в современных конструктивистских исследованиях этничности. Возникнув в 1960-х в антропологии под влиянием социологических конструктивистских теорий, эти исследования долгое время находились в диалоге с, по сути, сконструированными ими «примордиализмом» и «эссенциализмом». Этот диалог, однако, по многим причинам исчерпал себя, и направление встало перед необходимостью переосмыслить повестку дня. Попытки такого переосмысления были предприняты в ходе двух масштабных проектов 2000–2010-х годов, связанных с именами Андреаса Виммера и Канчан Чандры, однако каждый из них не является оптимальным в том, что касается возможностей созданного в их рамках теоретического языка. Вторая часть статьи посвящена описанию авторской исследовательской программы, предполагающей создание альтернативной версии языка для конструктивистских исследований этничности. Особое внимание в этой исследовательской программе уделяется смыслам, связанным с этническими категориями, их динамике и социальным последствиям. Возможности языка демонстрируются на двух примерах, взятых из исследовательской практики автора. В резюме указываются ограничения языка, а также намечаются пути для дальнейшей работы.

Ключевые слова: этничность, конструктивизм, теория, Виммер, Чандра, Брубекер, категории

Современные конструктивистские исследования этничности сталкиваются с рядом важных и сложных коллизий. Триумфально победив специально для этой цели концептуализированные «примордиализм» и «эссенциализм»² и показав, что этничность динамична, конструируется в ходе взаимодействий между людьми и структурируется вокруг этнических категорий в языке, эта область, однако, оказалась в ситуации, когда, с одной стороны, далеко не вся академия, не говоря

1. Статья подготовлена при поддержке гранта Российского научного фонда (проект РНФ № 22-78-10038) «Когда мигранты становятся местными? Представления об интеграции мигрантов, распространенные среди представителей принимающего общества».

2. В этой статье, как и в работах, на которых она базируется, несмотря на различия в семантике (примордиализм указывает на древность и внеисторичность этнических групп, а эссенциализм исходит из вечности этих групп и относится к ним как к актерам), эти термины используются синонимично. Это связано и с одним из защищаемых в статье тезисов, согласно которому эссенциализм и примордиализм это не в полной мере научные подходы, а скорее неотрефлексированные установки ученых, которые занимаются этническими вопросами, в результате чего в научной практике эти установки идут рука об руку, а конструктивизм борется одновременно с обоими.

об общественно-политической сфере, в языковом и содержательном смысле перешла на конструктивистские рельсы, а с другой — в результате этой победы — в некотором роде потеряла смысл существования. И хотя исследования на базе конструктивизма производятся на постоянной основе, на уровне общей повестки дня конструктивисты, по замечанию одного из теоретиков области, продолжают «пинать мертвую лошадь примордиализма» (Wimmer, 2013b: 2), не продвигаясь вперед. В последнее десятилетие эта проблема оказалась в фокусе рефлексии, и стали появляться большие проекты, цель которых состояла в создании общего теоретического языка для описания этнических явлений и разработке теоретических моделей, призванных объяснить функционирование этничности *per se*. Эти языки и модели, впрочем, являются своего рода «пробой пера» и имеют существенные изъяны. В этой статье производится попытка — учитывая недостатки указанных проектов и отсутствие полноценной и консистентной терминологической сетки, позволяющей работать с этническими феноменами через призму конструктивизма — предложить остов лаконичного и простого теоретического языка, на основании которого возможно осуществлять теоретическое моделирование, описывать кейсы, а также объяснять явления. Для этого сначала производится реконструкция традиции конструктивистских исследований этничности — указывается, в ответ на какие вызовы они появились, анализируются основные вехи становления области знания и фиксируются существующие в настоящий момент теоретические лакуны, затем дается описание основных элементов теоретического языка в связи друг с другом, а его возможности демонстрируются на материале двух полевых сюжетов. В резюме — указываются ограничения этого языка и предлагаются направления для дальнейшей — многоаспектной — работы по развитию конструктивистской повестки дня.

Конструктивистские исследования этничности: (ре)конструируя традицию

Конструктивистские исследования этничности — это подход, сформировавшийся после Второй мировой войны в антропологии как рефлексия над «грубым» теоретическим языком и методологическими подходами довоенной науки. Основным его инструментом стала особая социологическая оптика — конструктивизм, ключевым постулатом которого было утверждение, что социальные явления постоянно «пересобираются» в ходе взаимодействий между людьми. Этот тезис послевоенные антропологи использовали прежде всего для критики взгляда, позже получившего название «эссенциализм» или «примордиализм» и заявлявшего, что «племена», «народы» и «этнические группы» реально существуют и являются основным объектом анализа. Тезис тех, кого позже назовут конструктивистами, состоял в том, что этнические явления — как и прочие социальные явления — это представления, разделяемые людьми, а значит, не существует «племен» и «народов» как отдельного класса явлений, и, как следствие, не они должны исследовать-

ся. Но что должно тогда оказаться в исследовательском фокусе и каков желаемый результат перехода к конструктивизму в исследованиях этничности? Удивительным образом после более чем полувека триумфального шествия по аудиториям лучших научных центров и учебных заведений мира конструктивизм в исследованиях этничности едва ли сформулировал повестку дня иную, нежели показать, что, вопреки эссенциалистскому взгляду на мир, «народы» и «этнические группы» — это фантомы коллективного сознания. И потому последнее время все чаще ставится вопрос о новых целях конструктивистской науки об этничности.

Ниже сначала будет кратко описана «классическая» история конструктивизма в исследованиях этничности, затем — реконструированы две влиятельные исследовательские программы, возникшие сравнительно недавно. Лакуны и недостатки этих программ стали отправным пунктом авторской исследовательской программы, которой посвящена вторая часть статьи.

Быстрота и эффективность послевоенной рецепции социологического конструктивизма антропологией связана с тем, что последняя на тот момент находилась в кризисе и, по сути, потеряла объект исследования. Дело в том, что на ранних этапах становления институциональной антропологии как полевыми, так и кабинетными антропологами объект исследования этой науки специальным образом не рефлексировался, поскольку и так сразу же бросалось в глаза отличие «туземцев» от «цивилизованных людей». «Туземцев» и следовало изучать. Человеческие коллективы, в которых жили «туземцы», назывались «племена». В рамках сформировавшегося к середине XIX века эволюционизма, кроме того, эти «племена» рассматривались как социальные формы, предшествовавшие складывавшимся на тот момент европейским нациям. По мере развития и профессионализации антропологии, однако, становилось понятно, что антропологический материал крайне разнообразен, и «племена», которые постепенно — в статьях и книгах — стали называться «этнические группы», различаются между собой по количеству членов в сотни и даже тысячи раз и далеко не всегда имеют четко очерченные границы членства. Самая же большая проблема состояла в невозможности выделить единственный, воспроизводящийся от контекста к контексту, признак, определяющий такие группы. Язык? Общность хозяйственной жизни? Наименование? Общность территории? Эти и другие признаки причудливым образом комбинировались от контекста к контексту, и всегда находились исключения, в рамках которых люди, называвшиеся одинаково, не вели совместное хозяйство и не жили на одной территории, а называвшиеся по-разному говорили на одном языке и так далее. Становилось понятно, что для того, чтобы продвинуться вперед, нужно принципиально изменить подход, однако сделать изнутри дисциплины это было невозможно. И тогда антропологи обратились за теоретическими ресурсами к социологии, прежде всего к социальному конструктивизму.

Встреча классической антропологии и социологических конструктивистских исследований происходит в 1969 году с выходом в свет известного сборника статей «Этнические группы и границы: о социальной организации культурных различий»

под редакцией Ф. Барта (Barth, 1969a). Написанное им введение (Barth, 1969b) стало классикой конструктивистских исследований этничности. Современная антропология, пишет Барт, определяет в качестве объекта «этнические группы» и обычно рассматривает их как своего рода «контейнеры» для «культуры», которые складываются в результате адаптации к окружающей, прежде всего природной, среде. Между тем, продолжает Барт, ссылаясь на социолога-конструктивиста Э. Гофмана (Гофман, 2000), «культура» групп в значительной степени формируется во взаимодействии с другими «этническими группами». В ходе этого взаимодействия устанавливаются и поддерживаются принципы, согласно которым люди определяются как члены той или иной группы, а также складываются правила взаимодействия между разными людьми в связи с этим членством. Совокупность этих принципов и правил Барт и назвал «этнической границей», понимая ее, таким образом, не пространственно, а прежде всего социально и даже социологически, поскольку граница, согласно его концептуализации, не привязана к конкретным индивидам. В некоторых обстоятельствах они могут «переходить границу», т. е. менять категорию принадлежности, но сама граница — категории и правила, с ними связанные — продолжит существовать. Фокусировка на таких «переходах» — важный методологический ход, предпринятый Бартом с коллегами, и демонстрации того, как это возможно, посвящено несколько статей сборника. В частности, сам Барт (Barth, 1969c) рассказывает, в каких обстоятельствах горделивые пуштуны, живущие в окружении белуджи, для того, чтобы не прослыть среди прочих пуштунов оппортунистами, перестают определять себя в качестве пуштунов и — для себя и остальных — становятся белуджи, а коллега Барта по Бергенскому университету Гуннар Холанд (Haaland, 1969) описывает, как в Судане земледельцы фур, сталкиваясь с необходимостью инвестировать излишки зерна в скот, а затем и выпастать его, в связи с тем, что этническая категоризация на описываемой территории привязана к занятиям, перестают считаться фур и становятся кочевниками-багарра. Таким образом, именно Барт эксплицитно синтезировал социологические конструктивистские исследования и современную ему антропологию, а сборник под его редакцией стал знаковым в части перехода от изучения «групп» и их «культуры» к изучению категорий и разнообразия смыслов, с этими категориями связанных.

Упомянутый сборник статей — это своего рода символ «конструктивистской революции» в исследованиях этнических явлений, но, как и прочие научные революции, эта не произошла в одночасье, а ее постфактум описание неизбежно будет крайне грубым обобщением. В конечном счете конструктивистские по духу работы публиковались и до Барта, при этом писались они как на классическом антропологическом материале (Mitchell, 1956), так и на материале, с которым обычно работали социологи (Drake, Cayton, 1945). Осложняет описание традиции и то, что развитие конструктивистского языка происходило нелинейно, а слова из конструктивистского лексикона нередко использовались и до сих пор используются в работах, к конструктивизму не имевших никакого отношения. Более того,

вопреки расхожему мнению, согласно которому слово «этничность» — в форме существительного — это своего рода лейбл для конструктивистских исследований, далеко не всегда работы, в которых употребляется слово «этничность» — конструктивистские, равно как не всегда в конструктивистских работах это слово вообще употребляется. Достаточно сказать, что Барт его не использует и выражается вполне «эссенциалистски».

Одновременно, в том же 1969 году, выходит работа за авторством Абнера Коэна «Традиции и политика в африканских городах» (Cohen, 1969), где слово «этничность» становится термином, призванным описать явления, которые затем окажутся в традиционном фокусе конструктивистского анализа. Коэн указывает, что этничность — это «вражда между <...> этническими группами, в ходе которой люди подчеркивают свою идентичность и исключительность» (Cohen, 1969: 4), но тут же пишет, что, хотя это слово широко используется в социологии, оно не является четко определенным (Cohen, 1969: 3). Более того, скорее всего уже тогда оно начинает активно использоваться и вне академии, где означает не взаимодействие, построенное на идентичности, как у Коэна, а то, что раньше означало слово «раса» (Banks, 1996: 162). В результате повседневные описания этнической реальности оказались несколько «конструктивизированы», но произошло это за счет маргинализации непосредственно конструктивистских значений слова «этничность» и возможностей его терминологического использования.

В течение следующих нескольких десятилетий развивалась конструктивистская социальная теория, иногда использовавшая этнические сюжеты в качестве материала для иллюстрации теоретических ходов (Bourdieu, 1991: 220-251), перечитывалась (Jackson, 1982) классика (Вебер, 2017: 68-82) в поисках конструктивистских пониманий этнических явлений, осуществлялось теоретическое осмысление этнического, все больше тяготеющее к конструктивизму (Van den Berghe, 1987), проводились эмпирические конструктивистские исследования в областях, связанных (Nagel, 1994; Pollis, 1996) и не связанных (Lorber, Farrell, 1991) с этничностью, а также на границе этих областей. Если говорить про подобные — тематически смежные — исследования, знаковым можно считать 1983 год, когда одна за другой публикуются ставшие классическими книги, посвященные национализму (Gellner, 1983; Anderson, 1983; Hobsbawm, Ranger, 1983), в совокупности, вероятно, производившие большое впечатление на читателей, и вряд ли их конструктивистский драйв мог не впечатлить тех, кто эксплицитно занимался этничностью. В таком — довольно аморфном — виде исследования этничности подошли к следующему важному моменту, связанному с публикацией в 2002 году статьи «Этничность без групп» Роджерса Брубекера (Brubaker, 2002).

Для того чтобы понять революционность этой статьи, а затем и одноименной книги (Brubaker, 2004), нужно вернуться к вопросу об объекте исследований этнических явлений. Уже влиятельная на тот момент конструктивистская традиция демонстрирует, что «племена», «этнические группы» и «нации» являются продуктами воображения и взаимодействия между людьми, закрепленными в институ-

тах и практиках. Однако возникает вопрос — что именно должно оказаться в непосредственном фокусе внимания исследований. Следует продолжить изучать эти — по-разному называемые — человеческие коллективы, но уже в качестве конструктов? Но не столкнутся ли тогда исследователи с тем, что вместе с обывателем, представления которого их исследования призваны деконструировать, они окажутся в плену этой воображенной реальности и, понимая сконструированность их природы, тем не менее не будут иметь в своем распоряжении рычага для анализа этих представлений? Или следует сместить фокус? Если да, то на что? Большинство исследователей-конструктивистов неререфлексивно шли по первому пути. В качестве примера можно привести влиятельную книгу Дональда Горовица (Horowitz, 1985), обладающую мощным конструктивистским драйвом, однако называющуюся «по-эссенциалистски» — «Этнические группы в конфликте».

Брубекер предложил «отвязать» идею этничности от идеи группы и отказаться от изучения этнических групп и взаимодействия между ними. Каким образом это можно сделать? За счет перемещения фокуса исследования на этнические категории, а также посредством рассмотрения организационного и — шире — институционального контекста взаимодействий, в ходе которых категории осмысляются и заставляют людей действовать тем или иным образом. С помощью этой работы конструктивисты смогли оторваться от довлевшего «группистского» (классический термин Брубекера) языка, а кроме того, стало понятно, что именно нужно изучать для того, чтобы объект исследования был нужным образом описан. Вместе с тем статья оставила ряд вопросов, среди которых — что этот новый теоретический язык (а точнее, его набросок) дает в части понимания социальных процессов, а также что именно является новым объектом изучения? Этничность? Конструирование? Категории? Организации? Коммуникация? Все это вместе? На вопрос о прагматике Брубекер отвечает (пусть и немного исподволь) и, в частности, указывает на то, что, например, переописание этнических конфликтов не как конфликтов между этническими группами, а как конфликтов между организациями, с разной степенью успешности мобилизующими население, которое, в свою очередь, в той или иной степени идентифицирует себя с теми или иными этническими категориями, и — в связи с этим или с другими факторами — в разной степени мобилизуется, позволяет увидеть рычаги воздействия на ситуацию и в конечном счете решить конфликт. Однако вопрос о новом объекте, по сути, остается подвешен, равно как Брубекер не предлагает ни конкретных теоретических схем, ни эмпирических ходов для анализа этнических явлений. Продвижения в этом направлении были осуществлены в рамках двух крупных посвященных этничности «пост-брубекерианских» проектов, связанных с именами Андреаса Виммера и Канчан Чандры.

В проекте Виммера работа строилась вокруг метафоры «этническая граница», заимствованной у Барта, от «Этнических групп и границ» которого, равно как и от «Этничности без групп» Брубекера, он отталкивается. Этот проект носит широкий компаративный характер, и замысел автора состоит в том, чтобы «пере-

стать пинать мертвую лошадь примордиализма» (Wimmer, 2013b: 2), упорядочить конструктивистские представления и интегрировать их в универсальную теоретическую схему и понятную эмпирическую повестку дня. Для этого он публикует несколько теоретических работ (Wimmer, 2008a, 2008b, 2009) и эмпирических исследований (Wimmer, 2004, 2010), призванных создать всеобъемлющее концептуальное полотно, а также показать, как некоторые его элементы могут быть исследованы. В 2012 году эти статьи выходят в качестве подытоживающей книги «Производство этнических границ: институты, власть, сети» (Wimmer, 2013b). Основная идея Виммера состоит в том, что границы имеют два аспекта — категориальный и социальный. Категориальный завязан на социальные классификации и коллективные репрезентации, социальный — на разделении социального мира на своих и чужих, а также на поведенческие скрипты, которые следуют из этого разделения. Эти два аспекта границ связаны между собой. В эмпирических исследованиях категориальный аспект изучается прежде всего посредством разных методов работы с языком (из которых самый очевидный это интервью), а социальный — посредством сетевого анализа. Продвигаясь от описания реальности к ее объяснению, Виммер предлагает сложную многоуровневую схему, основная цель создания которой — объяснить конструкцию границ, а также их стабильность или изменчивость. В этой схеме выделяется три уровня — институциональный, сетевой и индивидуальный. Основная идея состоит в том, что выбор стратегий «производства этнических границ» (термин Виммера, по-английски «ethnic boundary making») акторами осуществляется в связи с «правилами игры» разного радиуса действия, и если «национальные государства» как общая рамка для изменения этнических границ — это недавняя, но почти универсальная реальность, то, скажем, степень сетевой закрытости тех или иных меньшинств, а также характеристики распределения благ, с этой закрытостью сопряженные, это институциональный фактор гораздо более «дробный», различающийся от контекста к контексту и по-разному влияющий на идентификацию с теми или иными категориями, а также на выбор друзей, партнеров по бизнесу и супругов. В статье и соответствующей главе книги (Wimmer, 2013a), посвященной эмпирическому исследованию категорий как аспекта границ, Виммер показывает, как, изучая дискурс о мигрантах в швейцарских городах, можно выяснить, что не номинальные «этнические» категории руководят представлениями и группировкой, а представление о том, что есть «укорененные» и «новые», и что первые — соблюдают порядок, вторые же — его нарушают. В категорию «укорененных» при этом попадают швейцарцы, а также «старые» мигранты из Испании, «новички» — это недавние мигранты из Турции и Африки. В другой эмпирической работе (Wimmer, Lewis, 2013) в фокусе оказываются дружбы студентов одного американского колледжа в том виде, в каком они предстают в фейсбуке, а точнее, согласно этому исследованию, друзья — это те, кто отмечает друг друга на фотографиях. Основной целью этого исследования было отделить номинальную принадлежность к тем или иным категориям от фактических оснований для дружбы, и соответствующие

сетевые статистические модели позволили это сделать. Было показано, что, если черные часто дружат друг с другом только на основании цвета кожи, азиаты так поступают реже и дружба между ними гораздо чаще складывается на основании страны происхождения или в связи с прочими факторами, к которым может относиться, например, направление обучения, музыкальные предпочтения или опыт учебы в престижных колледжах. Что же касается белых — цвет кожи в их случае основанием для дружбы не является никогда, и в каждом случае следует искать «дополнительный» фактор, объясняющий связь между двумя белыми. Проект Виммера — это важная попытка создания, во-первых, нового консистентного языка описания этнической реальности, во-вторых, моделей для ее объяснения, в-третьих, конкретных сложных эмпирических ходов для полевого исследования этой реальности. Насколько у него это получилось? Наряду с достоинствами, к которым можно отнести теоретическую фундированность каузальных моделей, предложение остроумных ходов для решения методологических проблем, а также эксплицитную интеграцию сетевого анализа в исследование этничности, можно выделить и ряд недостатков. К таковым относятся и сложность теоретической схемы, и неочевидность операционализации основных концептов (путь от схемы до полевых дизайнов является не самым тривиальным), и уход от проблемы отделения этнических феноменов от всех прочих. Главным же недостатком проекта, однако, по всей видимости, является ограниченная описательная и объяснительная способность ключевого концепта проекта — этнической границы. Виммер пишет, что к этому понятию надо относиться как к продуктивной метафоре, однако всякий раз, когда оно используется для описания тех или иных сетевых конструкций или дискурсивных ходов, остается непонятным, что именно — какие риторические ходы или конструкции сетей — в каждом случае является границей. Граница в сетевом смысле — это отсутствие связей между акторами или это особый тип связи, но что в таком случае отличает этот тип связи от всех остальных? А кроме того — между чем и чем пролегает граница и что она разделяет³? В личном разговоре после презентации книги на конференции ASN в 2014 году в Филадельфии Виммер признавал многие недостатки подхода и уже предлагал уходить от термина «граница», а больше внимания уделить идее «конструирования границ». Однако если в исследованиях категорий это еще можно применить, сетевой аспект (пожалуй, более важный для Виммера) оказывается в этом отношении «просевшим». Будучи полезной 50 лет назад в качестве прорывной метафоры, позволившей перейти к объяснению «культурного содержания» этнических групп, «этническая граница», по всей видимости, себя исчерпала и уж точно оказалась довольно слабым теоретическим концептом, не способным заменить «этническую группу» в качестве ключевого объекта исследований этничности. Этот — несущий — изъян теоретического языка, несмотря на титаническую работу Виммера по осмыслению достижений конструктивизма и важных теоретических предпо-

3. Этот вопрос в особенности релевантен в свете того, что Виммер — бруклинский философ, а не философ-теоретик, и как онтологически, так и методологически предлагает уходить от вещности концептов.

ложений и эмпирических решений, таким образом, оставляет открытым вопрос о продуктивных вариантах рамочного теоретического языка для изучения этничности и новом — четко сформулированном — объекте исследований. Не в полной мере это удастся и другому ключевому теоретику — политологу Канчан Чандре.

Вокруг Чандры и ее работ разворачивается другой масштабный проект, посвященный этничности. Как и Виммер, Чандра отталкивается от того, что конструктивизм, долгое время развивавшийся в споре с эссенциализмом/примордиализмом, более не может этого делать в связи с тем, что уже одержал безоговорочную победу. Это значит, что пришло время подытожить все то, что было открыто в ходе этого спора, и двинуться вперед. Движение вперед, согласно Чандре, предполагает кумуляцию знания посредством формулировки и проверки разного рода уже чисто конструктивистских гипотез, связанных с этничностью. Но для того, чтобы это происходило эффективно, необходимо создать язык, призванный именовать явления, в отношении которых и будут сформулированы гипотезы. Результаты усилий Чандры на этой ниве сначала были опубликованы в виде нескольких статей (Chandra, 2006; Chandra, Wilkinson, 2008), а затем — в виде монографии (Chandra, 2012). В этих работах она финализовала теоретический язык и — вместе с коллегами — «опрокинула» его на разные области политологических исследований: выборы, погромы, сецессии, патронаж, несостоявшиеся государства и др. Ниже реконструирована ее теоретическая модель.

В качестве центрального концепта Чандра использует термин «этническая идентичность». Отталкиваясь от неопределенности предиката «этническая», она довольно подробно описывает разнообразие конструктивистских определений этого и сходных явлений и приходит к выводу, что общим местом для них является, во-первых, то, что большинство этих определений так или иначе говорят о важности «происхождения» (реального или воображаемого), во-вторых, параллельно с «происхождением» эти определения часто указывают на те или иные культурные или фенотипические атрибуты, которые «объединяют» классифицируемых в качестве относящихся к тем или иным «идентичностям». Затем она указывает, что никогда не находится одного культурного или фенотипического атрибута, который был бы важен во всех контекстах, и на этом основании предлагает определить этническую идентичность как тип социальных категорий, в которых «базирующиеся на происхождении» (descent-based) атрибуты оказываются необходимыми для членства. Вслед за этим она — довольно детально — объясняет, что такое «базирующиеся на происхождении»: речь идет об особых правилах членства в воображаемых коллективах, которые в общем случае классифицируют некоторого человека в качестве принадлежащего к категории, если к ней принадлежат его родители.

Дав это определение, Чандра переходит к каркасу теоретического языка. Согласно этому языку, идентичности состоят из категорий и атрибутов. Категории — это слова, вокруг которых структурируются идентичности, атрибуты — это характеристики, связанные с соответствующими категориями, которые указывают

на принадлежность человека к той или иной категории, например, цвет кожи, язык, фамилия и проч. Эти атрибуты различаются по степени «прилипчивости» (stickiness) и «видимости» (visibility). Далее, существуют номинальные и активированные этнические идентичности. Номинальные идентичности — это все те идентичности, которые теоретически может «принять» на себя человек, основываясь на тех атрибутах, которые у него есть, активированные идентичности — это те, которые человек принимает на себя фактически. Каждый контекст описывается через номинальные и активированные идентичности. Основную задачу Чандра видит в том, чтобы изучать изменения категориального ряда (или отсутствие таких изменений), а также его детерминанты. Такое изучение возможно на индивидуальном, локальном и страновом уровнях, а также применительно к тем или иным идентичностям. Локация (в т. ч. страна) может быть описана посредством экспликации всех номинальных идентичностей и атрибутов, а также «пересечения» разных категорий и атрибутов, в рамках чего становится понятно, на какие идентичности каждый индивид в локации «имеет право» и как эти «права» распределены по людям. Наибольшей динамикой обладают активированные этнические категории, однако меняться может и ряд номинальных категорий, и атрибуты, связанные с первыми и вторыми. Более того — изменения всех этих компонент может быть связано друг с другом. И это само по себе может быть объектом изучения.

Что дает, по мнению Чандры, новая оптика? Прежде всего она указывает на то, что в «исследованиях прошлого», когда речь шла об этничности, зачастую не различали номинальные и актуализированные категории. Более того, в этих исследованиях этничность зачастую рассматривалась как фактор внешний по отношению к социальным процессам, своего рода идеальная независимая переменная или даже константа, которая стабильна и не объясняется разного рода социальной динамикой. И правда в такого рода исследованиях — особенно ярко это проявляется в хронологических рядах данных — значения этнических переменных (например, этническая фрагментированность) обычно — в отличие от значений прочих переменных — не меняются от года к году и этнические явления, таким образом, конструируются как неизменяемые, а это не так. Признание же изменчивости этнических категорий и помещение их в таком качестве в фокус исследований позволяет под иным углом рассмотреть разнообразие вопросов. Например, в исследованиях несостоявшихся государств, где этот факт ранее объяснялся этническим разнообразием, стало возможно увидеть то, как распад государства влияет на производимое этническое разнообразие. Логика здесь следующая: государство, среди прочего, является активным агентом производства и поддержания разнообразия посредством «официальных» этнических категорий; в момент распада государства ослабевает и официальная рамка для управления разнообразием, и это разнообразие может пересобратиться совершенно иным образом. В иной форме предстает и исследование этничности в электоральных процессах. В «эссенциалистских» проектах электоральный процесс рассматривался как соревнование стабильных

этнических групп, представленных «своими» этнопартиями. В конструктивистской же логике Чандры основной акцент должен делаться на то, как политики, с одной стороны, и электорат, с другой, выбирают, какие категории следует актуализировать исходя из текущей повестки дня, и лавируют между эмоционально заряженными патрикуляризмами и более массовыми (а значит, потенциально более сильными политически) инклюзивными рамками.

Проект Чандры, безусловно, является важным шагом в понимании этничности. Несомненный плюс работы — сама по себе постановка вопроса и указание на то, что даже в конструктивистских исследованиях не очень понимают, что, собственно, исследуется. Полезна базовая концептуальная работа, в частности, именно Чандра четче всех заявляет о том, что этничность связана с правилами членства, которое в общем случае наследуется. Чандра качественно и глубоко работает с категориальным аспектом этничности — указывает на то, что категории и их популярность меняются, и предлагает теоретические инструменты для того, чтобы понять, почему это происходит. Это выглядит полноценной повесткой дня для эмпирических исследований, цель которых — зафиксировать и измерить категориальные изменения. Важен и «объединительный» посыл ее работы. Она четко определяет себя в пространстве конструктивистских теорий, а также довольно точно диагностирует настоящее положение вещей — продвижения и лакуны. Работы Чандры являются одними из важнейших среди появившихся за последние 20 лет.

Однако и у них есть ряд недостатков. Прежде всего вызывает вопросы выбор базового термина и его концептуализация. Термин «идентичность» включен в схему в качестве ключевого концепта без какой-либо концептуальной проработки и без обращения к разнообразной его критике, в том числе и в области исследований этничности (Brubaker, Cooper, 2000). Это еще удивительнее, если принять во внимание, что в текстах Чандры термины «идентичность» и «категория», по сути, взаимозаменяемы. При таком подходе «идентичность» по аналогии с «границей» вряд ли может считаться тем самым потерянным, а затем найденным объектом для исследований этнических явлений. Другая проблема состоит в том, что, делая упор на категориях и категориальных изменениях, Чандра почти полностью игнорирует смыслы категорий, которые, во-первых, важны в том, что касается детерминации человеческого поведения, во-вторых, изменчивы в той же степени, в какой изменчивы категории. Неочевидными являются, кроме того, импликация ее подхода для эмпирических исследований. Изучение разрыва между номинальными и активированными этническими категориями предполагает основанный на комбинаторике перебор всех существующих номинальных категорий и пересечение их со всеми существующими атрибутами, однако и то, и другое — это открытый список, инструментов его закрытия Чандра не предлагает.

Все это заставляет рассматривать работу Чандры как лишь один из возможных вариантов современного конструктивизма. Из нее можно почерпнуть некоторое количество теоретических ходов, среди которых — указание на необходимость

рассмотрения этничности в качестве не константы, а переменной. Важно данное ею определение этничности, а также общее описание положения дел в конструктивистских исследованиях этого явления. Тем не менее указанные недостатки говорят о необходимости как минимум инкорпорации некоторых важных элементов в построения Чандры, как максимум — создания альтернативного теоретического проекта, который, и в этом с ней можно согласиться, сыграет важную роль в дальнейших продвижениях в понимании этничности.

Виммера и Чандру можно считать последними крупными теоретиками этничности. С начала 2010-х годов, когда увидели свет их монографии, новых больших проектов, в рамках которых бы велась работа по реконцептуализации области, не осуществлялось, и, таким образом, можно указать на элементы нового консенсуса и зафиксировать расхождения, лакуны и направления для потенциального развития. Итак, в ходе более чем 50 лет конструктивистских исследований этничности были сформулированы в качестве таковых и опровергнуты эссенциалистские представления, среди которых основным было рассмотрение этнических групп в качестве основного объекта анализа этнических явлений. В рамках нового — конструктивистского — консенсуса группы позиционируются как социальный конструкт, типичный способ рефлексии акторов разного порядка над этническим разнообразием, но не ключ к пониманию этнических явлений. Хотя официальная «вакансия» ключевого объекта конструктивистских исследований этничности не закрыта, можно говорить, что универсальным элементом конструктивистского консенсуса на сегодня является внимание к категориям в языке как «точкам сборки» этнических явлений. Таким образом, если попытаться сформулировать этот консенсус, он будет состоять в том, что этнические явления конструируются, и это конструирование происходит вокруг этнических категорий. Этот тезис кажется тривиальным, однако именно его тривиальность лучше всего иллюстрирует состояние области — дело в том, что большинство «рядовых» исследований ничего помимо этого не заявляют, а их теоретический вклад обычно состоит в указании на то, что этничность конструируется немного по-разному в разных локальных контекстах, в ходе этого процесса используются немного разные ресурсы воображения и т. д. Это своего рода «эффект колеи» — конструктивизм отталкивался от эссенциалистских представлений и опровергал их, и, хотя тем, кто погружен в соответствующий теоретический контекст, очевидно, что эссенциализм не является сколько-нибудь релевантной рамкой, сила инерции редко позволяет появляться иным тезисам. В связи с этим сложно не согласиться с Виммером и Чандрой, которые — независимо друг от друга — предлагают сделать шаг вперед и, отказавшись от потерявшего смысл диалога с эссенциалистами, сформулировать новую исследовательскую повестку дня. И Виммер, и Чандра предлагают свои программы, однако в обоих случаях возникает ряд проблем концептуального и операционального характера, и все это не позволяет полноценно использовать их программы для исследований. Что «проседает» в обеих программах? Пожалуй, важнейшим их «слепым пятном» является то, что, концентрируясь

на категориях и членстве в них, они не уделяют внимания разнообразию смыслов, которые связаны с категориями. Между тем — в той мере, в какой, согласно Барту, этничность — это прежде всего интерфейс для взаимодействий и сигнальная система — именно смыслы категорий, а не категории *per se* определяют то, как этничность структурирует отношения и поведение в целом. К этим смыслам относятся и типичные описания представителей тех или иных категорий, или, говоря психологически, стереотипы, и — нормы, которые описывают то, что значит «быть» представителем той или иной категории, а также то, как с представителями той или иной категории себя вести. Если Чандра игнорирует этот вопрос практически полностью, сводя его к «атрибутам», через которые определяется возможное и реальное членство в категориях, то Виммер все-таки включает его в модели, говоря, например, о «закрытости», которую практикуют «меньшинства», то есть, по сути, о нормативности, регулирующей членство. Впрочем, эксплицитной частью теоретического языка в его случае смыслы не являются.

Во второй части статьи будут представлены наброски альтернативной исследовательской программы, которая, интегрируя наработанное в рамках конструктивистских исследований этничности, предлагает особый концептуальный язык, позволяющий изучить феномен этничности оптимальным образом, теоретические модели и гипотезы, которые можно сформулировать на основании этого теоретического языка, а также полевые операционализации, которые позволяют реализовывать эмпирические исследования, необходимые для проверки этих моделей. Также будут приведены примеры из исследований автора. В заключении будут указаны направления для дальнейшей концептуальной и полевой работы.

Теоретический язык и примеры его использования

Прежде всего в той мере, в какой важно определить объект исследований и сделать это достаточно однозначно, в рамках этой программы утверждается, что этим объектом становится этничность. Этничность не определяется жестко, рамочное ее определение заимствуется из работ Валерия Тишкова (Тишков, б.д.), который, в свою очередь, берет его из названия книги Барта, однако в данном случае это определение дается с модификацией, которая заимствуется из работ Чандры. Согласно определению, этничность — это *социальная организация различий, сконструированных вокруг категорий, членство в которых преимущественно наследуется*. Это определение интегрирует важные и в целом консенсуальные ходы. Во-первых, в его рамках осуществляется уход от попытки включить в определение все те основания, которые в разных контекстах являются индикаторами принадлежности к категориям. Во-вторых, расовые, этнические, национальные и прочие различия в нем не выделяются в отдельные феномены и редуцируются к этническим. В-третьих, согласно этому определению, в отдельное явление этничность выделяется в той мере, в какой принадлежность к категориям в общем случае передается от родителей к детям. В-четвертых, в нем подчеркивается, что раз-

личия одновременно и организуют социальные взаимодействия, и сами по себе являются следствием социальных процессов. Если последний пункт — общее место в рамках конструктивистской теории в целом, первые три требуют короткого пояснения.

Усилия по определению этнических феноменов — идет ли речь об эссенциализме, где в фокусе оказываются группы, или о конструктивизме, который отказывает группам в существовании, но настаивает на ключевой роли категорий — сталкиваются с одной и той же проблемой. Эта проблема состоит в том, что основания для различения и группировки в разных контекстах оказываются разными, и если в одних контекстах люди различаются и группируются по языку, притом что выглядеть они могут очень по-разному, в других — язык оказывается один на всех, при этом основанием для различений и группировки оказывается религия, а в третьих — все говорят на одном языке, верят в одного бога, но по-разному выглядят, и это оказывается самым важным. Долгое время эти контексты исследовались по отдельности, и в каждом из них объект определялся по-разному, однако по мере интеграции науки исследователи приходили к мысли, что — идет ли речь об американских расах, советских национальностях, европейских нациях или африканских племенах — речь идет об одном и том же явлении. Однако если это так, то что является «общим знаменателем», позволяющим выделить этнические явления из всех прочих? Постепенно — методом проб и ошибок — конструктивизм пришел к тому, что единственное, на что можно опереться в их определении, является то, что всякий раз речь идет о регуляции членства в сообществах, которое по умолчанию в общем случае передается от родителей к детям и именно этим этнические явления отличаются от всех прочих. Да, это не всегда так, и конструктивизм исторически критикует взгляд, согласно которому этот принцип работает бесперебойно и является единственным основанием для определения членства в коллективах. Более того, некоторые контексты, например, национальные, за счет института принятия в гражданство довольно далеко отошли от этого понимания даже на неофициальном уровне. Однако в той степени, в какой это понимание существует в сознании людей, этнические явления продолжают существовать, и — в силу того, что, как принято считать, у американских черных рождаются американские черные, у ногайцев рождаются ногайцы, а у немцев рождаются немцы — американские расы, советские национальности и европейские народы оказываются рядоположенными явлениями, которые (а точнее, их конструирование) и становятся объектом исследования этничности.

Есть и другая проблема. Как и в других определениях этничности (например, тех, где ключевым словом является «культура»), находятся явления, которые классифицируются как этнические, но интуитивно таковыми не являются. Наиболее очевидная несостыковка в данном случае — это членство в семье, которое также передается от родителей к детям. Но содержание мнимых неточностей может парадоксальным образом указать на верность общего правила, и если учесть, что семья на протяжении истории была прежде всего политическим союзом, попол-

няемым прежде всего за счет детей его членов, эта неточность оказывается эвристически полезной.

Здесь важно, однако, привести еще одну линию рассуждений, которая приводит к выводу, что действительно существует отдельный класс этнических явлений, в целом схожих между собой и одновременно отличающихся от всех прочих, и тем самым поспорить с мнением, согласно которому этничность — это аналитически бессмысленный исследовательский конструкт, а контексты, в которых люди классифицируются на основе языка, религии, внешности и прочих параметров, следует изучать вне связи друг с другом (Филиппов, 2005). Эта линия рассуждений отсылает к ряду эволюционно-психологических исследований (Hirschfeld, 1996; Gil-White, 2001; Kurzban, Tooby, Cosmides, 2001; Cosmides, Tooby, Kurzban, 2003) и использует соответствующую аргументацию. Согласно этим исследованиям, есть небольшое количество характеристик, которые человек «считывает» про другого человека почти мгновенно. К ним относятся возраст и пол, а также — поскольку большинство этих исследований делалось в США — расовая принадлежность. Скорость «считывания» указывает на то, что оно осуществляется почти автоматически, а значит, речь идет о врожденных механизмах. В той мере, однако, в какой раса — это социальный конструкт, а расовые контексты сложились по эволюционным меркам даже не вчера, а сегодня, можно предположить, что автоматическое считывание расовой принадлежности — это надстройка над механизмом, который сформировался в ответ на другие вызовы. Согласно двум основным гипотезам, этими вызовами являлась необходимость, с одной стороны, различать виды животных, с другой — «считывать» альянсы людей: выживали те, кто делал это эффективнее других, и соответствующие механизмы закрепились эволюционно. Возвращаясь к аргументу: этнические явления, таким образом, выделяются в отдельный класс в связи с тем, что они — вне зависимости от контекста — «эксплуатируют» одни и те же врожденные психологические механизмы, и эти механизмы отличаются от тех, которые используются при осуществлении прочих социальных классификаций. Эволюционно-психологическую аргументацию и стоящую за ней эмпирику следует разбирать отдельно, равно как важной задачей является «представление» этих исследований социологам и антропологам, которые занимаются вопросами этничности, однако в той мере, в какой вызывает вопросы концептуальное объединение в один класс явлений того, что принято изучать «под брендом» расовых отношений, национализма, религиозных конфликтов и проч., — эта аргументация оказывается сильным свидетельством в пользу такого объединения.

Следующий шаг состоит в том, чтобы указать на конструируемые в рамках создаваемого подхода явления и наименовать их. В конструктивизме утверждается, что этничность структурирована вокруг этнических *категорий*. Этническими категориями становятся в тот момент, когда они удовлетворяют условию определения этничности, т. е. принадлежность к этим категориям наследуется. Однако, как отмечалось выше, сами по себе категории еще не способны структурировать отношения, это делают *атрибуты* категорий, под которыми понимается все разнооб-

разии смыслов, связываемых с категорией. Эти смыслы могут быть очень разными. Самый очевидный тип таких атрибутов — это когнитивные генерализации, также известные как стереотипы (American Psychological Association, 2020). Однако ими дело не ограничивается, и к атрибутам относятся, например, еда и одежда, места и географические абстракции, конкретные люди, типичные отношения с другими этническими категориями и многое другое. Единственным критерием является то, что эти явления атрибутируются категориям, т. е. в представлениях людей есть связь между атрибутом и категорией. Атрибуты, таким образом, охватывают большое разнообразие явлений, и следующий несущий элемент теоретического языка также можно было бы считать атрибутом, однако в силу его важности и с известной долей условности он включается в язык на отдельных основаниях. Речь идет о *нормах*. Нормы связаны как с категориями, так и с атрибутами и описывают то, как нужно себя вести будучи представителем той или иной категории или во взаимодействии с ним. Категории, атрибуты и нормы — это три базовых элемента теоретического языка, и — все вместе — они формируют *конструкцию этничности*, представляющую собой всю совокупность категорий, атрибутов и норм, а также связей между ними в так или иначе ограниченном контексте. Конструкция этничности, таким образом, это элемент социальной структуры, однако дальше встает вопрос, посредством чего эта структура начинает фактически определять поведение людей. Ответ состоит в том, что это происходит за счет механизма *идентификации*, но не только и не столько с номинально «своей» категорией, сколько с конструкцией этничности в целом или ее частями, а идентификация со «своей» категорией — это своего рода побочный продукт этого процесса. Важно в этой связи отметить, что конструкция этничности — это сложное смысловое поле, и категории, существующие в нем, далеко не обязательно (а скорее только в исключительных случаях) носят характер четкой классификации, в рамках которой каждой категории однозначно «приписываются» нормы и атрибуты. Напротив, категории могут пересекаться, «гнездиться» или, наоборот, взаимно исключать друг друга, равно как их атрибуты и нормы, с ними связанные, могут довольно причудливо соотноситься с категориями, а также носить эксплицитный или имплицитный характер. Идентификация тоже совсем не обязательно происходит со всей конструкцией этничности целиком — в силу сложности поля идентифицироваться можно с отдельными его частями и элементами. Таким образом, если резюмировать, в рамках создаваемого языка выделяются конструкции этничности, представляющие из себя относительно аморфное поле смыслов, в котором основными элементами являются этнические категории, атрибуты, с ними связанные, а также нормы, регулирующие поведение людей исходя из атрибутов категорий. Люди «врастают» (или не «врастают») в эту конструкцию посредством механизма идентификации, и, если это происходит, они начинают действовать исходя из существования предполагаемых ею категорий, атрибутов и норм. Этот язык является наиболее лаконичным синтезом конструктивистской ориентированности на категории последнего времени и забытого, но не менее важного, смысло-

вого и нормативного аспекта этничности, прошедшего через «антигруппистскую» революцию Брубекера.

Что на основании этого языка можно делать и как именно? За счет каких методологий, инструментов и прочих ресурсов это возможно? Прежде всего важной целью является переписание разных контекстов на ее основе. В конечном счете, хотя конструктивизм победил как научная рамка, плоды этой победы распределены в научной и общественно-политической областях весьма неравномерно — на одно конструктивистское описание зачастую приходится бесчисленное количество эссенциалистских. Таким образом, создание описаний с использованием этого языка и этой схемы и есть важная научно-производственная и общественная задача. Однако сами по себе эти описания не открывают ничего нового, и — вслед за Виммером и Чандрой, призывающими перестать вести диалог с воображаемым врагом-примордиалистом — можно подумать над конструктивистскими теориями и моделями, которые, используя элементы этого языка, позволяли бы открывать закономерности, видимые исключительно в конструктивистской оптике. Чандра делает это, концентрируясь на категориях и моделируя прагматику идентификации с теми или другими категориями в связи с тем, с какими категориями вообще может идентифицироваться исследуемый, а также с прочими его социальными характеристиками. Предложенная в этой статье схема позволяет делать больше, и как зависимыми, так и независимыми переменными в этой схеме могут стать все основные ее элементы. Например, можно исследовать категории, присутствующие в конструкции этничности, на предмет того, насколько они используются в контексте друг друга или идут в противофазе. Можно изучать изменения атрибутов категорий или норм, с ними связанных, во времени и выяснять, с чем эти изменения связаны. Можно определять социальные характеристики, заставляющие идентифицироваться с теми или иными элементами конструкции этничности. Можно сравнивать между собой разные контексты, изучать типичные атрибуты и нормативность, связанные с этническими категориями вообще, и объяснять, почему они возникают. Есть, однако, и, как представляется, более широкая задача. Она состоит в изучении того, как внешние, не связанные с этничностью факты воздействуют на конструкции этничности и какой эффект это имеет, а также, напротив, как те или иные конструкции этничности влияют на ход событий. Ниже приводятся два примера исследований, в которых проблема ставилась исходя из этих соображений, а анализ осуществлялся на основании этой схемы. В описании этих примеров всякий раз, когда речь идет об элементах схемы, это будет помечаться отдельно.

В исследовании, осуществленном автором со студентами в Армении в 2016 году, ставилась задача описать конструкцию этничности в селах Гегаркуникской области Армении и выяснить, как она связана с паттернами миграции оттуда в Россию. Одно из этих сел, Нуракерт, появилось в 20-е годы XX века, его основали беженцы из Турции, прежде всего из трех мест — сел Хов и Сыг, а также города Ван. Большая часть жителей села идентифицирует себя с категорией «армянин»,

но одновременно в конструкции этничности присутствуют категории, связывающие жителей с местом происхождения их семей в Турции: «ховецы», «сыгецы» и «ванецы». Атрибутами этих категорий являются различные качества, воспроизводящиеся в анекдотических историях. В частности, про «ванецы», которые в отличие от всех прочих происходят из города, а значит — скаредные, рассказывается следующая история:

Идут два «ванецы» с женами. Видят друг друга. Один другому: «Барев!» (Привет, арм.). Другой отвечает: «Хазар барев!» (Тысяча приветов, арм.). Жена отводит второго в сторонку и говорит: «Какая тысяча — максимум сто!»

Эти категории, впрочем, не связаны с какой-либо нормативностью, помимо, возможно, той, которая предполагает при случае напомнить друг другу об анекдотах, которые и так все знают: «ховецы», «сыгецы» и «ванецы» дружат и женятся между собой без ограничений. Живут в этом селе, однако, люди, связанные с категорией «езди» (езиды, арм.). Это одна расширенная семья, попавшая в село в советское время, и про них рассказывают, что (атрибут 1) женщины у них распутные (источником этого мнения, впрочем, скорее всего, является поведение одной-единственной женщины), а также — что они, хотя вроде бы исповедуют какую-то свою религию, являются криптомусульманами (атрибут 2), и в их домах видели плакаты с мечетями в Мекке. С ними предпочитают не общаться (норма), и в результате вопреки ожиданиям, согласно которым односельчане помогают друг другу, в Россию на заработки «армяне» и «езди» отправляются по разным каналам. Последнее — важный результат, он демонстрирует связь конструкции этничности и внешних явлений, в данном случае миграции. В конструкции этничности этого села существует и категория «азербайджанец», которая связывается как с людьми, которые жили в соседнем селе до Карабахского конфликта, а затем были вынуждены уехать, им атрибутируются разнообразные позитивные добрососедские качества, так и с жителями Азербайджана, главным атрибутом которых является то, что они — «враги». В силу того что этническая категория, организующая смыслы, одна — эти смыслы причудливым образом пересекаются. На эту сетку смыслов, кроме того, накладываются атрибуты и нормативность, связанные с категорией «пахстакан» (беженцы, арм.) Дело в том, что в села, до того населенные азербайджанцами, прибыло армяноязычное население из Азербайджана, которых принято обвинять в том, что они «черствые», рассказывать историю содержания «шел мимо их дома, попросил стакан воды, а они не дали», а также говорить, что они «обазербайджанились» и именно с этим связывать все их негативные черты (все это — атрибуты). С ними тоже предпочитают свести общение к минимуму (нормы). Сами «пахстакан», разумеется, считают «черствыми» и «бессердечными» как раз местных жителей. Похожая конструкция воспроизводится и в других селах района. Согласно гипотезе, сформулированной в ходе исследования, чем интенсивнее из села миграция в Россию, тем чаще «азербайджанцы» воспринимаются

как в прошлом «добрые соседи», а не как «враги». Это можно объяснить тем, что в России им зачастую приходится интенсивно общаться с азербайджанцами, что приводит к изменению атрибутов и норм, связанных как с категорией «азербайджанец» («враг»), так и «армянин» («тот, кто враждует с “азербайджанцами”»). Это пример реальной конструкции этничности и того, как она влияет на поведение в разных его аспектах, включая миграцию в Россию, а также того, как эти аспекты, наоборот, влияют на саму конструкцию этничности. Кроме того, на этом материале видно, что конструкция этничности — это нечетко структурированное поле, где сосуществуют категории разного уровня и характера, а смыслы, с ними связанные, неожиданным образом накладываются и неоднородно распределяются по индивидам и сообществам. И такого рода описания — это один из способов зафиксировать конструкцию этничности.

Другой пример взят из исследований земельных конфликтов в Дагестане, которые автор проводил в 2014 году (Варшавер, 2014). В качестве кейса был взят конфликт, на тот момент разворачивавшийся вокруг внушительного размера земельного участка рядом с Махачкалой. Участок был захвачен для последующей застройки жителями трех почти исключительно кумыкских сел, находящихся в черте города, — Тарков, Кяхулая и Альбурикента. Дело в том, что предки нынешних жителей этих сел были выселены из них во время Второй мировой войны в череде так называемых «каскадных депортаций» — они должны были заместить отправленных в Среднюю Азию чеченцев из Ауховского района Дагестана. После возвращения чеченцев кумыки смогли вернуться в свои села, однако их колхозы уже были расформированы, вернуться к сельскохозяйственной деятельности они не смогли и стали работать в городе преимущественно на позициях, не требующих квалификации. С распадом Советского Союза и закрытием производств население этих сел по большей части маргинализировалось, среди селян стали популярны криминальные и околокриминальные экономические стратегии. Интерпретация событий, связанных с депортациями, несмотря на то что других кумыков Дагестана депортации не коснулись, в замкнутых сообществах сел осуществлялась посредством дискурса о национальностях, что накладывалось на расцвет неофициальных национализмов в конце 1980-х — начале 1990-х. Особенность кумыкского национализма состояла в том, что в качестве ключевой проблемы, в отношении которой предлагалось мобилизоваться, было переселение жителей горных сел на равнину — политика, активно проводимая советской властью в Дагестане. Кумыкский национализм, однако, был склонен, во-первых, этнизировать эту проблему и указывать на то, что с гор спускались аварцы, даргинцы и прочие горские народы Дагестана; во-вторых, персонифицировать ее, считать ответственным за нее конкретного человека, председателя дагестанского обкома, аварца Абдурахмана Даниялова; в-третьих, подчеркивать, что равнинный Дагестан — это кумыкская «этническая» земля. На этой волне в селах возникло движение за реституцию, которое в 2013 году обратилось к тактике самозахвата земель, а в качестве объекта самозахвата была выбрана территория у моря, известная как Караман. Эта земля

к тому же относилась к существовавшему в XIX веке Тарковскому шамхальству, а потому участники движения считали, что она принадлежит им.

Таков был контекст, в непосредственном же фокусе этого исследования было то, как участники конфликта говорили о его причинах, ходе и перспективах. Были записаны интервью, которые затем анализировались на основании приведенной теоретической схемы. Несмотря на существенное разнообразие конкретных способов говорить о конфликте (люди с разным уровнем образования, представители разных поколений и т. д.), магистральный дискурс, который в той или иной степени транслировало большинство информантов, описывал мир в национальных категориях, где земля — имеет национальность, кумыки являются истинными владельцами равнинной земли, и на протяжении XX века их всеми возможными способами пытались этой земли лишиться (это все атрибуты категории «кумык»). Вот выдержки из интервью, где этот дискурс четко прослеживается:

Нас обманом туда переселили, это первый секретарь обкома Даниялов, чтобы своих аварцев сюда на наши земли переселить. С обманом. <...> Выставили так чеченцев. Их переселили... <...> Миллионеры колхозы были. Вот Караман где — сейчас там новострой строят. Лакцем отдали. Лакцы есть же, они сюда пришли. <...> На наши земли, понятно? Нам должны <...> эти земли вернуть. <...> Даргинцы, лакцы, аварцы, лезгины <...> Мы степной народ. Мы кормили их тысячелетиями, которые живем здесь. <...> Нам всегда они подчинялись, всегда, понимаешь? В те времена, царские, до царства. Потому что вся экономика раньше была у нас. <...> Они хитрый народ. Аварцы поднимаются, лезгины друг друга поддерживают. Вот, сто депутатов, да? А там десять кумыков-депутатов, допустим... Девяносто поднимается против, и раз — все законно. Как это законно на своей земле? Я хозяйин земли, я здесь живу.

Очевидно, что, если исходить из этого дискурса, правильным (норма) по разным критериям поведением является попытка вернуть землю себе. Среди селян или их потомков, однако, циркулируют и два других дискурса. Оба имеют гораздо менее воинственный характер, в основании этой не-воинственности (при лишь небольшой модификации категориального ряда) лежит переосмысление этих категорий. Так, первый дискурс указывает на то, что Махачкала — это интернациональный город, в котором все национальности перемешались (атрибуты). Информанты часто приводили аргументы, согласно которым они или их родственники и знакомые женаты на представителях других национальностей, и что конфликты «между национальностями» — в прошлом. Носителями этого «космополитического» дискурса являются выходцы из сел, которые живут в Махачкале, они часто имеют высшее образование и в социально-экономическом смысле порвали с сообществом сел. Второй дискурс — «исламский» — существует внутри сел и структурируется вокруг категории «мусульманин». В рамках этого дискурса указывается на единство всех мусульман, признается существование народов,

однако принадлежность к ним является вторичной по отношению к принадлежности к исламской умме, которую следует пестовать (норма), эти народы, кроме того, являются братьями друг другу (атрибуты), и если между ними и происходит вражда, то из-за того, что внешние силы пытаются «натравить» один народ на другой. Хотя и космополитический, и исламский дискурсы признают существование народов, совокупность атрибутов и норм, с ними связанных, совсем другая: нет связи между народом и землей, а значит, не нужно идти за нее бороться, а отношения между национальностями описываются не как вечная вражда, а либо как перемешивание, либо как «братство». Идентификация с одним из этих двух полей смыслов приводит к тому, что жители села выпадают из числа активных участников движения за землю. Однако, с одной стороны, мечеть не является прямым оппонентом движения, с другой — понимая эту опасность, истеблишмент движения пытается легитимировать свой образ действия в исламе, и, например, первым зданием, которое было построено на Карамане после самозахвата, стала мечеть.

Итак, на материале двух разных исследований было показано, как именно схема, в рамках которой выделяется конструкция этничности (категории, атрибуты и нормы), а также идентификация с разными элементами этой конструкции, может быть полезна для продуктивного описания контекстов, а также создания и проверки эмпирических моделей, описывающих связь между конструкцией этничности и разными ее элементами, с одной стороны, и разными внешними явлениями (миграция в Россию, участие в общественном движении) — с другой.

Заключение

Конструктивистские исследования этничности находятся на довольно необычном этапе развития. Сложившись несколько десятилетий назад в диалоге с существующим обычным способом осмысления и изучения этнических явлений, в рамках которого объектом исследования были по-разному обозначаемые совокупности людей (народы, племена, этнические группы и проч.), и, обозначив его как «эссенциализм» и «примордиализм», конструктивизм — в том, что касается «большой повестки дня» — занимался преимущественно опровержением по-разному формулируемых «эссенциалистских» и «примордиалистских» позиций. Осуществлялось это посредством проведения исследований, в которых указывалось на сконструированность тех или иных объектов, и хотя — в рамках общих принципов научного производства — во всяком исследовании обнаруживалась новизна, а некоторые исследования носили прорывной характер, эти исследования, продолжая «пинать мертвую лошадь примордиализма», ничего нового на уровне повестки дня не несли. В связи с этим в рамках двух крупных проектов, эксплицитно поставивших в качестве цели развитие конструктивистской традиции, было заявлено о необходимости движения вперед и переходе к созданию конструктивистских теорий. Однако для этого предстояло из весьма разрознен-

ных элементов собрать теоретический язык, на основании которого эта работа могла быть проведена. Автор первого проекта — Андреас Виммер обратился к метафоре этнической границы и, указав на категориальную и социальную (сетевую) ее природу, попытался на основании разнообразия внешних по отношению к его модели социологических ресурсов создать многоуровневую процессуальную модель, где акторы посредством механизма идентификации связывали себя с теми или иными категориями в рамках широкого (национальные государства как основа миропорядка) и узкого (сети дружб и знакомств) контекстов. Канчан Чандра сконцентрировала свое внимание на «номинальных» и «активированных» этнических категориях. Работы Виммера, как и работы Чандры, являются шагом вперед, однако если Виммер так и не создает теоретический язык, удовлетвовавшись отработавшей своей метафорой «этнической границы», то Чандра язык создает, однако он слеп к огромному полю смыслов, складывающихся вокруг категорий, которые — а не категории сами по себе — и структурируют человеческое поведение.

В этой статье предложен язык, учитывающий эти проблемы и являющийся надстройкой над существующими языками с учетом указанных проблем, концептуализируется этничность как объект исследования, определенная как *социальная организация различий, сконструированных вокруг категорий, членство в которых преимущественно наследуется*, и предлагается теоретическая схема, в рамках которой каждый контекст характеризуется конструкцией этничности, к которой относятся — этнические категории, а также их атрибуты и нормы. Индивиды соединяются с конструкцией этничности посредством механизма идентификации и за счет этого она — целиком или частями — начинает воздействовать на их поведение. Исследовательскими задачами в свете этого является как описание разных контекстов на предмет конструкций этничности, так и создание моделей, где разные элементы конструкции этничности связываются между собой или с внешними по отношению к ней явлениями. На двух примерах было продемонстрировано, как использование этой схемы, и — в особенности — внимание к атрибутам и нормам, не концептуализированным ни у Виммера, ни у Чандры, но выступающим важным элементом теоретических конструкций Барта, позволяет увидеть до того слабо различимые элементы этничности и посредством их объяснить внешние по отношению к этничности явления — миграцию и социальные движения, равно как посредством этих явлений объяснить конструкцию этничности.

Этот теоретический язык и теоретическая схема имеют ряд недостатков. Так, из них уходит процессуальность и интерактивность этничности, которая у Виммера, например, становится видимой посредством концептов «проведение этнических границ» или «работа над границами». Упускается пока и другое важное — истинно конструктивистское — понимание, согласно которому представления о том, какие есть категории, атрибуты и нормы, неравномерно распределены по индивидам. Кроме того, почти полностью опущен когнитивный элемент — люди опре-

деляют друг друга и действуют на основании схем и скриптов. Тем не менее в той мере, в какой создание этого языка является незавершенным проектом, указанные минусы можно считать перспективными задачами. К таковым относится и более подробная разработка той части схемы, где речь идет об атрибутах: их следует попробовать для начала классифицировать, чтобы затем создавать модели, более тонко различающие их виды. К таковым относится и включение в язык элементов, позволяющих изучать правила членства в группах (соответствующим концептом может быть «этнический порядок»). К таковым относится и создание разнообразия эмпирических дизайнов, в том числе и количественных. Параллельно должна вестись работа, состоящая в интеграции междисциплинарного поля исследований этничности — социолого-антрополого-политологический кластер исследователей «не различает» разнообразие психологических направлений, которые давно и подробно исследуют этнические явления, и среди этих направлений — социальная психология, эволюционная психология, а также в некоторой мере нейрофизиология. Между двумя этими дисциплинарными полями существует определенного рода предвзятость.

Должна, кроме того, проводиться целенаправленная работа, связанная с созданием, обсуждением и внедрением теоретического языка, который, помимо того что позволяет увидеть вещи и исследовать их, служит цели интеграции поля. С этим сопряжено две проблемы — первая состоит в том, что, учитывая релевантность темы этничности вне научных контекстов, существует опасность «съедения» этого языка более влиятельным эссенциалистским языком, вторая — в мир-системном неравенстве возможностей предложения и внедрения языка, в результате чего более влиятельные, но менее точные языки, на основании которых уже проводятся десятки исследований, могут быть лучшим решением, нежели дальнейшая фрагментация языков за счет предложения дополнений и альтернатив. Тем не менее интеграция поля и уточнение языка с выходами на разнообразие исследований должны вестись, и хочется надеяться, что эта статья в некотором приближении послужит этой цели.

Литература

- Варшавер Е. А. (2014). Тарки-Караман: механизм одного земельного конфликта в Дагестане // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. Т. 5 № 123. С. 133–150.
- Вебер М. (2017). Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. Общности. Т. 2 / Ионин Л. Г. (пер. с нем., сост., общ. ред., предисл.). М.: Издательский дом Высшей школы экономики.
- Гофман И. (2000). Представление себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. А. Д. Ковалева. М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле.
- Тишков В. А. (б.д.). Этничность как форма социальной организации. URL: <http://valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/lekcii2/lekcii/etnichnost.html>.

- Филиппов В. Р. (2005). Фантом этничности (мое пост-конструктивистское непонимание этнической идентичности) // Дневник Алтайской школы политических исследований. № 21. Современная Россия и мир: альтернативы развития (национальная, региональная идентичность и международные отношения): Материалы международной научно-практической конференции / Под ред. Ю. Г. Чернышова. Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та. С. 167–171.
- American Psychological Association (2020). Stereotype. URL: <https://dictionary.apa.org/stereotype>.
- Anderson B. (1983). *Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London, New York: Verso.
- Banks M. (1996). *Ethnicity: Anthropological Constructions*. London: Routledge.
- Barth F. (ed.) (1969a). *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*. Boston: Little, Brown Series in Anthropology.
- Barth F. (1969b). Introduction // Barth F. (ed.) *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*. Boston: Little, Brown Series in Anthropology. P. 9–38.
- Barth F. (1969c). Pathan Identity and its Maintenance // Barth F. (ed.) *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*. Boston: Little, Brown Series in Anthropology. P. 117–134.
- Bourdieu P. (1991). Language and symbolic power / Thompson J. B. (ed.), Raymond G. (tr.), Adamson M. (tr.) Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1991.
- Brubaker R. (2002). Ethnicity without Groups // *European Journal of Sociology/Archives Européennes de Sociologie*. Vol. 43. № 2. P. 163–189.
- Brubaker R. (2004). *Ethnicity without Groups*. Cambridge, Massachusetts, and London (England): Harvard University Press.
- Brubaker R., Cooper F. (2000). Beyond “Identity” // *Theory and Society*. Vol. 29. № 1. P. 1–47.
- Chandra K. (2006). What is Ethnic Identity and Does it Matter? // *Annual Review of Political Science*. Vol. 9. P. 397–424.
- Chandra K. (ed.) (2012). *Constructivist Theories of Ethnic Politics*. Oxford (New York): Oxford University Press.
- Chandra K., Wilkinson S. (2008). Measuring the Effect of “Ethnicity” // *Comparative Political Studies*. Vol. 41. № 4–5. P. 515–563.
- Cohen A. (1969). *Custom and Politics in Urban Africa: A study of Hausa Migrants in Yoruba Towns*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Cosmides L., Tooby J., Kurzban R. (2003). Perceptions of Race // *Trends in Cognitive Sciences*. Vol. 7. № 4. P. 173–179.
- Drake S. C., Cayton H. R. (1945). *Black Metropolis: A study of Negro Life in a Northern City*. Chicago and London: University of Chicago Press.
- Gellner E. (1983). *Nations and Nationalism*. Ithaca: Cornell University Press
- Gil-White F. J. (2001). Are Ethnic Groups Biological “Species” to the Human Brain? Essentialism in our Cognition of some Social Categories // *Current Anthropology*. Vol. 42. № 4. P. 515–553.

- Haaland G.* (1969). Economic Determinants in Ethnic Processes. // *Barth F.* (ed.) *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*. Boston: Little, Brown Series in Anthropology. P. 58–73.
- Hirschfeld L. A.* (1996). *Race in the Making: Cognition, Culture, and the Child's Construction of Human Kinds*. Cambridge, Massachusetts, and London (England): MIT Press.
- Hobsbawm E., Ranger T.* (eds.) (1983). *The Invention of Tradition*. Cambridge (United Kingdom): Cambridge University Press.
- Horowitz D.* (1985). *Ethnic Groups in Conflict*. Berkeley: University of California Press.
- Jackson M.* (1982). An analysis of Max Weber's theory of ethnicity // *Humboldt Journal of Social Relations*. Vol. 10. № 1. P. 4–18.
- Kurzban R., Tooby J., Cosmides L.* (2001). Can Race be Erased? Coalitional Computation and Social Categorization // *Proceedings of the National Academy of Sciences*. Vol. 98. № 26. P. 15387–15392.
- Lorber J., Farrell S. A.* (eds.) (1991). *The social construction of gender* // Newbury Park, CA: Sage Publications.
- Mitchell J. C.* (1956). *The Kalela Dance. Aspects of Social Relationships among Urban Africans in Northern Rhodesia*. Manchester: Manchester University Press.
- Nagel J.* (1994). Constructing ethnicity: Creating and recreating ethnic identity and culture // *Social problems*, Vol. 41. № 1. P. 152–176.
- Pollis A.* (1996). The social construction of ethnicity and nationality: The case of Cyprus // *Nationalism and Ethnic Politics*. Vol. 2. № 1. P. 67–90.
- Van den Berghe P. L.* (1987). *The ethnic phenomenon*. Westport, CT: Greenwood Press.
- Wimmer A.* (2004). Does Ethnicity Matter? Everyday Group Formation in Three Swiss Immigrant Neighbourhoods // *Ethnic and Racial Studies*. Vol. 27. № 1. P. 1–36.
- Wimmer A.* (2008a). Elementary Strategies of Ethnic Boundary Making // *Ethnic and Racial Studies*. Vol. 31. № 6. P. 1025–1055.
- Wimmer A.* (2008b). The Making and Unmaking of Ethnic Boundaries: A Multilevel Process Theory // *American Journal of Sociology*. Vol. 113. № 4 P. 970–1022.
- Wimmer A.* (2009). Herder's Heritage and the Boundary-Making Approach: Studying Ethnicity in Immigrant Societies // *Sociological Theory*. Vol. 27. № 3. P. 244–270.
- Wimmer A.* (2013a) *Categorization Struggles* // *Wimmer A.* (2013). *Ethnic Boundary Making: Institutions, Power, Networks*. Oxford (New York): Oxford University Press.
- Wimmer A.* (2013b). *Ethnic Boundary Making: Institutions, Power, Networks*. Oxford (New York): Oxford University Press.
- Wimmer A., Lewis K.* (2010). Beyond and Below Racial Homophily: ERG Models of a Friendship Network Documented on Facebook // *American Journal of Sociology*. Vol. 116. № 2. P. 583–642.
- Wimmer A., Lewis K.* (2013). *Network Boundaries* // *Wimmer A.* (2013). *Ethnic Boundary Making: Institutions, Power, Networks*. Oxford (New York): Oxford University Press.

“Stop beating the dead primordial horse”: actual agendas in the constructivist research of ethnicity

Evgeni Varshaver

Head of the Group for Ethnicity and Migration Research,
Research Fellow, Presidential Academy of National Economy and Public Administration,
Associate professor, Higher School of Economics
Address: prospect Vernadskogo, 82 Moscow, Russian Federation 119571
E-mail: varshavere@gmail.com

The article describes the current state of affairs in the contemporary constructivist research of ethnicity. While emerging within anthropology in the 1960's under the influence of sociological constructivist theories, this approach has been developing in a dialogue with “primordialism” and “essentialism”, the ways of thinking which were, to a large degree, conceptualized by constructivists themselves. It has been, however, become clearer that this dialogue is no longer productive, and constructivists faced the necessity to re-establish the very agenda of the constructivist research of ethnicity. Two projects were undertaken in the 2000-2010's, and are associated with the names of Andreas Wimmer and Kanchan Chandra. The theoretical languages created within these projects, however, were not optimal in terms of their descriptive power. The second part of the article describes a new research program as suggested by the author, within which an alternative theoretical language is proposed, and much attention is paid to the meanings of ethnic categories as well as the social consequences of these meanings. Descriptive and analytical capabilities of the language are demonstrated from two examples taken from the empirical research of the author. The closing part of the article describes the shortcomings of the approach created, as well as the directions for further developments.

Keywords: ethnicity, constructivism, theory, Wimmer, Chandra, Brubaker, categories

References

- American Psychological Association (2020) Stereotype. Available at: <https://dictionary.apa.org/stereotype>.
- Anderson B. (1983) *Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London, New York: Verso.
- Banks M. (1996) *Ethnicity: Anthropological Constructions*, London: Routledge.
- Barth F. (ed.) (1969a) *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*, Boston: Little, Brown Series in Anthropology.
- Barth F. (1969b) Introduction. *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference* (ed. F. Barth), Boston: Little, Brown Series in Anthropology, pp. 9–38.
- Barth F. (1969c) Pathan Identity and its Maintenance. *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference* (ed. F. Barth), Boston: Little, Brown Series in Anthropology, pp. 117–134.
- Bourdieu P. (1991) *Language and symbolic power*, (ed. J. B. Thompson, (tr.) G. Raymond, (tr.) M. Adamson), Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Brubaker R. (2002) Ethnicity without Groups. *European Journal of Sociology/Archives Européennes de Sociologie*, vol. 43, no 2, pp. 163–189.
- Brubaker R. (2004) *Ethnicity without Groups*, Cambridge, Massachusetts, and London (England): Harvard University Press.
- Brubaker R., Cooper F. (2000) Beyond “Identity”. *Theory and society*, vol. 29, no 1, pp. 1–47.
- Chandra K. (2006) What is Ethnic Identity and Does it Matter? *Annual Review of Political Science*, vol. 9, pp. 397–424.
- Chandra K. (ed.) (2012) *Constructivist Theories of Ethnic Politics*, Oxford (New York): Oxford University Press.

- Chandra K., Wilkinson S. (2008) Measuring the Effect of "Ethnicity". *Comparative Political Studies*, vol. 41, no 4–5, pp. 515–563.
- Cohen A. (1969). *Custom and Politics in Urban Africa: A study of Hausa Migrants in Yoruba Towns*, London: Routledge and Kegan Paul.
- Cosmides L., Tooby J., Kurzban R. (2003) Perceptions of Race. *Trends in Cognitive Sciences*, vol. 7, no 4, pp. 173–179.
- Drake S. C., Cayton H. R. (1945) *Black Metropolis: A study of Negro Life in a Northern City*, Chicago and London: University of Chicago Press.
- Filippov V. R. (2005) Fantom etnichnosti (moye post-konstruktivistskoye neponimaniye etnicheskoy identichnosti) [The Phantom of Ethnicity (My Post-Constructivist Non-Understanding of Ethnic Identity)]. *Dnevnik Altayskoy shkoly politicheskikh issledovaniy*. №21. *Sovremennaya Rossiya i mir: al'ternativy razvitiya (natsional'naya, regional'naya identichnost' i mezhdunarodnyye otnosheniya)* (ed. Y. G. Chernyshova), Barnaul: Izd-vo Altayskogo un-ta, pp. 167–171.
- Gellner E. (1983) *Nations and Nationalism*, Ithaca: Cornell University Press
- Gil-White F. J. (2001) Are Ethnic Groups Biological "Species" to the Human Brain? Essentialism in our Cognition of some Social Categories. *Current Anthropology*, vol. 42, no 4, pp. 515–553.
- Goffman E. (2000) *Predstavlenie sebja drugim v povsednevnoj zhizni [The Presentation of Self in Everyday Life]*, (tr. (en.) A. D. Kovaleva), Moscow: Kanon-Press-C, Kuchkovo Pole.
- Haaland G. (1969) Economic Determinants in Ethnic Processes. *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference* (ed. Barth F.), Boston: Little, Brown Series in Anthropology, pp. 58–73.
- Hirschfeld L. A. (1996) *Race in the Making: Cognition, Culture, and the Child's Construction of Human Kinds*, Cambridge, Massachusetts, and London (England): MIT Press.
- Hobsbawm E., Ranger T. (eds.) (1983) *The Invention of Tradition*, Cambridge (United Kingdom): Cambridge University Press.
- Horowitz D. (1985) *Ethnic Groups in Conflict*, Berkeley: University of California Press.
- Jackson M. (1982). An analysis of Max Weber's theory of ethnicity. *Humboldt Journal of Social Relations*, vol. 10, no 1, pp. 4–18.
- Kurzban R., Tooby J., Cosmides L. (2001) Can Race be Erased? Coalitional Computation and Social Categorization. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 98, no 26, pp. 15387–15392.
- Lorber J., Farrell S. A. (eds.). (1991). *The social construction of gender*, Newbury Park, CA: Sage Publications.
- Mitchell J. C. (1956) *The Kalela Dance. Aspects of Social Relationships among Urban Africans in Northern Rhodesia*, Manchester: Manchester University Press.
- Nagel J. (1994) Constructing ethnicity: Creating and recreating ethnic identity and culture. *Social problems*, vol. 41, no 1, pp. 152–176.
- Pollis A. (1996) The social construction of ethnicity and nationality: The case of Cyprus. *Nationalism and Ethnic Politics*, vol. 2, no 1, pp. 67–90.
- Tishkov V. A. (n.d.) Etnichnost kak forma sotsialnoi organizacii [Ethnicity as a form of social organization]. Available at: <http://valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/lekciiz/lekcii/etnichnost.html>.
- Van den Berghe P. L. (1987) *The ethnic phenomenon*, Westport, CT: Greenwood Press.
- Varshaver E. (2014) Tarki-Karaman: Mechanism of a Social Conflict over Land in Daghestan. *The Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes Journal*, vol. 5, no 123, pp. 133–150.
- Weber M. (2017) *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Vol 2.*, (tr., ed. L. G. Ionin), Moscow: HSE Publishing House.
- Wimmer A. (2004) Does Ethnicity Matter? Everyday Group Formation in Three Swiss Immigrant Neighbourhoods. *Ethnic and Racial Studies*, vol. 27, no 1, pp. 1–36.
- Wimmer A. (2008a) Elementary Strategies of Ethnic Boundary Making. *Ethnic and Racial Studies*, vol. 31, no 6, pp. 1025–1055.
- Wimmer A. (2008b) The Making and Unmaking of Ethnic Boundaries: A Multilevel Process Theory. *American Journal of Sociology*, vol. 113, no 4, pp. 970–1022.

- Wimmer A. (2009) Herder's Heritage and the Boundary-Making Approach: Studying Ethnicity in Immigrant Societies. *Sociological Theory*, vol. 27, no 3, pp. 244–270.
- Wimmer A. (2013a) Categorization Struggles. *Ethnic Boundary Making: Institutions, Power, Networks* (ed. A. Wimmer), Oxford (New York): Oxford University Press.
- Wimmer A. (2013b) *Ethnic Boundary Making: Institutions, Power, Networks*, Oxford (New York): Oxford University Press.
- Wimmer A., Lewis K. (2010) Beyond and Below Racial Homophily: ERG Models of a Friendship Network Documented on Facebook. *American Journal of Sociology*, vol. 116, no 2, pp. 583–642.
- Wimmer A., Lewis K. (2013) Network Boundaries. *Ethnic Boundary Making: Institutions, Power, Networks* (ed. A. Wimmer), Oxford (New York): Oxford University Press.

Назад к представлениям: в поисках оснований для коллективной памяти¹

Оксана Головашина

Доктор философских наук, ведущий научный сотрудник, Уральский гуманитарный институт, Уральский федеральный университет, ведущий научный сотрудник, Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина.
Адрес: пр. Мира, 19, Екатеринбург, Российская Федерация, 620002
E-mail: ovgolovashina@mail.ru

Автор показывает, что понятие «коллективная (социальная) память» в текстах представителей *memory studies* выступает в качестве метафоры, наполнение которой зависит от потребностей исследователей или действий акторов. Эта ситуация приводит к методологическим проблемам в конкретных исследованиях и мешает разработке эвристически продуктивной эпистемологии памяти. Цель статьи — обосновать необходимость возвращения к «коллективным представлениям» в качестве оптики для рассмотрения коллективной памяти, что позволит подвести основания под это понятие и расширить теоретико-методологическую базу *memory studies*. На первом шаге автор проводит различие «коллективных представлений» Э. Дюркгейма и «коллективной памяти» в трактовке М. Хальбвакса. В отличие от коллективных представлений, конституирующих общество, коллективная память представляет собой сконструированный социальными рамками образ прошлого, причем социальные рамки также представляют собой конструктор. Обосновывая эвристический потенциал категории «коллективные представления», автор показывает, что истоки этой идеи были связаны со знакомством Дюркгейма со школой В. Вундта, поэтому разработка социологического метода несет на себе следы позитивизма немецкого психолога. Далее, акцентируя внимание на последствиях дискуссии Дюркгейма и Вундта для исследований памяти, автор касается способов сохранения и трансляции коллективных представлений, показывая возможность обоснования коммеморативных практик как перформативных актов и обосновывая необходимость отказа от рефлексии как инструмента исследования коллективной памяти. В заключении автор доказывает, что возврат к идее коллективных представлений для осмысления коллективной памяти позволяет отойти от метафорического характера этого понятия, а также пересмотреть способы исследования и трактовки политики памяти, соотношение индивидуальной и коллективной памяти, изучение роли конкретных событий и места психологических объяснений.

Ключевые слова: коллективная память, социальная память, коллективные представления, Дюркгейм, Вундт

В 1925 году историк Марк Блок в отзыве на «Социальные рамки памяти» Мориса Хальбвакса заявил, что коллективная память может быть только метафорой. Он критиковал французского социолога за отсутствие механизмов передачи коллективных воспоминаний от поколения к поколению в рамках одной группы и слабое знание исторических реалий, а сама работа Хальбвакса отличается, на взгляд Блока, применением «эпитета “коллективны” вместе с терминами, заимствованными из индивидуальной психологии» (Block, 1925: 79). Несмотря на почти сто лет разви-

1. Опубликовано в рамках программы «Университетское партнерство».

тия *memory studies*, определения коллективной, исторической, социальной, культурной памяти до сих пор ближе к метафоре, чем к концепту. Ее метафоричность подтверждает Юлия Сафронова в своем пособии, посвященном исследованиям памяти (Сафронова, 2019: 16); канадский исследователь Эндель Тулвинг иронизирует над увеличивающимся количеством типов памяти (он насчитал 256 (Tulving, 2007)), Барби Зелизер отмечает, что дефиниции коллективной памяти зачастую ограничиваются только тем, что она не индивидуальна (Zeliezer, 1995: 234-235), в различных антологиях и коллективных монографиях (Erll, Nünning, 2010; Olick, Vinitzky-Seroussi, Levy, 2011; Palmberger, Tošić, 2012; Creet, Kitzmann, 2011) определение памяти подчинено частным задачам исследователей, а Дж. Олик сравнивал «память» с лейблом, объединяющим разнообразные концепции, методологические подходы и исследовательскую проблематику (Olick, 2009). Отечественная мультидисциплинарная традиция, связанная с изучением исторического сознания (Ю. М. Лотман (Лотман, 2001), М. А. Барг (Барг, 1987), а также И. М. Савельева и А. В. Полетаев (Савельева, Полетаев, 1997, 2003, 2008), исследованиями исторического развития психики человека (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев), разработкой способов осмысления прошлого в рамках интеллектуальной истории (Л. П. Репина (Репина, 2006; Репина, 2009)) скорее способствует увеличению фрагментарности поля, чем выработке конвенциональных определений.

Преодоление существующих проблем Олик видит в дальнейшей институционализации (отметим, что, на наш взгляд, *memory studies* были вполне институализированы даже на момент написания статьи Олика, и сейчас этот процесс продолжается) и парадигмации направления, важной частью которых является выработка канонических текстов. Не говоря о каноне *memory studies* вообще, мы тем не менее считаем, что каноничность некоторых текстов, в частности работ Мориса Хальбвакса, оказывается источником не столько разрешения, сколько культивирования проблем исследований коллективной памяти. «Посмертная жизнь Хальбвакса может показаться образцовым примером того, как социальные науки используют определенные фигуры, чтобы сфабриковать прошлое, на которое они претендуют» (Hirsch, Hamilton, 2016: 62); Дж. Олик с удивлением замечал, что в *memory studies* исследователи до сих пор считают необходимым апеллировать к М. Хальбваксу, доказывая обоснованность своего интереса к коллективной памяти (Olick, 2009), «отцом-основателем» исследований памяти Хальбвакса называют и другие исследователи (Hartog, 2013: 127), а также соответствующий журнал (*Memory studies*), созданный в 2008 году. Сам Хальбвакс, рассматривая свои исследования коллективной памяти как часть разрабатываемого им проекта социальной морфологии (Bellah, 1959; Gensburger, 2016), подчеркивал, что развивает концепцию коллективных представлений своего учителя Эмиля Дюркгейма, однако исследователи памяти довольно редко апеллируют к Дюркгейму в своих работах.

Наш интерес вызывает не столько развитие *memory studies* или возможности появления очередной волны в рамках этого направления, сколько методологиче-

ские проблемы конкретных исследований. Онтологический статус памяти и ее эпистемология оказываются на обочине современных *memory studies*. В основном эта проблематика рассматривается только в рамках своеобразных вызовов (цифровизация, кризис, пандемия) (Gensburger, Lefrank, 2020; Hoskins, 2011a; Hoskins, 2011b; Hoffman, 2004; Hoskins, 2017; Jelin, 2021; Olick, Teichler, 2021), но выявленные способы осмысления, как правило, направлены на решение частных, конкретных задач в рамках каких-либо кейсов. Несмотря на то что исследователи стараются не упускать из виду «производство памяти через системы знаний и убеждений, пространственные представления, временные и эмоциональные режимы, отличные от тех, что существуют в нашем глобализирующемся настоящем» (Erl, 2018: 276), постколониальная оптика или транскультурный поворот (Carrier, Kabaleck, 2014; Erl, 2011; Erl, 2014; Palmberger, Tošić, 2012; Rothberg, 2009; Zimmerer, 2013), скорее, иллюстрируют сложившиеся подходы, чем инициируют новые. Мы должны упомянуть об интересных разработках эпистемологии памяти в рамках когнитивных и критических исследований (Bernecker, Grundmann, 2019; Buchli, 2004; Glannon, 2019; Forty, 2014; Senor, 2019), однако пока их продуктивность касается проблем автобиографической памяти и нарративных подходов. Выход обзорных работ (Rossington, Whitehead, 2007; Olick, Vinitzky-Seroussi, Levi, 2011; Stone, Bietti, 2016) только провоцирует дополнительную рефлексию о недостаточно проясненных областях *memory studies*, а не способствует выработке четких дефиниций и эвристически продуктивных методов. Говоря о необходимости институционализации дисциплины (с разной степенью интенсивности эти разговоры продолжаются более 20 лет) (Olick, Robbins, 1998; Olick, 2008; Dutceac, Wüstenberg, 2017; Olick, Sierp, Wüstenberg, 2017), авторы обсуждают наличие соответствующих университетских программ и заинтересованных в развитии области грантодателей (Dutceac Segesten, Wüstenberg, 2017), но разговор о теоретико-методологических основаниях ограничивается призывом перейти от междисциплинарности к интердисциплинарности (Dutceac Segesten, Wüstenberg, 2017; Roediger, Wertsch, 2008: 9). Мы считаем, что институционализация дисциплины и формулировка ее основного предмета невозможны без выработки соответствующего языка описания, признаваемого представителями этой дисциплины. Бессмысленно считать количество специализированных программ, которые готовят исследователей памяти или публикационных площадок, если сообщество не может определиться с тем, что считать памятью. Представители *memory studies* говорят о «жанрах памяти», которые помогают создавать сценарии последующих коммеморативных практик (Olick, 1999: 382) и функционируют как «конвенционализированные, общие схемы для кодирования версий прошлого» (Erl, 2011: 74), «схематические шаблоны повествования» (Wertsch, 2008), «нарративные формы жизни» (Brockmeier, 2015) и «культурные нарративные модели осмысления» (Meretoja, 2018) или «мемориальные формы» (Laanes, 2021). Онтологию социальной памяти заменяют метафоры (например, «пирамида камней», «запутанная память», «вспышки образов» (Feindt, Mehler, Pestel, Krawatzek, Trimçev, 2014; Hoffman, 2004; Silvestri, 2021)), ко-

торые, безусловно, обладают определенным эвристическим потенциалом, однако в отсутствие конвенциональных критериев для верификации полученных результатов этот потенциал не выходит за рамки конкретных работ, и речь, скорее, идет об умножении кейсов, чем о новых эпистемических моделях.

Мы считаем, что одним из главных источников этих проблем является непроработанность коллективной (социальной) памяти как концепта. Зачастую в текстах представителей *memory studies* память выступает в качестве метафоры, наполнение которой зависит от ситуативных потребностей исследователей, или является следствием действий акторов, несмотря на существующие идеи о том, что «память... славится умением тихо, но искренне сопротивляться тогда, когда политические власти грубо обращаются с историей и манипулируют прошлым» (Лавабр, 1996: 233) или многочисленные примеры, подтверждающие, что люди отвергают видение прошлого, противоречащее их воспоминаниям (Osiel, 1997). Игнорирование этих примеров, интерпретация коллективной памяти как конструкта, лишает это понятие онтологических оснований и мешает разработке продуктивной эпистемологии памяти.

В такой интерпретации за пределами анализа остаются те самые коллективные представления, которые, как утверждал учитель Хальбвакса Эмиль Дюркгейм, составляют общество. Поэтому в данной статье мы предлагаем возвратиться к оптике коллективных представлений для осмысления коллективной памяти. Это позволит подвести основания под главное понятие «*memory studies*» (следовательно, избежать его метафоричности) и расширит теоретико-методологическую базу исследования коллективной памяти.

Реализация поставленной цели предполагает осуществление ряда шагов. Сначала мы покажем, почему коллективную память в ее трактовке М. Хальбваксом нельзя рассматривать как часть коллективных представлений. Это позволит проблематизировать некоторые аспекты текущего состояния *memory studies* и обосновать необходимость возвращения к работам Э. Дюркгейма для прояснения оснований коллективной памяти. Далее, мы считаем важным рассмотреть влияние школы экспериментальной психологии В. Вундта на разработку метода Дюркгейма и формирование его идеи о коллективных представлениях, так как анализ этой дискуссии позволяет нам обосновать возможность коллективной памяти через способы трансляции и сохранения коллективных представлений и говорить о методах исследования коллективной памяти. В заключение мы покажем, какие преимущества может иметь представленная нами интерпретация коллективной памяти как одного из видов коллективных представлений.

Почему коллективная память у М. Хальбвакса — это не коллективные представления Э. Дюркгейма?

В тексте «Представления индивидуальные и представления коллективные» Дюркгейм обосновывает, что память не является физиологическим феноменом, а свя-

зана с психической активностью. Высказанный тезис позволяет ему объяснить возможность сохранения представлений в сознании индивида, однако его перенесение на коллективные представления вызывает ряд затруднений. Простая констатация, что «коллективные представления, порожденные действиями и противодействиями между элементарными сознаниями, из которых состоит общество, прямо не вытекают из последних и, следовательно, выходят за их пределы» (Дюркгейм, 1995: 233), не позволяет увидеть место памяти в этом процессе и основания для концептуализации ее коллективной разновидности.

Хальбвакс, анализируя учение Дюркгейма в одноименной работе, заявляет о необходимости дальнейшего развития заявленного проекта «коллективной психологии» (Halbwachs, 1918). Он нигде напрямую не говорит, что коллективные представления связаны с коллективной памятью, однако, в отличие от Дюркгейма, описанию взглядов которого посвящена его работа, он постоянно иллюстрирует идею коллективных представлений тем, что в своих следующих работах назовет коллективной памятью: «внутри общества есть много следов прошлого, продуктов прежней социальной активности, устоявшихся нравов, ранее созданного права, которое больше не соответствует нынешнему состоянию» (Halbwachs, 1918: 366). Хальбвакс заявляет, что коллективные представления содержатся в памяти, и далее в тексте, при помощи психологической риторики, фактически подменяет коллективные представления Дюркгейма описанием коллективной памяти, не вводя тем не менее соответствующего термина.

Затем, в работе «Социальные рамки памяти», Хальбвакс, сохраняя пафос Дюркгейма о необходимости экспансии социологии в другие предметные области, при этом не стремится оставаться в рамках того дискурсивного поля, которое заложил Дюркгейм. Он готов ссылаться на Дюркгейма, когда говорит о социальной роли языка (С. 103–104)², социальном факте (С. 150), семье (С. 186, 198), разделении труда (С. 316), но не использует его концепцию «коллективных представлений». Слово «представление», довольно регулярно встречающееся в тексте, употребляется не в том смысле, в котором основоположник социологии писал о «коллективных представлениях». В отличие от других исследований Хальбвакса, в которых он предстает как социолог-эмпирик, «Социальные рамки памяти» опираются на данные психологов и некий общечеловеческий опыт; автор использует психологическую риторику, а вместо эмпирического материала предлагает собственную рефлексию. Он имеет в виду представление как психический процесс (в смысле, который ближе к интерпретации В. Вундта, а не Дюркгейма): пишет о представлениях о времени и обществе (С. 62), нервных процессах (С. 103), сюжетах книги (С. 119), жизни и свете (С. 124), противопоставляет представление и существование (С. 67); представления оказываются смутными (С. 78, 82, 125, 132), упрощенными (С. 78), схематическими (С. 89), символическими (С. 111). То есть вывести коллективную память из коллективных представлений в терминологии Дюркгей-

2. Здесь и далее страницы приводятся по изданию: (Хальбвакс, 2007).

ма невозможно, а предлагаемые Хальбваксом аргументы зачастую представляют собой литературное описание того, как человек вспоминает что-либо, находясь в рамках конкретной группы. Скорее, текст Хальбвакса представляет собой ответ на концепцию его учителя в старших классах лицея А. Бергсона (ссылка на его работы в три раза больше, чем на тексты Дюркгейма). Хальбваксу импонирует внимание Бергсона к памяти, однако если французский философ обосновывал новое понимание темпоральности через личную память, четко различая в психике индивидуальную жизнь и социальную обусловленность ее проявлений, то Хальбвакс противопоставил представлениям о времени Бергсона коллективную память как условие различения прошлого и настоящего, а непрерывности воспоминаний — кристаллизующие социальные рамки.

Несмотря на то что, как отметил Рикёр, «...именно в личном акте вспоминания автор первоначально искал и находил признак социального» (Рикёр, 2004: 173) (что также объясняется влиянием Бергсона), предлагаемую Хальбваксом коллективную память можно определить как сконструированный социальными рамками образ прошлого. Однако какой-либо четкой дефиниции рамки автор не предлагает. «Рамка и события тождественны по природе: события суть воспоминания, но и сама рамка состоит из воспоминаний. Эти два рода воспоминаний различаются тем, что вторые более устойчивы, всегда заметны нам, и мы пользуемся ими для припоминания и реконструкции первых» (Хальбвакс, 2007: 135-136). То есть рамка сама по себе также оказывается памятью (воспоминанием) и не имеет других оснований, следовательно, прошлое — это не просто реконструкция, однако рамки, определяющие восприятия прошлого, также представляют собой реконструкцию.

Возможность конструирования коллективной (социальной) памяти выступает в качестве аксиомы у большинства представителей *memory studies* («память — это способ конструирования людьми своего прошлого» (Сафронова, 2019: 15)). Воспринимая коллективную память как конструкт, исследователи пишут о политике памяти, исторической политике и «изобретенных традициях». Истоки этой точки зрения можно найти и у Дюркгейма, который, по мысли А. Б. Гофмана, различает «два вида деятельности в социальном мышлении: 1) память, то есть понятия, которые служат нам ориентирами и относятся исключительно к прошлому; 2) рациональная деятельность, опирающаяся на условия, в которых общество находится теперь, т. е. на настоящее. Эта память в принципе может функционировать лишь под контролем рациональной деятельности, разума. Ведь если общество отказывается от своих традиций или изменяет их, то оно делает это для того, чтобы удовлетворять свои рациональные потребности, причем именно в тот момент, когда они появляются на свет» (Гофман, 2015: 143). Память как деятельность социального мышления противоречит детерминирующей и агентной роли коллективных представлений. Далее, мы обратим внимание на основные точки различения между коллективной памятью в трактовке Хальбвакса и коллективными представлениями Дюркгейма.

Во-первых, трактовка социального времени, предлагаемая Дюркгеймом, не позволяет связать ее с коллективной памятью. В отличие от интерпретации времени как фундаментального онтологического основания, характерного для классической философии или осмысления времени в качестве априорной формы, Дюркгейм представляет время как одну из социальных категорий, составляющих содержание коллективных представлений. Дюркгейм утверждал, что, по мере того как социальные группы развивали внутреннюю организацию, они объясняли природу и общество при помощи классификаций, частным случаем которых выступал тотемизм. Через различные социальные практики общие категории мышления оказываются доступными для их человеческих участников, следовательно, категория времени имеет прямое происхождение из конкретного опыта принятой практики. То есть время — социальный конструкт, создаваемый сообществами, а не кантианская категория. Здесь можно было бы сделать еще один шаг и заявить о коллективной памяти как одном из способов формирования социального времени, однако сделать такой вывод будет ошибкой. Модель времени, предложенная Дюркгеймом, довольно линейна, в отличие от темпоральной инверсии, характерной для коллективной памяти (Головашина, 2017). Настоящее «ничто, если брать его отдельно; это не более чем продолжение прошлого, от которого его нельзя отделить, не потеряв в значительной степени всего его значения» (Durkheim, 1972: 79). Прошлое в понимании Дюркгейма обеспечивает необходимые условия для наблюдения и объяснения настоящего (Дюркгейм, 1995: 25), оказывается причиной или, по крайней мере, необходимым условием социальных изменений и эволюции. Для Хальбвакса образы прошлого с большей вероятностью будут сформулированы в настоящем, чем наоборот. К тому же коллективная память сама по себе оказывается довольно шатким основанием для того, чтобы выводить из нее какую-либо еще категорию.

Во-вторых, если коллективная память в трактовке Хальбвакса представляет собой социальный конструкт, то коллективные представления, как указывал Дюркгейм, существуют сами по себе, а не выступают в качестве проявления нервной деятельности или чего-либо еще (о возможности феноменологической интерпретации см.: Throop, Laughlin, 2002; Tiryakian, 1978); при этом они могут реагировать друг на друга и объединяться (Дюркгейм, 1995: 209) сами по себе, вне зависимости от состояния окружающей среды, в которой они развиваются (Lukes, 1973: 233). Коллективные представления скорее конституируют общество, чем отражают его, а коллективная память конструируется акторами. То есть коллективные представления выражаются в коллективной практике, а коллективная память сама определяется практиками внутри группы. Например, «обряд служит и может служить только для поддержания жизнеспособности этих воспоминаний, для предотвращения их стирания из памяти» (Дюркгейм, 2018: 625), а не изобретения общих воспоминаний.

Наконец, в отличие от памяти, описываемой Хальбваксом при помощи психологической риторики, коллективные представления, несмотря на присутствие

в этой концепции влияния Вундта, выступают как основа социального. «Социальная жизнь состоит из представлений», — доказывает Дюркгейм, но нельзя обосновать, чтоб социальная жизнь состояла бы из образов памяти или даже что коллективная память в трактовке Хальбвакса выступает в качестве вида коллективных представлений.

Сделаем предварительный вывод. Опираясь с представлениями как психическими явлениями, Хальбвакс концептуализировал коллективную память в качестве сконструированного социальными рамками образа прошлого, причем социальные рамки также в свою очередь представляют собой конструкт. В отличие от коллективных представлений, конституирующих общество, образы коллективной памяти могут выступать только следствием действий акторов. Таким образом, коллективная память оказывается метафорой, наполнение которой зависит от социального контекста и потребностей различных акторов. Как мы написали выше, такая трактовка мешает фундаментальным выводам и сводит исследования памяти к дальнейшему распространению заложенного Хальбваксом психологического дискурса, рефлексии исследователей, изучению роли отдельных акторов и посредников или описанию конкретных кейсов. Однако, на наш взгляд, эвристический потенциал коллективных представлений как теоретико-методологической рамки не исчерпан. Опираясь на идею коллективной памяти, присутствующей, хотя и не в концептуализированном виде, в работах Дюркгейма, а также на его понятие коллективных представлений, мы можем начать говорить о памяти как об одном из их видов. Для прояснения этого понятия мы обратимся к дискуссии В. Вундта и Э. Дюркгейма, которая, на наш взгляд, оказала влияние как на становление методов исследования социального вообще, так и имела важные последствия для исследований памяти в частности.

Дюркгейм и Вундт: время, прошлое и коллективные представления

В первой половине 1886 года Эмиль Дюркгейм получил стипендию для проведения исследований в Германии. Часть своего времени он провел в Лейпциге, поддавшись интеллектуальному притяжению школы экспериментальной психологии Вильгельма Вундта (Lukes, 1972: 87-94), о работе которой он уже имел к тому времени довольно четкое представление (Paoletti, 1992). Его восхищение экспериментальной психологией отразилось в небольшом отчете (Durkheim, 1887a), где он высоко оценил ее научную точность и способность разбираться с серьезными проблемами психологии без расплывчатых метафизических обобщений и призвал сообщество к «научной» философии, то есть методу, который рассматривал бы ее вопросы в соответствии с процедурами позитивных наук (Durkheim, 1887a).

После возвращения из Лейпцига Дюркгейм много сделал для популяризации работ Вундта во Франции (Durkheim, 1887b). Он воспринял школу Вундта как пример для подражания, рассуждая, что если есть точная экспериментальная наука о психике, то можно предложить научный подход и к изучению соци-

альных явлений. В предисловии ко второму изданию «Правил социологического метода» он допускал создание формальной психологии, которая охватывала бы индивидуальную психологию и социологию, потому что обе науки имеют дело с представлениями (Дюркгейм, 1995: 15). С одной стороны, ряд работ Дюркгейма испытали на себе однозначное влияние идей Вундта (в частности, суждения Дюркгейма о морали), но с другой — основной тезис о несводимости общества к любому другому явлению и насаждаемый Дюркгеймом методологический принцип объяснения социального через социальное противоречил установкам немецкого эмпирика. Дюркгейм также неоднократно критиковал работы психологов и их интерпретацию феноменов, которые, на его взгляд, нужно было трактовать с позиции социологии (Durkheim, 1906a; Durkheim, 1906b; Durkheim, 1906c). «Память» как понятие связано с работами психологов, однако коллективная память, если интерпретировать ее как один из видов коллективных представлений, оказывается в фундаменте социального. Поэтому ниже мы рассмотрим, как знакомство со школой Вундта и его работами позволило Дюркгейму реализовать собственные цели, и далее обоснуем, какое это значение может иметь для исследований памяти.

Во-первых, сама идея коллективных представлений перекликается с взглядами Вундта. Одной из задач разрабатываемой им «психологии народов» Вундт считал прояснение взаимодействия между индивидом и сообществом. Искусство, культура представляли собой продукт постепенного прогрессивного развития общества, а не творения отдельных индивидов. Язык, мифы и обычаи были важны для Вундта как единственный источник данных о функционировании и развитии тех аспектов человеческого разума, которые не могли быть исследованы экспериментальными лабораторными методами (Danziger, 1979: 207). Адаптируя эту схему для своих интересов, Вундт говорит о представлениях не как о каком-либо объекте (мои представления о чем-либо), а о процессе, причем процесс представлений — это психический процесс, а их основой оказываются ощущения. Несмотря на то что работа «Представления индивидуальные и представления коллективные» не содержит открытых ссылок на труды Вундта, ее можно считать некоторым продолжением высказанных Вундтом в «Психологии народов» идей.

Не споря с тем, что представления могут рассматриваться как психический процесс, Дюркгейм делает акцент на независимости психического от физиологии. Если, пишет Дюркгейм, рассматривать, как Генри Модсли, психическую жизнь индивида в качестве только лишь эпифеномена его физиологии, а коллективные представления как сумму индивидуальных, то любые коллективные представления будут зависеть от физиологии конкретных индивидов. Однако, возражает Дюркгейм, психологию нельзя свести к физиологии. То есть, делает он следующий шаг, коллективные представления, создаваемые действиями и реакциями между сознаниями индивидов, составляющих общество, не вытекают непосредственно из них и, следовательно, выходят за их пределы.

В отличие от коллеги Модсли, Вундт считает коллективные представления «теми ментальными продуктами, которые создаются общностью человеческой жизни и, следовательно, необъяснимы с точки зрения только индивидуального сознания, поскольку они предполагают взаимное действие многих» (Wundt, 1916: 3), поэтому для Вундта исследование коллективных представлений — это проект, стоящий отдельно от его экспериментальной психологии, сосредоточенной на сознании индивида. По мнению П. Гисберта, Дюркгейм следует за Вундтом, предлагая вместо целостного индивидуального разума последовательность отдельных действий ума (Gisbert, 1959: 361). Однако мы считаем принципиально важным другой ход Дюркгейма, который также связан с работами Вундта. Настаивая на абсурдности интерпретации Модсли, Дюркгейм вводит понятие субстрата. Эта интерпретация опирается на идеи Вундта о психической причинности, которая, в отличие от физической причинности, основана на непосредственном опыте, точнее, на двух его аспектах: природе связи между психическими элементами и атрибуте ценности, характерном для психических образований (Danziger, 1979: 207-208; de Wolf, 1987). Четкого определения субстрата Дюркгейм не предлагает, оставляя эту задачу «метафизикам». Физиологические основы в его интерпретации оказываются субстратом для индивидуальных представлений: индивидуальные состояния сознания не могут существовать без своей физиологической основы, но при этом не сводятся к ней. В свою очередь, «мир представлений, в котором разворачивается наша социальная жизнь, добавляется к материальному субстрату, а не происходит от него» (Дюркгейм, 2018: 469). Подобным образом (Дюркгейм здесь прибегает к аналогии) индивидуальные представления для коллективных оказываются субстратом, то есть обеспечивают их существование, но последние не сводятся к их сумме. В свою очередь, индивидуальные представления образуются на основе коллективных представлений. Иными словами, коллективные представления являются частично автономными реальностями, которые живут своей собственной жизнью; могут притягиваться, объединяться, вне зависимости от той среды, в которой они есть, они не сводятся к индивидуальным (как индивидуальные к своей физиологической основе), хотя и связаны с ними. «Общество имеет в качестве своего субстрата совокупность ассоциированных индивидов» (Дюркгейм, 1995: 232).

Этот ход, который можно называть одним из важнейших в формировании социологии, позволяет Дюркгейму вывести важные следствия. Во-первых, социальная солидарность, которая в более ранней его работе выступала следствием разделения труда (Дюркгейм, 1996), затем связывается им с коллективными чувствами и идеями. Во-вторых, опора на коллективные представления позволяет Дюркгейму обосновать идею социальной причинности таким же образом, каким Вундт обосновывал психическую причинность как похожую на физическую, но основанную на непосредственном опыте и атрибуте ценности, характерном для психических образований (Danziger, 1979: 207-208). В «Элементарных формах» Дюркгейм повторяет, что «коллективные представления — даже более действен-

ные силы, чем индивидуальные представления» (Дюркгейм, 2018: 404). Если для Вундта такие коллективные явления, как язык или обычаи, были проявлением отдельного человеческого разума (Danziger, 1979: 207), то для Дюркгейма они, как социальные факты, должны исследоваться сами по себе; причем для их объяснения не могут использоваться данные индивидуальной психологии, а только других социальных фактов.

Несмотря на важность сделанного хода для развития социальной теории, используемую Дюркгеймом аргументацию нельзя назвать сильной. Применяя объяснительную модель Вундта на своем материале, Дюркгейм вынужден использовать риторические фигуры и иногда спорные аксиоматические допущения: «Для нас совершенно очевидно, что материя социальной жизни не может объясняться чисто психологическими факторами, т. е. состояниями индивидуального сознания» (Дюркгейм, 1995: 14). Понятно, что без этой «очевидности» нельзя было бы говорить о специфике социологии как дисциплины, однако обоснование подобных суждений сделало бы предлагаемые Дюркгеймом способы объяснения более убедительными. Также Дюркгейм избегает дефиниции не только субстрата, но и самого понятия «представления» (довольно распространенного у неокантианцев того времени), ограничиваясь простой констатацией, что коллективная жизнь, как и психическая жизнь индивида, состоит из представлений. Это может вызывать сложности с определением того поля, в котором мы можем говорить о представлениях и применять соответствующие способы объяснения.

Тем не менее мы можем полагать, что коллективные представления в трактовке Дюркгейма обладают определенным онтологическим статусом. Речь идет не о некоем варианте социального редукционизма, в чем упрекал французского классика Б. Латур (Латур, 2014), а о признании реальности как коллективных представлений, так и различных материальных вещей, о констатации агентной роли первых. Рассматривая общество как «онтологически значимую сущность» (Alpert, 1961: 151), Дюркгейм подчеркивал онтологическое отличие общества от всех индивидуальных реальностей, утверждая тем не менее, что сила «коллективности не является полностью внешней; она не движет нами полностью извне» (Alpert, 1961: 151). Мы не будем здесь подробно останавливаться на социальном реализме Дюркгейма, однако нам важно подчеркнуть, что, признавая реальность социального, мы также признаем онтологичность коллективных представлений. «Все, что реально, обладает определенной природой, которая навязывается, с которой надо считаться и которая, даже тогда, когда удается нейтрализовать ее, никогда не оказывается полностью побежденной. В сущности, это самое существенное в понятии социального принуждения. Все, что оно в себе заключает, — это то, что коллективные способы действия или мышления существуют реально вне индивидов, которые постоянно к ним приспособляются» (Дюркгейм, 1995: 20).

Во-вторых, разработка самого метода социологии Дюркгейма также несет на себе следы позитивизма Вундта. Сразу после знакомства со школой экспери-

ментальной психологии Дюркгейм писал, что обращение к опыту германских ученых может сыграть ту же роль для социальной науки, какую физиология сыграла в психологии (имея в виду прежде всего исключение метафизики) (Durkheim, 1887b), однако в более поздних своих работах он хотел, чтобы социальная психология обращала внимание не столько на констатацию коллективных представлений, сколько на исследование их функционирования (Дюркгейм, 1995: 16), поэтому предлагаемый им вариант концептуализации коллективных представлений был одним из пунктов его исследовательской программы, которая в дальнейшем стала основой его модели социологии. В поздних работах Дюркгейм утверждает, что уровень развития знаний в современной ему социальной психологии («психологии народов» в терминологии Вундта) не позволяет утверждать, что существует эвристически продуктивный психологический метод для исследования коллективных представлений, поэтому социальная психология — это просто слово, за которым пока нет реального содержания (Дюркгейм, 1995: 16). Человек не может понять, как работает социальное, изучая себя, так как большая часть институтов существует на протяжении поколений, и мы не можем понять механизмов их работы, опираясь на собственный опыт. Поэтому необходимо, чтобы социолог погрузился в состояние духа, в котором находятся представители естественных наук, когда вступают в новую, еще не исследованную область; социолог, изучая социальный мир, также должен осознавать, что вступает в неизведанное. В этой трактовке социальное представляет собой не какой-либо концепт, возникающий в процессе работы исследователя, а сопротивляющуюся реальность. Социолог должен «не низвести высшие формы бытия до уровня низших форм, но, наоборот, востребовать для первых уровня реальности, по крайней мере равного тому, который все признают за вторыми» (Дюркгейм, 1995: 8).

Таким образом, стажировка в лаборатории Вундта и знакомство с трудами немецкого психолога оказали влияние на формирование социологии как дисциплины вообще и социологические исследования Дюркгейма в частности. Однако в рамках этой статьи мы акцентируем внимание только на возможных последствиях дискуссий с Вундтом для исследований памяти.

Во-первых, обосновав коллективные представления как особую реальность, Дюркгейм далее может обоснованно говорить о способах их трансляции и сохранения. Если для Вундта принципиальными формами общественной жизни, в которых вклад индивида не важен, являются только язык, миф и обычай (Wundt, 1886), то Дюркгейм обращает внимание на ритуалы. Они служат «для того, чтобы поддерживать жизнеспособность этих верований, препятствовать тому, чтобы они исчезли из памяти, то есть в конечном счете для того, чтобы возродить наиболее важные элементы коллективного сознания» (Дюркгейм, 2018: 627). То есть речь не идет о формировании или конструировании какого-либо образа прошлого, необходимого актерам, а только о трансляции образа, существующего в коллективных представлениях. Отметим, вслед за Гофманом, что традиции и однопорядковые с ними явления, такие как обычаи или обряды, Дюркгейм нередко

использует в качестве примеров социальных фактов, наделяя их соответствующими качествами: принудительностью и внешним по отношению к индивидам существованием (Гофман, 2015: 127).

Во-вторых, если рассматривать ритуал как способ трансляции коллективных представлений, то оказывается возможным обоснование коммеморативных практик как *перформативных* актов. Представления о прошлом, как показал Дюркгейм, могут передаваться не только через слова, но невербальным образом — через определенные действия, позы, жесты, движения. Большое значение при этом имеют эмоции, возникающие в процессе ритуала и способствующие лучшему восприятию и запоминанию транслируемых образов и смыслов. Специфические жесты, движения, позы позволяют опознать «своих», что оказывается одним из механизмов конституирования солидарности.

Именно регулярное ритуальное воссоздание событий, конституирующих общее происхождение группы, является наиболее значительным способом поддержания ее единства. Социальная солидарность, таким образом, выступает следствием повторяющихся практик, направленных в том числе на воспроизведение определенного образа прошлого: люди, как считает Дюркгейм, «становятся более твердыми в своей вере, когда видят, к сколь далекому прошлому она восходит и на сколь великие деяния она вдохновляла» (Дюркгейм, 2018: 627). Однако в его работе речь идет, скорее, о воссоздании событий, а не конструировании определенной версии «исторической правды» и «изобретении традиций».

В-третьих, Дюркгейм призывает ученых к изучению социальных фактов (в том числе памяти в этой интерпретации) как фактов естественных наук, аффективная вовлеченность (например, Landsberg, 2015) возвращает понятие коллективной памяти в сферу психологии и/или сближает его с метафорой. То есть можно изучать формы организации коллективной памяти в различных сообществах, но рефлексия и интроспекция не могут считаться достаточно корректными методами социологического исследования коллективной памяти (что, безусловно, не отменяет продуктивности этого метода в психологических исследованиях).

Таким образом, мы показали, что на социологический метод Дюркгейма и его идеи коллективных представлений оказала влияние школа экспериментальной психологии В. Вундта. Далее, исходя из методологических разработок Дюркгейма, а также его трактовок коллективных представлений о прошлом, описанных выше, мы предложим возможности использования оптики коллективных представлений для концептуализации и осмысления коллективной памяти. Мы будем исходить из того, что коллективные представления выступают основой «протосоциальной феноменологии» Дюркгейма (Throop, Laughlin, 2002; Tiryakian, 1978), в соответствии с которой общество определяется как безличная сила, которая непосредственно переживается индивидами в процессе коллективного ритуала (Throop, Laughlin, 2002: 44). Подобный взгляд позволяет не только обосновать детерминирующую функцию социального, но и показать возможности для осмысления образов коллективной памяти индивидами.

Заключение. Коллективная память как один из видов коллективных представлений

Мы считаем, что институционализация *memory studies* и усиление «парадигматичности» и «централизованности» (в терминологии Дж. Олика) этого направления должны предполагать не только увеличение количества соответствующих образовательных программ, организаций и публикационных площадок, но и конвенциональный язык описания. Метафоричность коллективной памяти и отсутствие четкого содержания этого понятия мешает выработке теоретико-методологических основ дисциплины. В предлагаемой статье мы поставили задачу рассмотреть возможность осмысления коллективной памяти как одного из видов коллективных представлений.

Представители *memory studies*, вне зависимости от дисциплинарной принадлежности, ритуально ссылаясь на Дюркгейма, обычно не рассматривают его работы в качестве ресурса, воспринимая идеи основоположника уже переработанными в более поздних (и зачастую более понятных) работах. Однако представления Дюркгейма о памяти и способы формирования этих представлений все еще могут быть интересны и эвристически продуктивны для современных теоретиков и практиков. Пьер Нора подчеркивает институциональный характер памяти и роль ритуалов для трансляции определенного образа прошлого (Нора, 1999), П. Коннертон уделяет внимание церемониям и телесным практикам (Connerton, 1989), Э. Шилс подчеркивает важность традиции (Shils, 1981), Э. Зерубавель рассматривает связь солидарности внутри сообщества с религиозными ритуалами (Zerubavel, 1981).

Выше мы показали, что трактовка памяти М. Хальбваксом, которая продолжает оказывать влияние на современные *memory studies*, отличается от дефиниции коллективных представлений, предлагаемой Дюркгеймом. Хальбвакс рассматривает память через категории мышления, что, конечно, соответствует идеям, высказанным в ранних работах Дюркгейма, но оставляет за рамками своего внимания основания коллективной памяти. Однако, на наш взгляд, идея коллективных представлений продолжает сохранять эвристический потенциал для исследований памяти. Рассматривая коллективную память как один из видов коллективных представлений, мы считаем, что коллективная память обладает всеми их характеристиками.

Во-первых, коллективные представления детерминируют содержание индивидуальных представлений и скорее конституируют общество, чем отражают его. Принадлежность к какому-либо сообществу оказывается фундаментом для формирования тех или иных представлений о прошлом, потому что сообщество само по себе может быть определено через комплекс идей и чувств, способов видения и чувствования, определенную интеллектуальную и моральную основу, отличительную для всей группы (Durkheim, 1973). А фундаментальной предсуществующей основой общества является совокупность традиций, воплощенных в «кол-

лективном сознании» (Гофман, 2015: 127). Соответственно, акторы не способны конструировать/изменять образы коллективной памяти по своему усмотрению (хотя может меняться их выражение), так как эти образы связаны с существующими коллективными представлениями (на что, в частности, обращал внимание Л. Козер (Halbwachs, 1992)), то есть мероприятия политики памяти или «изобретение традиций» интересны исследователю памяти в качестве источника, а не способ формирования коллективной памяти.

Конечно, идею легитимирующей функции памяти можно увидеть в работах Дюркгейма (об этом писала, например (Misztal, 2003; Misztal, 2005)), но мы надеемся, что возвращение к коллективным представлениям как основе коллективной памяти затруднит использование образов прошлого в идеологических и пропагандистских целях.

Во-вторых, напомним, что коллективные представления не являются суммой индивидуальных, а представляют собой «другое явление» (Дюркгейм, 1995: 234). Впечатления и опыт переживания какого-либо события отдельными индивидами не будут равнозначны коллективному представлению этого события; скорее, как мы говорили в предыдущем пункте — коллективные представления приведут к определенной трактовке этого события конкретными индивидами. Дальнейшее исследование соотношения индивидуальной памяти и памяти коллективной требует: а) очень осторожного перевода с психологического (индивидуальные представления) на социологический (коллективные представления) язык описания; б) прояснения понятия субстрата.

В-третьих, память во многом определяет нормативную сферу сообществ и групп, «мы не можем стремиться к иной морали, кроме той, которая зависит от состояния общества» (Durkheim, 1974: 61), то есть, как утверждает А. Маргалит, коллективная память всегда связана с обязательствами, в том числе с моральными (Margalit, 2002). Этика памяти и представления об исторической ответственности требуют особенно корректного к себе отношения, так как часто оказываются объектом манипуляций, однако, если рассматривать память с опорой на коллективные представления, можно утверждать наличие оснований, обеспечивающих стабильность транслируемых образов прошлого.

В-четвертых, интроспекцию и рефлекссию нельзя признать подходящими методами для исследования коллективной памяти; также исследование коллективной памяти нельзя строить на психологических объяснениях. Процесс перехода отдельных понятий из психологии в социальные науки не завершился после того, как память перестала рассматриваться только как психический феномен (в том числе благодаря Дюркгейму), однако описание проявлений коллективной памяти продолжает больше соответствовать психоаналитическим размышлениям, чем объяснению социального через социальное. Однако, на наш взгляд, психологическая риторика может выступать источником интересных и иногда продуктивных метафор, а не исследовательских концептов. Мы не отрицаем достижений психологической линии исследования коллектив-

ной памяти, однако считаем важным находиться в рамках языка описания конкретной дисциплины.

Отметим также, что если рассматривать память в контексте коллективных представлений, то называть термином «социальная память» объект исследования представителей *memory studies* будет не очень корректно. Понятие коллективных представлений относится как к самой социологии, поскольку наука состоит из коллективных представлений, так и к ее объекту, поскольку общество представляет собой систему коллективных представлений. «Память» в смысле *memory studies* социальна как коллективные представления занимающихся ими ученых. То есть она сохраняет то же противоречие, что содержится в самом проекте социологии Дюркгейма: как строгая естественная наука, социология объективно изучает общество, однако, являясь частью коллективных представлений, социология не только изучает общество, но и выражает его. Понятие представления относится как к способу мышления, так и к тому, что мыслится. Но в отличие от социологии, в *memory studies* это противоречие недостаточно отрелексировано.

Опора на идею коллективных представлений Дюркгейма позволяет говорить о некоей объективной основе коллективной памяти, существующей независимо от возможных конструктивистских манипуляций, им не подверженную и от них защищенную. Так понятая коллективная память «характеризуется постоянством того, что помнят» (Misztal, 2005: 32), что позволяет некоторым исследователям расширять возможности оптики Дюркгейма за счет обращения к ресурсам символического интеракционизма (Misztal, 2005). В рамках этой статьи мы предположили, что конституирующая функция коллективных представлений, их роль в обосновании социальной солидарности и социальной причинности позволяет рассматривать их как онтологическую основу коллективной памяти. Так понятая коллективная память, в отличие от трактовки М. Хальбвакса, будет проявляться в сообществе, а не определяться какими-либо действиями акторов или групповыми практиками, а сами проявления коллективной памяти выступают в качестве социального факта.

Говоря об определенной реальности коллективной памяти, мы также говорим о необходимости новых подходов к ее осмыслению, пересматривающих использование психологической риторики, место морали и нормативной сферы, источников личной памяти, а также границы конструирования образов прошлого.

Мы допускаем, что наш тезис об объективной основе коллективной памяти требует дополнительных обоснований. Однако нам важно было показать возможность мышления о памяти за пределами оценки эффективности «изобретения традиций», описания отдельных кейсов, психологической и политической риторики.

А. Васильев отметил, что «что один из важнейших (и далеко не в полной мере усвоенных) уроков Дюркгейма для современных теоретиков и практиков политики памяти заключается в том, что с образами коллективной памяти следует обращаться не как с научными концепциями и точками зрения, подлежащими дискуссии. Это “священные вещи”, абсолютная истинность и значимость кото-

рых установлена для данного сообщества раз и навсегда и не может обсуждаться» (Васильев, 2014: 162). Подтверждение этому можно найти в разнообразных войнах памяти или современном мемориальном законодательстве. Сакральность образов коллективной памяти станет понятнее, если рассматривать их не как конструкты, связанные с действиями конкретных акторов, или плохо концептуализированные теоретические понятия, а как один из вариантов коллективных представлений.

Литература

- Барг М. А. (1987). Эпохи и идеи. Становление историзма. М.: Мысль.
- Васильев А. (2014). Воплощенная память: коммеморативный ритуал в социологии Э. Дюркгейма // Социологическое обозрение. Т. 13, № 2. С. 141–167.
- Головашина О. В. (2017). Политика памяти в условиях «времени Мебиуса» // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2017. № 38. С. 63–70.
- Гофман А. Б. (2015). Традиция, солидарность и социологическая теория. Избранные тексты. М.: Новый хронограф.
- Дюркгейм Э. (1995). Метод социологии // Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр. А. Б. Гофмана. М.: Канон. С. 5–164.
- Дюркгейм Э. (1995). Представления индивидуальные и представления коллективные // Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр. А. Б. Гофмана. М.: Канон. С. 208–243.
- Дюркгейм Э. (1996). О разделении общественного труда / Пер. с фр. А. Б. Гофмана. М.: Канон.
- Дюркгейм Э. (2018). Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австралии / Пер. с франц. В. В. Земсковой. М.: Элементарные формы.
- Лавабр М. К. (1995). Память и политика: о социологии коллективной памяти // Автотономова Н. С., Степин В. С. (ред.). Психоанализ и науки о человеке. М.: Прогресс-Культура. С. 233–244.
- Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014.
- Лотман Ю. М. (2001). Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки. СПб.: Искусство-СПб.
- Нора П. (1999). Между памятью и историей. Проблематика мест памяти // Нора П. Франция-память / Пер. с фр. Д. Хапаевой. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета. С. 17–50.
- Репина Л. П. (2006). История исторического знания. М.: Дрофа.
- Репина Л. П. (2009). Новая историческая наука и социальная история. М.: ЛКИ.
- Рикёр П. (2004). Память, история, забвение. М.: Издательство гуманитарной литературы.
- Савельева И. М., Полетаев А. В. (1997). История и время. В поисках утраченного. М.: Языки русской культуры.

- Савельева И. М., Полетаев А. В.* (2003). Знание о прошлом. Теория и история. В 2-х т. СПб.: Наука.
- Савельева И. М., Полетаев А. В.* (2008). Социальные представления о прошлом, или Знают ли американцы историю. М.: Новое литературное обозрение.
- Сафронова Ю. А.* (2019). Историческая память: введение: Учебное пособие. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге.
- Хальбвакс М.* (2007). Социальные рамки памяти / Пер. с фр. С. Н. Зенкина. М.: Новое издательство.
- Alpert H.* (1961). *Emile Durkheim and His Sociology*. New York: Russell and Rus
- Bellah R. N.* (1959). Durkheim and history // *American Sociological Review*. Vol. 24(4). P. 447–461.
- Bernecker S., Grundmann T.* (2019). Knowledge from forgetting // *Philosophy and Phenomenological Research*. Vol. 98. P. 525–540.
- Block M.* (1925). *Memoire collective, tradition et coutume a propos d'un livre recent* // *Revue de synthese historique*. Vol. 40. P. 73–83.
- Brockmeier J.* (2015). *Beyond the Archive: Narrative, Memory, and the Autobiographical Process*. New York and Oxford: Oxford University Press.
- Buchli V.* (ed.) (2004). *Material Culture: Critical Concepts in the Social Sciences*. London: Routledge. P.181–195.
- Carrier P., Kabaleck K.* (2014). Cultural Memory and Transcultural Memory — a Conceptual Analysis // Bond L., Rapson J. (eds.). *The Transcultural turn: Interrogating Memory Between and Beyond Borders*. Berlin; New York: De Gruyter.
- Connerton P.* (1989). *How Societies Remember*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Danziger K.* (1979). The Positivist Repudiation of Wundt // *Journal of the History of the Behavioral Sciences*. Vol. 15. P. 205 — 230.
- Durkheim E.* (1887a). La science positive de la morale en Allemagne // *Revue philosophique*. № 24. P. 33–58, 113–142, 275–284.
- Durkheim E.* (1887b). La Philosophie dans les universités allemandes // *Revue internationale de l'enseignement*. № 13. P. 313–338, P. 423–440.
- Durkheim E.* (1906a). Review of De Robertis, *L'anima delle folle* // *L'Année sociologique*. T. 9. P. 159–160.
- Durkheim E.* (1906b). Review of G. Tarde, *L'Interpsychologie* // *L'Année sociologique*. T. 9. P. 133–135.
- Durkheim E.* (1906c). Review of T. Ribot, *La Logique des sentiments* // *L'Année sociologique*. T. 9. P. 156–158.
- Durkheim E.* (1972). *Selected Writings*. New York: Cambridge University Press.
- Durkheim E.* (1973). *Forms of the Religious Life* // *Bellah R.* (ed.). *Durkheim, on Morality and Society*. Chicago: University of Chicago Press. P. 69–97.
- Durkheim E.* (1974). *Sociology and Philosophy*. New York: Free Press.
- Dutceac Segesten A., Wüstenberg J.* (2017). Memory studies: The state of an emergent field // *Memory Studies*. Vol. 10(4). P. 474–489.
- Erll A.* (2011). *Memory in Culture*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

- Erll A.* (2014). *Transcultural Memory // Témoigner. Ente histoire et mémoire.* Vol. 119. P. 178.
- Erll A.* (2018). *Homer: A relational mnemohistory // Memory Studies.* Vol. 11(3). P. 274–286.
- Erll A., Nünning A.* (eds). (2008). *Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook,* Berlin: Walter de Gruyter.
- Feindt G., Mehler D., Pestel F., Krawatzek F., Trimçev R.* (2014). *Entangled memory: Toward a third wave in memory studies // History and Theory.* Vol. 53. P. 24–44.
- Forty A.* (2004). *Introduction to “The art of forgetting” // Buchli V (ed.). Material Culture: Critical Concepts in the Social Sciences,* London: Routledge. P. 181–195.
- Gensburger S.* (2016). *Halbwachs’ studies in collective memory: A founding text for contemporary «memory studies»? // Journal of Classical Sociology.* Vol. 16(4). P. 396–413.
- Gensburger S. Lefrank S.* (2020). *Beyond Memory: Can We Really Learn from the Past?* London: Palgrave Macmillan.
- Gisbert P.* (1959). *Social Facts in Durkheim’s System // Anthropos.* Bd. 54. № 3/4. P. 353–369.
- Glannon W.* (2019). *The Neuroethics of Memory.* Cambridge: Cambridge University Press.
- Halbwachs M.* (1918). *La doctrine d’Émile Durkheim // Revue Philosophique de la France et de l’Étranger.* Vol. 85. P. 353–411.
- Halbwachs M.* (1992). *On Collective Memory / L. A. Coser (ed., transl.)* Chicago: Univ. of Chicago Press.
- Hartog F.* (2013). *Croire en l’histoire.* Paris: Flammarion.
- Hirsch T., Hamilton P. A.* (2016). *Posthumous Life: Maurice Halbwachs and French Sociology (1945–2015) // Revue française de sociologie (English Edition).* Vol. 57. №. 1. PP. 48–71.
- Hoffman E.* (2004). *After Such Knowledge: A Meditation on the Aftermath of the Holocaust.* London: Secker & Warburg.
- Hoskins A.* (2011a). *Media, memory, metaphor: Remembering and the connective turn // Parallax.* Vol. 17(4). P. 19–31.
- Hoskins A.* (2011b). *7/7 and connective memory: Interactional trajectories of remembering in post-scarcity culture // Memory Studies.* Vol. 4(3). P. 269–280.
- Hoskins A.* (2017). *Memory of the multitude: The end of collective memory // Hoskins A. (ed.). Digital Memory Studies: Media Pasts in Transition.* London: Routledge. P. 85–109.
- Jelin E.* (2021). *The Struggle for the Past: How We Construct Social Memories.* New York; Oxford: Berghahn Books.
- Laanes E.* (2021). *Born translated memories: Transcultural memorial forms, domestication and foreignization // Memory Studies.* Vol. 14(1). P. 41–57.
- Landsberg A.* (2015). *Engaging the Past: Mass Culture and the Production of Historical Knowledge.* New York: Columbia University Press.

- Lukes S. (1972). *Emile Durkheim. His Life and Work*. New York: Harper & Row.
- Margalit A. (2002). *The Ethics of Memory*. Cambridge, Mass: Harvard University.
- Meretoja H. (2018). *The Ethics of Storytelling: Narrative Hermeneutics, History, and the Possible*. New York, Oxford: Oxford University Press.
- Misztal B. A. (2003). Durkheim and Memory // *Journal of Classical Sociology*. Vol. 3 (2). P. 123–143.
- Misztal B. A. (2005). Memory and the Construction of Temporality, Meaning and Attachment // *Polish Sociological Review*. № 149. P. 31–48.
- Olick J. (1999). Genre memories and memory genres: A dialogical analysis of May 8, 1945 commemorations in the Federal Republic of Germany // *American Sociological Review*. Vol. 64(3). P. 381–402.
- Olick J. K. (2008). «Collective memory»: memoir and prospect // *Memory Studies*. Vol. 1(1). P. 23–29.
- Olick J. K., Teichler H. (2021). Memory and Crisis: An Introduction // *Memory Studies*. Vol. 14(6). P. 1135–1142.
- Olick J. K., Robbins J. (1998). Social memory studies: from «collective memory» to the historical sociology of mnemonic practices // *Annual Review of Sociology*. Vol. 24. P. 105–140.
- Olick J. K., Sierp A., Wüstenberg J. (2017). The Memory Studies Association: Ambitions and an invitation // *Memory Studies*. Vol. 10(4). P. 490–494.
- Olick J. K., Vinitzky-Seroussi V., Levi D. (eds.). (2011). *The Collective Memory Reader*. Oxford; Pxford University press.
- Olick J. K. (2009). Between Chaos and Deversity: is Social Memory Studies a Field? // *International Journal of Politics, Culture and Sociaty*. Vol. 22. P. 249–252.
- Osiel M. (1997). *Mass Atrocity, Collective Memory and the Law*. New Brunswick: Transaction Publishers.
- Palmberger M., Tošić J. (eds.). (2012). *Memories on the Move. Experiencing Mobility, Rethinking the Past*. London: Palgrave MacMillan.
- Paoletti G. (1992). Durkheim a l'Ecole Normale Superieure: Lectures de jeunesse // *Etudes durkheimiennes*. Vol. 4. P. 2–13.
- Roediger H. L., Wertsch J. V. (2008). Creating a new discipline of memory studies // *Memory Studies*. Vol. 1(1). P. 9–22.
- Rossington M., Whitehead A. (eds.). (2007). *Theories of Memory: A Reader*: Edinburgh University Press.
- Rothberg M. (2009). *Multidirectional memory: remembering the Holocaust in the age of decolonization*, Stanford, Calif.: Stanford University Press.
- Senor T. D. (2019). *A Critical Introduction to the Epistemology of Memory*. London: Bloomsbur.
- Shils E. (1981). *Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Silvestri L. E. (2021). Start where you are: Building cairns of collaborative memory // *Memory Studies*, Vol. 14(2). P. 275–287.

- Stone Ch., Bietti L.* (eds.). (2016). *Contextualizing Human Memory: An Interdisciplinary Approach to Understanding How Individuals and Groups Remember the Past*. New York: Routledge.
- Throop C. J., Laughlin Ch. D.* (2002). *Ritual, Collective Effervescence and The Categories: Toward a NeoDurkheimian Model of The Nature of Human Consciousness, Feeling and Understanding* // *Journal of Ritual Studies*. Vol. 16. №. 1. P. 40–63.
- Tiryakian E. A.* (1978). *Durkheim and Husserl: A Comparison of the Spirit of Positivism and the Spirit of Phenomenology* // *J. Bien* (ed.). *Phenomenology and the Social Sciences: A Dialogue*. Boston: Mărtiņus Nijhoff. P. 20–43.
- Tota A. L., Hagen T.* (eds.). (2016). *Routledge International Handbook of Memory Studies*. New York: Routledge.
- Tulving E.* (2007). *Are There 256 Different Kinds of Memory?* // *Narine J. S.* (ed.). *The Foundations of Remembering: Essays in Honor of Henry L. Roedinger, III*. New York: Psychology Press. P. 39–52.
- Wertsch J. V.* (2008). *The narrative organization of collective memory* // *Ethos*. Vol. 26(1). P. 120–135.
- Wolf J. J. de* (1987). *Wundt and Durkheim a Reconsideration of a Relationship* // *Anthropos*. Bd. 82, H. 1./3. P. 1–23.
- Wundt W.* (1886). *Über Ziele und Wege der Völkerpsychologie* // *Philosophische Studien*. Vol. 4. P. 1–27.
- Wundt W.* (1916). *Elements of folk psychology: Outlines of a psychological history of development of mankind*. London: Allen & Unwin.
- Zerubavel E.* (1981). *Hidden Rhythms: Schedules and Calendars in Social Life*. Chicago: University of Chicago Press.
- Zimmerer J.* (eds.). (2013). *Kein Platz an der Sonne: Erinnerungsorte der deutschen Kolonialgeschichte*, Frankfurt am Main: Campus Verlag.

Back to Representations: in Search of Grounds for Collective Memory

Oksana Golovashina

Doctor of Philosophy, Leading Research Fellow, Ural Institute of Humanities, Ural Federal University, Leading Research Fellow, Derzhavin Tambov State University. Address: prospect Mira, 19, Ekaterinburg, Russian Federation 620002
E-mail: ovgolovashina@mail.ru

The article substantiates the need to return to collective representations as optics for understanding collective memory, which will allow the bringing of the foundations under the concept of collective memory, and expand the theoretical and methodological base of research. As the first step, the author distinguishes between E. Durkheim's "collective representations" and M. Halbwax's interpretation of "collective memory". Justifying the heuristic potential of the category "collective representations" for understanding collective memory, the author shows that the origins of this idea were connected with Durkheim's acquaintance with the school of

V. Wundt: 1) the idea of collective representations is connected with the views of the German psychologist; and 2) the development of the method of sociology bears traces of Wundt's positivism. Furthermore, the author's concerns are the ways of preserving and translating collective representations, showing the possibilities of substantiating commemorative practices as performative acts and the need to abandon reflection as a source of collective memory research. In conclusion, the author proves that the return to the idea of collective representations as a basis for understanding collective memory allows us to move away from the metaphorical concept, as well as to reconsider the ways of researching and interpreting the politics of memory, the relationship between individual and collective memory, the study of the place of the image of specific events in collective memory, and the place of psychological explanations.

Keywords: collective memory, social memory, collective representations, Durkheim, Wundt

References

- Alpert H. (1961) *Emile Durkheim and His Sociology*, New York: Russell and Rus
- Barg M. A. (1987) *Jepohi i idej. Stanovljenje istorizma* [Epochs and Ideas. The Formation of Historicism], Moscow: Mysl'.
- Bellah R. N. (1959) Durkheim and history. *American Sociological Review*, vol. 24(4), pp. 447–461.
- Bernecker S., Grundmann T. (2019) Knowledge from forgetting. *Philosophy and Phenomenological Research*, vol. 98, pp. 525–540.
- Block M. (1925) Memoire collective, tradition et coutume a propos d'un livre recent. *Revue de synthese historique*, vol. 40, pp. 73–83.
- Brockmeier J. (2015) *Beyond the Archive: Narrative, Memory, and the Autobiographical Process*, New York, Oxford: Oxford University Press.
- Buchli V. (ed.) (2004) *Material Culture: Critical Concepts in the Social Sciences*, London: Routledge, pp. 181–195.
- Carrier P., Kabaleck K. (2014) Cultural Memory and Transcultural Memory — a Conceptual Analysis. Bond L., Rapson J. *The Transcultural turn: Interrogating Memory Between and Beyond Borders*, Berlin, New York: De Gruyter.
- Connerton P. (1989) *How Societies Remember*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Danziger K. (1979) The Positivist Repudiation of Wundt. *Journal of the History of the Behavioral Sciences*, vol. 15, pp. 205 — 230.
- Djurkgejm Je. (1995) Metod sociologii [The Method of Sociology]. Djurkgejm Je. *Sociologija. Ee predmet, metod, prednaznachenie* [Sociology. Its Subject, Method, Purpose], Moscow: Canon, pp. 5–164.
- Djurkgejm Je. (1995) Predstavljenija individual'nye i predstavljenija kolektivnye [Individual Representations and Collective representations]. Djurkgejm Je. *Sociologija. Ee predmet, metod, prednaznachenie* [Sociology. Its Subject, Method, Purpose], Moscow: Canon, pp. 208–243.
- Djurkgejm Je. (1996) *O razdelenii obshhestvennogo truda* [About the Division of Social Labor], Moscow: Kanon.
- Djurkgejm Je. (2018) *Jelementarnye formy religioznoj zhizni: totemicheskaja sistema v Avstralii* [Elementary Forms of Religious Life: the Totemic System in Australia], Moscow: Jelementarnye formy.
- Durkheim E. (1887a) La science positive de la morale en Allemagne. *Revue philosophique*, no 24, pp. 33–58, 113–142, 275–284.
- Durkheim E. (1887b) La Philosophie dans les universités allemandes. *Revue internationale de l'enseignement*, no 13, pp. 313–338, 423–440.
- Durkheim E. (1906a) Review of De Robertis, L'anima delle folle. *L'Année sociologique*, vol. 9, pp. 159–160.
- Durkheim E. (1906b) Review of G. Tarde, L'Interpsychologie. *L'Année sociologique*, vol. 9, pp. 133–135.
- Durkheim E. (1906c) Review of T. Ribot, La Logique des sentiments. *L'Année sociologique*, vol. 9, pp. 156–158.
- Durkheim E. (1972) *Selected Writings*, New York: Cambridge University Press.

- Durkheim E. (1973) Forms of the Religious Life. *Durkheim, on Morality and Society* (ed. R. Bellah), Chicago: University of Chicago Press, pp. 69–97.
- Durkheim E. (1974) *Sociology and Philosophy*, New York: Free Press.
- Dutceac Segesten A., Wüstenberg J. (2017) Memory studies: The state of an emergent field. *Memory Studies*, vol. 10(4), pp. 474–489.
- Émile Durkheim]. *Sociologičeskoe obozrenie*, vol. 13, no 2, pp. 141–167.
- Erl A. (2011) *Memory in Culture*, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Erl A. (2014) Transcultural Memory. *Témoigner. Ente histoire et mémoire*, vol. 119, p. 178.
- Erl A. (2018) Homer: A relational mnemohistory. *Memory Studies*, vol. 11(3), pp. 274–286.
- Erl A., Nünning A. (eds). (2008) *Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook*, Berlin: Walter de Gruyter.
- Feindt G., Mehler D., Pestel F., Krawatzek F., Trimçev R. (2014) Entangled memory: Toward a third wave in memory studies. *History and Theory*, vol. 53, pp. 24–44.
- Forty A. (2004) Introduction to “The art of forgetting”. Buchli V (ed.). *Material Culture: Critical Concepts in the Social Sciences*, London: Routledge, pp. 181–195.
- Gensburger S. Lefrank S. (2020) *Beyond Memory: Can We Really Learn from the Past?* London: Palgrave Macmillan.
- Gensburger S. (2016) Halbwachs’ studies in collective memory: A founding text for contemporary «memory studies»? *Journal of Classical Sociology*, vol. 16(4), pp. 396–413.
- Gisbert P. (1959) Social Facts in Durkheim’s System. *Anthropos*, vol. 54, no 3/4, pp. 353–369.
- Glannon W. (2019) *The Neuroethics of Memory*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Gofman A. B. (2015) *Tradicija, solidarnost’ i sociologičeskaja teorija. Izbrannye teksty* [Tradition, solidarity and sociological theory. Selected texts], Moscow: Novyj Hronograf.
- Golovashina O.V. (2017) Politika pamjati v uslovijah “vremeni Mebiusa” [Memory Policy in Terms of “Möbius Time”]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofija. Sociologija. Politologija*, vol. 38, pp. 63–70.
- Hal’bvaks M. (2007) *Social’nye ramki pamjati* [The Social Framework of Memory], Moscow: Novoe izdatel’stvo.
- Halbwachs M. (1918) La doctrine d’Émile Durkheim. *Revue Philosophique de la France et de l’Étranger*, vol. 85, pp. 353–411.
- Halbwachs M. (1992). *On Collective Memory*, Chicago: Univ. of Chicago Press.
- Hartog F. (2013) *Croire en l’histoire*, Paris: Flammarion.
- Hirsch T., Hamilton P.A. (2016) Posthumous Life: Maurice Halbwachs and French Sociology (1945–2015). *Revue française de sociologie (English Edition)*, vol. 57, no 1, pp. 48–71.
- Hoffman E. (2004) *After Such Knowledge: A Meditation on the Aftermath of the Holocaust*. London: Secker & Warburg.
- Hoskins A. (2011a) Media, memory, metaphor: Remembering and the connective turn. *Parallax*, vol. 17(4), pp. 19–31.
- Hoskins A. (2011b) 7/7 and connective memory: Interactional trajectories of remembering in post-scarcity culture. *Memory Studies*, vol. 4(3), pp. 269–280.
- Hoskins A. (2017) Memory of the multitude: The end of collective memory. Hoskins A. (ed.). *Digital Memory Studies: Media Pasts in Transition*, London: Routledge, pp. 85–109.
- Jelin E. (2021) *The Struggle for the Past: How We Construct Social Memories*, New York; Oxford: Berghahn Books.
- Laanes E. (2021) Born translated memories: Transcultural memorial forms, domestication and foreignization, *Memory Studies*, vol. 14(1), pp. 41–57.
- Landsberg A. (2015) *Engaging the Past: Mass Culture and the Production of Historical Knowledge*, New York: Columbia University Press.
- Latur B. (2014) *Peresborka social’nogo: vvedenie v aktorno-setevuju teoriju* [Reassembling the Social: An Introduction to Actor-network Theory]. Moscow: Izd. dom Vysshej shkoly jekonomiki
- Lavabr M. K. (1995) Pamjat’ i politika: o sociologii kollektivnoj pamjati [Memory and Politics: on the sociology of collective memory]. *Psihoanaliz i nauki o cheloveke* [Psychoanalysis and Human Sciences] (eds. N. S. Avtonomova, V. S. Stepin), Moscow: Progress-Kul’tura, pp. 233–244.

- Lotman Ju.M. (2001) *Semiosfera. Kul'tura i vzryv. Vnutri mysljashih mirov. Stat'i. Issledovanija. Zametki* [The Semiosphere. Culture and Explosion. Inside the Thinking Worlds. Articles. Researches. Notes], Saint-Petersburg: Iskusstvo-SPb.
- Lukes S. (1972) *Emile Durkheim. His Life and Work*, New York: Harper & Row.
- Margaait A. (2002). *The Ethics of Memory*, Cambridge, Mass: Harvard University.
- Meretoja H. (2018) *The Ethics of Storytelling: Narrative Hermeneutics, History, and the Possible*, New York and Oxford: Oxford University Press.
- Misztal B. A. (2003) Durkheim and Memory. *Journal of Classical Sociology*, vol. 3, issue 2, pp. 123–143.
- Misztal B. A. (2005). Memory and the Construction of Temporality, Meaning and Attachment. *Polish Sociological Review*, no 149, pp. 31–48.
- Nora P. (1999) Mezhdju pamjat'ju i istoriej. Problematika mest pamjati [Between Memory and History. Problems of Memory Locations]. Nora P. *Francija-pamjat'* [France-memory], Saint-Petersburg: Izdatel'stvo Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta, pp. 17–50.
- Olick J. (1999) Genre memories and memory genres: A dialogical analysis of May 8, 1945 commemorations in the Federal Republic of Germany. *American Sociological Review*, vol. 64(3), pp. 381–402.
- Olick J. K. (2008) «Collective memory»: memoir and prospect. *Memory Studies*, vol. 1(1), pp. 23–29.
- Olick J. K. Teichler H. (2021) Memory and Crisis: An Introduction. *Memory Studies*, vol. 14(6), pp. 1135–1142.
- Olick J. K., Robbins J. (1998) Social memory studies: from «collective memory» to the historical sociology of mnemonic practices. *Annual Review of Sociology*, vol. 24, pp. 105–140.
- Olick J. K., Sierp A., Wüstenberg J. (2017) The Memory Studies Association: Ambitions and an invitation, *Memory Studies*, vol. 10(4), pp. 490–494.
- Olick J. K., Vinitzky-Seroussi V., Levi D. (eds.). (2011) *The Collective Memory Reader*, Oxford; Pxford University press.
- Olick J. K. (2009) Beetween Chaos and Deversity: is Social Memory Studies a Field? *International Journal of Politics, Culture and Society*, vol. 22, pp. 249–252.
- Osiel M. (1997) *Mass Atrocity, Collective Memory and the Law*, New Brunswick: Transaction Publishers.
- Palmberger M., Tošić J. (eds.) (2012) *Memories on the Move. Experiencing Mobility, Rethinking the Past*, London: Palgrave MacMillan.
- Paoletti G. (1992) Durkheim a l'Ecole Normale Superieure: Lectures de jeunesse. *Etudes durkheimiennes*, vol. 4, pp. 2–13.
- Repina L. P. (2006) *Istorija istoričeskogo znanija* [History of Historical Knowledge]. Moscow: Drofa.
- Repina L. P. (2009) *Novaja istoričeskaja nauka i social'naja istorija* [New Historical Science and Social History], Moscow: LKI.
- Rikjor P. (2004) *Pamjat', istorija, zabvenie* [Memory, History, Oblivion], Moscow: Izdatel'stvo gumanitarnoj literatury.
- Roediger H. L. Wertsch J. V. (2008) Creating a new discipline of memory studies, *Memory Studies*, vol. 1(1), pp. 9–22.
- Rossington M., Whitehead A. (eds). (2007) *Theories of Memory: A Reader*, Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Rothberg M. (2009) *Multidirectional memory: remembering the Holocaust in the age of decolonization*, Stanford, Calif.: Stanford University Press.
- Safronova Ju.A. (2019) *Istoričeskaja pamjat': vvedenie: Učebnoe posobie* [Historical Memory: an Introduction], Saint-Petersburg: Izd-vo Evrop. un-ta v Sankt-Peterburge.
- Savel'eva I. M., Poletaev A. V. (1997) *Istorija i vremja. V poiskah utrachennogo* [History and Time. In Search of the Lost], Moscow: Jazyki russoj kul'tury.
- Savel'eva I. M., Poletaev A. V. (2003) *Znanie o prošlom. Teorija i istorija* [Knowledge about the Past. Theory and History]. V 2-h t., Saint-Petersburg: Nauka.
- Savel'eva I. M., Poletaev A. V. (2008) *Social'nye predstavlenija o prošlom, ili znajut li amerikancy istoriju* [Social Perceptions of the Past, or do Americans Know History], Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
- Senor T. D. (2019) *A Critical Introduction to the Epistemology of Memory*, London: Bloomsbur.
- Shils E. (1981) *Tradition*, Chicago: University of Chicago Press.

- Silvestri L. E. (2021) Start where you are: Building cairns of collaborative memory, *Memory Studies*, vol. 14(2), pp. 275–287.
- Stone Ch., Lucas B. (eds.). (2016) *Contextualizing Human Memory: An Interdisciplinary Approach to Understanding How Individuals and Groups Remember the Past*, New York: Routledge.
- Throop C. J., Laughlin Ch. D. (2002) Ritual, Collective Effervescence and The Categories: Toward a NeoDurkheimian Model of The Nature of Human Consciousness, Feeling and Understanding. *Journal of Ritual Studies*, vol. 16, no 1, pp. 40–63.
- Tiryakian E. A. (1978) Durkheim and Husserl: A Comparison of the Spirit of Positivism and the Spirit of Phenomenology. *Phenomenology and the Social Sciences: A Dialogue* (J. Bien (ed.)). Boston: Märtiņus Nijhoff, pp. 20–43.
- Tota A. L., Hagen T. (eds.). (2016) *Routledge International Handbook of Memory Studies*. New York: Routledge.
- Tulving E. (2007) Are There 256 Different Kinds of Memory? *The Foundations of Remembering: Essays in Honor of Henry L. Roedinger, III*. (ed. J. S. Narine), New York: Psychology Press, pp. 39–52.
- Vasil'ev A. (2014) Voploshennaja pamjat': kommemorativnyj ritual v sociologii Je. Djurkgejma [Embodied Memory: Commemorative Ritual in Sociology of
- Wertsch J.V. (2008) The narrative organization of collective memory. *Ethos*, vol. 26(1), pp. 120–135.
- Wolf J. J. de (1987). Wundt and Durkheim a Reconsideration of a Relationship. *Anthropos*, bd. 82, h. 1./3, pp. 1–23.
- Wundt W. (1886) Über Ziele und Wege der Völkerpsychologie. *Philosophische Studien*, vol. 4, pp. 1–27.
- Wundt W. (1916) *Elements of folk psychology: Outlines of a psychological history of development of mankind*, London: Allen & Unwin.
- Zerubavel E. (1981). *Hidden Rhythms: Schedules and Calendars in Social Life*, Chicago: University of Chicago Press
- Zimmerer J. (eds.). (2013) *Kein Platz an der Sonne: Erinnerungsorte der deutschen Kolonialgeschichte*, Frankfurt am Main: Campus Verlag.

Отражение ценностей российского общества в Посланиях Президента Федеральному Собранию¹

Георгий Борщевский

Доктор политических наук, государственный советник Российской Федерации, профессор, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Адрес: пр-т Вернадского, 82, Москва, Российская Федерация, 119571

E-mail: ga.borshchevskiy@igsu.ru

В условиях цифровой трансформации происходит девальвация традиционных институтов и актуализируется потребность в поиске новых интегрирующих факторов, которыми призваны стать ценности, разделяемые населением. В статье с использованием методик кросс-культурных исследований, контент-анализа, кластеризации и картирования, анализа вторичных социологических данных, анализа макроэкономической статистики, корреляционного анализа выявлены ценностные коннотации в дискурсивных практиках Посланий Президента РФ Федеральному Собранию (1994–2021 годы). Обнаружено доминирование материалистической составляющей ценностного дискурса (по Р. Инглхарту), ценностей коллективизма, но не дистанции власти (по Г. Хофстеде), сочетание эгалитарных ценностей (по Ш. Шварцу) и либеральных ценностей (по М. Рокичу). Устойчивые негативные коннотации между публично озвучиваемыми ценностями и их восприятием респондентами указывают на существование латентного ценностного конфликта между элитой и гражданами, который проявляется в возрастании запроса общества на изменения. Усиление частоты упоминания политических ценностей в периоды спада экономики интерпретируется как попытка элиты сплотить общество перед лицом экономических трудностей (rally around the flag), а также как следствие постепенного наполнения ценностей новыми смыслами в массовом сознании. Статья дополняет существующие эмпирические исследования публичной политики и адаптирует известные теории политической аксиологии к российской практике.

Ключевые слова: ценности, аксиология, дискурс, контент-анализ, президент, Послание Федеральному Собранию, общественное мнение

Ценности традиционно занимают значимое место в науках об обществе. Вызванное цифровой трансформацией нарастание социальной дефрагментации и кризиса доверия к традиционным институтам приводит исследователей к пониманию того, что ценности в динамично меняющемся обществе обладают интеграционным потенциалом (Lindgreen et al., 2019).

В данной статье мы рассмотрим динамику ценностных коннотаций в Посланиях Президента РФ Федеральному Собранию (далее — Послания) и их восприятие населением страны. Формат обращений главы государства к парламен-

1. Автор выражает свою искреннюю признательность доктору социологических наук профессору А. Ф. Филиппову за высказанные им ценные замечания по улучшению статьи.

ту существует во многих странах². В России Послание закреплено нормативно³ и представляет собой публичное обращение к обеим палатам парламента, содержащее характеристику внешней и внутренней политики и служащее основой для планирования социально-экономического развития страны.

Формат Посланий менялся со временем⁴, и на сегодня им посвящено немало исследований (Багдасарян, Балдин, Реснянский, 2021; Байков, 2021; Зюзина, 2020; Fedotenkov, 2020; Rak, Bäcker, 2020; Semenova, Winter, 2020). С 1994 года накоплен массив текстов Посланий, позволяющий проследить эволюцию дискурсивных практик на высшем уровне российской власти.

Формально адресованные палатам парламента, Послания на деле обращены ко всему обществу и содержат важнейшие идеологемы и ценности. Мы предполагаем, что нарратив Посланий, помимо правового и управленческого значения, выполняет важную аксиологическую функцию, транслируя определенный набор ценностей, закрепляя их в массовом сознании и задавая стандарты социального поведения. При этом возможен и обратный эффект, при котором аксиологемы Послания формируются с учетом ожиданий населения для «подстройки» властного дискурса под ценности, разделяемые большинством населения. Для проверки этого предположения мы сопоставили наборы ключевых ценностей в Посланиях 1994–2021 годов с результатами репрезентативных опросов общественного мнения по коррелирующим ценностям.

2. Аналогичным форматом являются «тронные речи» королевы Великобритании, которые открывают сессии британского парламента. Формат послания (обращения) существует в США и Китае (там обращение делает глава правительства), а также в ряде постсоветских стран — Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и др.

3. Пункт «е» статьи 84 Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.; статья 15 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

4. Норма об обращении главы государства с посланиями высшему законодательному органу впервые появилась в Законе РСФСР от 24 апреля 1991 г. «О Президенте РСФСР». В 1994–2002 гг. существовали расширенная печатная и сокращенная устная версии Послания, которые были посвящены определенной теме (например, в 1997 году — «Порядок во власти — порядок в стране»). Позднее их текст стал единым, а тематика с 2000 года охватывает всю актуальную повестку. В 1997–2013 гг. существовала практика отдельных Бюджетных посланий. С 2005 г. президент проводит предварительные встречи с главами палат парламента и органов исполнительной власти. Проект Послания был размещен для общественного обсуждения единственный раз в 2009 году. До 2015 года в подготовке текста Послания участвовали члены правительства, позднее эта функция полностью перешла к Администрации Президента. Оглашение Послания в 1994–1999 гг. происходило в феврале-марте, в 2000–2007-м — в апреле-июле, в 2008–2016-м — в ноябре-декабре, с 2018 г. вновь перенесено на февраль-март. Президент выступал с Посланием в 14-м корпусе Кремля в 1994–2007 гг., в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в 2008–2016 гг., в Гостином дворе в 2019 г., в ЦВЗ «Манеж» в 2018 и 2020–2021 гг., а позднее — в Гостином Дворе. На оглашении Послания присутствуют депутаты и сенаторы, руководители прокуратуры, высших судов, иных федеральных государственных органов и регионов, а также Счетной и Общественной палат, основных конфессий и СМИ. Мероприятие транслируется в прямом эфире; по продолжительности занимает 1–2 часа. В 2018 году сопровождалось видеорядом. В Посланиях озвучиваются важнейшие законодательные инициативы (например, сокращение срока службы в армии до 1 года в 2003 году; увеличение срока полномочий президента и парламента в 2008 году; прямые выборы губернаторов в 2011 году). По итогам Послания выпускаются поручения, отчеты по которым представляют все уровни и ветви власти.

Изучение вторичных социологических данных и контент-анализ текстов Посланий обогащают научную литературу новыми эмпирическими данными, наряду с этим мы адаптируем к российской практике известные теории кросс-культурных исследований ценностей.

Обзор литературы

Исследованием ценностей занимается аксиология — раздел философии. Она имеет давние корни, однако в самостоятельное направление выделилась в XIX веке в рамках исследований неокантианцев, в частности Генриха Риккерта, по мнению которого «ценность абсолютно трансцендентна, она определяет то, что должно быть» (Риккерт, 1998: 9). В отличие от Риккерта, Макс Вебер признавал ценности социально обусловленными — «ценностный выбор субъективен» (Вебер, 2018: 58) — и исторически изменчивыми.

Переход к «политеизму ценностей» (Пресняков, 2021) вызвал расширение вариантов их классификаций. Широкую известность получили кросс-культурные исследования ценностей по моделям Рональда Инглхарта, Герта Хофстеде, Шалом Шварца и Милтона Рокича (Inglehart, 2018; Hofstede et al., 2020; Sagiv, Schwartz, 2022; Rokeach, 2008).

Исследования Института социологии ФНИСЦ РАН фиксируют рост запроса на изменения в российском обществе (Петухов, 2020). Игорь Кузнецов констатирует сохранение традиционалистских установок в ценностных ориентирах россиян в 2010–2020-е годы. Полемизируя с Инглхартом, он описывает ценностный дрейф как постепенное наполнение прежних ценностей новыми смыслами (Кузнецов, 2021).

Публичный дискурс по своей природе имеет аксиологический характер. Михаил Ильин и коллеги (Ильин, Пахалюк, Фомин, 2019: 464) полагают, что «озвучиваемые ценности в данном случае приобретают свойства дискурс-программы — языкового кода, фиксирующего для аудитории правила понимания действительности», а ценностное содержание публичного дискурса формулируется в идеологемах и аксиологемах.

Рассматривая дискурс Посланий Президента РФ, авторы отмечают в них такие ценности, как экономика, семья, патриотизм, гуманизм (Панова, Ястребова, 2019). Есть работы, посвященные использованию в Посланиях отдельных дискурсивных слов-ценностей, например, «война» (Лифэнь, Чжунлянь, 2022). Специальные исследования посвящены реконструкции ценностно-смысловых ориентиров политики через смену парадигм восприятия истории в текстах Посланий (Багдасарян, Балдин, Реснянский, 2021). При этом отмечается, что ценность исторической памяти в последние годы не столько интегрирует, сколько разделяет людей (Vasilyev et al., 2020).

Николай Байков (2021) сопоставляет в своей работе результаты социологических исследований о социальной поддержке граждан с отражением этих ожиданий в тексте Послания. Исследовав эволюцию месседжей Посланий, Елена Зюзина (2020) при-

ходит к выводу об ориентации на консервацию системы и отсутствии образа будущего, контрастирующим с общественным запросом на демократизацию институтов.

Существуют сопоставительные исследования ежегодных медийных мероприятий Президента России с точки зрения их влияния на общественное восприятие главы государства (Fedotenkov, 2020). Елена Семенова и Давид Винтер рассмотрели дискурс Посланий в 1994–2018 годах на предмет отражения мотивов достижения, принадлежности и власти (Semenuva, Winter, 2020). Джоанна Рак и Роман Бекер полагают, что до 2014 года в дискурсе Владимира Путина использовались более авторитарные семантические структуры, а после усилились отсылки к демократическим ценностям (Rak, Bäcker, 2020).

Зарубежные исследователи также обращаются к посланиям глав государств. Кэри Хьюджес анализирует религиозные ценности в дискурсе президентов США (Hughes, 2019). Используя количественный анализ текстов посланий к Конгрессу за 230 лет, некоторые авторы пришли к выводу о том, что «ориентация на настоящее в них перевешивает ориентацию на будущее и на прошлое» (Chen, Hu, 2019: 28).

При всем многообразии авторских подходов, следует констатировать, что отражение ценностей в дискурсе Посланий Президента РФ в их взаимосвязи с общественными настроениями ранее специально не изучалось, что актуализирует проведение настоящего исследования.

Методология и данные

Источниками данных служили стенограммы Посланий 1994–2021 годов, размещенные на официальном сайте Президента РФ (kremlin.ru). Корпус текстов стенограмм включает в совокупности более 262,7 тысячи слов.

Оценить преэминентность и изменения в ценностных посылах власти обществу в ходе Посланий можно, вычленив фиксированный набор аксиологем. Пожалуй, дальше всех в этом отношении продвинулись авторы кросс-культурных исследований ценностей. Чтобы восполнить их недостатки, воспользуемся несколькими методиками.

Инглхарт подразделяет ценности на материалистические и постматериалистические (Inglehart, 2018). Он стремится доказать, что преобладающий тип ценностей определяется уровнем модернизации и экономического развития общества. Инглхарт не дает исчерпывающего перечня ценностей. По смыслу его работ мы относим к материалистическим ценностям власть, благополучие, процветание, безопасность, контроль, труд, стабильность, экономику, традицию, ответственность. К постматериалистическим ценностям — личность, свободу, справедливость, выбор, экологию, индивидуальность, открытость, честность, доверие и независимость. Очевидно, что оба перечня могут быть расширены, но предложенные позволяют, на наш взгляд, оценить общее направление дискурса и его динамику.

Хофстеде, изучающий межкультурные различия представителей бизнеса (Hofstede et al., 2020), выделяет бинарные оппозиции ценностей по отношению

к власти (лидерство — равенство), изменениям (стабильность — прогресс), благам (благополучие — справедливость), планированию (современность — будущее) и другим людям (индивид — народ).

Еще одна группа исследований ценностей проведена в десятках стран под руководством Ш. Шварца (Sagiv, Schwartz, 2022). Все ценности Шварц объединяет в кластеры: 1) открытость к изменениям (открытость, независимость, благополучие); 2) консерватизм (безопасность, традиция, семья); 3) саморазвитие (цель, власть, будущее); 4) социальность (мир, человек, общество). Открытость изменениям и саморазвитие Шварц соотносит с либеральной моделью, а консерватизм и социальность — с экономическим эгалитаризмом. Для России, по мнению Шварца, характерны ценности иерархии и сохранения (консерватизм).

М. Рокич делит ценности на терминальные (существование человека в целом)⁵ и инструментальные (служат достижению терминальных ценностей)⁶. Из терминальных ценностей в анализируемых нами материалах можно выделить равенство, безопасность, свободу, здоровье, мир, благополучие (аналог комфортабельной жизни) и религию (аналог спасения, вечной жизни). Среди инструментальных ценностей анализу подлежат открытость, честность, независимость, ответственность, контроль, власть (аналог амбициозности) и патриотизм (аналог преданности). Рокич утверждал, что для социализма свойственны свобода и равенство, нацизм отвергает обе эти ценности; либерализм ценит свободу в ущерб равенству, а коммунизм равенство предпочитает свободе (Rokeach, 2008).

Методом контент-анализа в корпусе текстов стенограмм выделены аксиологемы, соответствующие перечисленным ценностям. Чтобы оценить, насколько ценности соотносятся с представлениями граждан, мы обобщили результаты опросов, проводимых российскими социологическими организациями, и выделили среди них те, которые соотносятся с политическими ценностями: о Конституции РФ⁷, об одобрении деятельности высших должностных лиц и институтов публич-

5. Терминальные ценности: комфортабельная жизнь, равенство, захватывающая жизнь, безопасность близких, свобода, здоровье, внутренняя гармония, зрелая любовь, национальная безопасность, удовольствие, спасение (вечная жизнь), самоуважение, общественное признание, истинная дружба, мудрость, мир во всем мире, красивый мир (природа и искусство), чувство завершенности.

6. Инструментальные ценности: амбициозность, открытость ума, компетентность, чистота (опрятность), смелость, прощение, готовность помочь, честность, креативность, независимость, интеллектуальность, рациональность, любовь и нежность, преданность, вежливость, послушание, ответственность, самоконтроль.

7. См., например: Россияне о конституции. «Левада-центр» (некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента), 1997–2020 // <https://www.levada.ru/2003/12/09/press-vypusk-35-rossiyane-o-dejstvuyushhej-konstitutsii/>, <https://www.levada.ru/2014/12/10/rossiyane-o-konstitutsii-3/>, <https://www.levada.ru/2017/12/10/den-konstitutsii-2/>, <https://www.levada.ru/2020/01/31/konstitutsiya/>, <https://www.levada.ru/2021/12/13/den-konstitutsii-4/> (дата обращения: 28.03.2022); Отношение к Конституции РФ. База данных ФОМ, 1994–2021 // https://bd.fom.ru/cat/pow_con/ (дата обращения: 28.03.2022); Конституция России: наши права и свободы. ВЦИОМ, 2012–2018 // <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/konstitucziya-rossii-menyat-ili-ne-menyat>, <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/konstitucziya-rf-nashi-prava-i-svobody> (дата обращения: 28.03.2022);

ной власти⁸, о доверии политическим партиям⁹, об уровне справедливости общества¹⁰, о патриотизме¹¹, об оценке развития страны¹². Если один и тот же вопрос или близкие по смыслу вопросы задавались более чем одной организацией, мы использовали те данные, которые представлены за большее число лет. Распределение ответов респондентов сопоставлялось с полученными данными о частоте встречаемости в стенограммах Посланий аналогичных аксиологем. Далее был рассчитан уровень статистического соответствия между отношением респондентов с ценностями и упоминаниями этих ценностей в публичном дискурсе Посланий Президента.

Также мы оценили связь между ценностями и факторами общественно-экономического развития страны, исходя из утверждения, что определяющее влияние на формирование ценностей оказывает общественно-экономическая среда. Мы сопоставили ценности с динамикой ряда макроэкономических показателей¹³. Все данные получены в официальных публикациях Федеральной службы государственной статистики (Росстат) за анализируемые годы¹⁴. Выбранные единицы измерения позволяют изолировать инфляционные эффекты и представить динамику показателей в сопоставимом виде, что позволяет сделать вывод о взаимосвязи аксиологического дискурса с тенденциями экономического роста страны.

Результаты

На рисунке 1 представлено распределение выделенных ценностей, классифицированных на материалистические и постматериалистические.

8. Одобрение деятельности Президента РФ, Председателя Правительства РФ, Правительства РФ, Государственной Думы. «Левада-центр», 1994–2021 // <https://www.levada.ru/indikatoriy/>, <https://www.levada.ru/2021/11/09/lyudi-u-vlasti/> (дата обращения 28.02.2022); Оценки работы органов власти. База данных ФОМ, 2000–2021 // https://bd.fom.ru/cat/power/pow_rei (дата обращения: 28.03.2022).

9. Электоральный рейтинг партий. «Левада-центр», 1998–2018 // <https://www.levada.ru/2015/12/10/elektoralnyj-rejting-partij/>, <https://www.levada.ru/2018/09/17/partijnye-rejtingi/>, <https://www.levada.ru/2019/08/14/vozmozhnoe-golosovanie-za-partii/> (дата обращения 28.03.2022); Политические партии перед выборами. ВЦИОМ, 2021 // <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/default-402e3320c1> (дата обращения: 28.03.2022).

10. О справедливости и несправедливости в российском обществе. ФОМ, 2007–2018 // <https://fom.ru/posts/14099> (дата обращения: 28.03.2022); Социальная справедливость в России. ВЦИОМ, 2007–2020 // <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/soczialnaya-spravedlivost-v-rossii> https://sociodigger.ru/wp-content/uploads/2021/07/Schaste-i-blagopoluchie_july-2021.pdf (дата обращения: 28.03.2022).

11. Что, по-Вашему, значит быть патриотом? ВЦИОМ, 2000–2020 // <https://old.wciom.ru/index.php?id=236&uid=10324> (дата обращения: 28.03.2022); Международное влияние РФ. ВЦИОМ, 2000–2020 // <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/mezhdunarodnoe-vlijanie-rossii> (дата обращения: 28.03.2022).

12. Оценка текущего положения дел в стране. «Левада-центр», 1996–2020 // <https://www.levada.ru/indikatoriy/polozhenie-del-v-strane/> (дата обращения: 28.03.2022).

13. ВВП на душу населения (долл. США); реальные располагаемые денежные доходы населения (процентов к уровню 1991 г.); среднемесячная заработная плата работников (долл. США); средняя продолжительность жизни (лет); уровень безработицы (процентов).

14. См., например: Россия в цифрах: статистический сборник. М., 1994–2021.



Источник: здесь и далее — составлено автором по результатам собственного исследования.

Рис. 1. Частота упоминаний ценностей (по Инглхарту), %

Среди материалистических ценностей чаще всего упоминались экономика и власть; постматериалистические ценности озвучивались реже. Преобладание материалистических ценностей в публичном дискурсе Посланий укладывается в известный тренд.

На рисунке 2 отражено распределение ценностей в разрезе бинарных оппозиций. Данные по каждой ценности для наглядности агрегированы.

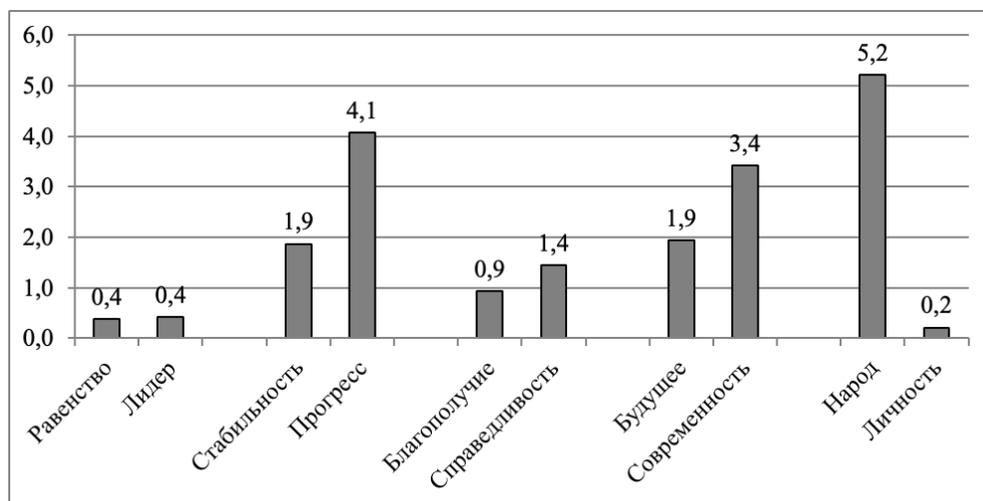


Рис. 2. Доля упоминаний ценностей (по Хофстеде), %

В рассматриваемых парах ценностей очевидны ориентации на изменения (прогресс встречается в текстах в среднем в два раза чаще, чем стабильность), при этом краткосрочное планирование (современность) преобладает над долгосрочным (будущее). Ценности благополучия и справедливости представлены примерно в равных долях, а коллективная коннотация (народ) упоминалась в 26 раз чаще индивидуальной (личность). Несколько неожиданным выглядит равнозначность ценностей лидерства и равенства, демонстрирующая отношение к власти.

На рисунке 3 представлены четыре ценностных кластера.

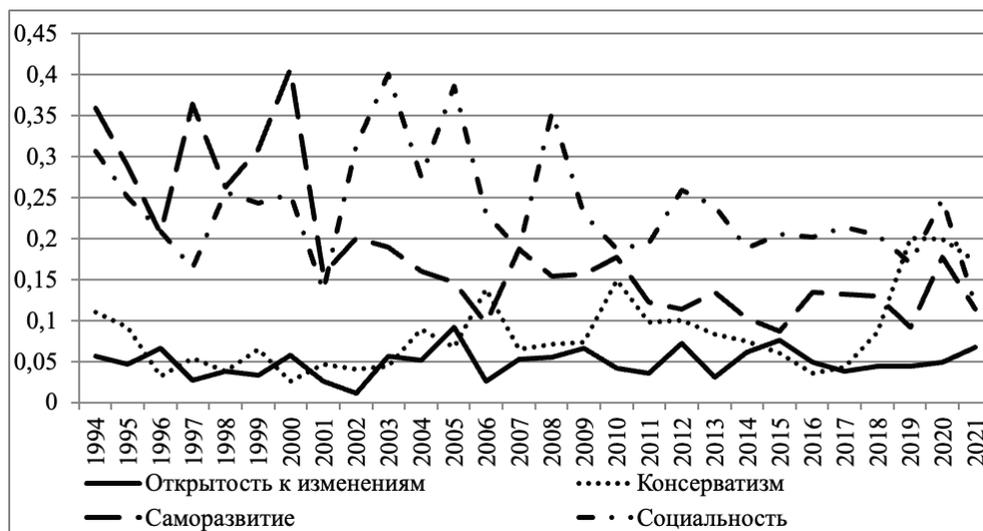


Рис. 3. Частота упоминаний ценностей (по Шварцу), %

В 1990-е и первой половине 2000-х годов наблюдалась равнозначность количества упоминаний консервативных ценностей и полярных по отношению к ним ценностей открытости к изменениям. Позднее акцент на первой из названных групп усилился. Обращает внимание резкое возрастание доли упоминаний консервативных ценностей, начиная с 2017 года. В свою очередь, социальные ценности оказывались чаще упоминаемыми по сравнению с ценностями саморазвития; наибольшей доля упоминаний социальных ценностей была на протяжении 2000-х годов.

На рисунке 4 представлено распределение ценностей, классифицированных на терминальные и инструментальные.

Среди терминальных ценностей в анализируемых данных чаще встречается мир, а среди инструментальных — власть. Отмечено явное преобладание инструментальных ценностей в 1990-е, а терминальных — в 2000-е годы. В последнее десятилетие явной диспропорции между группами нет.

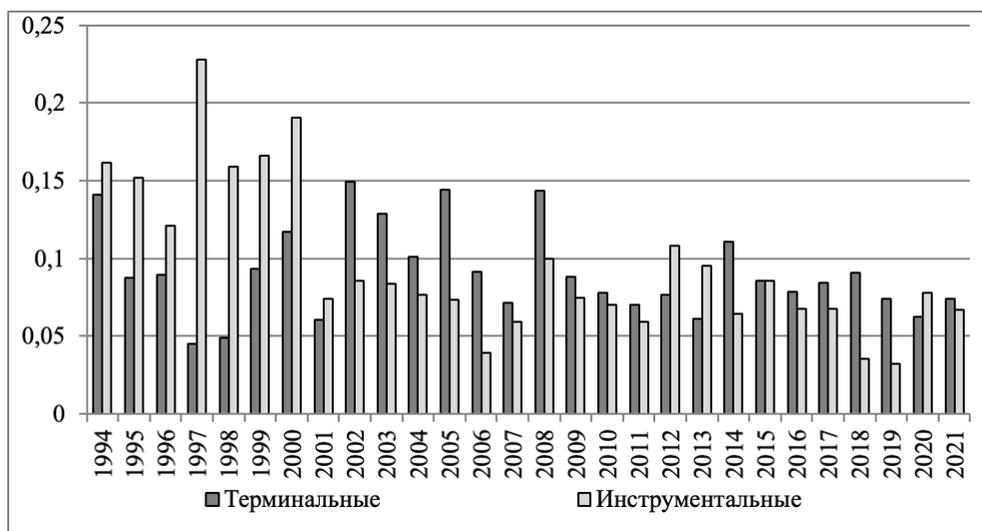


Рис. 4. Частота упоминаний ценностей (по Рокичу), %

Опросы общественного мнения служат важным источником информации о восприятии ценностей. Так, относительно Конституции доля респондентов, заявивших, что читали ее, выросла за 28 лет практически вдвое (с 37% в 1994 году до 57% в 2021 году). При этом доля тех, кто считает Конституцию хорошей, увеличилась в этот период лишь с 51 до 54%. Оценки роли Конституции демонстрируют рост тех, кто считает, что она гарантирует права и свободы граждан (с 15 до 27%), поддерживает порядок в деятельности государства (с 19 до 24%). Почти не изменилась доля респондентов, считающих ее средством для Президента контролировать Думу (13% в 1994 году и 15% в 2021 году). Напротив, существенно уменьшилась доля граждан, заявивших, что Конституция не играет существенной роли в обществе (с 51 до 30%). Среди ключевых прав и свобод, провозглашенных Конституцией, со временем увеличилась только значимость права на образование (с 34 до 45%). Напротив, снизилась оценка значимости прав на охрану здоровья (с 59 до 49%), на жилище (с 44 до 36%), на жизнь (с 58 до 36%), на труд (с 53 до 40%), на социальное обеспечение (с 44 до 38%). Незначительно изменилась значимость права на личную неприкосновенность (30% в 1994 году и 29% в 2018 году, когда последний раз проводилось данное исследование). На этом фоне увеличилась с 15 до 31% доля граждан, считающих, что власти соблюдают Конституцию, и сократилась с 72 до 63% доля тех, кто придерживается противоположного мнения. Более половины респондентов выступали за пересмотр Конституции как в начале, так и в конце исследуемого периода.

В таблице 1 представлены наиболее значимые статистические связи (коэффициент корреляции более 0,5), выявленные между упоминаниями о Конституции, законе и праве в Посланиях Президента и ответами респондентов на вопросы о Конституции.

Таблица 1. Статистические связи дискурса и массового сознания (ценности Конституции, закона и права)

Вариант ответа	Ценности	Коэффициент корреляции
<i>Как Вы оцениваете Конституцию?</i>		
Хорошая	Закон / Власть	-0,52** / -0,52**
Плохая	Закон / Право / Власть	0,71*** / 0,54** / 0,69***
<i>С какими из следующих мнений о роли Конституции в жизни страны Вы бы скорее согласились?</i>		
Гарантирует права и свободы граждан	Конституция / Закон / Право / Власть	-0,58*** / -0,58*** / -0,57** / -0,76***
Поддерживает порядок в деятельности государства	Закон / Право	-0,51** / -0,54**
Не играет значительной роли в жизни страны	Конституция / Закон / Право / Власть	0,56** / 0,63*** / 0,63*** / 0,79***
<i>Какие из основных прав и свобод, провозглашенных Конституцией, представляются наиболее важными для Вас лично?</i>		
Право на социальное обеспечение	Конституция / Право	0,53** / 0,56**
<i>Соблюдают ли российские власти Конституцию страны?</i>		
Соблюдают в полной мере	Конституция / Закон / Власть	-0,55** / -0,55** / -0,53**
Соблюдают в основном	Конституция / Закон / Право / Власть	-0,6*** / -0,71*** / -0,66*** / -0,81***
Соблюдают отчасти		-0,58** / -0,63*** / -0,7*** / -0,68***
Совершенно не соблюдают		0,64*** / 0,74*** / 0,72*** / 0,82***

Примечание. Здесь и далее: *** $p < 0,001$; ** $p < 0,01$; * $p < 0,1$.

Обращает внимание существование отрицательных связей между позитивными вариантами ответов респондентов на каждый вопрос и частотой упоминания исследуемых ценностей в Посланиях. Напротив, положительные связи отмечены для негативных вариантов ответов.

Оценивая власть, в анализируемый период респонденты укрепились во мнении, что в нее входят люди, озабоченные своим благополучием (с 47 до 56%), также увеличилась доля тех, кто считает ее профессиональной командой (с 4 до 16%). Сократилась доля граждан, считавших представителей власти честными, но слабыми (с 16 до 8%) или малокомпетентными (с 18 до 1%). С дискурсивным словом «власть»

выявлены следующие связи: коэффициент 0,5 для оценок людей у власти как честных, но слабых и малокомпетентных, коэффициент -0,69 с оценкой людей у власти как хорошей команды, ведущей страну правильным курсом.

Доля граждан, одобряющих деятельность Президента, выросла с 34% в 1994 году до 65% в 2021 году. При этом статистическая взаимосвязь данных оценок со словом «президент» имеет коэффициент корреляции -0,72 в случае одобрения и 0,66 в случае неодобрения.

Одобрение деятельности главы Правительства РФ в анализируемые годы возросло с 18 до 55%, а правительства в целом — с 17 до 49%. Коэффициент корреляции Пирсона между частотой употребления в Посланиях слова «власть» и одобрением деятельности Правительства равен -0,7, неодобрением — 0,52, отсутствием ответа на данный вопрос — 0,74.

Уровень одобрения Государственной Думы увеличился с 22 до 41%. Относительно политических партий упрочилась поддержка «партии власти» (с 14 до 28%)¹⁵ и ЛДПР (с 6 до 11%). Одобрение КПрФ сократилось с 17 до 13%, уменьшилась доля не желающих идти на выборы (с 19 до 15%) и неопределившихся с ответом (с 22 до 12%). В целом в анализируемые годы сократилась поддержка левых партий (с 25 до 14%, последние доступные данные за 2017 год), а также правых (с 26 до 2%). Напротив, выросла поддержка партий центра (с 8 до 47%). В таблице 2 представлены статистические связи (коэффициент корреляции Пирсона более 0,5) между частотой использования аксиологем «закон» и «власть» в Посланиях и результатами опросов об одобрении парламентской и партийной системы.

Таблица 2. Статистические связи дискурса о парламенте и партиях и массового сознания (ценности «закон» и «власть»)

Вариант ответа	Дискурсивные слова (ценности)	Коэффициент(ы) корреляции
<i>Вы в целом одобряете или нет деятельность Государственной Думы?</i>		
Одобряю	Закон / Власть	-0,68*** / -0,77***
Затрудняюсь ответить		0,59*** / 0,55**
<i>Если бы выборы в Государственную Думу состоялись в ближайшее воскресенье, стали бы Вы голосовать на этих выборах? Если да, то за какую из партий?</i>		

15. В качестве «партии власти» в анализируемый период рассматривались: «Выбор России» (1993–1994), «Наш дом — Россия» (1995–1998), «Единство» и «Отечество — Вся Россия» (1999–2002), «Единая Россия» (с 2003).

«Единая Россия»	Закон / Власть	-0,6*** / -0,73***
КПРФ		0,76*** / 0,73***
ЛДПР		-0,5** / -0,64***
«Справедливая Россия»		0,54** / 0,52**
Другие	Власть	0,53**
<i>Если бы выборы в Государственную Думу состоялись в ближайшее воскресенье, стали бы Вы голосовать на этих выборах? Если да, то за какую из партий?</i>		
Левые	Закон / Власть	0,69*** / 0,75***
Центристы		-0,66*** / -0,81***
Правые		0,73*** / 0,79***

Упоминания о данных ценностях соотносятся с негативными оценками реальной парламентской практики гражданами, включая деятельность центристских партий. Частые упоминания о законе и власти в Посланиях отмечены в годы с низким уровнем одобрения работы парламента и партий. Подобные упоминания положительно связаны с вариантами ответов, означающими неопределенность электоральных предпочтений или поддержкой оппозиционных политических сил.

Доля граждан, называющих себя патриотами, снизилась с 87 до 78%, при этом с 20 до 72% увеличилась доля респондентов, считающих Россию великой державой. Значимой связи этих тенденций с употреблением в дискурсе слов «патриотизм», «родина», «держава» не отмечено. Наряду с этим выявлены значимые корреляции между уровнем патриотизма респондентов и частотой употребления в Посланиях таких ценностей, как власть, государство, закон, право, президент, экономика, единство, конституция, политика, стабильность.

Российское общество считали справедливым лишь 9% опрошенных в 1994 году и 24% в 2018 году. Параллельно увеличивалась с 11 до 29% доля лиц, считающих, что политика российских властей способствует социальной справедливости. Высокие оценки уровня справедливости отрицательно коррелируют с ценностями власти, государства, закона, права, президента, экономики, демократии, конституции и политики.

Обобщающий вопрос о том, считают ли респонденты, что дела в стране идут в правильном направлении, демонстрирует рост одобрения (с 18 до 48%). Снижается доля отрицательных ответов (с 57 до 44%) и нейтральных ответов (с 25 до 8%). Интересно рассмотреть взаимосвязи этих результатов с рассмотренными нами аксиологемами (табл. 3).

Таблица 3. Статистические связи дискурсивных слов (ценностей) и оценки респондентами положения дел в стране

Ценности	Дела в стране сегодня идут в правильном направлении или страна движется по неверному пути?	
	Да	Нет
Власть	-0,81***	0,73***
Государство	-0,78***	0,69***
Закон	-0,78***	0,69***
Право	-0,72***	0,67***
Президент	-0,68***	0,64***
Экономика	-0,54**	0,46*
Конституция	-0,6***	0,57**
Политика	-0,71***	0,64***
Рынок	-0,76***	0,71***
Либерализм	-0,6***	0,54***
Стабильность	-0,53**	0,55**
Инструментальные (по Рокичу)	-0,75***	0,67***
Материалистические (по Инглхарту)	-0,78***	0,71***
Саморазвитие (по Шварцу)	-0,76***	0,69***

Обращает внимание, что все значимые положительные связи выявлены между частотой употребления ценностей в дискурсе Посланий и *негативными* оценками положения дел в стране респондентами. Напротив, все связи между дискурсивными словами и позитивными оценками положения дел — отрицательные. Для остальных ценностей уровень связи статистически не значим или коэффициент корреляции менее 0,5.

Также мы оценили связи между всеми рассмотренными ранее ценностями и факторами общественно-экономического развития страны.

Таблица 4. Статистические связи дискурсивных слов (ценностей) и макроэкономических индикаторов

Ценности	Макроэкономические индикаторы				
	ВВП на душу населения	Реальные располагаемые денежные доходы	Среднемесячная зарплата работников	Средняя продолжительность жизни	Уровень безработицы
Власть	-0,85***	-0,83***	-0,79***	-0,7***	0,86***
Государство	-0,86***	-0,83***	-0,8***	-0,8***	0,78***
Закон	-0,77***	-0,73***	-0,67***	-0,62***	0,76***
Право	-0,64***	-0,56**	-0,59***	-0,55**	0,51**
Президент	-0,54**	-0,5**	-0,42*	-0,38*	0,64***
Экономика	-0,83***	-0,85***	-0,86***	-0,77***	0,71***
Общество	-0,51**	-0,42*	-0,45*	-0,56**	0,45*
Политика	-0,86***	-0,82***	-0,81***	-0,86***	0,79***
Рынок	-0,71***	-0,68***	-0,67***	-0,54**	0,64***
Либерализм	-0,58**	-0,59***	-0,57**	-0,44*	0,64***
Стабильность	-0,69***	-0,72***	-0,72***	-0,71***	0,58**
Инструментальные (по Рокичу)	-0,71***	-0,67***	-0,63***	-0,52**	0,77***
Материалистические (по Инглхарту)	-0,91***	-0,89***	-0,86***	-0,78***	0,86***
Саморазвитие (по Шварцу)	-0,78***	-0,76***	-0,73***	-0,63***	0,79***

Частота упоминания ценностей имеет значимые отрицательные статистические связи с динамикой показателей «ВВП на душу населения», «Реальные располагаемые денежные доходы населения», «Среднемесячная заработная плата работников организаций» и «Средняя продолжительность жизни». Те же ценности имеют положительную статистическую связь с показателем «Уровень безработицы», для которого позитивный характер имеет нисходящая динамика. Аналогичные по направлению корреляции выявлены для группы материалистических ценностей (по Инглхарту), инструментальных (по Рокичу) и ценностей саморазвития (по Шварцу).

Выводы и их обсуждение

Как показывает проведенный нами обзор литературы, в обсуждении вопроса о ценностях в последние годы не случилось прорыва, и исследования ведутся в рамках подходов, выработанных в прошлые десятилетия. Так, мы сделали попытку соотнести ценности, используемые в дискурсе Посланий Президента, с известными кросс-культурными теориями ценностей.

Во все анализируемые годы материалистические ценности, по Инглхарту (власть, благополучие, процветание, безопасность, контроль, труд, стабильность, экономика, традиция, ответственность), преобладали по числу упоминаний в Посланиях над постматериалистическими (личность, свобода, справедливость, выбор, экология, индивид, открытость, честность, доверие, независимость). При этом наблюдается тренд снижения доли первых при относительно стабильной доле вторых. Сам Инглхарт объясняет усиление постматериалистических тенденций в обществе достижением базового уровня благополучия и безопасности. Выявленная обратная статистическая связь между частотой упоминания материалистических ценностей и снижением таких макроэкономических индикаторов, как ВВП на душу населения, реальные располагаемые доходы, средняя заработная плата и продолжительность жизни при одновременном увеличении уровня безработицы указывает на усиление материалистической составляющей публичного дискурса в периоды кризисов в экономике. Это подтверждает тезис Инглхарта об определяющем влиянии общественно-экономической среды на формирование ценностей (Inglehart, 2018).

В соответствии с методикой Г. Хофстеде нами рассмотрены бинарные оппозиции ценностей по отношению к изменениям (прогресс встречается в текстах чаще, чем стабильность), планированию (некоторое преобладание ценности будущего по сравнению с современностью), благам (ценности благополучия и справедливости представлены примерно в равных долях), другим людям (абсолютное доминирование ценности коллективизма над ценностью отдельной личности). Неожиданным выглядит равнозначность ценностей лидерства и равенства, демонстрирующая отношение к власти. Наши данные подтверждают вывод о доминировании в российском обществе ценностей коллективизма и краткосрочного планирования по отношению к долгосрочному (Hofstede et al., 2020), но опровергают их в части избегания неопределенности, ценности благополучия (маскулинность) по сравнению со справедливостью (феминность) и высокой дистанции власти. Различия могут объясняться неточностями выводов Хофстеде, не проводившего анализ в России, и изменениями в российском обществе в последние годы. В усилении внимания к ценностям прогресса может проявляться тот запрос на изменения, который фиксируют социологи в последние годы (Петухов, 2020).

Шварц объединил ценности в кластеры, два из которых (открытость изменениям и саморазвитие) соотнес с либеральной моделью, а два другие (консерватизм

и социальность) — с экономическим эгалитаризмом (Sagiv, Schwartz, 2022). Мы выявили равномерность упоминания ценностей консерватизма и открытости к изменениям в 1990–2000-е годы; позднее, особенно с 2017 года, акцент на первой группе усилился. Социальные ценности оказывались чаще упоминаемыми по сравнению с ценностями саморазвития. Интересно, что ценности саморазвития коррелируют с негативной оценкой респондентами положения дел в стране (табл. 3). В целом, по Шварцу, это означает, что российская власть в начале наблюдений посылая обществу либеральные импульсы, но со временем месседж стал более эгалитарным. Отчасти это соотносится с выводами (Rak, Bäcker, 2020) о постепенной эволюции президентского дискурса от более правых к левым идеологемам.

Рокич делит ценности на терминальные (существование человека в целом) и инструментальные (служат достижению терминальных ценностей). Отмечено явное преобладание инструментальных ценностей в начале наблюдений, терминальных — в 2000-е годы и равнозначность обеих групп в последнее десятилетие (рис. 4). Мы фиксируем обратную зависимость между частотой упоминания инструментальных ценностей и динамикой макроэкономических показателей ВВП, продолжительности жизни, доходов населения, а для уровня безработицы — связь положительная (табл. 4). Кроме того, инструментальные ценности отрицательно соотносятся с одобрением гражданами положения дел в стране.

Мы сопоставили распределение выявленных ценностей с результатами опросов общественного мнения с целью выяснить, в какой мере ценности, озвучиваемые в Посланиях, соответствуют установкам граждан. Полученные выводы подтвердили наше предположение о том, что аксиологическая функция Посланий состоит в транслировании обществу определенного набора ценностей. При этом другая наша гипотеза о том, что латентной функцией данных мероприятий служит согласование ценностей политической элиты и российского общества, данными скорее опровергается.

Выявлены отрицательные статистические взаимосвязи между позитивными вариантами ответов респондентов на вопросы о Конституции и упоминанием в Посланиях ценностей конституции, закона, права. Напротив, положительные связи отмечены для негативных по смыслу ответов (табл. 1). Такая тенденция может означать, что публичный дискурс о Конституции не отвечает общественным ожиданиям. Аналогичная ситуация наблюдается при сопоставлении связей между одобрением деятельности Президента РФ и частотой употребления слова «президент» в Посланиях, а также между употреблением дискурсивного слова «власть» и одобрением работы Правительства РФ. Одобрение работы Государственной Думы отрицательно коррелирует с частотой употребления слов «закон» и «власть». Кроме того, упоминания о данных ценностях соотносятся с негативными оценками реальной парламентской практики гражданами, включая деятельность центристских партий. В свою очередь, подобные упоминания положительно связаны с вариантами ответов, означающими неопределенность электоральных предпочтений или поддержкой оппозиционных сил.

Значительное число ценностей (власть, государство, закон, право, президент, экономика, демократия, конституция, политика и др.) имеют обратную зависимость с высокой оценкой респондентами уровня справедливости общества, а также согласием, что дела в стране идут в правильном направлении, и макроэкономическими индикаторами. Напротив, все связи между перечисленными дискурсивными словами и позитивными оценками положения дел — отрицательные. Здесь уместно вспомнить тезис об отсутствии в Посланиях образа будущего и стратегии решения институциональных проблем, стоящих перед обществом (Зюзина, 2020).

В целом в анализируемый период наблюдались негативные коннотации между публичным озвучиванием ценностей и их восприятием респондентами. Это может означать существование латентного ценностного конфликта между элитой и населением, который проявляется в возрастании запроса на изменения. Причина наблюдаемого рассогласования может состоять в постепенном наполнении ценностей новыми смыслами (Кузнецов, 2021), при котором прежние ценности постепенно приобретают полярное смысловое наполнение в массовом сознании. Усиление частоты упоминания ценностей в периоды спада экономики можно интерпретировать как попытки элиты сплотить общество перед лицом трудностей (rally around the flag).

Не вполне успешное транслирование ценностей в рамках Посланий может объясняться различными причинами, такими как плохо поставленная воспитательная работа, отсутствие полномочного идеологического ведомства, общие недоработки в идеологии. Для убедительного обоснования причины указанной тенденции мы еще не располагаем достаточными данными, однако продолжение исследований по мере расширения эмпирической базы, а также включение в них материалов иных публичных политических мероприятий дополнит картину аксиологической компоненты публичного дискурса во взаимосвязи с ценностями российского общества.

Литература

- Багдасарян В. Э., Балдин П. П., Реснянский С. И. (2021). Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию как источник изучения исторической политики России // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. № 2. С. 421-437.
- Байков Н. М. (2021). Послание Президента Российской Федерации как отражение отношений государства, общества и бизнеса // Власть и управление на Востоке России. № 2. С. 122-128.
- Вебер М. (2018). Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. Т. 3. М.: НИУ ВШЭ.
- Зюзина Е. Б. (2020). Послания Президента Российской Федерации: эволюция сообщений (2012–2019 годы) // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. № 2. С. 15-20.

- Ильин М. В., Пахалюк К. А., Фомин И. В.* (2019). Дискурс-анализ // Современная политическая наука: методология / О. В. Гаман-Голутвина, А. И. Никитина (ред.). М.: Аспект-Пресс. С. 464-483.
- Кузнецов И. М.* (2021). Основания ценностной консолидации россиян: традиционализм и обновление // Социологические исследования. № 8. С. 93-102.
- Лифзень Л., Чжунлянь Х.* (2022). Анализ концептуальной метафоры «война» в политическом дискурсе (на примере Послания Президента РФ Федеральному собранию 2021 г.) // Политическая лингвистика. Т. 91. № 1. С. 126-134.
- Панова Е. С., Ястребов А. Е.* (2019). Приоритеты государственной политики в Посланиях Президента России Федеральному Собранию // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. Т. 9. № 4. С. 132-140.
- Петухов В. В.* (2020). Запрос на перемены: политико-ценностное измерение // Полис. Политические исследования. № 6. С. 103-118.
- Пресняков И.* (2021). Что делают социальные ученые в ситуации «политеизма ценностей»? Или еще немного о веберовском «призвании» // Социологическое обозрение. Т. 20. № 3. С. 43-70.
- Риккерт Г.* (1998). Философия жизни. Киев: Ника-Центр.
- Chen X., Hu J.* (2019). Evolution of US presidential discourse over 230 years: A psycholinguistic perspective // International Journal of English Linguistics. Vol. 9. № 4. P. 28-41.
- Fedotenkov I.* (2020). Terrorist attacks and public approval of the Russian president: evidence from time series analysis // Post-Soviet Affairs. Vol. 36. № 2. P. 159-170.
- Hofstede G., Van Deusen C., Mueller C., Charles T.* (2020). What Goals do Business Leaders Pursue?: A study in fifteen countries // Organizational Collaboration: Themes and Issues. 2nd ed. / M. L. Di Domenico, S. Vangen, N. Winchester, D. K. Boojihawon, J. Mordaunt (eds). London: Routledge. P. 35-48.
- Hughes C.* (2019). The God card: Strategic employment of religious language in US presidential discourse // International Journal of Communication. Vol. 13. P. 528-549.
- Inglehart R. F.* (2018). Cultural Evolution: People's Motivations are Changing, and Reshaping the World. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lindgreen A., Koenig-Lewis N., Kitchener M., Brewer J. D., Moore M. H., Meynhardt T.* (eds.). (2019). Public value: Deepening, enriching, and broadening the theory and practice. London: Routledge.
- Rak J., Bäcker R.* (2020). Theory behind Russian Quest for Totalitarianism. Analysis of Discursive Swing in Putin's Speeches // Communist and Post-Communist Studies. Vol. 53. № 1. P. 13-26.
- Rokeach M.* (2008). Understanding human values. New York: Simon and Schuster.
- Sagiv L., Schwartz S. H.* (2022). Personal Values Across Cultures // Annual Review of Psychology. Vol. 73. P. 517-546.
- Semenova E., Winter D. G.* (2020). A motivational analysis of Russian presidents, 1994-2018 // Political Psychology. Vol. 41. № 4. P. 813-834.

Vasilyev Yu.M., Gayda F.A., Yefremenko D.V., Lomanov A.V., Miller A.I., Teslya A.A., Filippov A.F., Prokopchuk E.E. Historical memory is another space where political tasks are solved" // *Rossia v global'noj politike*. 2020. Vol. 18. № 1. P. 59-80.

References to the Russian Society's Values in the Presidential Addresses to the Federal Assembly

Georgy Borshchevskiy

Doctor of Political Sciences, Professor, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

Address: 82, Vernadsky Prospect, Moscow, Russian Federation 119571

E-mail: ga.borshchevskiy@igsu.ru

The digital transformation intensifies a devaluation of traditional institutions and the need to search for new integrating factors which are called upon to be the values shared by the society. We purpose to identify the value connotations in the discursive practices of the Presidential Addresses to the Federal Assembly from 1994-2021. We use such methods as the identification and classification of values by cross-cultural research; content analysis; clustering and mapping; analysis of secondary sociological data from representative public opinion polls conducted in the analyzed years; analysis of macroeconomic statistics; correlation analysis, etc. We revealed the strengthening of the materialistic component of public discourse (Ronald Inglehart) during periods of economic crisis. We also confirmed the Geert Hofstede thesis of the dominance of collectivist values in Russian society, but not the high power distance. Russian political discourse gravitates towards both egalitarian values (Shalom Schwartz) and liberal values (Milton Rokeach). Persistent negative connotations between the public voicing of values and their perception by respondents indicate the existence of a latent value conflict between the elite and society, manifesting itself in an increase in the demand for change. We interpret the increase in the frequency of mentioning political values during periods of economic recession as attempts by the elite to rally around the flag, and also as a consequence of the gradual filling of values with new meanings in the mass consciousness. Persistent negative connotations between the the public voicing of political values and their perception by respondents indicate the existence of a latent value conflict between the elite and society, manifesting itself in an increase in the demand for change. The article both complements existing empirical studies of public policy and adapts well-known theories of political axiology to Russian practice.

Keywords: public values, axiology, discourse, content analysis, president, presidential address, public opinion

References

- Bagdasaryan V.E., Baldin P.P., Resnyansky S.I. (2021) Poslaniya prezidenta Rossiyskoy Federatsii Federal'nomu sobraniyu kak istochnik izucheniya istoricheskoy politiki Rossii [Messages of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly as a source for studying the historical policy of Russia]. *Bulletin of St. Petersburg University. History*, no 2, pp. 421-437.
- Baikov N.M. (2021) Poslaniye Prezidenta Rossiyskoy Federatsii kak otrazheniye otnosheniy gosudarstva, obshchestva i biznesa [Message of the President of the Russian Federation as a reflection of relations between the state, society and business]. *Power and management in the East of Russia*, no 2, pp. 122-128.

- Chen X., Hu J. (2019) Evolution of US presidential discourse over 230 years: A psycholinguistic perspective. *International Journal of English Linguistics*, vol. 9, no 4, pp. 28-41.
- Fedotenkov I. (2020) Terrorist attacks and public approval of the Russian president: evidence from time series analysis. *Post-Soviet Affairs*, vol. 36, no 2, pp. 159-170.
- Hofstede G., Van Deussen C., Mueller C., Charles T. (2020) What Goals do Business Leaders Pursue?: A study in fifteen countries. *Organizational Collaboration: Themes and Issues* (eds. M. L. Di Domenico, S. Vangen, N. Winchester, D. K. Boojihawon, J. Mordaunt), 2nd ed., London, Routledge, pp. 35-48.
- Hughes C. (2019) The God card: Strategic employment of religious language in US presidential discourse. *International Journal of Communication*, vol. 13, pp. 528-549.
- Ilyin M.V., Pakhalyuk K. A., Fomin I.V. (2019) Diskurs-analiz [Discourse analysis. *Sovremennaya politicheskaya nauka: metodologiya* [Modern political science: methodology] (eds. O.V. Gaman-Golutvina, A.I. Nikitina), Moscow, Aspect-Press, pp. 464-483.
- Inglehart R. F. (2018) *Cultural Evolution: People's Motivations are Changing, and Reshaping the World*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Kuznetsov I. M. (2021) Osnovaniya tsennostnoy konsolidatsii rossiyan: traditsionalizm i obnovleniye [The Foundations of the Value Consolidation of Russians: Traditionalism and Renovation]. *Sociological Studies*, no 8, pp. 93-102.
- Lifen L., Zhonglian H. (2022) Analiz kontseptual'noy metafory «voyna» v politicheskom diskurse (na primere Poslaniya Prezidenta RF Federal'nomu sobraniyu 2021 g.) [Analysis of the conceptual metaphor "war" in political discourse (on the example of the Address of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly in 2021)]. *Political Linguistics*, vol. 91, no 1, pp. 126-134.
- Lindgreen A., Koenig-Lewis N., Kitchener M., Brewer J. D., Moore M. H., Meynhardt T. (eds.) (2019) *Public value: Deepening, enriching, and broadening the theory and practice*, London, Routledge.
- Panova E. S., Yastrebov A. E. (2019) Prioritety gosudarstvennoy politiki v Poslaniyakh Prezidenta Rossii Federal'nomu sobraniyu [Priorities of state policy in the Messages of the President of Russia to the Federal Assembly]. *Bulletin of the South-Western State University. Series: History and Law*, vol. 9, no 4, pp. 132-140.
- Petukhov V.V. (2020) Zapros na peremeny: politiko-tsennostnoye izmereniye [Request for change: political value dimension]. *Polis. Political studies*, no 6, pp. 103-118.
- Presnyakov I. (2021) What do social scientists do in the situation of "polytheism of values"? Or a little more about Weber's "vocation". *Russian Sociological Review*, vol. 20, no 3, pp. 43-70.
- Rak J., Bäcker R. (2020) Theory behind Russian Quest for Totalitarianism. Analysis of Discursive Swing in Putin's Speeches. *Communist and Post-Communist Studies*, vol. 53, no 1, pp. 13-26.
- Rickert G. (1998) *Philosophy of life*, Kyiv: Nika-Center.
- Rokeach M. (2008) *Understanding human values*, New York, Simon and Schuster.
- Sagiv L., Schwartz S. H. (2022) Personal Values Across Cultures. *Annual Review of Psychology*, vol. 73, pp. 517-546.
- Semenova E., Winter D. G. (2020) A motivational analysis of Russian presidents, 1994–2018. *Political Psychology*, vol. 41, no 4, pp. 813-834.
- Vasilyev Yu.M., Gayda F. A., Yefremenko D.V., Lomanov A.V., Miller A. I., Teslya A. A., Filippov A. F., Prokopchuk E. E. (2020) Historical memory is another space where political tasks are solved". *Russia in Global Politics*, vol. 18, no 1, pp. 59-80.
- Weber M. (2018) *Economy and society: essays on understanding sociology*, vol. 3, Moscow: Higher School of Economics Publishing House.
- Zyuzina E. B. (2020) Poslaniya Prezidenta Rossiyskoy Federatsii: evolyutsiya messedzhey (2012-2019 gody) [Messages of the President of the Russian Federation: the evolution of messages (2012-2019)]. *Bulletin of the Voronezh State University. Series: History. Political science. Sociology*, no 2, pp. 15-20.

Бизнес как источник рекрутирования высокопоставленных чиновников федеральных экономических министерств России¹

Денис Тев

Кандидат социологических наук, старший научный сотрудник
Социологического института РАН — филиала ФНИСЦ РАН.

Адрес: ул. 7-я Красноармейская, д. 25/1, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 190005

E-mail: denis_tev@mail.ru

В статье анализируется роль бизнеса как источника рекрутирования высокопоставленных чиновников министерств экономического блока правительства РФ. Эмпирическую основу исследования составила биографическая база данных 225 заместителей министров и директоров департаментов восьми министерств. Исследование показало, что хотя административная профессионализация является наиболее выраженной характеристикой карьеры чиновников, экономические министерства довольно существенно зависят от бизнеса как канала рекрутирования своего руководства, которое в этом смысле имеет черты бюрократии «нового государственного менеджмента». Бизнес служит основным поставщиком высших кадров экономических министерств за пределами административной сферы. При этом особенно важную роль играют крупные государственные компании, принадлежащие к отраслям, курируемым министерствами. Опыт работы в бизнесе обнаруживается чаще на высшем уровне административной иерархии — среди заместителей министров. Существенны и межведомственные различия: выделяются министерства с наиболее широким присутствием выходцев из бизнеса, например, Минсельхоз. В некоторых министерствах заметно присутствие пересечений между министрами и их подчиненными в ходе карьеры в бизнесе, предшествующей нынешней должности, что может говорить о значимости патримониального рекрутирования чиновников, основанного на личной преданности, патрон-клиентских отношениях. Особенно выраженное в ряде министерств плутократическое рекрутирование руководящих кадров, вероятно, ставит сверхпредставленные компании и отрасли в привилегированное положение в процессе выработки и осуществления политики, формирует предвзятость административных органов в их пользу.

Ключевые слова: министерства, чиновники, источники рекрутирования, карьера, бизнес

Постановка проблемы

Значимость исследования роли бизнеса как источника рекрутирования федеральной административной элиты, включая высокопоставленных чиновников экономических министерств, обусловлена прежде всего двумя обстоятельствами. Во-первых, такой анализ способствует прояснению типа рекрутирования и в связи с этим характера государственной бюрократии в современной России. В политической социологии выделяются, в частности, меритократический и неопатримониальный паттерны рекрутирования (Гимпельсон, Магун, 2004; Fortescue, 2020).

1. Работа опубликована при поддержке Программы «Университетское партнерство».

В первом случае основным критерием отбора является компетентность, и классическим примером здесь служит «веберовский» рационально-легальный чиновник, который рекрутируется из недр самой бюрократической системы, постепенно продвигаясь вверх по административной лестнице и накапливая в ходе карьеры соответствующие знания, умения и навыки. В свою очередь, неопатримониальное рекрутирование, напротив, основано на личных связях: лояльность и преданность «патрону» играют главную роль в отборе чиновников. Важно отметить, что паттерн рекрутирования бюрократии может иметь существенные политические последствия. Меритократический отбор, в отличие от отбора, базирующегося на патронаже, и другие характеристики «веберовской» бюрократии (прежде всего чиновников экономических ведомств) могут позитивно влиять на эффективность государства в содействии экономическому развитию (Evans, Rauch, 1999), хотя выводы исследователей неоднозначны (Knutsen, Teorell, 2020).

Вопрос о соотношении этих типов рекрутирования в России является дискуссионным. Хотя широко признается значимость патрон-клиентских отношений в административной карьере (это, в частности, показывают и опросы чиновников) (Афанасьев, 2000; Гимпельсон, Магун, 2004; Монусова, 2004) и во многом персоналистский характер российской бюрократии, тем не менее отмечается, что не следует недооценивать ее профессионализм и распространенность администраторов «рационально-легального» типа (Fortescue, 2020). Анализ биографий руководителей экономических министерств, включая их карьеру в бизнесе, необходим для понимания типа рекрутирования отечественного чиновничества. С одной стороны, в той степени, в которой существует приток, особенно непосредственный, на ключевые должности в федеральной администрации выходцев из бизнеса (иначе говоря, плутократическое рекрутирование чиновничества), можно говорить об отклонении от «веберовского» паттерна с присущим ему внутренним продвижением. При этом плутократизация, в принципе, не исключает значимость меритократического отбора, поскольку бизнесмены могут обладать знаниями и навыками, полезными для административной деятельности. Активное пополнение административной элиты представителями коммерческой сферы, и вообще «внешними» кадрами, может говорить об особом паттерне ее рекрутирования, укладывающемся в так называемую парадигму «нового государственного менеджмента» (new public management)², и в связи с этим о специфическом типе чиновников, подходящих для решения конкретных проблем (problem-solving officials) (Fortescue, 2020). Наконец, что касается неопатримониального рекрути-

2. Парадигма НГМ впервые возникла на Западе в 1980-е гг. как реакция на недостатки рационально-легальной бюрократии и попытка сделать ее более гибкой и эффективной посредством использования в государственном управлении моделей, характерных для корпоративного менеджмента (а связи с этим и кадров из бизнеса) (подробнее см., напр.: Каруси, 2006). В России практики НГМ получили некоторое, хотя и довольно ограниченное, развитие начиная с 1990-х гг. и отчасти проявились в административных реформах 2000-х гг. (Huskey, Rowney, 2009; Huskey, 2009: 219-221; Gaman-Galutvina, 2009: 40-42). Их заимствование было не только обусловлено прагматическими соображениями, но и во многом вписывалось в популярную среди властной элиты неолиберальную идеологию.

рования, то о присутствии в министерствах «управленческих команд» (Борщевский, 2018), связанных патрон-клиентскими отношениями, могли бы свидетельствовать факты пересечений между чиновниками в ходе их предшествующей карьеры в коммерческой сфере. Впрочем, рекрутирование, основанное на личном знакомстве и совместной работе в прошлом, вовсе не обязательно отрицает важность деловых качеств, о которых руководителю, естественно, легче судить, если он мог непосредственно наблюдать работу подчиненного более или менее длительное время. Словом, указанные пересечения не всегда являются показателем неопатримониализма, но при этом опора на «своих людей» при подборе кадров может указывать на существующий в политико-административной сфере низкий уровень обобщенного доверия.

Во-вторых, исследование роли бизнеса как источника рекрутирования чиновников федеральных министерств позволяет лучше понять характер взаимоотношений политико-административной и экономической сфер, государства и капитала в России. Карьерные переходы из коммерческих организаций в административные структуры (и наоборот) могут служить формой проявления и одновременно способом закрепления этих отношений. В частности, в политико-социологической литературе довольно активно обсуждалась проблематика автономии (самостоятельности) государства от бизнеса, которая по-разному трактуется представителями различных (плюралистической, марксистской, государство-центричной и пр.) парадигм. Применительно к современной России широко признано, что в целом федеральная администрация доминирует в отношениях с бизнесом (Thompson, 2005: 199; Yakovlev, 2006; 2015; Зудин, 2006). Способность высшего чиновничества сдерживать пополнение своего состава выходцами (особенно непосредственными) извне административной сферы, прежде всего из бизнеса (особенно частного), может служить важным показателем и одновременно фактором его автономии (в этой связи см.: Хантингтон, 2004: 40). Напротив, выраженное плутократическое рекрутирование чиновников могло бы свидетельствовать об ограниченности подобной автономии (вплоть до возможности «захвата» отдельных экономических ведомств коммерческими интересами), о наличии у бизнеса различных форм структурной и инструментальной политической власти и обуславливать тенденцию преимущественного учета его интересов в государственной политике при игнорировании требований других групп. В этой связи следует напомнить, что ряд эмпирических исследований, проведенных за рубежом и в России, показал, что выходцы из бизнеса в большей мере, чем другие государственные деятели, поддерживают и проводят благоприятную ему политику (Witko, Friedman, 2008; Dreher, Lamla, Lein, Somogyi, 2009; Chaisty, 2013; Jochimsen, Thomasius, 2014; Carnes, Lupu, 2015; Scharfenkamp, 2016; Hansen, Carnes, Gray, 2019; Szakonyi, 2020). С другой стороны, степень присутствия бизнесменов на административных постах, особенно в экономических министерствах, может говорить и о силе зависимости накопления капитала от связей в госаппарате, возникающих, в частности, при занятии выходцами из компаний государственных должностей.

В этом смысле анализ распространенности динамических персональных переплетений высшей бюрократии и бизнеса важен также и для понимания и обсуждения характера сложившегося в современной России капитализма, часто концептуализируемого как «кумовской» («crony capitalism») (Волкова, 2016; Economist, 2014).

Обзор литературы

Источники рекрутирования административной элиты в целом и роль бизнеса как поставщика чиновников в частности наиболее систематически изучены в развитых капиталистических демократиях, причем обнаружены существенные межстрановые различия. Такие государства, как Япония и Италия, наиболее приближаются к закрытому, внутреннему, гильдейскому типу рекрутирования высокопоставленных чиновников (Koh, 1979: 288-289; Aberbach, Putnam, Rockman, 1981: 70-72; Cassese, 1999; Schmidt, 2005; Lewanski, Toth, 2011: 222-224). Приток в ряды министерской бюрократии из бизнеса (как и вообще извне административной сферы) незначителен. Это, в частности, характерно для экономических ведомств Японии, например, министерства финансов и министерства внешней торговли и промышленности. Их ключевые чиновники крайне редко имели предшествующую постоянную небюрократическую занятость, обычно работая в них с момента окончания университета и постепенно продвигаясь вверх по иерархической лестнице на основе меритократических критериев (Kubota, 1969: 92-94; Brown, 1999: 24). Эти характеристики карьеры японской административной элиты, отражая национальную специфику найма и занятости, одновременно обладают заметными признаками внешнего сходства с идеальной-типической, «веберовской», бюрократией. В США, напротив, хотя карьерная гражданская служба и получила значительное развитие, и многие высокопоставленные чиновники рекрутируются непосредственно из федеральных органов исполнительной власти, внешнее рекрутирование административной элиты широко распространено (Mann, 1964; Martin, 1991; Etzion, Davis, 2008). Бизнес выступает важным (в том числе и непосредственным) источником пополнения высшего чиновничества. Рекрутирование из бизнеса особенно характерно для экономических министерств, таких как Министерство финансов и Министерство торговли (Mann, Smith, 1981: 222-224). Эта тенденция, традиционно присущая административной элите США, вместе с тем хорошо согласуется с парадигмой «нового государственного менеджмента». Наконец, в таких странах, как Великобритания и ФРГ, среди высокопоставленных чиновников существенно распространена занятость вне административной сферы, в том числе и в коммерческом секторе, на ранних стадиях карьеры, но более или менее непосредственный приток извне, в частности из бизнеса, на высшие административные должности редок (Harris, Garcia, 1966; Derlien, 1988; Theakston, Fry, 1989). Впрочем, в последние десятилетия (в связи с реформами гражданской службы в духе уже упоминавшегося «нового государственного менеджмента») в этих странах (как и в других европейских государствах) растут межсекторная

мобильность и внешнее рекрутирование на административные посты, в том числе из частного сектора (Derlien, 2003: 407-408; Greer, Jarman, 2011: 25-29; Van Thiel, Steijn, Allix, 2007: 96-97; Goetz, 2011: 54; Talbot, 2014: 746, 748).

Что касается России, то существует ряд работ, в которых в той или иной степени анализируется роль бизнеса как источника рекрутирования руководства федеральных министерств и административной элиты в целом (Huskey, 2010: 364; Тев, 2016; Тев, 2018; Fortescue, 2020; Крыштановская, 2020: 125-126). Выявлено, что за пределами административной сферы бизнес служит важнейшим, хотя и скорее косвенным, поставщиком высокопоставленного чиновничества. Вообще, анализ карьеры руководителей ряда федеральных министерств, включая экономические, показал, что чиновники, имеющие опыт работы в бизнесе и рекрутированные в рамках парадигмы «нового государственного менеджмента», являются наиболее распространенным типом, за которым следуют профессиональные бюрократы (Fortescue, 2020). Также установлено, что существенное, хотя и не слишком широкое, распространение получили пересечения между министрами и подчиненными им чиновниками в предшествующей бизнес-карьере, что, как уже отмечалось, может (хотя и не обязательно) вписываться в логику неопатримониального паттерна рекрутирования (Fortescue, 2020). Эти исследования, безусловно, улучшили наше понимание рассматриваемой темы, однако следует отметить, что ни одно из них не было посвящено специально министерствам экономического блока правительства, которые наиболее тесно взаимодействуют с бизнесом, но включало иные федеральные органы исполнительной власти. Представляется целесообразным провести отдельное исследование именно экономических министерств с целью выяснения тенденций и факторов рекрутирования их ключевых чиновников из коммерческой сферы и роли различных сегментов бизнеса как поставщиков административной элиты.

Гипотезы исследования

Выявленная в научной литературе значимость бизнеса как источника рекрутирования высшего федерального чиновничества России в целом неудивительна. Говоря о факторах притока выходцев из коммерческой сферы в административную элиту вообще и особенно в руководство экономических министерств, следует отметить, что ему может способствовать ряд ресурсов, которыми обладают такие персоны. К ним можно, в частности, отнести навыки управления организациями (Szakonyi, 2020: 217); компетентность в экономических вопросах, включая знание специфики отраслей, курируемых данными министерствами; авторитет, доверие и связи в деловом сообществе. В этом смысле, как уже отмечалось, рекрутирование выходцев из бизнеса, прежде всего из подведомственных отраслей, в руководство министерств отчасти может свидетельствовать о значимости меритократических критериев отбора чиновников, способствуя эффективности деятельности административных органов. Также, исходя из теории структурной власти бизнеса

в отношении государства, зависящего от экономического роста в плане своих материальных возможностей и легитимности, правомерно предполагать, что назначение выходцев из коммерческой сферы на важные административные должности в экономическом блоке правительства могут производиться и в качестве позитивного сигнала инвесторам³. Вместе с тем не следует переоценивать востребованность бизнесменов в министерствах. Логика функционирования административной сферы и бизнеса и компетенции, необходимые для успешной работы в них, существенно различаются (Буравцева, 2013). Впрочем, государственные компании, особенно монополии, по характеру своей деятельности относительно близки к административным органам, и их руководителям, вероятно, легче применить свои знания и навыки в госаппарате. Вообще, менеджеры госсектора могут рассматриваться как предпочтительные (в сравнении с частными бизнесменами) кандидаты на административные посты, поскольку профессионально социализированы как проводники «государственного интереса» в коммерческой сфере. Вместе с тем следует отметить, что, вообще говоря, тесная связь с конкретной компанией или отраслью может восприниматься также и как недостаток кандидата на административный пост, поскольку одним из важных условий эффективного регулирования чиновниками экономики и ее секторов является их известная независимость от специфических коммерческих интересов (в этом смысле профессиональные бюрократы могут быть предпочтительнее).

Значимую роль в рекрутировании на видные посты в министерствах могут играть и финансовые средства бизнесменов, благодаря которым, в принципе, возможна и покупка должностей (см., напр.: Викторова, 2008; PASMI.RU, 2012). Наконец, знакомства, связи, отношения доверия менеджеров бизнеса с государственными деятелями, складывающиеся в ходе их повседневного функционального взаимодействия, существенно облегчают обмен кадрами. Формы такого взаимодействия различны: в частности, чиновники заседают в советах директоров коммерческих организаций, а менеджеры — в консультативных советах при органах власти. Причем его тесноте должна способствовать принадлежность компании к отрасли, подведомственной министерству, а также к государственному сектору. Кроме того, важным вытягивающим фактором рекрутирования на административные посты могут выступать знакомства и связи, сформировавшиеся в ходе совместной работы в бизнесе. Сделавший карьеру в коммерческом секторе министр (а таких персон немало в действующем правительстве М. В. Мишустина) может приводить за собой в министерство коллег (и подчиненных) по бизнесу. Распространенность среди чиновников экономических ведомств пересечений в предшествующей бизнес-карьере можно ожидать, исходя, как из предыдущих иссле-

3. Впрочем, подходящими в этом смысле назначенцами могут выступать не только и даже не столько выходцы из бизнеса, сколько, например, профессиональные бюрократы или представители научно-образовательной сферы, имеющие репутацию «либеральных экономистов». Кроме того, надо иметь в виду то, что вообще структурная власть бизнеса в России подрывается приоритетом для государства вопросов безопасности и внешней политики над задачами стимулирования экономического роста (Lamberova, Sonin, 2018).

дований, так и из популярной в политической социологии трактовки российской бюрократии как персоналистской.

В общем, представители бизнеса (особенно крупного) обладают рядом ресурсов, способствующих их рекрутированию в экономические министерства, однако их преимущества в качестве кандидатов на бюрократические должности, как и возможности влиять на подбор высших административных кадров, не следует переоценивать. Как уже отмечалось, в целом бизнес является младшим партнером во взаимоотношениях с федеральной администрацией, обладающей собственной силой и автономией. В этом смысле можно ожидать, что в карьерах высокопоставленных чиновников экономических министерств бюрократическая профессионализация будет выражена сильнее, чем плутократизация.

Анализируя факторы рекрутирования выходцев из бизнеса на административные посты, следует учитывать не только ресурсы и возможности бизнеса, но и его интересы. Надо сказать, что вообще бизнесу могут быть довольно выгодны политические связи, в частности, в форме присутствия выходцев из него в административных органах (и в первую очередь в ведомствах, непосредственно влияющих на функционирование соответствующих компаний и отраслей). Особенно это верно для стран со слабой правовой системой и высоким уровнем коррупции, к которым относится Россия (Faccio, 2010; Grigoriev, Zhirkov, 2020). В тесной связи с этим можно также ожидать наличия у бизнеса заинтересованности в колонизации административного аппарата, исходя из, как уже отмечалось, распространенного в научной литературе и СМИ определения отечественного капитализма как «кумовского», при котором политические связи являются решающими для накопления капитала. Конечно, выходцы из бизнеса не обязательно занимают административные посты с целью продвижения интересов своих компаний, отраслей или делового сообщества в целом⁴. Важную роль могут также играть и другие мотивы — забота об интересах общества (как они их понимают), стремление к самореализации в новой для себя сфере деятельности и пр. (кстати говоря, хотя соответствующих исследований чиновников, пришедших из бизнеса, нам не удалось обнаружить, о неоднозначности мотивации занятия должностей в системе публичной власти могут свидетельствовать интервью с депутатами-предпринимателями (Сакаева, 2012: 108)). Как бы то ни было, профессиональная социализация чиновников в бизнесе способствует формированию у них, с одной стороны, аттитудов, дружественных или сочувственных по отношению к нему, а с другой — сильных социальных связей в коммерческой сфере (Wirsching, 2018: 3-5). Это повышает вероятность восприимчивости таких государственных деятелей к потребностям и аргументам бизнеса, облегчает доступ бизнесменов к чиновникам и в целом может способствовать формированию экономической политики, благоприятной накоплению капитала. Вместе с тем нужно отметить, что политические

4. Тем более что их способность лоббировать коммерческие интересы может существенно ограничиваться бюрократической системой, в которой они оказываются.

связи в форме личной унии с госаппаратом могут и вредить фирмам, подчиняя их деятельность политическим соображениям (Гладышева, Кишилова, 2018).

Кроме того, заинтересованность бизнесменов в занятии административных постов и привлекательность для них бюрократической карьеры может неоднозначно влиять еще ряд обстоятельств. Видные административные должности престижны и дают значительные властные возможности, но с другой стороны, как уже отмечалось, профессиональные роли чиновника и менеджера компании, даже при их общем управленческом характере, существенно различаются, и работа бюрократа может казаться бизнесмену (особенно из частного сектора), например, слишком косной и несамостоятельной. Кроме того, зарплаты в коммерции могут быть существенно выше, чем на госслужбе, хотя это относится прежде всего к ключевым должностям в крупных фирмах. В целом же, как показывают исследования, оплата труда заместителей министров и директоров департаментов существенно превосходит средние доходы руководителей коммерческих организаций (Шклярчук, 2021: 31-32). Однако следует помнить, что административная карьера часто начинается на более низких и значительно хуже оплачиваемых постах — заместителей директоров департаментов, начальников отделов и пр. Впрочем, чиновники обычно обладают более стабильным и гарантированным доходом и вдобавок — разнообразными льготами и привилегиями, а также возможностями коррупционного обогащения, что может делать госслужбу привлекательной для выходцев из бизнеса (особенно тех, кто оказался не слишком удачлив в коммерческой сфере). Кроме того, нужно учесть, что закон не запрещает госслужащим, в частности и выходцам из бизнеса, владеть акциями и долями компаний, извлекая пассивный доход (хотя в случае конфликта интересов они обязаны передать их в доверительное управление). Вместе с тем высокопоставленным госслужащим запрещено «открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (Российская Федерация, 2004), причем данный запрет распространяется на их супругов и несовершеннолетних детей⁵. Учитывая по преимуществу офшорный характер крупной собственности в России, это может создавать определенные проблемы для сохранения контроля над капиталом и извлечения дохода из его функционирования при переходе из бизнеса на госслужбу, подрывая мотивацию бизнесменов (особенно частных) к министерской и вообще бюрократической карьере.

Словом, существуют факторы как способствующие, так и сдерживающие рекрутирование бизнесменов на высшие бюрократические позиции в федеральных министерствах. Исходя из изложенных выше теоретических аргументов и основываясь на данных предыдущих исследований, можно сформулировать три гипотезы:

5. На значимость этого запрета существенно повлияли санкции, введенные против РФ в 2022 г., но это выходит за хронологические рамки данного исследования.

Во-первых, хотя *внутриадминистративное рекрутирование* является доминирующей тенденцией, бизнес выступает одним из основных поставщиков (правда, по преимуществу косвенным) руководства экономических министерств, которое в этом смысле отклоняется от идеального типа «рационально-легального» чиновничества и имеет черты бюрократии «нового государственного менеджмента».

Во-вторых, существенно распространены пересечения между руководящими деятелями экономических министерств в ходе предшествующей бизнес-карьеры, что может вписываться в логику неопатримониального рекрутирования, основанного на личных связях.

В-третьих, среди коммерческих организаций в качестве непосредственного канала рекрутирования чиновников экономических министерств особенно важны крупные государственные компании, принадлежащие к подведомственным отраслям, что отчасти согласуется и с меритократическим, и с неопатримониальными способами отбора кадров.

Данные и метод

Объектом исследования стали карьерные траектории высокопоставленных чиновников экономических министерств правительства РФ. В научной литературе и СМИ встречаются различные взгляды на то, какие министерства относятся к экономическому блоку (одну из типологий министерств, частично использованную в исследовании, см.: Shevchenko, 2005: 412). В данном исследовании к нему были отнесены восемь министерств, в сферу ответственности которых входят вопросы, связанные с экономикой и обеспечением функционирования ее отраслей. Это Министерство экономического развития (Минэкономразвития), Министерство финансов (Минфин), Министерство промышленности и торговли (Минпромторг), Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой), Министерство транспорта (Минтранс), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры), Министерство энергетики (Минэнерго). В составе министерств в исследуемую совокупность были включены персоны, занимающие должности (а также, в нескольких случаях, исполняющие обязанности) заместителей министра (ЗМ) и директоров департаментов (ДД), которые относятся к высшей группе должностей категории «руководители» (Президент РФ, 2005). Таблица 1 показывает параметры исследуемой генеральной совокупности.

Таблица 1. Количественные характеристики исследуемой совокупности, чел.

Министерство	ЗМ	ДД	Всего
Минэкономики	11	37	48

Минфин	10	29	39
Минпромторг	10	27	37
Минсельхоз	8	18	26
Минстрой	5	9	14
Минтранс	8	14	22
Минцифры	9	15	24
Минэнерго	5	10	15
Всего	66	159	225

На каждого чиновника была заполнена биографическая анкета, содержащая, в частности, информацию обо всем его карьерном пути до вхождения в нынешнюю должность. Данные о руководстве семи министерств собирались по состоянию на конец февраля — начало марта 2021 г., а о руководителях Минэнерго, которое было в процессе реорганизации, по состоянию на конец марта 2021 г., когда на его официальном сайте были размещены соответствующие сведения. Источниками информации служили сайты органов государственной власти, коммерческих организаций и иных структур, отчеты компаний, материалы СМИ, биографические интернет-порталы (такие как viperson.ru, lobbying.ru).

Результаты исследования

В таблице 2 показаны источники рекрутирования высокопоставленных чиновников экономических министерств.

Таблица 2. Источники рекрутирования ключевых чиновников экономических министерств, в %

Источник рекрутирования	Наличие опыта работы (N=225)	Должность		
		Предшественствующая нынешней должности (N=211)	Предшественствующая нынешней должности (N=223)	Предшественствующая первой элитной должности* в федеральной администрации (N=222)
Постсоветские административные органы	89	64	83	73
Коммерческие организации**	64	25	10	16

Научно-образовательные учреждения	21	2	5	4
Постсоветские представительные органы	2	~0	0	1

* К элитным должностям государственной гражданской службы отнесены должности, принадлежащие к высшей группе должностей категории «руководители», но не ниже уровня главы основного структурного подразделения административного органа — департамента в министерствах и аппарате правительства, управления в администрации президента (АП).

** Здесь и далее без учета чиновников, входивших по должности (как представители государства) в советы директоров компаний.

Как видим, наиболее распространен среди чиновников опыт работы в административных органах, так что бюрократическая профессионализация является доминирующей тенденцией. Несмотря на это, как и предполагалось в гипотезе 1, экономические министерства довольно существенно зависят от бизнеса как канала рекрутирования своего руководства. Бизнес служит вторым по важности поставщиком высших кадров экономических министерств и основным их источником за пределами самой административной сферы. Как показывает таблица 3, в целом почти две трети чиновников имели в постсоветский период опыт работы в коммерческой сфере на любых должностях, причем более трети занимали ключевые посты.

Таблица 3. Постсоветский опыт работы в коммерческих организациях до вхождения в нынешнюю должность, по категориям чиновников, в %

Тип позиции	Наличие опыта работы			Должность								
				Предпредшествующая нынешней должности			Предшествующая нынешней должности			Предшествующая первой элитной должности в федеральной администрации		
	ЗМ (N=66)	ДД (N=159)	Все (N=225)	ЗМ (N=65)	ДД (N=146)	Все (N=211)	ЗМ (N=66)	ДД (N=157)	Все (N=223)	ЗМ (N=65)	ДД (N=157)	Все (N=222)
Ключевая*	42	32	36	8	14	12	9	4	6	14	8	9
Любая	71	60	64	20	27	25	12	10	10	23	13	16

* К ключевым должностям были отнесены позиции (генеральных) директоров, председателей правления, президентов и их заместителей, председателей и членов советов директоров, директоров по направлениям, индивидуальных предпринимателей.

При этом примерно четверть провела в бизнесе половину и более постсоветской карьеры. В качестве примера можно привести Д. А. Огуряева, который перед вхождением в нынешнюю должность почти все время работал в бизнесе,

в 2018 году победил в конкурсе «Лидеры России», в 2020-м был назначен сначала советником, а через полгода заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Важно, впрочем, отметить, что, как и предполагалось в гипотезе 1, рекрутирование из бизнеса носит в основном косвенный характер: лишь каждый десятый чиновник работал в коммерческой организации на момент назначения на нынешнюю должность и у каждого шестого в бизнесе была позиция, предшествующая первой элитной должности в федеральной администрации (предэлитная позиция).

Общая распространенность опыта работы в бизнесе шире на высших уровнях административной иерархии министерств, однако эта картина может быть обманчивой в силу того, что в сравнении с ЗМ среди ДД гораздо больше тех, о чьей карьере есть лишь фрагментарная информация. Кроме того, как показывает таблица 3, хотя первые чаще работали в коммерческой сфере перед занятием первой элитной должности в федеральной администрации и среди них больше персон, проводших в бизнесе не менее половины своей постсоветской карьеры (31% против 24%), у вторых в бизнесе чаще была предпредшествующая должность. Стоит отметить, что среди самих министров выходцев из бизнеса гораздо больше, чем среди их подчиненных (шесть из восьми имели опыт работы на ключевых постах в коммерции, половина непосредственно пришла из бизнеса, а пятеро провели там половину или более своей постсоветской карьеры).

Что касается различий между министерствами, то они показаны в таблице 4.

Таблица 4. Опыт работы в коммерческих организациях (в том числе на ключевых постах) до вхождения в нынешнюю должность, по министерствам в %

Министерство	Наличие опыта работы	Должность		
		Предпредшествующая нынешней должности	Предшествующая нынешней должности	Предшествующая первой элитной должности в федеральной администрации
Минэкономики	58 (23*) (N=48)	18 (9) (N=44)	9 (6) (N=47)	11 (6) (N=47)
Минфин	59 (23) (N=39)	26 (5) (N=39)	15 (3) (N=39)	21 (5) (N=39)
Минпромторг	49 (38) (N=37)	6 (3) (N=31)	3 (3) (N=36)	6 (6) (N=36)
Минсельхоз	69 (46) (N=26)	46 (19) (N=26)	23 (12) (N=26)	31 (12) (N=26)
Минстрой	64 (43) (N=14)	15 (8) (N=13)	7 (7) (N=14)	7 (7) (N=14)

Минтранс	73 (45) (N=22)	30 (25) (N=20)	18 (14) (N=22)	19 (14) (N=21)
Минцифры	67 (38) (N=24)	26 (13) (N=23)	4 (4) (N=24)	8 (8) (N=24)
Минэнерго	87 (53) (N=15)	47 (33) (N=15)	7 (0) (N=15)	40 (33) (N=15)

* В скобках здесь и далее указана доля чиновников, занимавших ключевые посты в бизнесе.

Как видим, относительно слабо рекрутирование чиновников из бизнеса выражено в Минпромторге, его глава Д. В. Мантуров перед назначением более или менее длительное время работал в административной сфере (хотя до этого занимал ключевые посты в бизнесе), а карьера его чиновников характеризуется высоким уровнем бюрократической и внутриведомственной профессионализации. Также представителей бизнеса сравнительно немного в таком, не связанном с конкретной отраслью ведомстве, как Минэкономики, чей глава М. Г. Решетников сделал карьеру в основном в административных структурах. Напротив, в целом наиболее сильно плутократическое рекрутирование проявляется в таких отраслевых ведомствах, как Минсельхоз, Минэнерго (правда, непосредственных выходцев из бизнеса в нем почти нет) и Минтранс. Их главы (Д. Н. Патрушев, Н. Г. Шульгинов и В. Г. Савельев) не только провели в бизнесе весь и основную часть предшествующего карьерного пути, но и работали в нем на момент назначения.

Как и предполагалось в гипотезе 2, в целом ряде случаев мы видим пересечения между министрами и их подчиненными с точки зрения предшествующей карьеры в коммерческом секторе. Нередко министр приводит с собой в министерство своих коллег из компаний, откуда пришел сам. Наиболее ярким примером служат целые группы выходцев из «Аэрофлота» в Минтрансе (трое, не считая министра) и Россельхозбанка в Минсельхозе (семеро, не считая министра). В частности, заместитель министра транспорта К. И. Богданов, который почти всю свою предшествующую карьеру в бизнесе провел под началом будущего главы ведомства В. Г. Савельева, поработав вместе с ним в таких крупных компаниях, как банк «Россия», «Газпром», АФК «Система» и «Аэрофлот». Или заместитель министра сельского хозяйства О. Н. Лут, которая ранее вместе с будущим главой ведомства Д. Н. Патрушевым работала в Банке ВТБ и Россельхозбанке. Впрочем, подобные примеры встречаются и в других министерствах: так, директор департамента проектной деятельности и цифровых технологий Минэнерго Э. М. Шереметцев ранее работал в компании «РусГидро», которую возглавлял будущий министр Н. Г. Шульгинов.

Из какого бизнеса приходят ключевые чиновники экономических ведомств? Выходцы из крупных компаний заметно представлены среди них. Так, каждый пятый чиновник (даже не считая тех, кто состоял в их советах директоров, занимая административный пост) имеет опыт работы в фирмах, входящих в рейтинг журнала

«Эксперт» (или владеющих/управляющих ими компаниях), причем 7% занимали в них ключевые посты, принадлежа, таким образом, к общенациональной экономической элите. Впрочем, всего 4% работали в таких компаниях непосредственно перед назначением, 6% занимали в них предэлитную, а 9% — предпредшествующую должность. Если учитывать также работу в фирмах, подконтрольных таким компаниям, то из крупного бизнеса вышло порядка половины чиновников, более или менее непосредственно рекрутированных из коммерческой сферы. Что касается формы собственности, то, как и предполагалось в гипотезе 3, в качестве прямого поставщика чиновников из бизнеса государственные компании важнее частных: выходцы из них преобладают на позиции, предшествующей нынешней должности (а также на предэлитной позиции). Однако что касается более косвенного рекрутирования, несколько неожиданным оказалось то, что предпредшествующую позицию в коммерческих организациях частного и государственного секторов занимало примерно равное количество чиновников. Кроме того, как и ожидалось, среди более или менее прямых выходцев из бизнеса преобладают персоны, работавшие в подведомственных министерствам отраслях. Так, в Минфине мы видим чиновников, ранее занятых в финансовом секторе (Группе ВТБ, дочерней компании Сбербанка — Сбербанк-КИБ, НОМОС-Банке, Россельхозбанке и пр.), в Минэнерго — представителей энергетических компаний («РусГидро», «Россети» и пр.), в Минтрансе — транспортных фирм (прежде всего «Аэрофлота», но также РЖД), в Минсельхозе — Россельхозбанка (отраслевого банка АПК). В целом гипотеза о том, что приток из крупных государственных компаний, принадлежащих к отраслям, курируемым соответствующими министерствами, является выраженным паттерном рекрутирования министерских чиновников из бизнеса, нашла свое подтверждение.

Заключение

Исследование в целом подтвердило выдвинутые гипотезы, показав, что за пределами административной сферы бизнес является самым значимым (хотя в основном косвенным) источником рекрутирования чиновников экономических министерств, причем особенно важную роль играют крупные государственные компании, принадлежащие к отраслям, курируемым соответствующими министерствами. Распространенность в карьерах министерской элиты опыта работы в бизнесе (особенно в подведомственной сфере), напоминая практику США, является отклонением от «веберовского» типа профессиональной бюрократии (хотя и не исключает значимости меритократического отбора) и, в общем, вписывается в логику рекрутирования чиновников в духе парадигмы «нового государственного менеджмента». Следует отметить, что эта тенденция также согласуется с усилившимся в последние годы более общим трендом на технократизацию и деполилизацию государственного управления в России (Становая, 2018).

Что касается различий между административными странами (заместителями министров и директорами департаментов), то на высшем уровне министерской

иерархии в целом опыт работы в бизнесе обнаруживается чаще (хотя отчасти это может быть связано с меньшей полнотой данных о карьерах директоров департаментов). Межведомственные различия также существенны: выделяются министерства с наиболее выраженным плутократическим рекрутированием чиновников, например, Минсельхоз и Минтранс. Кроме того, следует отметить заметное присутствие в некоторых министерствах пересечений между министрами и подчиненными им чиновниками в ходе предшествующей карьеры в бизнесе. Данная тенденция может (хотя и необязательно) свидетельствовать о значимости неопатримониального рекрутирования чиновников, основанного на личной преданности и лояльности, патрон-клиентских отношениях.

Выявленные в ходе исследования тенденции целесообразно рассматривать в более широком контексте взаимоотношений бизнеса и власти в современной России. Хотя выраженное в ряде министерств плутократическое рекрутирование свидетельствует об ограниченности автономии федеральной бюрократии от крупного бизнеса и, вероятно, ставит сверхпредставленные компании и отрасли в привилегированное положение в процессе выработки и осуществления политики, формируя предвзятость чиновников в их пользу, но говорить о «захвате» бизнес-интересами министерств в целом вряд ли правомерно. Бюрократическая профессионализация, отражающая и одновременно способствующая автономии этих административных органов, остается ведущей тенденцией, а фирмы, являющиеся основными поставщиками кадров, будучи государственными, сами сильно зависят от отраслевых ведомств, выступающих от имени их собственника — Российской Федерации, и, в свою очередь, являющихся важным источником рекрутирования их руководства. Кроме того, следует отметить, что тенденция плутократического рекрутирования руководства экономических министерств может быть отчасти обусловлена «кумовским» характером российского капитализма, усиливающим заинтересованность фирм в формировании политических связей, которые первостепенны для успешного накопления капитала.

В завершении следует сказать об ограниченности результатов и дальнейших возможностях исследования. В целом было показано, что в рекрутировании руководства федеральных экономических министерств прослеживаются различные паттерны: «веберовские», меритократические черты сосуществуют с неопатримониализмом и практикой «нового государственного менеджмента», однако более или менее полное понимание их соотношения (и того, какой из них преобладает) невозможно только на основе анализа объективных характеристик источников рекрутирования чиновников и требует применения также опросных методов. Кроме того, результаты исследования отражают характеристики министерской элиты только на момент сбора данных (февраль-март 2021 г.), но чтобы понять, насколько устойчивы обнаруженные тенденции и практики рекрутирования, необходимо изучение карьерных траекторий высокопоставленных чиновников, охватывающее более длительный временной интервал.

Литература

- Афанасьев М. Н.* (2000). Клиентелизм и российская государственность: исследование клиентарных отношений, их роли в эволюции и упадке прошлых форм российской государственности, их влияния на политические институты и деятельность властвующих групп в современной России. М.: Московский общественный научный фонд.
- Борщевский Г. А.* (2018). Высшие государственные служащие как политико-административная элита современной России // *Полития*. № 1 (88). С. 82-99.
- Буравцева М.* (2013). Есть ли жизнь после госслужбы? URL: https://www.vedomosti.ru/management/articles/2013/06/21/zhizn_posle_gossluzhby.
- Викторова Л.* (2008). 5-7 млн евро — и ты губернатор. URL: <http://www.democracy.ru/article.php?id=2227>.
- Волкова О.* (2016). Ученые назвали политические связи главным источником богатства в России. URL: <http://www.rbc.ru/economics/11/03/2016/56e2a1ac9a7947f56bedc71a>.
- Гимпельсон В. Е., Магун В. С.* (2004). На службе государства российского: перспективы и ограничения карьеры молодых чиновников // *Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии*. № 5 (73). С. 19-36.
- Гладышева А. А., Кишилова Ю. О.* (2018). Влияние политических связей и государственной собственности на деятельность фирм в России // *Journal of Corporate Finance Research/Корпоративные финансы*. Т. 12. № 1. С. 20-43.
- Зудин А.* (2006). Государство и бизнес в России: эволюция модели взаимоотношений // *Неприкосновенный запас*. № 6. URL: <https://magazines.gorky.media/nz/2006/6/gosudarstvo-i-biznes-v-rossii-evolyucziya-modeli-vzaimootnoshenij.html>
- Крыштановская О. В.* (2020). Основные тренды формирования управленческой элиты России 2020–2030 гг. // *Вестник Российского фонда фундаментальных исследований. Гуманитарные и общественные науки*. № 5 (102). С. 117-134.
- Монусова Г. А.* (2004). Как становятся чиновниками и продвигаются по службе // *Общественные науки и современность*. № 3. С. 61-70.
- Президент РФ. (2005). Указ Президента РФ от 31.12.2005 № 1574 (ред. от 04.08.2021) «О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57545/.
- Российская Федерация (2004). Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О государственной гражданской службе Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/e7b86a940bc71a71af7b928859ofica92a69d878/.
- Сакаева М. М.* (2012). Парламент как «окно возможностей»: исследование поведения предпринимателей с депутатским мандатом в ходе реализации рыночных интересов // *Экономическая социология*. Т. 13. № 3. С. 96-122.

- Становая Т.* (2018). Провальный сентябрь-2018, или Как режим перестает быть путинским. URL: <https://carnegie.ru/commentary/77326>.
- Тев Д. Б.* (2016). Федеральная административная элита: карьерные пути и каналы рекрутирования // Полис. Политические исследования. № 4. С. 115-130.
- Тев Д. Б.* (2018). Бизнес как источник рекрутирования федеральной административной и политической элиты России // Власть и элиты. Т. 5. С. 54-86.
- Хантингтон С.* (2004). Политический порядок в меняющихся обществах. М.: Прогресс-Традиция.
- Шклярук М. С.* (ред.) (2021). Кадровая политика на госслужбе: текущие проблемы и необходимые изменения. М.: Счетная палата Российской Федерации, Центр перспективных управленческих решений.
- Aberbach J. D., Putnam R. D., Rockman B. A.* (1981). *Bureaucrats and Politicians in Western Democracies*. Cambridge, Massachusetts, and London, England: Harvard University Press.
- Brown Jr. J. R.* (1999). *The Ministry of Finance: Bureaucratic Practices and the Transformation of the Japanese Economy*. Westport, Connecticut, London: Quorum Books.
- Carnes N., Lupu N.* (2015). Rethinking the Comparative Perspective on Class and Representation: Evidence from Latin America // *American Journal of Political Science*. Vol. 59. № 1. P. 1-18.
- Cassese S.* (1999). Italy's Senior Civil Service: An Ossified World // Page E. C., Wright V. (eds.). *Bureaucratic Elites in Western European States. A Comparative Analysis of Top Officials*. Oxford: Oxford University Press. P. 55-64.
- Chaisty P.* (2013). The Preponderance and Effects of Sectoral Ties in the State Duma // *Europe-Asia Studies*. Vol. 65. № 4. P. 717-736.
- Cornell A., Knutsen C. H., Teorell J.* (2020). Bureaucracy and Growth // *Comparative Political Studies*. Vol. 53. № 14. P. 2246-2282.
- Derlien Y-U.* (1988). Repercussions of Government Change on the Career Civil Service in West Germany: The Cases of 1969 and 1982 // *Governance: An International Journal of Policy and Administration*. Vol. 1. № 1. P. 50-78.
- Derlien H-U.* (2003). Mandarins or Managers? The Bureaucratic Elite in Bonn, 1970 to 1987 and Beyond // *Governance: An International Journal of Policy and Administration*. Vol. 6. № 3. P. 401-428.
- Dreher A., Lamla M. J., Lein S. M., Somogyi F.* (2009). The Impact of Political Leaders' Profession and Education on Reforms // *Journal of Comparative Economics*. Vol. 37. № 1. P. 169-193.
- Etzion D., Davis G. F.* (2008). Revolving Doors? A Network Analysis of Corporate Officers and U.S. Government Officials // *Journal of Management Inquiry*. Vol. 17. № 3. P. 157-161.
- Evans P., Rauch J. E.* (1999). Bureaucracy and Growth: A Cross-National Analysis of the Effects of "Weberian" State Structures on Economic Growth // *American Sociological Review*. Vol. 64. № 5. P. 748-765.

- Faccio M.* (2010). Differences between Politically Connected and Nonconnected Firms: A Cross-Country Analysis // *Financial Management*. Vol. 39. № 3. P. 905–928.
- Fortescue S.* (2020). Russia's civil service: professional or patrimonial? Executive-level officials in five federal ministries // *Post-Soviet Affairs*. Vol. 36. № 4. P. 365–388.
- Gaman-Galuvtina O.* (2009). The Changing Role of the State and State Bureaucracy in the Context of Public Administration Reforms: Russian and Foreign Experience // *Oleinik A.* (ed.). *Reforming the State without Changing the Model of Power? On Administrative Reform in Post-socialist Countries*. London: Routledge. P. 38–54.
- Goetz K. H.* (2011). The development and current features of the German civil service system // *Van der Meer F. M.* (ed.). *Civil Service Systems in Western Europe*, Second Edition. Cheltenham: Edward Elgar. P. 37–65.
- Greer S. L., Jarman H.* (2011). The British civil service system // *Van der Meer F. M.* (ed.). *Civil Service Systems in Western Europe*, Second Edition. Cheltenham: Edward Elgar. P. 13–35.
- Grigoriev I., Zhirkov K.* (2020). Do political connections make businesspeople richer? Evidence from Russia, 2003–2010 // *Research and Politics*. Vol. 7. № 4. P. 1–6.
- Hansen E. R., Carnes N., Gray V.* (2019). What Happens When Insurers Make Insurance Laws? State Legislative Agendas and the Occupational Makeup of Government // *State Politics & Policy Quarterly*. Vol. 19. № 2. P. 155–179.
- Harris J. S., Garcia T. V.* (1966). The Permanent Secretaries: Britain's Top Administrators // *Public Administration Review*. Vol. 26. № 1. P. 31–44.
- Huskey E.* (2009). An Introduction to Post-communist Officialdom // *Russian Bureaucracy and the State: Officialdom from Alexander III to Vladimir Putin / E. Huskey, D. K. Rowney* (eds.). New York: Palgrave Macmillan. P. 215–230.
- Huskey E.* (2010). Elite recruitment and state-society relations in technocratic authoritarian regimes: The Russian case // *Communist and Post-Communist Studies*. Vol. 43. № 4. P. 363–372.
- Huskey E., Rowney D. K.* (2009). Conclusion // *Russian Bureaucracy and the State: Officialdom from Alexander III to Vladimir Putin / E. Huskey, D. K. Rowney* (eds.). New York: Palgrave Macmillan. P. 317–333.
- Jochimsen B., Thomasius S.* (2014). The perfect finance minister: whom to appoint as finance minister to balance the budget // *European Journal of Political Economy*. Vol. 34 (C). P. 390–408.
- Kapucu N.* (2006). New Public Management: Theory, Ideology, and Practice // *Handbook of Globalization, Governance, and Public Administration / A. Farazmand, J. Pinkowski* (eds.). Boca Raton, London, New York: CRC Press. P. 889–902.
- Koh B. C.* (1979). Stability and Change in Japan's Higher Civil Service // *Comparative Politics*. Vol. 11. № 3. P. 279–297.
- Kubota A.* (1969). *Higher Civil Servants in Postwar Japan. Their Social Origins, Educational Backgrounds, and Career Patterns*. Princeton: Princeton University Press.

- Lamberova N., Sonin K.* (2018). The Role of Business in Shaping Economic Policy // *The New Autocracy: Information, Politics, and Policy in Putin's Russia* / D. Treisman (ed.). Washington, D. C.: Brookings Institution Press.
- Lewanski R., Toth F.* (2011). The Italian civil service system // *Civil Service Systems in Western Europe, Second Edition* / F.M. Van der Meer (ed). Cheltenham: Edward Elgar. P. 217–241.
- Mann D. E.* (1964). The Selection of Federal Political Executives // *The American Political Science Review*. Vol. 58. № 1. P. 81–99.
- Mann D. E., Smith Z. A.* (1981). The Selection of U.S. Cabinet Officers and Other Political Executives. *International Political Science Review* // *Revue internationale de science politique*. Vol. 2. № 2. P. 211–234.
- Martin J. M.* (1991). An Examination of Executive Branch Appointments in the Reagan Administration by Background and Gender // *Western Political Quarterly*. Vol. 44. № 1. P. 173–184.
- PASMI.RU (2012). Более половины должностей в РФ — купленные. URL: <https://pasmir.ru/archive/45848/>.
- Scharfenkamp K.* (2016). It's About Connections — How the Economic Network of the German Federal Government Affects the Top Earners' Average Income Tax Rate // *Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik*. Vol. 236. № 4. P. 427–453.
- Schmidt C.* (2005). Japan's Circle of Power: Legitimacy and Integration of a National Elite // *Asien*. Vol. 96. P. 46–67.
- Shevchenko I.* (2005). Easy Come, Easy Go: Ministerial Turnover in Russia, 1990–2004 // *Europe-Asia Studies*. Vol. 57. № 3. P. 399–428.
- Szakonyi D.* (2020). *Politics for Profit: Business, Elections, and Policymaking in Russia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Talbot C.* (2014). The British Administrative Elite. The Art of Change without Changing? // *Revue française d'administration publique*. № 151-152. P. 741–761.
- The Economist. (2014). Planet Plutocrat: Our Crony-Capitalism Index. URL: <http://www.economist.com/news/international/21599041-countries-where-politically-connected-businessmen-are-most-likely-prosper-planet>.
- Theakston K, Fry G. K.* (1989). Britain's Administrative Elite: Permanent Secretaries 1900–1986 // *Public Administration*. Vol. 67. № 2. P. 129–147.
- Thompson W.* (2005). Putin and the “Oligarchs”: A Two-Sided Commitment Problem // *Leading Russia: Putin in Perspective: Essays in Honour of Archie Brown* / A. Pravda (ed.). Oxford: Oxford University Press. P. 179–202.
- Van Thiel S., Steijn B., Allix M.* (2007). ‘New Public Managers’ in Europe: Changes and Trends // *New Public Management in Europe: Adaptation and Alternatives* / C. Pollitt, S. Van Thiel, V. Homburg (eds.). Basingstoke: Palgrave Macmillan. P. 90–106.
- Wirsching E.* (2018). The revolving door for political elites: policymakers' professional background and financial regulation. Working Paper No. 222. URL: <https://www.ebrd.com/publications/working-papers/revolving-door>.

- Witko C., Friedman S. (2008). Business Backgrounds and Congressional Behavior // Congress & the Presidency. Vol. 35. № 1. P. 71–86.
- Yakovlev A. (2006). The evolution of business—state interaction in Russia: From state capture to business capture? // Europe-Asia Studies. Vol. 58. № 7. P. 1033–1056.
- Yakovlev A. A. (2015). State-Business Relations in Russia after 2011: ‘New Deal’ or Imitation of Changes? // The Challenges for Russia’s Politicized Economic System / S. Oxenstierna (ed.). Oxford: Routledge. P. 59–76.

Business as a source of the recruitment of high-ranking officials of Russian federal economic ministries

Denis Tev

PhD in Sociology, Senior Researcher, The Sociological Institute of the RAS — Branch of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences.

Address: 25/14, 7th Krasnoarmejskaya St., Saint Petersburg, 190005, Russian Federation.

E-mail: denis_tev@mail.ru

The article analyzes the role of business as a source of the recruitment of high-ranking officials of the economic ministries of the Russian government. The empirical basis of the study is a biographical database of 225 deputy ministers and directors of departments in eight ministries. The study demonstrated that although administrative professionalization is the most pronounced characteristic of officials’ careers, economic ministries are quite dependent on business as a channel for recruitment of their top executives, which, in this sense, has the features of a “new public management” bureaucracy. Business serves as the main supplier of senior staff for economic ministries outside the administrative realm, while large state-owned companies belonging to sectors supervised by ministries play a particularly significant role. Business experience is found more often at the highest level of the administrative hierarchy, particularly among deputy ministers. Interdepartmental differences are also significant: there are ministries with a pronounced presence of people from business, for example, the Ministry of Agriculture. In some ministries, the presence of intersections between ministers and their subordinates in the course of a business career preceding the current position is noticeable, which may indicate the importance of patrimonial recruitment based on personal loyalty or patron-client relations. The plutocratic recruitment of executives, especially noticeable in a number of ministries, probably puts overrepresented companies and industries in a privileged position in the policy-making and implementation process, thereby forming a kind of administrative bias in their favor.

Keywords: ministries, officials, sources of recruitment, career, business

References

- Aberbach J. D., Putnam R. D., Rockman B. A. (1981) *Bureaucrats and Politicians In Western Democracies*, Cambridge, Massachusetts, and London, England: Harvard University Press.
- Afanas'ev M. N. (2000) *Klientelizm i rossijskaja gosudarstvennost': issledovanie klientarnyh otnoshenij, ih roli v jevoljucii i upadke proshlyh form rossijskoj gosudarstvennosti, ih vlijanija na politicheskie instituty i dejatel'nost' vlastvujushchih grupp v sovremennoj Rossii* [Clientelism and Russian statehood: a study of client relations, their role in the evolution and decline of past forms of Russian statehood, their influence on political institutions and the activities of ruling groups in modern Russia], Moscow: MONF.
- Borshchevskiy G. A. (2018) Vysshie gosudarstvennye sluzhashhie kak politiko-administrativnaja jelita sovremennoj Rossii [Senior Civil Servants as Russian Political and Administrative Elite]. *Politeia*, no 1, pp. 82–99.

- Brown Jr. J. R. (1999) *The Ministry of Finance: Bureaucratic Practices and the Transformation of the Japanese Economy*, Westport, Connecticut, London: Quorum Books.
- Buravceva M. (2013) Est' li zhizn' posle gossluzhby [Is there life after civil service?]. Available at: https://www.vedomosti.ru/management/articles/2013/06/21/zhizn_posle_gossluzhby.
- Carnes N., Lupu N. (2015) Rethinking the Comparative Perspective on Class and Representation: Evidence from Latin America. *American Journal of Political Science*, vol. 59, no 1, pp. 1-18.
- Cassese S. (1999) Italy's Senior Civil Service: An Ossified World. *Bureaucratic Elites in Western European States. A Comparative Analysis of Top Officials* (eds. E. C. Page, V. Wright), Oxford: Oxford University Press, pp. 55-64.
- Chaisty P. (2013) The Preponderance and Effects of Sectoral Ties in the State Duma. *Europe-Asia Studies*, vol. 65, no 4, pp. 717-736.
- Cornell A., Knutsen C. H., Teorell J. (2020) Bureaucracy and Growth. *Comparative Political Studies*, vol. 53, no 14, pp. 2246-2282.
- Derlien Y.-U. (1988) Repercussions of Government Change on the Career Civil Service in West Germany: The Cases of 1969 and 1982. *Governance: An International Journal of Policy and Administration*, vol. 1, no 1, pp. 50-78.
- Derlien H.-U. (2003) Mandarins or Managers? The Bureaucratic Elite in Bonn, 1970 to 1987 and Beyond. *Governance: an International Journal of Policy and Administration*, vol. 6, no 3, pp. 401-428.
- Dreher A., Lamla M. J., Lein S. M., Somogyi F. (2009) The Impact of Political Leaders' Profession and Education on Reforms. *Journal of Comparative Economics*, vol. 37, no 1, pp. 169-193.
- Etzion D., Davis G. F. (2008) Revolving Doors? A Network Analysis of Corporate Officers and U. S. Government Officials. *Journal of Management Inquiry*, vol. 17, no 3, pp. 157-161.
- Evans P., Rauch J. E. (1999) Bureaucracy and Growth: A Cross-National Analysis of the Effects of "Weberian" State Structures on Economic Growth. *American Sociological Review*, vol. 64, no 5, pp. 748-765.
- Faccio M. (2010) Differences between Politically Connected and Nonconnected Firms: A Cross-Country Analysis. *Financial Management*, vol. 39, no 3, pp. 905-928.
- Fortescue S. (2020) Russia's civil service: professional or patrimonial? Executive-level officials in five federal ministries. *Post-Soviet Affairs*, vol. 36, no 4, pp. 365-388.
- Gaman-Galuvtina O. (2009) The Changing Role of the State and State Bureaucracy in the Context of Public Administration Reforms: Russian and Foreign Experience. *Reforming the State without Changing the Model of Power? On Administrative Reform in Post-socialist Countries*. (ed. A. Oleinik), London: Routledge, pp. 38-54.
- Gimpel'son V., Magun V. (2004) Na sluzhbe gosudarstva rossijskogo: perspektivy i ogranichenija kar'ery molodyh chinovnikov [Serving the Russian State: Prospects and Constraints for Young Civil Servants' Careers]. *The Russian Public Opinion Herald. Data. Analysis. Discussions*, no 5 (73), pp. 19-36.
- Gladysheva A. A., Kishilova YU. O. (2018) Vlijanie politicheskikh svjazej i gosudarstvennoj sobstvennosti na dejatel'nost' firm v Rossii [The Influence of Political Ties and State Ownership on the Activities of Firms in Russia]. *Journal of Corporate Finance Research*, vol. 12, no 1, pp. 20-43.
- Goetz K. H. (2011) The development and current features of the German civil service system. *Civil Service Systems in Western Europe, Second Edition* (ed. F. M. Van der Meer), Cheltenham: Edward Elgar, pp. 37-65.
- Greer S. L., Jarman H. (2011). The British civil service system. *Civil Service Systems in Western Europe, Second Edition* (ed. F. M. Van der Meer), Cheltenham: Edward Elgar, pp. 13-35.
- Grigoriev I., Zhirkov K. (2020) Do political connections make businesspeople richer? Evidence from Russia, 2003-2010. *Research and Politics*, vol. 7, no 4, pp. 1-6.
- Hansen E. R., Carnes N., Gray V. (2019) What Happens When Insurers Make Insurance Laws? State Legislative Agendas and the Occupational Makeup of Government. *State Politics & Policy Quarterly*, vol. 19, no 2, pp. 155-179.
- Harris J. S., Garcia T. V. (1966) The Permanent Secretaries: Britain's Top Administrators. *Public Administration Review*, vol. 26, no 1, pp. 31-44.
- Huntington S. (2004) *Politicheskij porjadok v menjajushhihsja obshhestvah* [Political Order in Changing Societies], Moscow: Progress-Tradicija.

- Huskey E. (2009) An Introduction to Post-communist Officialdom. *Russian Bureaucracy and the State: Officialdom from Alexander III to Vladimir Putin* (eds. E. Huskey, D. K. Rowney), New York: Palgrave Macmillan, pp. 215–230.
- Huskey E. (2010) Elite recruitment and state-society relations in technocratic authoritarian regimes: The Russian case. *Communist and Post-Communist Studies*, vol. 43, no № 4, pp. 363–372.
- Huskey E., Rowney D. K. (2009). Conclusion. *Russian Bureaucracy and the State: Officialdom from Alexander III to Vladimir Putin* (eds. E. Huskey, D. K. Rowney), New York: Palgrave Macmillan, pp. 317–333.
- Jochimsen B., Thomasius S. (2014) The perfect finance minister: whom to appoint as finance minister to balance the budget. *European Journal of Political Economy*, vol. 34 (C), pp. 390–408.
- Kapucu N. (2006) New Public Management: Theory, Ideology, and Practice. *Handbook of Globalization, Governance, and Public Administration* (eds. A. Farazmand, J. Pinkowski), Boca Raton, London, New York: CRC Press, pp. 889–902.
- Koh B. C. (1979) Stability and Change in Japan's Higher Civil Service. *Comparative Politics*, vol. 11, no 3, pp. 279–297.
- Kryshtanovskaya O. (2020) Osnovnye trendy formirovaniya upravlencheskoj jelity Rossii 2020–2030 gg. [The Key Trends in Forming the Governance Elite in Russia in 2020–2030]. *Russian Foundation for Basic Research Journal. Humanities and social sciences*, no 5 (102), pp. 117–134.
- Kubota A. (1969) *Higher Civil Servants in Postwar Japan. Their Social Origins, Educational Backgrounds, and Career Patterns*, Princeton: Princeton University Press.
- Lamberova N., Sonin K. (2018) The Role of Business in Shaping Economic Policy. *The New Autocracy: Information, Politics, and Policy in Putin's Russia* (ed. D. Treisman), Washington, D. C.: Brookings Institution Press.
- Lewanski R., Toth F. (2011) The Italian civil service system. *Civil Service Systems in Western Europe, Second Edition* (ed. F. M. Van der Meer), Cheltenham: Edward Elgar, pp. 217–241.
- Mann D. E. (1964) The Selection of Federal Political Executives. *The American Political Science Review*, vol. 58, no 1, pp. 81–99.
- Mann D. E., Smith Z. A. (1981) The Selection of U. S. Cabinet Officers and Other Political Executives. *International Political Science Review. Revue internationale de science politique*, vol. 2, no 2, pp. 211–234.
- Martin J. M. (1991) An Examination of Executive Branch Appointments in the Reagan Administration by Background and Gender. *Western Political Quarterly*, vol. 44, no 1, pp. 173–184.
- Monusova G. A. (2004) Kak stanovjatsja chinovnikami i prodvigajutsja po sluzhbe [How to become officials and advance in the service]. *Social Sciences and Contemporary World*, no 3, pp. 61–70.
- PASMI.RU (2012) Bolee poloviny dolzhnostej v RF — kuplennye [More than half of positions in the Russian Federation are purchased]. Available at: <https://pasm.ru/archive/45848/>.
- President of the Russian Federation (2005) Ukaz Prezidenta RF ot 31.12.2005 N 1574 (red. ot 04.08.2021) "O Reestre dolzhnostej federal'noj gosudarstvennoj grazhdanskoj sluzhby" [Decree of the President of the Russian Federation of December 31, 2005 N 1574 (as amended on 08/04/2021) "On the Register of Positions of the Federal State Civil Service"]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57545/.
- Russian Federation (2004) Federal'nyj zakon ot 27.07.2004 N 79-FZ (red. ot 30.12.2021) "O gosudarstvennoj grazhdanskoj sluzhbe Rossijskoj Federacii" [Federal Law of July 27, 2004 N 79-FZ (as amended on December 30, 2021) "On the State Civil Service of the Russian Federation"]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/e7b86a940bc71a71af7b9288590f1ca92a69d878/.
- Sakaeva M. (2012) Parlament kak «okno vozmozhnostej»: issledovanie povedenija predprinimatelej s deputatskim mandatom v hode realizacii rynochnyh interesov [Parliament as a «Window of Opportunities»: A Study on the Pursuit of Business Interests by Entrepreneurs with Mandates]. *Economic Sociology*, vol. 13, no 3, pp. 96–122.
- Scharfenkamp K. (2016) It's About Connections — How the Economic Network of the German Federal Government Affects the Top Earners' Average Income Tax Rate. *Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik*, vol. 236, no 4, pp. 427–453.

- Schmidt C. (2005) Japan's Circle of Power: Legitimacy and Integration of a National Elite. *Asien*, vol. 96, pp. 46-67.
- Shevchenko I. (2005) Easy Come, Easy Go: Ministerial Turnover in Russia, 1990-2004. *Europe-Asia Studies*, vol. 57, no 3, pp. 399-428.
- Shkljaruk M. (ed.) (2021) *Kadrovaja politika na gossluzhbe: tekushhie problemy i neobhodimye izmenenija* [Personnel policy in the civil service: current problems and necessary changes], Moscow: Schetnaja palata Rossijskoj Federacii, Centr perspektivnyh upravlencheskih reshenij.
- Stanovaja T. (2018) Proval'nyj sentjabr' — 2018, ili Kak rezhim perestaet byt' putinskim [Failed September — 2018, or How the regime ceases to be Putin's]. Available at: <https://carnegie.ru/commentary/77326>.
- Szakonyi D. (2020) *Politics for Profit: Business, Elections, and Policymaking in Russia*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Talbot C. (2014) The British Administrative Elite. The Art of Change without Changing? *Revue française d'administration publique*, no 151-152, pp. 741-761.
- Tev D. (2016) Federal'naja administrativnaja jelita Rossii: kar'ernye puti i kanaly rekrutirovanija [Federal Administrative Elite of Russia: Career Paths and Channels of Recruitment]. *Polis: Political Studies*, no 4, pp. 115-130.
- Tev D. (2018) Biznes kak istochnik rekrutirovanija federal'noj administrativnoj i politicheskoj jelity Rossii [Business as a source of recruitment of the federal administrative and political elite of Russia]. *Power and Elites*, vol. 5, pp. 54-86.
- The Economist. (2014) Planet Plutocrat: Our Crony-Capitalism Index. Available at: <http://www.economist.com/news/international/21599041-countries-where-politically-connected-businessmen-are-most-likely-prosper-planet>.
- Theakston K., Fry G. K. (1989) Britain's Administrative Elite: Permanent Secretaries 1900-1986. *Public Administration*, vol. 67, no 2, pp. 129-147.
- Thompson W. (2005) Putin and the "Oligarchs": A Two-Sided Commitment Problem. *Leading Russia: Putin in Perspective: Essays in Honour of Archie Brown* (ed. A. Pravda), Oxford: Oxford University Press, pp. 179-202.
- Van Thiel S., Steijn B., Allix M. (2007) 'New Public Managers' in Europe: Changes and Trends. *New Public Management in Europe: Adaptation and Alternatives* (eds. C. Pollitt, S. Van Thiel, V. Homburg), Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 90-106.
- Viktorova L. (2008). 5 — 7 mln. evro — i ty gubernator [5 — 7 million euros — and you are the governor]. Available at: <http://www.democracy.ru/article.php?id=2227>.
- Volkova O. (2016) Uchenye nazvali politicheskie svjazi glavnyim istochnikom bogatstva [Scientists Said that Political Ties is the Main Source of Wealth in Russia]. Available at: <http://www.rbc.ru/economics/11/03/2016/56e2a1ac9a7947f56bedc71a>.
- Wirsching E. (2018) The revolving door for political elites: policymakers' professional background and financial regulation. Working Paper No. 222. Available at: <https://www.ebrd.com/publications/working-papers/revolving-door>.
- Witko C., Friedman S. (2008) Business Backgrounds and Congressional Behavior. *Congress & the Presidency*, vol. 35, no 1, pp. 71-86.
- Yakovlev A. (2006) The evolution of business—state interaction in Russia: From state capture to business capture? *Europe-Asia Studies*, vol. 58, no 7, pp. 1033-1056.
- Yakovlev A. A. (2015) State-Business Relations in Russia after 2011: 'New Deal' or Imitation of Changes? *The Challenges for Russia's Politicized Economic System* (ed. S. Oxenstierna), Oxford: Routledge, pp. 59-76.
- Zudin A. (2006) Gosudarstvo i biznes v Rossii: jevoljucija modeli vzaimootnoshenij [State and business in Russia: evolution of the relationship model]. *Neprikosnovennyj zapas* [NZ], no 6. Available at: <https://magazines.gorky.media/nz/2006/6/gosudarstvo-i-biznes-v-rossii-evolyuciya-modeli-vzaimootnoshenij.html>.

Самореализация и дети: логики использования пространства в нарративах россиянок¹

Иван Забаев

Кандидат социологических наук, заведующий научной лабораторией «Социология религии»,
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.

Адрес: ул. Новокузнецкая, 23Б, Москва, Российская Федерация, 115184

E-mail: zabaev-iv@yandex.ru

Елизавета Кострова

Кандидат философских наук, научный сотрудник научной лаборатории «Социология религии»,
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.

Адрес: ул. Новокузнецкая, 23Б, Москва, Российская Федерация, 115184

E-mail: elizakos@mail.ru

Мария Голева

Младший научный сотрудник научной лаборатории «Социология религии»,
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.

Адрес: ул. Новокузнецкая, 23Б, Москва, Российская Федерация, 115184

E-mail: m.goleva@mail.ru

Демографическая проблема вызывает стабильный интерес исследователей, особое значение в этом контексте имеет тезис о связи снижения рождаемости с распространением ценностей самореализации и индивидуализации. В данной статье связь ценностей самореализации, семьи и деторождения рассматривается в контексте прагматического и пространственного поворота в социальных науках. Эмпирическую базу составили проведенные в 2008-2021 годах глубинные интервью с женщинами, не имеющими детей или имеющими от одного до девяти детей (всего 53 интервью). Анализ данных показал, что информантки используют пространственные образы для описания повседневности и жизненных планов, в том числе планов о рождении детей, и эти образы различаются в зависимости от количества детей. Были выявлены три логики использования пространства: «путешествие», «логистика», «дом». В логике «путешествие» человек с оптимизмом видит перед собой неограниченный, открытый горизонт жизненных стратегий и возможностей. «Логистика» описывает совершенные множества действий по совмещению и организации ресурсов всех членов семьи в связи с пространственной близостью или удаленностью объектов для обеспечения самореализации большого количества детей. «Дом» отражает постоянные усилия по поддержанию целостности семейного мира, баланса между отъездами и возвращениями. Ценности самореализации значимы для всех трех логик, но индивидуалистические установки и поведение ярко выражены только в одной из них («путешествие»). В то же время в логике «дом» индивид соотносит свою самореализацию с благополучием всех остальных членов своей семьи, а в случае с «логистикой» создается сложный конструкт из людей, мест и отношений, призванный обеспечить условия для самореализации. Мы предполагаем, что различные логики использования пространства позволяют увидеть рассогласования между такими, казалось бы, крепко связанными вещами, как построение семьи и рождение детей (максимизация рождения детей).

Ключевые слова: логики использования пространства, ценности самореализации, деторождение, рождаемость, прагматический и пространственный поворот, религия

1. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 18-78-10089, <https://rscf.ru/project/18-78-10089/>. Организация выполнения проекта — Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.

Постановка вопроса

Демографическая проблема остро стоит во многих странах, вызывая стабильный интерес ученых; и Россия не является здесь исключением. В недавних исследованиях (Малева, Синявская, 2006; Рощина, Бойков, 2005; Архангельский, 2006; Горелкина, 2007; Голева, Павлюткин, 2016; Павлюткин, Голева, 2020) проанализирована роль многих факторов в динамике рождаемости в России, а именно образования, занятости, изменения состояния медицины (в частности, в сфере контрацепции), социального положения, религиозности, матримониального статуса, жилищной обеспеченности, различий в ценностных и репродуктивных установках, социального окружения. Особое значение в этом контексте имеет тезис о связи снижения рождаемости с распространением ценностей самореализации и индивидуализации. Так, демографическая модернизация связывается с «переносом центра тяжести социального контроля над демографическим и семейным поведением людей с институционально-коллективного на индивидуальный уровень» (Демографическая модернизация, 2006: 137).

Дискурс и его противоречия

На сегодняшний день общественно-научный дискурс о деторождении, связанный с теорией второго демографического перехода, опирается на определенную логическую модель, которая хотя и не проговаривается нигде явно, однако в виде отдельных элементов присутствует во многих текстах². В сжатом виде эту модель можно сформулировать следующим образом:

1. в обществе распространились ценности самореализации;
2. в результате люди (в частности, женщины) стали включаться в те или иные траектории собственного развития (карьера, образование) и реже и/или позже вступать в брак (долговременное партнерство);
3. перечисленные процессы способствовали снижению рождаемости.

Как можно заметить, эта логика включает в себя несколько тезисов:

Тезис 1. В современном обществе распространены ценности самореализации.

Тезис 2. Ценности самореализации отрицательно влияют на рождаемость.

Тезис 3. [Зарегистрированный] брак важен для рождаемости.

Тезис 4. Ценности самореализации блокируют вступление в брак.

Для данной работы важны прежде всего тезисы (2), (3) и (4). Рассмотрим подробнее те проблемы, которые за ними стоят.

2. Здесь мы резюмируем «ценностную концепцию детерминации рождаемости» (Вишневыский, 2019: 190-191), однако существует еще и «полезностная концепция детерминации рождаемости». Согласно последней, если раньше дети приносили родителям пользу, то теперь они приносят убытки и становятся дорогостоящим проектом (см., напр.: Caldwell, 1976). Подробнее об этой концепции, о ее критике и о том, почему все же получила распространение ценностная концепция, см., напр.: Вишневыский, 2019: 186-191.

Тезис о связи брака и рождаемости (тезис 3) является фактически общим местом: он может быть обнаружен как в исторических исследованиях, так и в работах, посвященных анализу современности. С одной стороны, обобщая обширный исторический материал, М. Ливи Баччи отмечает, что «[п]очти во всей Европе... брак предоставляет некое законное право на воспроизводство: рождения вне брака обычно составляют крайне малую часть (десятые доли процента) от всех рождений» (Ливи Баччи, 2010: 145-146). С другой стороны, вклад сокращения количества браков в снижение рождаемости отмечается и применительно к современной России: «В последнее десятилетие сократилось количество браков. <...> Гражданский брак менее устойчив, чем зарегистрированный, в связи с чем гражданские браки, как правило, малодетные... Если ребенок рождается в гражданском браке, то брак либо регистрируется в органах ЗАГСа, либо женщина больше не рождает детей» (Шелехов, Берестнева, Жаркова, 2010: 138). Связь брачности и рождаемости демонстрируют исследования на различных массивах данных³ (Рощина, Бойков, 2005; Малева, Синявская, 2006; Синявская, Тындик, 2009). Конечно, дети рождаются и вне брака, но вторые и последующие рождения осуществляются, как правило, в браке (Малева, Синявская, 2006; Тындик, 2012; Малева, Тындик, 2013).

Фиксация связи семейности (брачности) и рождаемости примыкает к основному нарративу теории второго демографического перехода: его теоретики настаивали на том, что изменения в нормах деторождения были связаны с ценностными сдвигами (тезис 2) (Каа, 2002), в отличие от первого демографического перехода. Так, Д. Ван де Каа утверждает, что «[e]сли при первом переходе к низкой рождаемости ключевыми становились вопросы семьи и потомства, то при втором подчеркивались вопросы прав и самореализации личности...» (Каа, 1987: 5-6)⁴. Соответственно, теперь «все помыслы человека сосредоточены на самореализации, свободе выбора, личном развитии, индивидуальном стиле жизни, эмансипации, и это находит отражение в формировании семьи, установках в отношении регулирования рождений и мотивах родительства» (Каа, 1996: 425). Не только экономические соображения, но и новое культурное наполнение (в виде прежде всего самореализации и индивидуализации) приводит к тому, что люди все реже вступают в брак и рожают все меньше детей.

При этом демографы имеют тенденцию говорить о самореализации в тесной связке с индивидуализацией, как будто опираясь на концепции Р. Инглхарта и А. Маслоу. Однако ни один из упомянутых исследователей не противопоставлял самореализацию коллективизму⁵. Между тем убедительность тезиса о влиянии ценностей самореализации на упадок семьи зависит от того, противопоставит ли

3. В первую очередь панельное социально-демографическое обследование «Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе» (РиДМиЖ) и Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (РМЭЗ НИУ ВШЭ).

4. См. также: Hoffmann-Nowotny, 1987: 113-200; Lestaege, 1983.

5. Например, у Р. Инглхарта самореализация противопоставит материалистическим ценностям (Inglehart, 1971; Inglehart, 2018).

самореализация, сцепленная с индивидуализмом, социальному контролю любого сообщества над индивидуальным поведением. Если необходимым оппонентом самореализации является не коллективизм, а материализм (Inglehart, 1971; Inglehart, 2018), с фокусом на выживании и безопасности, то и гибель семьи перестает быть неизбежным следствием распространения новых ценностей.

Тем не менее в целом модель «Ценности-брак-деторождение»⁶ выглядит непротиворечивой и понятной. Однако логика модели такова, что позволяет убедительно объяснить только бездетность⁷ и снижение рождаемости в одних случаях (люди стремятся самореализоваться — браки не заключаются — дети не рождаются) и многодетность и отсутствие снижения рождаемости — в других (люди не стремятся самореализоваться — браки заключаются — дети рождаются). Не вполне понятно, как при помощи этой модели объяснить появление одно- и двухдетной семьи как чего-то самостоятельно значимого: такая семья оказывается не более чем случайным отклонением по отношению к бездетным или многодетным — в то время как именно малодетная⁸ семья («не менее одного ребенка и не более двух») на сегодняшний день является «единой для всех страт социальной нормой» (Синявская, Тындик, 2009: 30; Захаров, Чурилова, Агаджанян, 2016; Testa, 2012).

Получается, что модель, связывающая ценности и рождаемость с фокусом на одной ценности (самореализация или самореализация в сцепке с индивидуализацией), может предсказать только два исхода: либо отсутствие детей, либо многодетность⁹. Все остальные случаи должны оказываться не более чем флуктуациями. Нормативность и распространенность двухдетности наводит на мысль, что ценностная модель должна быть устроена сложнее, допуская для двухдетности собственную логику¹⁰.

Итак, в данной статье, отгалкиваясь от анализа неформализованных интервью с потенциальными или реальными матерями, мы хотим сосредоточиться на следующих вопросах:

1. Если индивид разделяет ценности самореализации, обязательно ли это приведет его к отказу от деторождения?

6. Ценности и семейные структуры иногда предполагаются жестко связанными, а иногда просто действующими синхронно. Базовой логики модели это не меняет.

7. В рамках данной работы «бездетными» были названы респонденты (и их семьи), не имевшие детей на момент проведения интервью.

8. В рамках данной работы «малодетными» были обозначены респонденты (и их семьи) с одним-двумя детьми.

9. Здесь открывается возможность поставить и другой вопрос: «Действительно ли самовыражение, качество жизни индивидов противостоят семье и детям как ценности?!» (Лебедева, 2019).

10. Необходимо оговориться: объяснения требует не количество как таковое, а социальная норма, которая сейчас имеет такое количественное выражение — два ребенка. Можно ли говорить о том, что демографический показатель «идеальное количество детей», равный в нашем случае двум, имеет под собой какое-то самостоятельное содержание, а не является просто статистически наиболее часто встречающимся значением переменной?

2. Можно ли обнаружить какой-то собственный, особый набор позитивных смыслов у тех людей, которые рожают одного-двух детей?
3. Так как связка семья/деторождение представляется самоочевидной, «семья» легко превращается в инструмент максимизации деторождения и утрачивает самостоятельный смысл. В каком смысловом, феноменологическом отношении находится семья к (а) максимизации деторождения и (б) ценностям самореализации?
4. Что вышеперечисленное может значить для государственной социальной политики в масштабах страны?

* * *

Проводя в рамках различных проектов (уже в течение 13 лет) исследовательские интервью на темы рождаемости и семейной жизни, мы обнаружили, что респонденты очень часто описывают свою жизнь в пространственных категориях. Этот факт побудил нас к тому, чтобы уделить этому обстоятельству более пристальное внимание. Дело в том, что сообщения информантов о пространстве не являются чем-то случайным. Те или иные пространственные практики формируют жизнь общества: «социальные практики оформлены пространственными паттернами (spatially patterned), которые оказывают на эти практики серьезное содержательное воздействие» (Urry, 1995: 64 — цит. по: Филиппов, 2008: 14). Пространственные практики — это то, из чего складывается повседневная жизнь людей и декларируемые ценности (в том числе и ценности самореализации). Они могут быть очень по-разному инкорпорированы в жизнь человека; могут корректироваться и изменяться (отчасти или полностью) в ходе повседневной жизни.

Чтобы обойти те противоречия, которые мы обнаружили в научном анализе динамики рождаемости, связанном с демографией, мы решили обратиться к ресурсам тех теоретических направлений в современной социологии, которые анализируют проблемы социального порядка и, шире, отдельные социальные феномены, акцентируя не ценностную (временную), но пространственную составляющую.

Тело, пространство, практическое чувство

Та перспектива, из которой мы хотели бы взглянуть на проблему связи ценностей, семьи и деторождения, очерчена прагматическим и пространственным (spatial turn)¹¹ поворотами в социальных науках последней трети XX века — начала XXI века. Прежде всего для нас важно понятие практического чувства, как его описывает П. Бурдьё в связи с центральными понятиями своей социологии — габитусом и его воспроизводством:

11. Ниже мы в основном следуем работе: «Место мест и практическая схема пространства» (Филиппов, 2008).

«Почти телесная направленность видения мира, не предполагающая, однако, ни тела, ни мира и в еще меньшей степени их отношения, присущая миру и служащая проводником его неизбежности, того, что нужно делать или говорить, прямо диктующая действия или слова, — практическое чувство ориентирует «выбор», который, хотя и не является намеренным, не становится от этого менее систематическим и который, хотя и не управляется и не подчиняется организующему воздействию со стороны цели, не перестает быть носителем определенного рода ретроспективной целесообразности» (Бурдье, 2001: 128).

В центр всей системы здесь ставится не смысл или ценность, но тело, которое «является не простым фрагментом мира, а местом определенной переработки и как бы определенным видением мира» (Мерло-Понти, 1999; 451 — цит. по: Филиппов, 2008: 140). Практическое верование — это состояние тела. Практическое чувство позволяет практикам быть наполненными здравым смыслом, даже если сами агенты до конца этот смысл не рефлексируют (Филиппов, 2008: 133-134). Тем не менее до какой-то степени они способны его осознать и хотя бы указать на важные для них различия. Сам Бурдье приводил в пример описание кабильского дома, в котором в символической форме содержались параллелизмы пространственного и социального (мужское-женское/верх-низ). Мы не настаиваем на подобном жестком параллелизме¹²; скорее, мы хотим обратить внимание на те категории, в которых агент будет предъявлять свое практическое чувство, свою соотнесенность с миром.

Тело действующего занимает в мире, в пространстве некоторое место, и Другой, в свою очередь, воспринимается как занимающий какое-то (другое) место, которое действующий мог бы в какой-то момент времени занимать и сам. Соответственно, место несет не только нейтральный физический, но и социальный смысл. Поэтому «[н]аряду с «совместными», «разделяемыми» ценностями... есть общность места, есть место мест, где именно индивидуализировано данное место: не как место данного индивида (потому что он мог бы занимать и другие места), но как место, отличное от других мест. ...Таким образом, место, как одно из возможных мест, располагается в «социальном окружающем мире» (soziale Umwelt)» (Филиппов, 2008: 142-143). Как уже отмечалось, важно, что в этом случае осмысленность не означает «знания», но происходит на дорефлексивном уровне «воплощенного» практического чувства (Там же: 144-145)¹³.

Таким образом, отказываясь от фиксации «совместно разделяемых ценностей», мы сместим фокус на мир «соприсутствия», на то, как респонденты предъявляют те или иные пространственные объективации своего опыта. Мы обратим внимание на совокупность значимых для акторов мест, типы мест и способы их соот-

12. Критику см. в: Филиппов, 2008.

13. Для нашего исследования существенно, что «[п]реимущественным... местом объективации «порождающих схем» является обитаемое пространство, начиная с дома, жилища» (Филиппов, 2008: 144-145).

несения, варианты перемещения между ними. Мы предполагаем, что описания реальных или потенциальных перемещений дадут нам возможность увидеть ту систему различий, которую акторы применяют для описания интересующей нас области реальности.

Метод исследования, данные

Для получения ответа при данной постановке вопроса мы проанализировали биографические лейтмотивные интервью, выделив те метафоры, которыми респонденты пользуются для описания своей жизни, пытаясь ухватить происходящее с ними в его целостности.

Начало данному исследованию было положено в 2008 году, когда авторы столкнулись с тем, что респонденты используют пространственные метафоры (в частности, метафоры «путешествия» и «мегаполиса») для описания своей жизни¹⁴. Тогда мы не смогли вынести анализ таких метафор в отдельную тему, имея к тому же только интервью с бездетными и родителями 1-3 детей. Для появления аналитической различительности необходима была существенно большая вариативность признака. К настоящему моменту накоплено минимально достаточное количество интервью, которое позволяет различать между бездетными, малолетними (1-2 ребенка), многодетными (3-4 ребенка) и сверхмногодетными (5-9 детей).

В настоящем виде исследование опирается на глубинные интервью, собранные сотрудниками Научной лаборатории «Социология религии» в 2008-2021 годах при реализации нескольких исследовательских проектов. На основании четырех массивов данных были отобраны 53 интервью с женщинами¹⁵, проживающими в разных городах России¹⁶.

Конструирование подвыборки осуществлялось в несколько шагов с применением подхода теоретической выборки¹⁷. На первом этапе мы рассматривали предположение о том, что люди без детей и люди с тремя и более детьми осмысляют

14. В данном исследовании мы столкнулись с различием между логикой презентации и логикой открытия. Толчком для него стало удивление от того, что люди описывают свою жизнь с детьми и в перспективе деторождения в пространственных категориях. Такова логика открытия. Логика же презентации требует более общепринятого изложения, чтобы материал был понятен читателю и сопоставим с другими исследованиями. Сообщенная напрямую, логика открытия подобную коммуникацию может затруднить. (Garfinkel, Lynch, Livingstone, 1981; Lynch, Livingston, Garfinkel, 1983). Таким образом, с точки зрения логики презентации — это статья о семье и деторождении; с точки зрения логики открытия — это статья по социологии пространства.

15. Фокусировка на женщинах обуславливается тем, что, согласно исследованиям, гендерное распределение ролей в семье является значимым фактором для организации семейной жизни. Соответственно, можно предположить наличие гендерных различий и при анализе пространственных представлений в контексте самореализации.

16. Информанты проживали в следующих городах России: Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Архангельск, Владимир, Гороховец, Мытищи, Королев, Нижний Новгород, Новосибирск, Хабаровск, Якутск.

17. В нашем случае выборка является ретроспективной, так как мы обращались к вторичным данным.

жизнь по-разному. Для этого было проведено сопоставление интервью с женщинами без детей и с многодетными матерями. Его результаты выявили наличие двух логик осмысления своей жизни («путешествие» и «логистика»), а также необходимость дополнительного обращения к интервью матерей одного-двух детей: возможно, различия в представлениях о городском пространстве и жизненном горизонте были обусловлены не только количеством детей, но и возрастом, а также семейным положением. Среди женщин, не имеющих детей, были сопоставлены интервью тех, кто мечтает сменить город проживания, кто уже переехал, и тех, кто не переезжал. В результате был выявлен еще один тип осмысления семейной жизни в городском пространстве («дом»).

Для реализации описанной выше процедуры были использованы массивы данных четырех исследовательских проектов:

1. Массив данных проекта «Семья и рождаемость в России: категории родительского сознания»¹⁸ составляют 80 интервью. Среди информантов были как люди, не имеющие детей, так и родители одного или нескольких детей, взрослые дети из многодетных семей, а также специалисты по сопровождению детства. Для данной статьи из массива были отобраны 13 интервью с женщинами, не имеющими детей.
2. Из массива данных «50 глубинных интервью с родителями в многодетных семьях»¹⁹, состоящего из интервью с многодетными матерями и отцами, сначала было отобрано 36 интервью с многодетными матерями. Далее для анализа из них были выбраны 14 интервью с матерями, проживающими в городах разного размера (от мегаполисов до малых городов).
3. Из массива данных проекта «Как создаются и живут молодые семьи в современной России? Сравнение семей мирян и священников»²⁰, состоящего из интервью с 26 супружескими парами (зарегистрированный брак; интервью с каждым из супругов в семье проведены отдельно; всего 52 интервью), были отобраны 26 интервью с женщинами. Из них в итоговую выборку вошли 16 записей: 1) 10 интервью матерей одного-двух детей (5 из них не меняли место жительства); 2) 3 интервью с женщинами, не имеющими детей и сменившими город проживания; 3) 3 интервью с женщинами без детей и без опыта смены места жительства.

18. Исследование реализовано при поддержке Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в 2008–2009 годах.

19. Массив данных «50 глубинных интервью с родителями в многодетных семьях (2016)» был собран сотрудниками научной лаборатории «Социология религии» в рамках проекта «Рождаемость и социальные сети поддержки: исследование факторов создания многодетной семьи» (при реализации проекта были использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 г. № 79-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом Института социально-экономических и политических исследований — ИСЭПИ).

20. Исследование осуществлено в рамках Программы научных исследований Фонда развития ПСТГУ в 2018–2021 годах.

4. Из 27 интервью с крестными родителями, собранных в рамках проекта «Парадокс связи религии и семьи в современной России» в 2020–2021 годах, было выбрано 10 интервью, из них 6 — с женщинами без детей и 4 — с матерями 1–2 детей.

В совокупном массиве данных присутствуют следующие группы информантов:

- Женщины, не имеющие детей, не состоящие в браке
- Женщины, не имеющие детей, состоящие в браке, без опыта переезда
- Женщины, не имеющие детей, состоящие в браке, с опытом переезда
- Матери одного-двух детей, состоящие в браке, без опыта переезда
- Матери одного-двух детей, состоящие в браке, с опытом переезда
- Многодетные матери, имеющие трех и более детей, состоящие в браке
- Многодетные матери, не состоящие в браке (сожительство)

Длительность интервью в среднем составляла 1,5 часа; гайды включали вопросы о биографии информанта, его семье и круге общения, о повседневной жизни семьи. Таким образом, гайды не были сфокусированы на повседневной мобильности в городе и восприятии городского пространства, однако эти темы актуализировались в связи с представлениями информантов о жизни и их повседневными практиками.

Образ собственной жизни в пространственных метафорах применительно к деторождению

Анализ данных показал, что информантки с разным количеством детей по-разному используют пространство. Этот результат, конечно, вполне ожидаемый. Однако мы сталкиваемся не просто с различиями в степени чего-то однородного (например, кто-то более богатый, кто-то менее, но в любом случае — речь идет о богатстве); респонденты описывают три принципиально разных, не сводимых друг к другу типа использования пространства — три разных «практики». Далее, отталкиваясь от собственного опыта, от упомянутых практик использования пространства, респонденты выстраивают некоторое видение мира, в котором важную роль играют категории, «метафоры», которые на предыдущем шаге как раз и позволили им свои пространственные практики описать. «Практики» и «метафоры» — два разных сюжета и в данной статье; мы акцентируем внимание на практиках.

Первый тип использования пространства — это «путешествие»: человек с оптимизмом видит перед собой неограниченный, открытый горизонт жизненных стратегий и возможностей. Такое видение преимущественно встречается в интервью женщин, не имеющих детей, или матерей одного-двух детей. Вторая логика использования пространства, «логистика», характерна для матерей трех и более детей. Они видят свою жизнь через множество действий, которые необходимы, чтобы совместить и организовать ресурсы всех членов семьи в связи с пространственной близостью или удаленностью разных объектов. Третий тип практик ука-

зывает не на открытость горизонта и не на бесконечное движение; доминирующим символом здесь оказывается «дом», и мы предполагаем, что эта пространственная фигура описывает нормативный образец современной семьи со «средним» (от 1 до 3) количеством детей. Мы считаем, что дискурс «дома» не является промежуточным между первым и вторым типами пространственных логик, но представляет самостоятельную логику возвращения и зацикливания, закрытости, целостности домашнего, семейного мира.

Ниже типы представлены подробнее. Каждый из типов раскрывается с точки зрения того, как респондентки (1) оценивают себя профессионально (поскольку профессия является ярким маркером самореализации), (2) воспринимают собственное место проживания, непосредственное окружение, свое «здесь-и-сейчас», а также (3) как респондентки относятся к более отдаленным местам, к путешествиям, значительным перемещениям в пространстве, выходящим за рамки повседневности.

Путешествие

Профессия (самореализация)

Этот тип объединяет женщин, которые ярко демонстрируют приверженность ценностям самореализации. Естественно, что они придают большое значение образованию и своей профессиональной деятельности. Для них одинаково важно и то, чтобы работа была интересной, позволяла им развернуть свои способности, и то, чтобы она хорошо оплачивалась. Стоит отметить, что респондентки много размышляют о своей профессии, планируют перспективу продвижения по службе, анализируют свою профессиональную ситуацию на настоящий момент. Это фокус, с которым связывается значительная часть их ожиданий от жизни вообще и вокруг которого они отстраивают свою идентичность. То, что остается за рамками профессии, — скорее, отдых или развлечение, чем нечто такое, во что стоит по-настоящему вкладываться.

«...для меня, если сравнивать работу и личную жизнь — работа все равно серьезнее. <...> Потому что работа, карьера, что написано в трудовой книжке и перечисляется на карту — это то, что можно увидеть, потрогать и оценить, это то, что исчисляется в конкретных каких-то единицах. А то, что в личной жизни — нельзя. И если работа может что-то гарантировать, то личная жизнь — сегодня есть, завтра нет, никто ничего не обещает. <...> ...если работа не подразумевает обучение и продвижение вперед — я бы не пошла на такую работу». (ж., 28 лет, Пермь, нет детей)

Место, где я живу («здесь»)

Для респонденток данного типа характерно критическое отношение к пространству, в котором они непосредственно себя обнаруживают. Можно сказать, что они

не относят себя к городу (поселку, стране...), где родились и/или живут. Их интенция вся направлена вовне, и то, что оказывается вокруг них, служит не более чем точкой старта, которая только и нужна, чтобы оттолкнуться и двинуться вперед, уйти, не оборачиваясь. Конечно, во многих случаях речь идет о переезде из меньшего населенного пункта в более крупный, что прямо связано с улучшением материального положения. Тем не менее кажется, что дело не сводится к более высокому заработку. Независимо от финансовых обстоятельств, вариант «остаться» для респонденток заведомо исключен. На самом деле, деньги — только одна из причин неудовлетворенности. Родной город воплощает нежелательный, отвергаемый образ жизни, и переезд (реальный или планируемый) не вызывает ни тени сомнения или сожаления.

«Я не могу себе представить, чтобы... мне сейчас 23, чтобы потом я жила здесь и в 33, и в 43... это не как я здесь живу, а как осталась и в какой-то момент не уехала». (ж., 23 года, Пермь, нет детей)

Предельно ярко дематериализация «здесь» ради «там» воплощается в интервью респондентки, которая дистанцируется не только от населенного пункта, где живет, но от пространственного образа себя самой — своего жилища, и делает это совершенно сознательно. Ее идентичность настолько перенесена в будущее — и, совсем не метафорически, в «другое место» — что даже в гипотетическом, идеальном «здесь» не остается никаких зацепок, связей, следов, которые только отягощают и отвлекают от главного. Дом неотличимо сливается с гостиничным номером.

«Мой идеальный вариант — это когда у двоих прекрасная карьера, именно не работа, а карьера, движение вверх, движение в плане самосовершенствования, постоянное обучение и прогресс в этом отношении. <...> Чтобы карьера была в порядке, чтобы вечером они — не каждый вечер, но периодически приходили домой, встречались. Животного не надо. Вместе проводили отпуск каждый раз в новом месте. Детей не надо». (ж., 28 лет, Пермь, нет детей)

Далекie страны, чужие города («там»)

Описываемый тип мы обозначили словом «путешествие» по причине исключительного значения новых, неизвестных мест в пространственном восприятии респонденток этой группы. Центр тяжести их мироощущения сильно смещен от «здесь» к «там» (и даже «туда»), что проявляется в их отношении к чужим местам и передвижениям — поездкам, переездам. Стремлению к перемещениям у этих респонденток соответствует и «взгляд путешественника», которым они смотрят на себя и окружающий мир. Для этого взгляда характерна восторженность, — но и некоторая отрешенность, тяга к впечатлениям, жажда новизны, наслаждение бесконечной открытостью («то, чего я не знаю»), неисчерпаемым разнообразием явлений.

Одним из ярких образов «другого мира» становится большой город, мегаполис. Мегаполис описывается как пространство изменяющегося горизонта возможностей²¹, причем такая непредсказуемость и изменчивость воспринимается в положительном ключе, в том числе в контексте возможностей для самореализации, получения образования, построения карьеры, обеспечения финансовой стабильности, но и для более интересной, оживленной и быстрой жизни вообще.

«Впечатлил сам город — с нашим не сравнить. Это не Россия. Я не воспринимаю Москву как Россию. Там идешь по улице, и, конечно, есть дома и дворы, где как у всех, как всегда, обычный дом прямоугольником. Но по большей части мимо домов можно просто ходить и смотреть на них — день пройдешь и не заметишь. Каждый дом — как отдельный мир, с историей. Там люди другие совершенно. Какие-то одиночки, у каждого человека какая-то жизнь и история. <...> Мне кажется, там интереснее жить. <...> Я ориентируюсь только по метро, а дальше я люблю заблудиться. <...> У меня есть любимая книга — «Мастер и Маргарита». Это Патриаршие пруды. Попадаешь в Москву, помнишь, что ты читал у Булгакова про тот сквер, и тебе туда надо. Или, скажем, посмотрел вечером новости, а там взрыв на какой-то станции метро и какой-то такой трагизм — он картину дополняет, что ли. Попадаешь в Москву, приходишь туда. И ходишь на экскурсию, на Воробьевы горы, скажем, <...> и все не как здесь».
(ж., 23 года, Пермь, нет детей)

Логистика

Профессия (самореализация)

Женщины, которых мы отнесли ко второму типу, имеют трех и более детей разного возраста. У них хорошее образование, но дети, их воспитание и уход за ними являются для респонденток более (или как минимум не менее) значимой сферой жизни, по сравнению с профессиональными интересами.

«Я знала, что я выхожу замуж, и все. Будут дети — значит будут. Конечно, у меня были планы про работу, но еще про что-то... Но когда у меня родился первый ребенок, я как раз поступила в аспирантуру, пыталась куда-то ездить, но мне было проще, я ездила и сдавала экзамены. Ну как-то уже само собой это было для меня, что я сижу дома, конечно, мне первое время ужасно

21. Мы используем здесь термин «горизонт» для обозначения (постоянно изменяющейся) границы между жизненным миром человека и его возможными расширениями как в пространстве, так и во времени. См. у А. Шюца: «Мой мир (мир, в котором я живу до сих пор и в котором посредством идеализации «и так далее, и тому подобное», столь существенной для моей естественной установки, я предполагаю жить и в дальнейшем) изначально имеет смысл в типичном случае быть способным к расширению; этот мир с необходимостью открыт. Иными словами, моему миру присущ смысл изначально быть лишь сектором более обширного целого, которое я называю универсумом, — последний является открытым «внешним» горизонтом моего жизненного мира» (Шюц, 2004: 343). О понятии горизонта в феноменологической традиции см.: (Kuhn, 1940: 106-124).

хотелось ходить, выходить, на какую-нибудь работу. Потом у меня родилась вторая, потом третья... Хотя я все это время работала, у меня были ученики по математике». (ж., 39 лет, Москва, 9 детей)

Забота о благополучии других членов семьи заняла место карьеры. Тем не менее это не значит, что ценности самореализации не имеют значения для этих женщин. Скорее, следует говорить о том, что в данном случае на смену собственной самореализации приходит самореализация детей (Дорофеева, 2021), не утрачивая ничего от своей напряженной интенсивности. Выражением этого сдвига может служить исключительное значение, которое придается развитию детей, качеству их образования, их (профессиональному) будущему: ради этого родители готовы преодолевать трудности и пойти на значительные расходы и самоограничения.

*«Р.: Все мои пособия и моя зарплата, которую я получаю в детском саду, получается иногда больше, чем получает мой муж, но то, что получает мой муж, у нас уходит на еду, иногда, бывает, не хватает. **То, что получаю я, у нас полностью уходит на преподавателей. Все.***

И.: На каких преподавателей?

*Р.: Для детей. <...> Вот у нас, например, дети ходят в дом культуры <...> Дальше, у меня старший, которому сейчас пятнадцать лет, он учится в школе. Двое учатся в школе, в которой с восьмого класса начинается профиль, и он выбрал биологию. <...> Весь 7-й класс [он] у нас занимался с репетитором, он занимался биологией, английским и еще чем-то, математикой занимался. В итоге при поступлении в школу за биологию он получил двадцать баллов из двадцати, за химию — тоже десять баллов из десяти. <...> **Я считаю, что мы обязаны дать ребенку такой шанс, такой толчок.** <...> Вера²² наша занималась английским, у нас четверо детей занимались с учительницей, **раз в неделю, это катастрофически мало...** <...> В следующем году, я думаю, третья [дочь], там у них идет деление на три группы: сложная, средняя и совсем простая группа. **Конечно, есть амбиции, мне хочется, чтобы она поступила в сложную группу».** (ж., 39 лет, Москва, 9 детей)*

Фактически именно это отношение становится движущей силой, которая определяет существование респонденток, реализованное в образе «логистики».

Место, где я живу

Если для типа «путешествие» характерно смещение центра тяжести от «здесь» к «там», то тип «логистика» полностью погружен в «здесь», и это «здесь» совершенно особого рода. Нет и следа от «взгляда путешественника». Город, где живет семья, сгущается и конкретизируется. Он переносится из будущего в настоящее, обрывает делами сделанными и запланированными, — иными словами, осмыс-

22. Во фрагментах интервью, приведенных в тексте, имена собственные (имена респондентов и членов их семей, названия) были изменены в целях анонимизации.

ляется в категориях конкретных целей и задач, а не эстетических переживаний или возможностей для собственного профессионального роста. «Близко» и «удобно» — главные положительные характеристики таким образом воспринимаемого пространства.

«Дадут квартиру в [название района], я не поеду [туда], простите, там потому что [название района]. Там совершенно другой контингент живет, во-вторых, там далеко от храма, в-третьих, там нет кружков, которых я хочу, в-четвертых, ко мне туда преподаватели не будут приходить, никто не придет. Да? Вот много есть факторов, я живу здесь, и мне тут хорошо».
(ж., 39 лет, Москва, 9 детей)

Пространственный образ места жительства задается четкими ориентирами (магазин, детский сад, школа, бассейн, музыкальная школа и т. п.), между которыми пролегают регулярно и многократно повторяемые маршруты членов семьи. Перемещения функциональны и сфокусированы на целях и задачах, преимущественно связанных с детьми: отвес(з)ти детей в школу и детский сад, забрать их оттуда, погулять с ними²³. Число выходов из дома, поездок на личном и общественном транспорте обычно очень значительно.

«Если день описать в прошлом году, в понедельник я его отвезла в музыкальную школу. Это раз. Вдвоем поехали. Потом я поехала одна, забрала Сашу, поехала в художественную школу — это два, опять вдвоем мы с ней поехали. Потом оттуда я поехала опять в музыкалку, забрала его, отвела его домой, поехала за ней в художку, отвела ее домой, собрала маленькую, поехала в спортивную школу — два часа там с ней отстояла, приехала обратно».
(ж., 37 лет, Владимир, 3 ребенка)

Во многих случаях выполнение всех необходимых перемещений едва ли возможно силами одной матери, и на помощь приходят не только отец и старшие дети, но и более широкий круг родственников, друзей, знакомых, наемных работников. Разросшаяся система, естественно, ставит перед семьей задачу упорядочивания и организации, в связи с чем и возникает ключевое понятие «логистики»:

*«То есть **все логистические процессы** я отлаживаю, то есть **я строю бизнес-процесс**: вот этого вот в такой вот, видишь, расписание. <...> Все знают четко по времени: с 7 до 8 — дорога в школу, с 8.20 до 15.10 — школа, с 15.30 до 16.15 дорога в академию. То есть расписано даже с дорогой. Вот я **расписываю весь процесс бизнес, всем, значит, это, все понимают свою зону ответственности, кто в какой момент какой ногой, значит, это. И все,***

23. Подробнее о сложностях, с которыми сталкиваются родители при перемещениях по городу с ребенком, находящимся в детской коляске, о восприятии родителями городского пространства, например, о критериях безопасной территории для детей см.: (Филипова, 2012; Чернова, Шпаковская, 2017).

и я вижу, что бизнес-процесс работает, и я периодически контролирую какие-то точки. Ну там, спрашиваю: “Леша, ты где? Все нормально? Ты едешь?” Или с водителем там: “Все, да? Там все?”». (ж., 38 лет, Москва, 3 ребенка)

Даже если жизнь семьи организована более хаотично, требования «логистики» все равно дают о себе знать:

«Но вот так у нас проходит вся вторая половина дня. Потому что папа занимается какими-то бытовыми проблемами, а я занимаюсь уроками с этими несчастными, и решением проблем, кто кого куда повезет, и в течение дня мне надо сообразить, кто кого поведет на музыку, потому что у нас не получается вот так запланировать, составить план на неделю, что этот ребенок идет туда-то, его ведет тот-то, у нас каждый день что-то происходит, получается, что фактически мы живем одним днем». (ж., 39 лет, Москва, 9 детей)

Мать становится менеджером по управлению сложным конгломератом из родственников, добровольных и наемных помощников — множества взрослых, которые обслуживают самореализацию детей. Жизнь семьи напоминает решение сложной технической задачи и организована как бизнес-процесс, где исключительно важную роль играет дисциплинированность всех участников.

Собственное жилище в этом пространстве предстает не более чем одной из функциональных точек на карте необходимых перемещений, и «логистика», пусть и в уменьшенном виде, проникает даже внутрь самого дома.

«Знаете, по большому счету, моя задача — чтобы вместе, в одном месте у нас в квартире, в одно и то же время находилось как можно меньше народу. С одной стороны, это смешно, а с другой стороны — это действительная реальность. Наверное, это потому, что у нас просто вот маленькая квартира, действительно. <...> И поэтому когда все приходят из школы — это такая концентрация, что нужно, в общем, минимизировать это все, иначе все взорвется. Поэтому начинаешь придумывать так, чтобы у одного — курсы, у другого — занятия, вот они — этот придет, а этот должен убежать, а этот то-то. <...> Им уроки негде просто делать. А нужно, чтобы в спокойной обстановке, нужно им сесть как бы, прийти в себя. Поэтому, пока Оля еще в институте, быстро садись за ее стол, а уже Оля пришла — так, беги, пересаживайся туда. А теперь этот пришел — так, иди в ванну, и вот 15 минут в ванной делай чтение». (ж., 40 лет, Москва, 7 детей)

Жилье — всего лишь случайно заданная обстоятельствами рамка, в которой разворачивается не слишком связанное с ней (скорее, текущее через нее) существование семьи. С домом у респонденток не связано никаких особенных эмоций, кроме вполне понятных сетований на тесноту, неудобства и беспорядок. Дом недостижимо далек от идеала, но респондентка вынуждена признать собственное

бессилие и отказывается от стремления что-то всерьез изменить; в сущности, она не причисляет эти вопросы к разряду важных.

«В доме должен быть идеальный порядок. Я за собой пыталась замечать, что я перфекционистка. Листочки не должны так лежать, и вот представляете, как мне приходится через себя перешигивать постоянно. Сколько я должна иметь смирения, тем более мой математический склад ума совершенно не позволяет. Мне ужасно плохо и тяжело. При этом как бы меня никто не понимает, потому что, когда я старшим говорю, понимаешь, ты пришел домой, ты снял одежду, ты ее должен повесить на вешалку, но одежда почему-то всегда оказывается на полу. И ладно бы был один ребенок или два, но когда их девять, и еще приходит папа». (ж., 39 лет, Москва, 9 детей)

«Нет машины, нет квартиры, у нас в материальном плане не очень все хорошо, но я говорю, для нас это не главное, мы живем с ободранными обоями, у нас ремонт, который был последний раз в 1986 году <...>, но опять же мы живем с любовью, и слава Богу». (ж., 39 лет, Москва, 9 детей)

Не удивительно, что при таком способе существования становится практически невозможно удерживать ощущение осознанной совместности; семья как целостность как будто расплзается, распыляется. Это распыление даже приветствуется, потому что позволяет членам семьи отдохнуть и восстановиться.

«...ну жалко, конечно, хочется, чтобы дом был таким домом настоящим, а немножко не получается. Получается такая казарма. Кому-то хочется попрыгать, кому-то хочется попеть, а эти делают уроки, только ходишь на них шипишь: «Тихо, не мешайте, эти спят». Приходится. <...> так, чтобы всем вместе семьей организовать и поехать — это тяжело. <...> Если родители возьмут детей, куда-то с ним там съезжают, я говорю, они действительно много ездят, они фактически, ну стараются, ну не каждые, но через выходные обязательно какие-нибудь музеи, какие-нибудь выставки, это интересно, и потом все музейные работники, в театр какой-то. А папа в это время — чтобы он выспался, пришел в себя, отдохнул». (ж., 40 лет, Москва, 7 детей)

Задача поддержания на ходу всех многочисленных процессов сама по себе настолько затратна, что не оставляет времени и сил на общение или семейные ритуалы. Если они и существуют, то, скорее, между родителями, чем у семьи в целом.

«Мы вдвоем никуда практически не ходим, потому что нас некому отпустить. <...> Как находим время? Не знаю, может быть, когда дети уже легли, это бывает часов в десять, в двенадцать даже ночи. Сядем на кухне чуть-чуть и поговорим. Бывает, что я ему звоню... <...> Бывает... вот сейчас старшему уже пятнадцать, мы иногда на него оставляем детей, пока нам съездить куда-то в магазин, и пока едем, мы можем тоже что-то обсудить. Как-то так. То есть нет такого, чтобы мы специально, при свечах, может быть, к сожалению. Может быть, мне этого и хотелось, завести такую традицию, что мы вместе садимся, дети уже спят, но никогда такого

не бывает, чтобы все спали, и обязательно кто-то бегают, что-то случается». (ж., 39 лет, Москва, 9 детей)

Далекие страны, чужие города

Кажется вполне естественным, что в семье с большим количеством детей дальние поездки и в денежном, и в организационном плане настолько трудноосуществимы, что практически исчезают. В каком-то смысле это действительно так. В нарративах респонденток редко упоминается мир за пределами ближайшего к ним фрагмента, очерченного их частыми и короткими передвижениями. Во всяком случае, с отдаленными местами не связано никаких особенных ожиданий и надежд: *«Не можем мы себе позволить поездки за границу, но, может быть, нам это не нужно»*, — говорит одна из респонденток (ж., 39 лет, Москва, 9 детей).

Однако это только одна сторона дела. В полном соответствии с тем, что фокус самореализации респонденток этого типа смещается с них самих на их детей, исключительная значимость путешествий, на самом деле, не исчезает вовсе, но перекочевывает в область, связанную с развитием детей и открытостью их будущего, которое необходимо обеспечить.

«...мы детям сказали раз и навсегда, говорим: «Ребята, образование и путешествия — это два момента, которые всегда будут, которые мы всегда будем поощрять». Как только вы захотите учиться чему-то, ну понятно, что по финансовым возможностям, но на это всегда там дается. В школе какие-то поездки — ребята, поедете. Потому что вырастете — вы не поедете сами. Сейчас, со школой, они уже там столько объездили всего — это ваше будущее, вы смотрите, вы учитесь. «Мама, а у нас нет штанов». Говорю: «А вот без штанов походишь». «Мама, а ботинки?» Я говорю: «Вот ботинки старые, но вот образование и путешествия — для нас это два вот таких момента, которые всегда будут, ну по возможности, всегда будут оплачиваться». Вот». (ж., 40 лет, Москва, 7 детей)

Дом

Профессия (самореализация)

В третью группу попали замужние женщины с небольшим числом детей (один-два) или (пока что²⁴) бездетные. Для респонденток этого типа ценности самореализации весьма значимы. Они осознают важность хорошего образования, готовы много работать и знают цену себе как работнику.

«...первично, конечно, то, что мне хочется работать, ну мне хочется как-то реализовываться, кроме семьи, потому что для меня домохозяйка —

24. Например, одна из респонденток эксплицитно выражает намерение иметь детей, и их отсутствие на настоящий момент объясняется медицинскими обстоятельствами.

не идеальная роль вообще жизненная, которая может быть, кому-то нравится, кому-то комфортно, мне — нет, и мне нравится заниматься делом каким-то, ну и плюс, как бы я не исключаю, что я бы хотела какой-то карьерной реализации, я никогда, наверное, не хотела быть каким-то большим начальником, не стремилась к этому, но я уходила с должности ведущего специалиста, да, я понимаю, что я там условно могла бы достичь большего, если я буду работать, и, ну, каких-то карьерных притязаний, конечно, не исключаю, но без сверхцелей там и прочего. Ну кто откажется от хорошей зарплаты, да, если у меня будет возможность найти высокооплачиваемую работу, либо расти на какой-то своей работе, там, в должности и в деньгах, всегда круто, как бы okay, здорово, много денег не бывает». (ж., 29 лет, Москва, 2 ребенка)

Тем не менее, пожалуй, нельзя сказать, что все остальное отстывает в их жизни на второй план. Скорее, профессиональный успех здесь, при всей его важности, не более чем одна из составляющих хорошей жизни вообще: ни работа, ни другие стороны жизни (например, уход за ребенком) не должны претендовать на исключительность, захватывать все их время полностью.

Место, где я живу

Ключевой пространственной категорией для третьего типа является «дом». Как и в типе «логистика», жизнь и мысли респонденток прежде всего связаны с их ближайшим окружающим миром. Но сходство со вторым типом оказывается только формальным. Во-первых, их горизонт не так жестко определяется тесным кругом, очерченным рутинными передвижениями. Во-вторых, что более существенно, речь в данном случае идет уже не просто о случайной фактичности «какого-то» жилья, но об осознанном, прочувствованном и продуманном отстраивании своего бытия «здесь». «Дом» становится пространственным выражением некоторой искомой целостности, символом благополучного сосуществования, которое требует усилий по его созданию и поддержанию. Дом нужен не для того, чтобы «переночевать» («путешествие»), и не для того, чтобы «выживать» («логистика»); дом нужен, чтобы «жить (хорошо)».

В интервью из этой группы описывается способность получать удовольствие от пребывания «здесь», а пространство дома — как комфортное, подходящее для жизни, а нахождение в нем приносит удовольствие.

«...мы с Тимой люди такие размеренные, мы любим дома быть, не спешим выезжать, трижды подумаем, прежде чем куда-то поехать или даже пойти. С удовольствием находимся дома. Занимаемся ничем, так скажем. Я в основном что-то по хозяйству делаю, для меня это тоже отдых, готовка, например, я люблю готовить. Я прошу Тиму посидеть с Зоей, или, если она спит, просто сама поготовлю. Он в это время может, он много читает по работе и слушает, там подготовка к каждому клиенту занимает полтора часа, после еще час на обработку данных, какие-то статьи, еще что-то. В основном

это. Но можем и поваляться, что-то посмотреть, почитать, поговорить, особенно за чашкой чая». (ж., 28 лет, Москва, 1 ребенок)

Не удивительно, что обустройство своего «гнезда» занимает важное место в мыслях респонденток и отнимает значительную часть их времени.

«Ну у нас, как Федор родился, месяц до этого мне уже снятся диваны, люстры, кровати. После отбоя детей сижу: так, эта люстра плохая, эта люстра хорошая, сюда нужно такое бра, сюда нужен такой ковер, я уже просто...» (ж., 29 лет, Москва, 2 ребенка)

Ремонт не просто скучная неприятность. Дом — необходимое условие возможности прекрасного совместного будущего. Для респонденток очевидно, что он, например, должен бы предшествовать рождению детей:

«У меня был дикий нервняк, когда мы не успевали к рождению Федора [закончить ремонт новой квартиры], и типа как так, как мы, где мы вообще будем жить, а потом, когда уже родился, и мы тут уже какое-то время прожили и поняли, что существовать можно, я уже такая думаю: “Господи, лишь бы он [ремонт] когда-нибудь закончился уже”». (ж., 29 лет, Москва, 2 ребенка)

Дом позволяет осмыслить жизнь с мужем и детьми под одной крышей как общность, обладающую собственной ценностью. Свидетельством этому является культивация различных семейных ритуалов.

*«Выходные мы стараемся вместе проводить, и куда-нибудь. Ну как, сейчас [в период ограничений в связи с пандемией коронавируса] — возможности нет, а так мы старались **всегда хотя бы раз в неделю куда-то выбираться**, там в центр погулять, на выставку сходить, в музей — не в музей, там куда-нибудь в парк, там еще что-то». (ж., 29 лет, Москва, 2 ребенка)*

Далекие страны, чужие города

Для респонденток этого типа характерно выраженное чувство привязанности к дому и «своему месту» в более широком смысле (району, городу, стране...), в том числе несмотря на реальные возможности изменить свое место жительства.

И.: были мысли куда-то переехать, или...?

Р.: Нет. Но была однажды поездка в Италию на стажировку. После этого решила, что переезжать не буду.

И.: Почему?

Р.: Везде хорошо, но дома лучше». (ж., 28 лет, Москва, 1 ребенок)

При этом поездки, знакомство с другими городами и странами рассматриваются как ценный опыт. Это роднит представительниц этой группы с типом «путеше-

стве»: очень важно бывать в других местах, это развивает, расширяет кругозор. Примечательно, что в цитате, приведенной ниже, респондентка упоминает путешествия на первом месте в ряду крупных, «глобальных» дел, которые отличают человека, не остановившегося в своем развитии (не «деградирующего»). При этом заметим, что дети тоже попадают в этот список.

«И.: Просто ты говоришь общине [с мужем] цели, в чем они?

Р.: Делать что-то крутое, масштабное. Не деградировать, много путешествовать, дети. Квартиры покупать. Так, в целом. Какие еще бывают общине цели? Мир спасти, но это я в первом пункте сказала про масштабное, что-то менять, делать лучше». (ж., 27 лет, Москва, нет детей)

Однако этим общим положительным отношением к путешествиям и исчерпывается сходство с «логистикой». Отмеченные выше аспекты, отличающие тип «дом», проявляют себя и тогда, когда речь заходит о туристических поездках. Прежде всего радостью, которую респондентки испытывают, не только уезжая, но и возвращаясь домой.

«У меня до сих пор сохранилось чувство «перезагрузки», когда ты куда-то уезжаешь хоть и на два дня, даже когда в Питер на пару дней ездили. Остается какой-то классный осадок, когда уезжаешь куда-то и возвращаешься». (ж., 27 лет, Москва, 1 ребенок)

Помимо этого, сами поездки, кажется, у респонденток этого типа работают на культивацию все того же «дома». Они служат поддержанию и упрочению пары или семьи как целостности и оставляют после себя не столько впечатления от нового места, сколько эмоционально насыщенный опыт совместности.

«Прям самый такой хороший, мне кажется, период был, когда, ну уже много времени прошло, ну прямо мне просто запомнился какой-то период, когда у нас Васе было, наверное, месяцев восемь, и мы вместе поехали в наш такой совместный тройной отпуск. Мы поехали в Тбилиси, вот, это был такой классный период, потому что мы много гуляли. Здесь был такой февраль-март, [когда] мы уезжали из Москвы, здесь было так серо, уныло, а мы туда приехали — там цветущие сады, мы неделю были втроем, там ходили вкусно ели, пили вино, смотрели на красивые места и было прямо вообще очень классно». (ж., 29 лет, Москва, 2 ребенка)

Заключение. Дискуссия

На основе приведенных материалов можно увидеть, что ценности самореализации значимым образом присутствуют в жизни респондентов, инкорпорированы в их практики и жизненные проекты. То, как респонденты описывают свои способы использования пространства, дает нам возможность поставить под вопрос

однозначность связи, во-первых, ценностей самореализации с отказом от брака и детей, а во-вторых — семьи с деторождением. Именно фокусировка на принципиальном различии логик использования пространства, бытования в пространстве позволяет проявиться собственной логике бытования семьи с одним-двумя детьми. Из нарративов респондентов мы взяли три ключевые метафоры: «путешествие», «логистика» и «дом». Все они описывают места, способы их соотнесения, варианты перемещения между ними или области потенциально возможных перемещений: в некоторых случаях главными оказываются передвижения, в других — место и его устройство, организация.

Нужно отметить, что описание типичных мест и области потенциальных перемещений содержит в себе и отношение к ценностям: одновременно с появлением пространственных категорий производятся и отсылки к ценностям самореализации. Речь не всегда идет о безусловной «корреляции» ценности и пространственной логики; о такой «корреляции» физического и социального пространства²⁵, пожалуй, можно говорить только в случае «путешествия»²⁶. В двух других случаях ситуация выглядит сложнее. В типе «дом» мы видим столкновение ценности самореализации и такой логики использования пространства, которая требует не движения, но остановки, не перемены мест, но обустройства существующего (места, пространства). В случае «логистики» ситуация еще сложнее. Здесь пространственная логика как будто вдохновляется ценностью самореализации; отчасти же противостоит ей. Индивид, разделяющий данную ценность, не самореализуется, и все должностное значение ценности переносится на детей: характерно, например, что «образование и путешествия» остаются неискоренимым элементом — пусть не для себя, но для детей. В результате пространственные практики обеспечения этой самореализации в значительной части меняются.

Анализ нарративов респондентов о своей жизни, выполненных в пространственных категориях, дает нам возможность иначе взглянуть на обозначенные в начале статьи демографические проблемы и противоречия. Так, ценность самореализации обнаруживается не только у малодетных и бездетных, но и у ряда многодетных (и даже сверхмногодетных!). С появлением детей ценности самореализации сохраняют свое значение, но имеющееся количество детей вынуждает менять практики, связываются, скорее, с будущим детей, чем с собственной жизнью. Таким образом, проделанный анализ интервью позволяет показать, что отношение между количеством детей и ценностью самореализации оказывается более сложным, чем предполагает исходная модель, описанная во введении.

25. В той мере, в какой вообще возможно говорить о ценностях как части социального пространства.

26. В данной статье мы не раскрываем дихотомию путешествия/движения по карьерной лестнице (движения вперед и вверх), хотя это можно было бы сделать. Можно предположить, что она соответствует двум совершенно разным типам индивидуализма — утилитарного и экспрессивного. Возможно, и понимание самореализации также может быть соотнесено как с одним, так и с другим типом индивидуализма.

Еще более любопытным является противопоставление пространственной логики (логики использования пространства) малодетных двум другим логикам (бездетным и многодетным). Прежде всего отметим, что нам удалось продемонстрировать сам факт наличия самостоятельной логики, в которой живут малодетные семьи, и тем самым дополнить и усложнить исходную модель «ценности-брак-деторождение». Логика «дома» — это логика обустройства и остановки, логика культивации целостности семьи; она противостоит логикам движения («путешествие» и «логистика»). Это заставляет далее задуматься над тем, не опрометчиво ли отождествлять «семью» и «деторождение». Кажется, что семья как «дом»²⁷ требует остановки и освоения наличного пространства (жизненного мира) и в этом смысле как будто работает против увеличения числа детей. Многодетность, пожалуй, не исключена в принципе, но соотносена с имеющимися ресурсами, которые бы позволили удерживать целостность семьи и обустроенность «своего мира», несмотря на большее число детей. Не исключено, что существует оптимальное значение для размера дома и семьи, выше которых удерживать целостность становится едва ли возможно.

На примере выделенных типов проявляется неоднозначность соотношения самореализации и индивидуализма. Ценности самореализации значимы для всех трех типов, но индивидуалистические установки и поведение ярко выражены только в одном из них («путешествие»). В то же время в типе «дом» индивид соотносит свою самореализацию с благополучием всех остальных членов своей семьи, а в случае «логистики» и вовсе создается сложный конструкт из людей, мест и отношений, призванный обеспечить условия для самореализации младшего поколения.

Что касается социально-практической перспективы, то проведенный анализ позволяет выдвинуть предположение о том, что максимизация деторождения и устройство семьи являются взаимосвязанными, но не всегда однопавленными процессами. Между тем сегодня как в бытовом восприятии, так и на уровне церковной проповеди или принятия государственных решений поддержка деторождения и поддержка семей отождествляются. При этом (только?) семья, вероятно, является средой, где формируется способность, предрасположенность к особому рода солидарности, очень важной для общества — солидарности, которая проявляется в большей снисходительности и выносливости к незначительным изъянам и неприятным особенностям людей, с которыми человеку приходится иметь дело в жизни. Предложенная гипотеза требует более детального рассмотрения и проверки, но уже сейчас можно сказать, что она согласуется по крайней мере с некоторыми эмпирическими результатами других авторов — исследователей и практиков (Борисова, Павлюткин, 2019; Бородин, 2018).

27. Возможно, логика «дома» соотносится с логикой «oikos» — замкнутой в себе системы обеспечения жизни, и продолжает навязывать действующим некое подобное требование.

Таким образом, эмпирический результат (или, скорее, обоснованное предположение) настоящего исследования состоит в том, что малодетный «дом» нельзя интерпретировать как урезанную версию многодетной «логистики» (и наоборот), в то время как сверхмногодетные и бездетные оказались в чем-то гораздо ближе друг к другу, чем к малодетным. Этот результат мог быть получен благодаря тому, что в фокусе исследования оказались способы использования пространства индивидами и их описания пространственных практик. В интервью респондентов мы сталкивались (1) с описаниями реальных практик использования пространства и (2) с пространственными метафорами, использовавшимися респондентами для осмысления не только передвижения, но всей своей жизни. Так, идея «логистики» первоначально появилась в интервью исключительно для описания способа жизни матери многодетной семьи, но далее в ходе этого интервью она использовалась уже для самоидентификации женщины (она — человек, отвечающий за логистику, специалист по семейной логистике и т. д.). И этот переход описания реальных практик в метафоры и возникновение и использование пространственных метафор для самоосмысления является отдельной важной и интересной темой, которую в данной статье мы не раскрываем²⁸.

Литература

- Архангельский В. Н. (2006). Факторы рождаемости. М.: ТЕИС.
- Вишневский А. Г. (2019). Демографическая история и демографическая теория. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ.
- Борисова О. Н., Павлюткин И. В. (2019). Вариативность моделей современной городской многодетности: возрождение традиции, новые браки или сетевые эффекты? // Мир России. Социология. Этнология. Т. 28. № 4. С. 128–151.
- Бородин Ф. (2018). Дети священника растут без отца, а жена отвернулась к стенке и ревет. <https://www.pravmir.ru/deti-svyashhennika-rastut-bez-otsta-a-zhena-otvernulas-k-stenke-i-revet/>
- Бурдые П. (2001). Практический смысл / Пер. с фр. А. Т. Бикбов, К. Д. Вознесенская, С. Н. Зенкин, Н. А. Шматко; отв. ред. пер. и послесл. Н. А. Шматко. СПб.: Алетейя.
- Голева М. А., Павлюткин И. В. (2016). Социальные сети и рождаемость // Экономическая социология. Т. 17. № 1. С. 83–98.
- Горелкина О. Г. (2007). Микроанализ рождаемости в России: роль неэкономических факторов // Прикладная эконометрика. Т. 5. № 1. С. 58–73.
- Демографическая модернизация России, 1900–2000 (2006) / Под ред. А. Г. Вишневского. М.: Новое издательство.

28. Подробнее о пространственных метафорах см. напр.: (Филиппов, 2008; Silber, 1995; Yu, 2016).

- Дорофеева З. Е.* (2021). Особенности интенсивного родительства в высокоресурсных многодетных семьях // ИНТЕРАкция. ИНТЕРвью. ИНТЕРпретация. Т. 13. № 1. С. 89–105.
- Захаров С. В., Чурилова Е. В., Агаджанян В. С.* (2016). Рождаемость в повторных союзах в России: позволяет ли вступление в новый супружеский союз достичь идеала двухдетной семьи? // Демографическое обозрение. Т. 3. № 1. С. 35–51.
- Лебедева Л. Г.* (2019). Трансформация семьи и преемственность поколений // Социодинамика. № 9. С. 1–8.
- Ливи Баччи М.* (2010). Демографическая история Европы / Пер. с итал. А. Ю. Миролюбовой. СПб.: Александрия.
- Малева Т. М., Синявская О. В.* (2006). Социально-экономические факторы рождаемости в России: эмпирические измерения и вызовы социальной политике // SPERO. № 5. С. 70–98.
- Малева Т. М., Тындик А. О.* (2013). Потенциал роста рождаемости в России: уроки мегаполиса // Журнал Новой экономической ассоциации. Т. 17. № 1. С. 137–158.
- Павлюткин И. В., Голева М. А.* (2020). Как создаются семьи с большим числом детей: типы жизненных переходов родителей // Социологические исследования. № 7. С. 106–117.
- Рощина Я. М., Бойков А. В.* (2005). Факторы фертильности в современной России. М.: EERC.
- Синявская О. В., Тындик А. О.* (2009). Рождаемость в современной России: от планов к действиям? // Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе / Т. М. Малева, О. В. Синявская, С. В. Захаров (ред.). Вып. 2. М.: Независимый институт социальной политики. С. 9–44.
- Тындик А. О.* (2012). Репродуктивные установки и их реализация в современной России // Журнал исследований социальной политики. № 3. С. 361–376.
- Филипова А. Г.* (2012). Социальное пространство детства: принципы маркирования территорий // Журнал исследований социальной политики. № 1. С. 79–94.
- Филиппов А. Ф.* (2008). Социология пространства. СПб.: Владимир Даль.
- Шелехов И. Л., Берестнева О. Г., Жаркова О. С.* (2010). Анализ факторов, определяющих демографическую ситуацию в современной России // Вестник Томского государственного педагогического университета. № 5. С. 135–141.
- Шпаковская Л. Л., Чернова Ж. В.* (2017). Город, дружественный семье: новое публичное пространство для детей и их родителей // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. № 2. С. 160–177.
- Шюц А.* (2004). Размышления о проблеме релевантности // Шюц А. Мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН. С. 235–400.
- Garfinkel H., Lynch M., Livingston E.* (1981). The Work of a Discovering Science Construed with Materials from the Optically Discovered Pulsar // Philosophy of the Social Sciences. Vol. 11. № 2. P. 131–158.

- Hoffmann-Nowotny H.-J.* (1987). The Future of the Family // European Population Conference 1987. Vol. 1. Helsinki: Central Statistical Office of Finland. P. 113–198.
- Inglehart R.* (1971). The silent revolution in Europe: Intergenerational change in post-industrial societies // American political science review. Vol. 65. № 4. P. 991–1017.
- Inglehart R.* (2018). Culture shift in advanced industrial society. Princeton University Press.
- Kaa van de D.* (1987). Europe's Second Demographic Transition // Population bulletin. Vol. 42. № 1. P. 1–59.
- Kaa van de D.* (1996). Anchored Narratives: The Story and Findings of Half a Century of Research into the Determinants of Fertility // Population Studies. Vol. 50. № 3. P. 423–426.
- Kaa van de D.* (2002). The Idea of a Second Demographic Transition in Industrialized Countries // Japanese Journal of Population. № 1.
- Kuhn H.* (1940). The Phenomenological Concept of Horizon // Philosophical Essays in Memory of Edmund Husserl / ed. by M. Faber. Cambridge. P. 106–124.
- Lestaege R.* (1983). A Century of Demographic and Cultural Change in Western Europe: an Exploration of Underlying Dimensions // Population and Development Review. Vol. 9. № 3. P. 411–435.
- Lynch M., Livingston E., Garfinkel H.* (1983). Temporal Order in Laboratory Work // Science Observed: Perspectives on the Social Study of Science / K. Knorr-Cetina, M. Mulkay (eds.). London: SAGE. P. 205–238.
- Silber I. F.* (1995). Space, fields, boundaries: The rise of spatial metaphors in contemporary sociological theory // Social research. Vol. 62. № 2. P. 323–355.
- Testa M. R.* (2012). Family Sizes in Europe: Evidence from the 2011 Eurobarometer Survey // European Demographic Research Papers. № 2.
- Yu N.* (2016). Spatial metaphors for morality: A perspective from Chinese. Metaphor and Symbol. Vol. 31. № 2. P. 108–125.

Self-realization and Children: Logics of Space Usage in the Narratives of Russian Women

Ivan Zabaev

Candidate of Sociological Sciences, head of the "Sociology of Religion" Research Laboratory; St. Tikhon's Orthodox University. Address: 23B, Novokuznetskaya str., Moscow, 115184, Russian Federation. E-mail: zabaev-iv@yandex.ru.

Elizaveta Kostrova

Candidate of Philosophical Sciences, research fellow at the "Sociology of Religion" Research Laboratory; St. Tikhon's Orthodox University. Address: 23B, Novokuznetskaya str., Moscow, 115184, Russian Federation. E-mail: elizakos@mail.ru.

Mariia Goleva

MA in Sociology, junior research fellow at the "Sociology of Religion" Research Laboratory; St. Tikhon's Orthodox University. Address: 23B, Novokuznetskaya str., Moscow, 115184, Russian Federation. E-mail: m.goleva@mail.ru.

Demographic issues inspire the steady interest of researchers. Therefore, a thesis about the interconnection of fertility decline with the spread of values of self-realization and individualization is still important. In this article, the mentioned interrelation is considered in the context of pragmatic and spatial turn in the social sciences. Analyzing interviews on family topics with Russian women (53 in-depth interviews conducted in 2008-2021), we found that categories of childbirth and self-realization are also interconnected with a spatial narrative. Three logics of space usage have been identified; these are "journey", where a person sees an almost unlimited horizon of life strategies and abilities; then, "logistics" represents practices of organization of all family members due to the spatial distances between schools and other spaces for extracurricular activities, that is, places that ensure the self-realization of children. Finally, the metaphor "home" symbolizes the logic of the constant efforts of maintaining the integrity and unity of the domestic (or family) world as well as the balance between departures and arrivals. The values of self-realization are significant for all three types, but individualistic attitudes and behavior are clearly expressed only in "journey". The metaphor "home" means that an individual corresponds his self-realization with the well-being of other family members. In case of "logistics", a large construct of people, places, and relationships is created to provide the conditions for self-realization. All in all, this study suggests that the relationship between values and behavior of individuals (in particular, behavior related with childbirth) is more complicated than it often seems. The article suggests that various logics of using space allow us to see discrepancies between such seemingly tightly-connected things as building a family and having children (maximizing the number of children).

Keywords: logics of space usage, values of self-realization, childbirth, fertility, pragmatic and spatial turn, religion

References

- Arhangel'skij V. N. (2006) *Faktory rozhdaemosti* [Fertility factors], Moscow: TEIS.
- Bourdieu P. (2001) *Prakticheskij smysl* [Practical meaning] (translated from French: A. T. Bikbov, K. D. Voznesenskaya, S. N. Zenkin, N. A. Shmatko; Ed. trans. and Afterword by N. A. Shmatko), Saint-Petersburg: Aleteya.
- Demograficheskaja modernizacija Rossii 1900-2000* [Demographic modernization of Russia, 1900-2000] (2006) (Ed. A. G. Vishnevsky), Moscow: New Publishing House.
- Dorofeeva Z. E. (2021) Osobennosti intensivnogo roditel'stva v vysokoresursnyh mnogodetnyh sem'jah [Intensive Parenting in High-Resource Multi-Child Families]. *Interakcion. Interview. Interpretation*, vol. 13, no 1, pp. 89-105.
- Filipova A. G. (2012) Sotsial'noye prostranstvo detstva: printsipy markirovaniya territorij [Social space of childhood: principles of territory marking]. *Zhurnal issledovanij social'noj politiki* [The Journal of Social Policy Studies], vol. 10, no 1, pp. 79-94.
- Filippov A. F. (2008) *Sociologija prostranstva* [Sociology of Space], Saint-Petersburg: Vladimir Dahl.
- Garfinkel H., Lynch M., Livingston E. (1981) The Work of a Discovering Science Construed with Materials from the Optically Discovered Pulsar. *Philosophy of the Social Sciences*, vol. 11, no 2, pp. 131-158.
- Goleva M., Pavlyutkin I. (2016) Sotsial'nye seti i rozhdaemost' [Social Networks and Fertility]. *Ekonomicheskaya sotsiologiya* [Journal of Economic Sociology], vol. 17, no 1, pp. 83-98.
- Gorelkina O. G. (2007) Mikroanaliz rozhdaemosti v Rossii: rol' neekonomicheskikh faktorov [Microanalysis of fertility in Russia: the role of non-economic factors]. *Prikladnaja jekonometrika* [Applied Econometrics], vol. 5, no 1, pp. 58-73.
- Hoffmann-Nowotny H.-J. (1987) The Future of the Family. *European Population Conference 1987*, vol. 1, Helsinki: Central Statistical Office of Finland, pp. 113-198.
- Inglehart R. (1971) The silent revolution in Europe: Intergenerational change in post-industrial societies. *American political science review*, vol. 65, no 4, pp. 991-1017.
- Inglehart R. (2018) *Culture shift in advanced industrial society*, Princeton University Press.

- Kaa van de D. (1987) Europe's Second Demographic Transition. *Population bulletin*, vol. 42, no 1, pp. 1–59.
- Kaa van de D. (1996) Anchored Narratives: The Story and Findings of Half a Century of Research into the Determinants of Fertility. *Population Studies*, vol. 50, no 3, pp. 423–426.
- Kaa van de D. (2002). The Idea of a Second Demographic Transition in Industrialized Countries. *Japanese Journal of Population*, no 1.
- Kuhn H. (1940) The Phenomenological Concept of Horizon. *Philosophical Essays in Memory of Edmund Husserl* (ed. M. Faber), Cambridge, pp. 106–124.
- Lebedeva L. G. (2019) Transformacija sem'i i preemstvennost' pokolenij [Transformation of the Family and Succession of Generations]. *Sociodinamika*, no 9, pp. 1-8.
- Lestaeghe R. (1983) A Century of Demographic and Cultural Change in Western Europe: an Exploration of Underlying Dimensions. *Population and Development Review*, vol. 9, no 3, pp. 411–435.
- Livi Bacci M. (2010) *Demograficheskaia istorija Evropy* [Demographic History of Europe] (translated from Italian by A. Yu. Mirolyubova), Saint-Petersburg: Alexandria.
- Lynch M., Livingston E., Garfinkel H. (1983) Temporal Order in Laboratory Work. *Science Observed: Perspectives on the Social Study of Science* (eds. K. Knorr-Cetina, M. Mulkay), London: SAGE, pp. 205–238.
- Maleva T. M., Sinjavskaja O. V. (2006) Social'no-jekonomicheskie faktory rozhdaemosti v Rossii: jempiricheskie izmerenija i vyzovy social'noj politike [Socio-economic Factors of Fertility in Russia: Empirical Measurements and Challenges to Social Policy]. *SPERO*, no 5, pp. 70–98.
- Maleva T. M., Tyndik A. O. (2013) Potencial rosta rozhdaemosti v Rossii: uroki megapolisa [The Potential of Fertility Growth in Russia: Lessons of Megapolis]. *Zhurnal Novoj jekonomicheskoj asociacii* [Journal of the New Economic Association], vol. 17, no 1, pp. 137–158.
- Pavlyutkin I., Goleva M. (2020) Kak sozdajutsja sem'i s bol'shim chislom detej: tipy zhiznennyh perehodov roditelej [How do Families with Many Children Emerge? Typology of Parents' Transitions]. *Sotsiologicheskie issledovaniya* [Sociological Studies], no 7, pp. 106-117.
- Roshchina Ya. M., Boykov A. V. (2005) *Faktory fertilnosti v sovremennoj Rossii* [Fertility Factors in Modern Russia], Moscow: EERC.
- Schutz A. (2004) Razmyshlenija o probleme relevantnosti [Reflections on the Problem of Relevance]. *The world glowing with meaning*, Moscow: ROSSPEN, pp. 235–400.
- Shelehov I. L., Berestneva O. G., Zharkova O. S. (2010) Analiz faktorov, opredelajushhij demograficheskuju situaciju v sovremennoj Rossii [Analysis of Factors Determining the Demographic Situation in Modern Russia]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo universiteta* [Bulletin of Tomsk State Pedagogical University], no 5, pp. 135–141.
- Shpakovskaya L. L., Chernova Zh. V. (2017) Gorod, družhestvennyy sem'ye: novoye publichnoye prostranstvo dlya detej i ikh roditelej [Family-friendly city: new public space for children and their parents]. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: Ekonomicheskiye i sotsial'nyye peremeny* [Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes], no 2, pp. 160–177.
- Silber I. F. (1995) Space, fields, boundaries: The rise of spatial metaphors in contemporary sociological theory. *Social research*, vol. 62, no 2, pp. 323–355.
- Sinjavskaja O. V., Tyndik A. O. (2009) Rozhdaemost' v sovremennoj Rossii: ot planov k dejstvijam? [Birth Rate in Modern Russia: from Plans to Actions?]. *Roditeli i deti, mužchiny i zhenshhiny v sem'e i obshhestve. Vypusk 2* [Parents and Children, Men and Women in the Family and Society. Issue 2.] (eds. T. M. Maleva, O. V. Sinyavskaya, S. V. Zakharov), Moscow: Nezavisimyj institut social'noj politiki [Independent Institute of Social Policy], pp. 9–44.
- Testa M. R. (2012) Family Sizes in Europe: Evidence from the 2011 Eurobarometer Survey. *European Demographic Research Papers*, no 2.
- Tyndik A. O. (2012) Reproktivnyye ustanovki i ih realizacija v sovremennoj Rossii [Reproductive Attitudes and Their Implementation in Modern Russia]. *Zhurnal issledovanij social'noj politiki* [The Journal of Social Policy Studies], no 3, pp. 361–376.
- Vishnevskij A. G. (2019) *Demograficheskaia istorija i demograficheskaia teorija* [Demographic History and Demographic Theory], Moscow: HSE Publishing House.

- Yu N. (2016) Spatial metaphors for morality: A perspective from Chinese. *Metaphor and Symbol*, vol. 31, no 2, pp. 108–125.
- Zaharov S.V., Churilova E.V., Agadzhanjan V. S. (2016) Rozhdaemost' v povtornyh sojuzah v Rossii: pozvoljaet li vstuplenie v novyj supruzheskij sojuz dostich' ideala dvuhdetnoj sem'i? [Birth rate in Remarriages in Russia: Does Entering in a New Marital Union Allow You to Achieve the Ideal of a Two-Child Family?]. *Demograficheskoe obozrenie* [Demographic Review], vol. 3, no 1, pp. 35–51.

Памятник vs ветхость: как городские сообщества используют маркеры прошлого в борьбе за «право на город» в Иркутске¹

Дмитрий Тимошкин

Кандидат социологических наук, научный сотрудник

Лаборатория исторической и политической демографии Иркутского государственного университета;
доцент кафедры культурологии и искусствоведения

Гуманитарный институт Сибирского федерального университета.

Адрес: проспект Свободный, 82 а, Красноярск, Российская Федерация, 660041

E-mail: Dmtrtim@gmail.com

В статье рассматриваются конфликты за право присваивать и редактировать сформировавшиеся в XIX–XX веках районы малоэтажной жилой застройки в Иркутске. Цель исследования заключалась в том, чтобы установить, какую роль в этих конфликтах играют представления участников о прошлом оспариваемых пространств, а также — причины и последствия формализации данных представлений. Работа построена на 20 полужурналистских интервью, проведенных в период с 2017 по 2021 год с участниками и наблюдателями таких конфликтов — архитекторами, общественниками, местными жителями, чиновниками и предпринимателями. Методом исследования стал анализ дискурса. Оспариваемые пространства частного сектора рассматривались как «изменчивый знак» в городской семиотической системе, а нарративы действующих лиц — как конкурирующие дискурсы, стремящиеся зафиксировать ключевой элемент — прошлое. В статье высказывается гипотеза, согласно которой актуализация темы прошлого в пределах городского пространства ставит его в состоянии неопределенности. Это происходит из-за увеличения числа акторов, стремящихся связать с «элементом» прошлого тот или иной смысл. В конфликт включаются аккредитованные государством эксперты, которые, обладая властью формализовать ту или иную интерпретацию прошлого, могут делегировать эту власть акторам, имеющим значительный социальный или финансовый капитал. Последние добиваются формализации выгодной им интерпретации прошлого: фиксация статуса «ветхого/аварийного здания» или «памятника архитектуры» позволяет им определить будущее оспариваемого пространства. При этом наибольшими шансами на успех обладает актер, сумевший мобилизовать максимальный ресурс горизонтальных сетей.

Ключевые слова: прошлое, дискурс, частный сектор, «право на город», «городской политической режим», памятник архитектуры, ветхость

В статье исследуется роль формализации прошлого в конфликтах за «активное право на преобразование города в соответствии с нашими сокровенными желаниями и преобразование себя самих по иному образцу» (Харви, 2008: 92) в районах малоэтажной застройки в Иркутске, где можно встретить старинные купеческие усадьбы, превращенные в общежития, и небольшие частные дома, построенные

1. Исследование выполнено в рамках проекта № 20-011-00282 «Частный сектор региональных столиц Сибири и Дальнего Востока: структура и практики повседневности “негородских” сообществ». Работа опубликована при поддержке Программы «Университетское партнерство».

в начале — середине XX века. Здесь находятся и типичные для «соцгорода новостройки» (Меерович, 2014): каркасные или брусовые многоквартирные бараки. В городских нарративах эти районы иногда определяют как «частный сектор». Подобные локальности имеют несколько характерных черт. Во-первых, возраст зданий, насчитывающий более полувека. Во-вторых, низкая плотность населения по сравнению с районами многоэтажной застройки. В-третьих, сравнительная неразвитость инфраструктуры — канализации, отопления, водоснабжения.

Районы малоэтажной застройки нередко определяются как неосвоенное пространство, пригодное для осуществления «внутренней колонизации» (Эткинд, 2013). Таким их видят и обычные жители, и представители «городских политических режимов», коалиций «актеров, обладающих доступом к институциональным ресурсам и осуществляющих управление общностью. Они не сводятся к электоральной коалиции, а предполагают более широкий спектр взаимодействия; в них нет очевидной субординации, а важнейшую роль играют неформальные связи» (Ледяев, 2006: 131). «Городские режимы» проявляют более пристальный интерес к подобным местам, если они расположены в пределах вернакулярного центра — пространства, которое считается таковым в представлениях горожан (Калуцков, 2013).

Разные группы могут предлагать различные проекты по «заполнению» частного сектора: политические режимы нередко стремятся «расчистить» его от небольших домов и выстроить на их месте многоэтажные жилые комплексы (Тимошкин, 2020). Другие — напротив, инвестируют в развитие текущей пространственной формы. Нередко позиции акторов совпадают. Например, в те моменты, когда местные жители делают ставку на освоение территорий коалициями мэрии и застройщиков, рассчитывая обменять свои старые и неблагоустроенные дома на новые квартиры. Встречается и иное, когда разные группы стремятся реализовать на одной территории взаимоисключающие проекты. В этом случае возникают конфликты за право определять будущее спорной территории, которые и стали объектом данного исследования.

В подобных противостояниях группы создают нарративы, объясняющие целесообразность своих проектов. Так, городские политические режимы (Пустовойт, 2017: 10) нередко определяют районы малоэтажной застройки как анархическую, плохо поддающуюся контролю маргиналию, не вписывающуюся в то, каким город «должен быть» (Григоричев, 2021), а значит, подлежащую «зачистке». Группы, заинтересованные в сохранении статус-кво, могут описывать их как экологически чистое пространство, возможность жить «на земле», пользуясь доступом к городской инфраструктуре.

Сравнивая город с семиотической системой (Прак, 2018; Лотман, 1996), можно заметить, что старые, малоэтажные кварталы становятся одним из его «привилегированных знаков» (Йоргенсен, Филипс, 2008: 60), вокруг которых организуются локальные дискурсы. Их важность для семиотической системы подтверждается ролью, которую они играют в процессе производства «персональных образов, свя-

занных с какой-либо частью города <...> пронизанных воспоминаниями и значениями» (Линч, 1982). В городских нарративах районы малоэтажной застройки становятся маркером, определяющим то, какие места можно считать «нормальным» городом, а какие — выпадающими за рамки этого определения (Тимошкин, Григоричев, 2022).

Сами по себе такие пространства пусты, подобное отношение к ним нередко фиксируется в городских нарративах или «последовательностях операций, проведенных над и с лексиконом вещей» (де Серто, 2010). Они наполняются содержанием, попадающим в «повестку дня» (McCombs, 2004), когда несколько акторов пытаются реализовать в их пределах альтернативные проекты. Конфликт превращает место в «изменчивый знак», «за который “борются” различные дискурсы, чтобы наделить его значением своим особым способом» (Йоргенсен, Филипс, 2008: 60). «Элементом», или знаком, смысл которого еще не зафиксирован (Там же: 56-59) и за определение которого конкурируют дискурсы, становится локальное прошлое. Акторы — застройщики, бюрократы, предприниматели и местные жители — пытаются превратить «элемент» локального прошлого в «момент», часть знаковой системы, чей смысл зафиксирован и определяется ее соотношением с другими фрагментами. Они делают это, пытаясь закрепить за «прошлым» выгодное и понятное им значение.

Цель исследования заключалась в том, чтобы определить, как актуализация и формализация локального прошлого в ходе подобных конфликтов сказывалась на судьбе рассматриваемых пространств и сообществ. Работа построена на 20 полужурналистских интервью с архитекторами, реставраторами, историками, бывшими муниципальными служащими, арендаторами и собственниками зданий, проведенных с 2017 по 2021 год. Респонденты рассказывали о собственном опыте участия или наблюдения за конфликтами в иркутских районах малоэтажной застройки. Поскольку большинство интервью касалось неформальных (иногда — не совсем законных) практик, для обеспечения безопасности респондентов при цитировании не указываются их личные данные. Упоминаемые в интервью имена чиновников городской администрации, бизнесменов и экспертов, а также названия крупных иркутских строительных компаний сокращались по тем же соображениям.

Формализация «ценного прошлого» и правовой плюрализм

Нормативные акты предлагают два основных способа взаимодействия со старыми малоэтажными зданиями: уничтожение² или реставрацию³. Выбор конкретного способа предполагает маркирование прошлого как «ветхость» или «памятник».

2. ГрК РФ Статья 55.26-1. Признание объекта капитального строительства аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

3. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». <https://rg.ru/2002/06/29/pamjatniki-dok.html>

Фиксация значения «элемента» прошлого означает необходимость выполнить по отношению к нему определенные действия. Признание здания «памятником» подразумевает, что его архитектурная форма является репрезентацией ценной культурной памяти и подлежит сохранению, под которым нередко имеется в виду полная консервация. Признание же здания «аварийным» означает, что связанное с ним прошлое не имеет ценности. Или, по крайней мере, что символическая ценность не превышает практических недостатков дома, который поэтому подлежит сносу.

В Иркутске домов, имеющих статус «памятника», сегодня больше тысячи. Респонденты-архитекторы отмечают, что нередко причины присвоения статуса не имеют отношения собственно к «исторической ценности» места. Многие здания в иркутских районах малоэтажной застройки приобрели статус «памятника» по политическим причинам, являясь пространственной репрезентацией сакральных для советской «политической религии» (Джентиле, 2021) событий или стали «памятниками» в конце 1980-х годов по инициативе экспертного сообщества, желавшего таким образом противостоять «ковровой» застройке города типовыми многоэтажками.

Жители некоторых домов, признанных «памятниками», оказались заложниками ситуации: их свобода управлять собственностью существенно ограничена, так как предусмотренный законом порядок действий усложнил использование места.

В: Как он [собственник. — Д. Т.] должен поступить, чтобы отремонтировать забор, если он является частью комплекса?

О: Как можно забить гвоздь в памятник, чтобы не нарушить законодательство по наследию. Я утрирую, но это именно так. <...> Для этого нужно выполнить алгоритм, предусмотренный федеральным законодательством. Нужно получить задание. В органе охраны. Это нервотрепка. Он должен разработать проектную документацию. Это уже не диктуется органом охраны памятника, это отдается на откуп лицензированной организации, которая делает это за деньги. <...> Смета и так далее. После этого надо получить историко-культурную экспертизу. Оплатить троих экспертов, положительное или отрицательное заключение, разрешение, и только после этого приступить к работам. К тому же ты должен по закону нанять только лицензированную организацию, которая вобьет гвоздь».

Присвоение локальному прошлому официального маркера, превращение его в «момент» означает заморозку текущей конфигурации места и действия, что — парадоксально — может привести локальность в состояние большей неопределенности, чем прежде. Жесткие ограничения возможных действий в отношении здания устраивают далеко не всех пользователей. Сложный порядок эксплуатации «памятников», предусмотренный нормативными актами, приводит к появлению специфических практик обхода этих ограничений. Нередко они оправдываются сомнениями в ценности прошлого, которое закон призван зафиксировать, или

несогласием с тем, что это прошлое оказывается важнее интересов собственника здания.

Одним из наиболее распространенных механизмов становится процедура «вывода» здания, лишения его соответствующего статуса. Это означает, что отныне локальное прошлое вновь будет «элементом», выполнение предусмотренных алгоритмов необязательно, место переходит под полный контроль пользователя.

О: Процентов 80–90 [заказчиков. — Д. Т.] агрессивно настроены. Сразу. Они: «Этот памятник у меня вот здесь, но меня заставляют [учитывать связанные со статусом дома ограничения. — Д. Т.]. Помоги мне вывести его из памятников, чтобы не было проблем».

В: То есть самое частое обращение — это вывести из статуса, чтобы...

О: Ну если их заставляют [обращать внимание на предусмотренные статусом памятника ограничения. — Д. Т.]. Если не заставляют — тишина вообще. Что-то внутри там сделают, просябают в этом памятнике. Есть человек в Иркутске, как раз по этой [официально предусмотренной. — Прим. авт.] системе, которую я описал вначале, попытался заказать ремонт фасада. Когда ему все это выкатили, когда его начали волокитить, направлять откровенно в ангажированные организации, где втридорога, уже неприятно.

В превращении прошлого в «элемент» могут быть заинтересованы и крупные застройщики. Для них снятие обременений означает возможность снести старинную постройку и возвести вблизи или вместо нее, что особенно актуально для центральных районов, многоэтажное здание. Для «вывода» дома из статуса памятника может быть достаточно мнения группы аккредитованных Минкультом экспертов, которые принимают окончательное решение о том, в какой форме — «момента» или «элемента» — существует локальное прошлое. В силу того, что абсолютного стандарта, позволяющего без сомнений ценить одно прошлое и отрицать другое, не существует, эксперты нередко идут на компромиссы между нормой и потребностями пользователей.

О: Многим застройщикам выгодно избавиться от статуса памятника, потому что они хотя бы смогут этот дом... Необязательно [снести. — Д. Т.], но они хотя бы смогут его отреставрировать, отремонтировать без этих многоэтажных согласований. <...> У них есть резон заплатить эксперту какую-то денежку и не выкидывать потом миллионы на проекты реставрации. <...>

В каждом случае, когда идет вывод, это очень индивидуальное решение. Например, есть дом. Но он сгорел. Там нечего восстанавливать. Или, наоборот, восстановление потребует очень больших ресурсов, а это дом культуры, который совершенно типовой. Да, он числится как памятник, но таких по стране реально еще 30 штук, а этот убитый в хлам. И чтобы его восстановить, нужно туда вбухать десятки миллионов, и вот возникает вопрос, стоит ли эта память того, чтобы ее такими усилиями сохранять.

Возможно, именно из-за индивидуального характера таких решений часть респондентов упоминает о жестких ограничениях, полностью исключающих ка-

кие-либо возможности использовать «памятники», другие же утверждают, что никаких трудностей статус «памятника» для них за собой не повлек. В отдельных ситуациях эксперты буквально вынуждены идти на компромиссы, чтобы сохранить здания, которые, с их точки зрения, являются ценностью. Жесткость нормативных актов, определяющих порядок допустимых действий в отношении объявленного ценным прошлого, иногда приводит к потере здания. Так, собственник может сжечь дом, если поймет, что построить новый дешевле и проще, чем восстанавливать старый. В таких ситуациях эксперты могут по собственной инициативе разрешать пользователям действия, которые законом смещены в область «значений, которые имеет или имел каждый знак, но которые исключены определенным дискурсом ради создания единства значения» (Йоргенсен, Филлипс, 2008: 58), или закрывать на них глаза.

В: То есть, получается, если живешь в памятнике, ты с ним ничего не можешь сделать без согласования со службой?

О: По-хорошему, если все законно — нет, не можешь. <...> Это сделано для того, чтобы люди не творили, что попало, <...> Ты не можешь отремонтировать, покрасить фасады своего дома, потому что, согласно закону, должны разрабатываться паспорта покраски памятников. Но на самом деле этого нет...

В: В смысле?

О: Ну нет этих паспортов покраски, они есть только на самые значимые объекты — театры там, может быть, музеи. <...> Если [дом] сам по себе не особо-то привлекателен, архитектурной ценности в нем очень мало, но он связан с именем какого-то чувака очень известного, какого-то революционера... И в советское время было очень много таких вот домов, которые как бы... Теперь памятники, а на самом деле обычная избушка, она рядовая, аналогов таких домов ты найдешь сколько угодно, и у нас в городе, и в соседних городах. А ты, по идее, его даже покрасить сам не можешь. Но на практике это все стараются как-то учитывать, входить в человеческое положение, смотреть, чтобы... <...> Стараются находить какие-то компромиссы, просить людей соблюдать хотя бы ту часть, которая имеет значение. <...> Если упираться просто в принципиальное противодействие, мы будем приходить к тому, что мы имеем: жжется все подряд, просто по принципу [сжигать] то, что доступно сжечь, то, что нужно освободить конкретно под строительную площадку.

По нормативным актам защита здания подразумевает консервацию его облика, что предполагает выполнение собственниками четких и подробных алгоритмов действий в случае, если ему нужно совершить даже самые незначительные манипуляции. На практике, как видно из интервью, формализация локального прошлого не столько позволяет зафиксировать спектр значений и действий, допустимых в отношении места, сколько размывает право определять его.

В процесс, помимо собственника, включается как минимум экспертное сообщество, а в некоторых случаях, как будет показано ниже, — городской политический режим. Эксперты становятся промежуточным звеном между предумо-

тренным законодательством алгоритмом и каждым отдельным собственником, каждым отдельным зданием. Осознание несоответствия между идеалистическими требованиями закона и сложностью каждой отдельной ситуации вынуждает их искать компромиссы, поддерживая возникающую в результате ситуацию правового плюрализма (Эрлих, 2011), которой, в свою очередь, пользуются городские политические режимы, имеющие достаточные для этого ресурсы и информацию.

«Памятник архитектуры» как инструмент приватизации пространства

Примером использования городскими режимами ситуации правового плюрализма для «освоения» города может считаться кейс Агентства развития памятников Иркутска (далее АРПИ). Учрежденная городской администрацией в 2012 году, организация стала посредником между муниципалитетом и инвесторами. Город передавал ей дома в аварийном состоянии, агентство же отвечало за поиск инвестора и контроль за производством реставрационных работ. Инвестор, отремонтировав дом, что подтверждалось актом выполненных работ, подписанным АРПИ, получал его в собственность. Понимая сложность предписанных законом о памятнике алгоритмов, агентство привлекало инвесторов тем, что закрывало глаза на отступления от него.

О: АРПИ это как бы опт. <...> Ты покупаешь дом двухэтажный, допустим, двести квадратов. И когда ты реставрируешь, ты однозначно цоколь и этаж увеличиваешь минимум в два раза. Плюс пристрой, плюс еще отдельное здание на участке. То есть на самом деле ты получаешь [задешево. — Д. Т.] достаточно большой объем фонда капстроя, с учетом даже того, что это реставрация. <...> Потом есть еще одна такая хитрость, которая позволяет через АРПИ тоже идти. Тема поблажек при реставрации объекта, в частности — противопожарных и санитарных норм. Если это объект наследия, ты имеешь право от этих норм отклоняться. Ну как, не совсем во все тяжкие не соблюдать, ты имеешь право применять специальные технические решения. На обычной стройке тебе никто не позволит их применять. <...> То есть, с одной стороны, у тебя куча ограничений, связанных с сохранением предмета охраны. А предмет охраны — это обычно внешний облик объекта, который тебе еще на руку. Ты сохраняешь, то есть внешний облик объекта, и все идут и говорят — ептыть, как классно, как красиво.

Компромиссы вполне допускали перестройку дома при сохранении некоторых декоративных элементов, которые обеспечивали необходимый символический контекст, они были выгодны всем участникам сделки. Здания оставались малоэтажными, сохраняли более-менее приближенный к изначальному облик и при этом соответствовали поддерживаемому городской администрацией образу «парадного центра».

АРПИ планировалось как механизм производства компромиссов между образом «правильного исторического» города, наполненного «ценным прошлым», зафиксированным в нормативных документах, и интересами проживающих здесь

групп. Возможностей воспользоваться этим механизмом оказалось непропорционально больше у представителей местного «режима контроля», или «комплекса формальных и неформальных договоренностей, направленных на концентрацию и удержание всех типов властных, учитывающих, что при реализации интересов членов коалиции вполне допустимо нарушение безличных норм» (Пустовойт, 2017: 10). По словам респондентов, АРПИ упростил городским режимам задачу превращать прошлое в «момент» или «элемент» по собственному усмотрению, используя это для приватизации вернакулярного центра.

Через организацию прошло более трех десятков зданий, причем качество реставрации было в отдельных случаях спорным, а механизм выбора инвестора, судя по наблюдениям респондентов, довольно непрозрачным. Инвесторами становились представители городского режима, которые получали в свое распоряжение значительные земельные участки в центре за бесценок, пользуясь поощрениями при проведении реставрационных работ. Компромиссы между организацией и инвестором заходили настолько далеко, что последний мог просто проигнорировать предписания АРПИ по восстановлению здания, ограничиваясь имитацией.

Так, один из респондентов арендовал у инвестора АРПИ, местного депутата, старинное здание в центре Иркутска. Он рассчитывал монетизировать зафиксированную законом о памятниках значимость локального прошлого, организовав в доме гостиницу. Расчет оправдался: «исторический» облик дома и качественная отделка, в которую респондент вложил немалые средства, привлекли множество туристов. Инвестор гарантировал, и это подтверждалось актом приемки дома, подписанного руководством АРПИ, что все обязательства, предписанные регулятором, выполнены, дом прошел через капитальный ремонт и пригоден для использования.

По словам респондента, в первую же зиму выяснилось, что у дома отсутствовала одна из несущих стен (вместо нее был сколоченный из досок муляж), не было фундамента, отмостки, хотя по актам, подписанным руководителем АРПИ и собственником, все эти работы были сделаны. Зимой здание промерзло, весной его топило талыми водами. Арендатор покинул его разоренным. Собственник же подал запрос на лишение постройки статуса памятника, а затем выставил ее на продажу. В единственном объявлении⁴, которое удалось отыскать в Сети, дом с участком оценивается в двадцать пять миллионов. Как утверждает респондент-арендатор, АРПИ уступило все за три миллиона триста тысяч. Позже объект был снят с продажи, а инвестор получил под него банковскую ссуду.

Респондент-арендатор считает, что подобное было бы невозможно без тесных неформальных контактов между инвестором, руководством АРПИ и ведомствами, отслеживающими соблюдение охранного законодательства. Без них собственник бы не смог пройти процедуру приемки, проигнорировав ключевые предпи-

4. <http://www.poni38.ru/rsearch/details.aspx?id=36683>

санные службой работы, не смог бы нанять для выполнения работ неформальные трудовые коллективы, вероятнее всего, не имеющие необходимых лицензий:

О: То есть как только завершён ремонт, он [дом. — Д. Т.] тут же сдал, но никакой процедуры приемки не было. Он просто объект сдал, без всякого контроля со стороны.

В: А как так вышло, что его приняли [не учтя многочисленные нарушения. — Д. Т.]?

О: А это большой вопрос к архивам ЦСН [Центра сохранения наследия, подразделения Службы по охране памятников. — Д. Т.], тому, кто ставил подпись приемки. <...> По сути, я сделал [внутренний. — Прим. авт.] ремонт, а он выкрасил фасад. Дом приняли АРПИ и ЦСН, потом он [собственник. — Д. Т.] начал процедуру вывода из памятников. <...> Вот смотри, вот заказчик [респондент показывает подпись собственника на документе с просьбой лишить дом статуса памятника. — Д. Т.]. В старом документе стоит имя заказчика — живого человека. В новом, точно таком же документе [который респонденту позже предоставили в ЦСН. — Д. Т.] стоит уже заказчик — ЦСН. То есть как-то так магически вышло, что имя заказчика в одном и том же документе поменялось на ЦСН. Если что, крайним остается ЦСН. <...> А теперь там, на задворках, строится новый торговый центр. Там плита лежит, два этажа отлито бетоном.

Все попытки арендатора вернуть деньги ни к чему не привели, инвестор отвечал отказом на просьбы компенсировать средства, потраченные на внутреннюю отделку здания, или хотя бы устранить ключевые недостатки. Обращения в местную полицию, прокуратуру и суды не привели ни к чему. По мнению респондента-арендатора, это объясняется интегрированностью инвестора в «режим контроля», обширными связями с высокопоставленными сотрудниками прокуратуры, судейскими, полицейскими чинами. Вероятно, инвестор имел связи и в АРПИ, так как агентство арендовало офис в принадлежащем ему здании.

По словам респондента-арендатора, подобное происходило с объектами АРПИ неоднократно. В частности, упомянутый выше инвестор использовал предлагаемый агентством алгоритм по выкупу памятников, получая в придачу к зданиям обширные участки в самом центре, еще как минимум один раз. В одном из интервью общая стоимость таких участков оценивалась более чем в миллиард рублей. Тот же инвестор выкупил под реставрацию у АРПИ бывшую усадьбу иркутского купца Жарникова. В здании находился детский сад, земля имела соответствующее обременение, которое при передаче дома АРПИ исчезло. Поводом для передачи дома инвестору стало его плачевное состояние и непригодность для размещения в нем образовательного учреждения (хотя некоторые респонденты утверждали, что проблема была, мягко говоря, преувеличена). Выкупив дом, инвестор отреставрировал его, позже там появился ресторан, а затем — консульство Китая. Рядом с памятником было построено офисное здание.

Правовой плюрализм отчасти компенсирует жесткость нормативных актов, регулирующих маркирование локального прошлого и связанные с ним допусти-

мые конфигурации места и действия. Он дает возможность эксперту и жителям таких зданий находить компромиссы, позволяющие сохранить дом и при этом использовать его по назначению. С другой стороны, он ставит локальное прошлое в сильную зависимость от субъективных решений экспертного сообщества. Возможность «купить» мнение эксперта или надавить на него открывает представителям городского режима, в данном случае застройщикам и муниципальной бюрократии, широкие перспективы для использования формализации локального прошлого как обоснования для реализации выгодных его членам проектов. Необходимо отметить, что эксперты далеко не всегда выступают на стороне политического режима, что, впрочем, подтверждает предположение о степени их влияния на процесс.

О: Иногда назначаются исторические границы [пространство рядом с зданием-памятником, которое подпадает под действие охранного законодательства. — Д. Т.], иногда, если ты смотришь и видишь, что это реально жилой дом, хозяйствование продолжается. Вот ты назначишь всю усадьбу памятником, а люди там элементарно сортир деревянный себе не смогут поставить. <...> И ты назначаешь какие-то минимальные границы, чтобы и дом сохранили, и чтобы людям сильно бы жизнь не отравили. Иногда ты, наоборот, смотришь такой — о! — нихрена, что-то какой-то участок большой освобождается и что-то стоянок там много вокруг, явно там собираются что-то строить, расчищают прямо. Ты такой — нет, нет...

В: Прости, а парковка — это такой симптом приближающейся стройки?

О: Очень часто. И ты такой, наоборот, нарежу-ка я побольше кусочков таких, маленьких, чтобы нигде нельзя было воткнуть такую большую жирную корову [многоэтажное здание. — Д. Т.], здесь, здесь, здесь, которая потом испортила бы облик.

Предположительно, возможность превратить прошлое в «момент», временно зафиксировав связанную с ним конфигурацию места и действия, заручившись лояльностью экспертов, позволяет муниципальной бюрократии монетизировать свой статус. Используя организации наподобие АРПИ, бюрократия заключает полформализованные сделки с крупными предпринимателями, дающие последним привилегии при перераспределении городских земель.

Один из респондентов упоминал, что «НГ», крупный иркутский застройщик, платит за лояльность бюрократии тем, что предоставляет сотрудникам местной администрации скидки на квартиры в домах, возведенных на «расчищенных» при их помощи территориях. Фактически маркирование локального прошлого рассматривается городским режимом контроля как источник ренты, перераспределяемой между бюрократией, застройщиками и лояльными экспертами.

О: Вот когда с моста съезжаешь на Сурикова [улица в центре Иркутска. — Д. Т.] только. Когда ты восстанавливаешь там дом Метелева [здание-памятник в Иркутске, бывшая купеческая усадьба. — Д. Т.], и во дворе этого дома вырастает 5-этажное жилое помещение. Как мне сказали, это была пакетная договоренность.

Что мужики не восстановят этот дом, если им не разрешат построить 5-этажный.

В: Многого решается, я так понимаю, [в Иркутске] тем, что у нас застройщики сидят в Думе?

О: В Думе, в мэрии... <...> Мэр [Иркутска] — человек «НГ» [крупная строительная фирма в Иркутске. — Д. Т.]. Вопросы надо дальше задавать? Кто сегодня главный архитектор города?

В: Я не знаю.

О: Откуда ж вам знать. Он был главным архитектором в «НГ». <...> У нас в городе несколько строительных мафий, но сегодня власть захватила одна. <...> Стоит деревянный дом, ты приходишь и говоришь — хочу привести в порядок. А потом начинаются игры. Один этаж вниз или два, вверх пристроим полтора этажа или два. То есть если домик этот был, например, 80 квадратных метров, давайте сделаем ему еще 120 квадратных летней веранды.

Статус «памятника» становится инструментом, с помощью которого одно из городских сообществ заявляет о своем праве определять допустимую в его отношении конфигурацию места и действия. Неформальные договоренности между экспертами, муниципальной бюрократией и застройщиками, составляющие «городской режим», позволяют произвольно менять позицию локального прошлого с «элемента» на «момент». Признание постройки «памятником» создает ситуацию, благоприятную для смены собственника, «выведение» — игнорировать возникающие обременения. Де-факто формализация прошлого в условиях «режима контроля» может означать присвоение вернакулярного центра влиятельной группой в том случае, если последняя имеет возможность обеспечить лояльность действующих от имени государства экспертов.

Парадоксально, но формализация локального прошлого превращает само жилое здание и связанную с ним историю в «изменчивый знак». Если раньше значение постройки и совокупность связанных с ним действий определял собственник, то теперь его право начинает оспаривать государство, представленное экспертами. Наделяя здание статусом, государство фактически создает иерархию эпизодов прошлого, размещая на самом верху один из них, связанный с какой-либо значимой исторической личностью или периодом. Тщательно охраняя лишь один, существующий только в коллективной памяти эпизод, нормативные акты делают незначительными все остальные. Эту ситуацию пытаются оспорить собственники зданий, из-за нее же эксперты вынуждены постоянно идти на компромиссы, которые используют «городские режимы».

Принудительная «аварийность»: отрицание прошлого как способ осуществления «права на город»

«Ветхость» или «аварийность» можно считать альтернативным способом дискурсивного маркирования локального прошлого. Методическое пособие по содержа-

нию и ремонту жилищного фонда МКД 2-04.2004, утвержденное Госстроем РФ», определяет «ветхость» как «состояние, при котором конструкции здания и здание в целом имеет износ: для каменных домов — свыше 70%, деревянных домов <...> — свыше 65%, основные несущие конструкции сохраняют прочность, <...> однако здание перестает удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям». Аварийность определяется как состояние несущих конструкций, при котором они «имеют сверхнормативные деформации и повреждения, потеряли расчетную прочность и без принятых мер по укреплению могут вызвать аварийное состояние жилого помещения или всего жилого здания и представляют опасность для проживающих». Маркирование постройки как «ветхой» или «аварийной» означает незначительность прошлого, которое оно репрезентирует, по сравнению с неудобствами или рисками для жильцов и предполагает его уничтожение. Статус «памятника», напротив, ставит символическую ценность здания выше нужд и безопасности людей, которые в нем проживают.

Решение о признании дома аварийным или ветхим также принимается специально создаваемой для таких случаев межведомственной комиссией. В нее входят эксперты комитета по градостроительной политике, управлений ЖКХ округов, комитета городского благоустройства, аппарата администрации и другие. В отличие от случаев с памятниками, здесь инициатива может исходить только от собственников зданий. Для того чтобы признать дом «аварийным» и не пригодным для проживания, владельцы должны обратиться в городскую администрацию с просьбой создать экспертную комиссию, которая рассмотрит состояние дома. Комиссия проводит обследование и выносит вердикт.

Если признание дома аварийным соответствует интересам собственников, главной проблемой становится долгое ожидание расселения или несоответствие альтернативного жилья их пожеланиям. Де-юре признание здания ветхим всегда должно происходить в интересах жителей. Де-факто, как и в случае с «памятниками», эксперты, действующие под давлением или в союзе с «режимом контроля», могут использовать «аварийность» в качестве инструмента захвата городского пространства. Респонденты, проживавшие в малоэтажных районах, в которых разворачивались противостояния за «право на город», упоминали несколько способов использования статуса «аварийности» городскими режимами. Так, муниципальная бюрократия, действуя в союзе с крупными застройщиками, может эксплуатировать национальный проект «жилье и городская среда», нацеленный на переселение людей из ветхого и аварийного жилья:

О: Все они — братва этого Б [бывший иркутский мэр. — Д. Т.]. <...> Нам судья сказал — «К» [иркутская строительная фирма, выполнявшая крупные муниципальные подряды. — Д. Т.] отмывала деньги застройки аварийного и ветхого жилья. Они делают как. Деньги перечисляют застройщику. <...> Дескать, они на [расселение. — Д. Т.] трех квартир потратили 15 миллионов рублей. А там ку-

пили две «двушки», стоимостью около трех миллионов, и одна «трешка», за два миллиона. <...> Я не знаю, как другие застройщики, но вот эти, которые застраивают район Мухиной, — они все бывшие работники [городской администрации. — Д. Т.]

«Аварийность», как и «памятник», используется «режимом контроля» для того, чтобы превращать городское пространство в «элемент», противопоставляя выгодные его членам проекты проектам собственников. По словам респондентов, подобные практики становятся возможными благодаря неформальным договоренностям между экспертами, застройщиками и муниципальной бюрократией. Устойчивость таких союзов обеспечивается за счет того, что одни и те же люди постоянно переходят из руководства крупнейших строительных компаний и экспертных организаций в иркутскую мэрию и обратно.

В результате городом управляют бывшие застройщики, а строительными компаниями — бывшие сотрудники мэрии или эксперты. Председателями комитетов по градостроительной политике становятся вчерашние руководители строительных компаний, руководители частных проектных институтов — заместителями мэра по градостроительной политике. Зятья крупнейших застройщиков получают должности вице-мэров, сам градоначальник приходит на свой пост, покинув директорское кресло «Ассоциации застройщиков». Неформальные связи, соединяющие воедино бизнес, экспертов и бюрократию, позволяют использовать крупные, в том числе и федеральные, проекты в качестве эвфемизма, прикрывающего захват и «освоение» городских пространств.

Примером, иллюстрирующим тактику использования «режимом контроля» маркера «аварийности» для присвоения территории, может послужить кейс иркутского вернакулярного района «Поселок гидростроителей». Район застроен небольшими многоквартирными зданиями. Здесь имеется довольно развитая инженерная и социальная инфраструктура, рядом транспортная развязка. Место считается весьма привлекательным для жизни, экологически чистым, неподалеку находятся пляж и лес. Мне удалось взять несколько интервью у местных жителей, столкнувшихся с попыткой захвата их домов городским режимом.

«Поселок гидростроителей» атаковали несколько раз, начиная с 1995 года, пытаясь под разными предлогами расселить тех, кто там жил, снести их дома и застроить район элитным жильем.

О: Новые дома видели у нас? Там была спортивная площадка и два дома деревянных. Один дом подожгли вместе с людьми ночью, люди прыгали со второго этажа. А второй дом, пятый, они его подтопили. Подтопили и снесли. И поставили эти новые дома. И нас хотели так же. Пытались нас поджечь и подтопить. <...> Мы писали открытое письмо, в котором прямо указывали, что это поджог, организованный «ИЭ», застройщиком [речь идет о действующей по сей день крупной региональной энергетической компании, которая, помимо прочего, занималась строительством. — Д. Т.]. <...> Дверь была снаружи заперта, люди не могли выйти через дверь, прыгали с этажей. Подперли дверь.

Застройщика жителям удалось остановить, организовав кампанию в СМИ, а также — написав коллективные обращения во все инстанции вплоть до Администрации Президента. Следующая попытка, инспирированная, как утверждают респонденты, действующим в тот момент мэром Иркутска, случилась в 2015 году. По словам моих собеседников, градоначальник приехал в местную школу на официальное мероприятие, оценил расположение района и тут же, в разговоре с кем-то из приближенных, объявил о своем желании застроить его элитным жильем.

Разговор случайно подслушал школьный учитель, который сообщил об опасности соседям. Уже зная по опыту, чем может обернуться внимание со стороны «городского режима», собственники зданий стали оформлять права на землю, чтобы обезопаситься от поджогов. Через некоторое время на домах появились объявления, в которых жителей уведомляли о проведении собрания по вопросу расселения и сноса их домов, признанных аварийными.

Перед встречей по домам пробежал застройщик, с тем же секретарем комиссии...

В: А застройщик кто?

О: Застройщик должен был... «РБ» [действующая по сей день в Иркутске строительная компания. — Д. Т.]. И, значит, он говорит: давайте, напишите нам письма, что ваши дома аварийные, и мы вас снесем. <...> Я говорю: вы че? Мы че, сумасшедшие, что ли? А нас вы куда заселите? «В Новоленино [район на окраине Иркутска, считающийся не очень удобным для проживания. Именно там управление капитального строительства возводило дома для многих вынужденных переселенцев. — Д. Т.]».

Я говорю, нет, спасибо! Давайте отсюда, пока мы вас в прямом не затолкали. Мы за шиворот его выкинули.

На собрании, на котором присутствовал представитель межведомственной экспертной комиссии и местный депутат, выяснилось, что решение о признании домов аварийными уже принято, без согласования с собственниками. Муниципальная межведомственная комиссия провела экспертизу и признала одно-моментно более десяти домов аварийными и подлежащими сносу. Параллельно, по аналогичному сценарию, признавались аварийными целые кварталы в соседних районах.

Решения принимались комиссией без необходимого в таких случаях обращения от собственников зданий. Это было нарушением формального алгоритма, поэтому представители «городских режимов» пытались получить обращения жителей задним числом, запугивая и подкупая лидеров местных сообществ — старших по подъезду, глав ТСЖ и ТОС. Депутаты и эксперты пытались заставить их повлиять на соседей, чтобы те все-таки составили прошения о признании домов аварийными. Взамен лидерам предлагали квартиры в новостройках, которые должны были появиться на месте их разрушенных домов. Другие жильцы в договоренность не входили — им предстояло переселение на городские окраины.

На других территориях муниципальные депутаты и представители межведомственной комиссии на встречах с местными жителями пытались обманом подսунуть последним на подпись прошения о проведении экспертизы домов.

О: На собрания трижды они [депутаты и представители межведомственной комиссии. — Д. Т.] нас приглашали конфликт миром решить. Говорят: вот, мы не можем отменить решение градостроительного комитета и мэра города, поскольку уже есть указ. <...> И нам раздают заявления о том, чтобы мы написали, представители домов, чтобы нам сделали экспертизу. Я говорю: «Здрасьте! Это с какой стати? Эту вашу экспертизу <...> мы в суде разобьем, а если мы напишем это заявление, то вы нам такую экспертизу сделаете, что нас с МЧС в три дня погрузят и вывезут кого куда насильно (смех)».

Жители «поселка гидростроителей» затребовали и изучили экспертные заключения по всем 16 домам и нашли множество оснований, чтобы их оспорить. Один дом был признан «аварийным» на основании фотографии трещины на штукатурке фасада. К экспертному заключению по другому дому прилагались фотографии, вообще не имеющие к нему никакого отношения. Третий экспертный акт описывал аварийное состояние кровли дома, который недавно прошел через капитальный ремонт. Судя по всему, комиссия оценивала состояние этих зданий, не покидая кабинетов.

Мэрия и застройщики, формализовав локальное прошлое, превратили его в «изменчивый знак». Опираясь на экспертов, они попытались оспорить значения, которые с «поселком гидростроителей» связывали жители, и навязать альтернативные, отрицающие ценность места. Как и в случае с «памятниками» в предыдущем разделе, маркирование прошлого было использовано «городским режимом» для захвата и монетизации пространства. Респонденты упоминали, что строительные компании предлагали компенсацию за их жилье из расчета около сорока тысяч рублей за квадратный метр. Сегодня квартиры в возведенных рядом с «поселком гидростроителей» новостройках стоят около 100 тысяч рублей за метр.

Дело «поселка гидростроителей» закончилось в суде, который посчитал незаконными все 16 актов о признании домов аварийными, подготовленных администрацией. Проиграв суды первой инстанции, юридический отдел мэрии попытался опротестовать решения и вновь проиграл. Для того чтобы максимально усложнить такие атаки в будущем, местные сообщества инициировали процедуру о признании своего жилья памятниками. Их просьбу удовлетворили и теперь район считается, как выразился один из респондентов, «исторической застройкой». Местное сообщество победило в борьбе дискурсов, определив ключевой элемент «прошлое» «поселка гидростроителей» как «историческую ценность».

Некоторые респонденты предположили, что победа была обеспечена наличием у местного сообщества обширных социальных связей, которые позволили им заручиться поддержкой губернатора, медийной поддержкой, помощью бывших депутатов Государственной Думы. Немаловажным было и наличие в местном сообществе профессиональных юристов. Городской режим атаковал сообщество,

которое обладало обширным социальным и политическим капиталом и смогло его мобилизовать. Сообщество было осведомлено о механизмах функционирования и внутренних противоречиях городского режима в том числе и потому, что некоторые местные жители имели возможность годами наблюдать его изнутри.

Заключение

Рассмотренные здесь примеры показывают, что актуализация локального прошлого в постсоветском городе может означать превращение места в «элемент» — полисемичный знак. В тот момент, когда запускается процесс формализации прошлого, будущее локальности может становиться все более непредсказуемым. Это может быть обусловлено невозможностью на уровне федерального законодательства предусмотреть каждую потенциальную ситуацию, связанную с эксплуатацией «памятника» или «аварийного» здания.

Окончательное решение принимает экспертное сообщество, причем эксперты вынуждены брать на себя огромную ответственность и учитывать специфику каждой конкретной ситуации, самостоятельно определяя алгоритмы действий и пределы допустимого. Экспертное сообщество признает пространственную репрезентацию прошлого «памятником», ставя символическое содержание выше состояния инженерных конструкций, или же, напротив, ставят материальное состояние на первое место, объявляя здание «аварийным». В обоих случаях решение определяет и будущее места, так как каждое из них предполагает выполнение определенного алгоритма. Правовой плюрализм приводит к тому, что заинтересованные акторы могут повлиять на решение эксперта или проигнорировать его, причем такие возможности распределены неравномерно. По крайней мере, в рамках упомянутых респондентами ситуаций городской режим имел гораздо более обширный арсенал для воздействия на экспертов.

Актуализация темы прошлого места означает потенциальное увеличение количества дискурсов, стремящихся определять его значение: в процесс, помимо местных сообществ, включаются как минимум эксперты, а в случае развития конфликта — муниципальная бюрократия, застройщики, суды и журналисты. Фактически в таких дискурсивных противостояниях решается вопрос о том, что является для конкретного города ценностью. Из чего будет состоять локальная «культурная память» (Ассман, 2004: 40)? Что достойно репрезентировать прошлое этого места и проживающих в нем сообществ, а что — нет? И, наконец, какие сообщества могут влиять на эти процессы? Пример Иркутска показывает, что ответы предоставляет актер, сумевший, используя горизонтальные сети, мобилизовать максимальный политический и социальный капитал. «Слабые связи» (Грановеттер, 2009) делают возможным конвертирование капиталов в доступ к экспертному мнению, публичности, расположению бюрократов и силовиков. Это, в свою очередь, определяет доминирующий дискурс, а значит, превращение прошлого из «элемента» в «момент». Конечно, выводы статьи не претендуют на то, чтобы выходить за рам-

ки рассмотренных кейсов. Для того чтобы определить, являются ли приведенные здесь примеры аномалией или типичной репрезентацией процесса приватизации «постсоветского» города, необходимо куда более обширное исследование.

Тем не менее рассказы респондентов позволяют высказать гипотезу, согласно которой «культурная память» и ее пространственные репрезентации (Лоуэнталь, 2004) в постсоветском Иркутске становятся продуктом его сетевой организации (Барсукова, 2000), в которой гораздо большим весом обладает городской политический режим. Сетевая организация буквально воплощается в социальной и пространственной структуре города. Внешний облик, технологии, этажность, население, предназначение целых кварталов напрямую зависят от того, какой дискурс победит в неформальном противостоянии и будет задавать значение и коннотацию прошлого. Появится ли на месте того или иного района многоэтажный жилой комплекс, или же место будет признано частью значимой для коллективной идентичности «истории» — это в немалой степени результат способности транслирующего тот или иной дискурс актора мобилизовать сетевой ресурс.

Литература

- Ассман Я. (2004). Культурная память. М.: Языки славянской культуры.
- Барсукова С. (2000). Неформальная экономика и сетевая организация пространства в России // Мир России. Т. 9. № 1. С. 52-68.
- Грановеттер М. (2009). Сила слабых связей // Экономическая социология. Т. 10. № 4. С. 31-50.
- Григоричев К. В. (2021). Двойник-невидимка российского города: «частный сектор» между слободой и внутренним пригородом // Ойкумена. № 1. С. 7-18.
- де Серто М. (2010). Призраки в городе // Неприкосновенный запас. № 2. URL: <https://magazines.gorky.media/nz/2010/2/prizraki-v-gorode.html>
- Джентиле Э. (2021). Политические религии. СПб.: Владимир Даль.
- Йоргенсен М., Филлипс Л. Дж. (2009). Дискурс-анализ. Теория и метод Харьков: Гуманитарный центр.
- Калуцков В. Н. (2013). О типах районов в культурной географии // Культурная и гуманитарная география. Т. 1. № 2. С. 3-9. URL: <https://gumgeo.ru/index.php/gumgeo/article/view/68> (дата доступа: 19.11.2020)
- Ледяев В. (2006). Социология власти: теория городских политических режимов // Социология власти. № ¾. С. 46-68.
- Линч К. (1983). Образ города. М.: Стройиздат.
- Лотман Ю. М. (1996). Внутри мыслящих миров. М.: Языки славянской культуры.
- Лоуэнталь Д. (2004). Прошлое — чужая страна. СПб.: Владимир Даль.
- Меерович М. Г. (2014). Расселенческая доктрина России сегодня и 100 лет назад. Иркутск: Изд-во Иркутского государственного университета.
- Прак Н. Л. (2018). Язык архитектуры. Очерки архитектурной теории. М.: Дело.

- Пустовойт А. (2017). Городские политические режимы // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. № 3. С. 9-16.
- Тимошкин Д. (2020). «Вас здесь больше не живет»: внутренняя колонизация и городские политические режимы Иркутска и Красноярска в городских медиа // Политика. № 1. С. 98-116.
- Тимошкин Д., Григоричев К. (2022). «Частный сектор» в семиотической системе «постсоветского» города // Ойкумена. № 2. С. 138-151.
- Харви Д. (2008). Право на город // Логос. № 66. С. 80-94.
- Харви Д. (2018). Социальная справедливость и город. М.: НЛО.
- Хлопин А. Д. (2014). Деформализация правил: причина или следствие институциональных ловушек? // Полис (Политические исследования). № 6. С. 6-15.
- Эрлих О. (2011). Основоположение социологии права. СПб.: Издательский дом СПбГУ.
- Эткинд А. (2013). Внутренняя колонизация. М.: НЛО.
- McCombs M. (2004). *Setting the Agenda: The Mass Media and Public Opinion*. Cambridge: Polity Press.

“Monument” versus “dilapidation”: the discursive marking of local history as a factor of the “production of space” in Siberian cities (in the example of Irkutsk)

Dmitry Timoshkin

Candidate of Science (Sociol.), Research Fellow at the Laboratory of Historical and Political Demography, Irkutsk State University; Senior Lecturer at the Department of Cultural Studies, School for the Humanities, Siberian Federal University (Krasnoyarsk). Prospect Svobodny, 82a, Krasnoyarsk, Russian Federation 660041
E-mail: dmtrtim@gmail.com

The article analyzes the practices of the discursive marking of “places of memory” and their role in the construction of urban spaces of Siberian regional capitals. The author describes the areas of high-rise residential development formed in the 19th-20th centuries, defined in Russian urban narratives as the “private sector”. The latter is considered as a “nodal point” in the urban semiotic system. It is shown that some communities consider the “private sector” to be an empty space devoid of established content but which can be filled by implementing their project here. Others, on the contrary, appreciate the local history and the specifics of the place, basing alternative projects on these ideas. As a result, conflicts arise, the specifics of which become an emphasis on the theme of the past: the parties put forward different interpretations of the past and try to make them conventional. The aim of the study is to determine the role of formalized representations of local history in these processes. The article is based on 20 semi-formalized interviews with architects, public figures, local residents, officials, and entrepreneurs conducted in the period from 2017 to 2021. Using the results of these interviews, a hypothesis is formulated according to which the groups involved in conflicts tend to interpret the past as a value or a harmful anachronism, and then achieve the formalization of a version that is favorable to them. The representation of local history reflected in the normative language (the status of a “dilapidated / dilapidated building” or the status of a “cultural monument”) is used as a justification for the project to “develop” the place. The greatest success is achieved not so much by the actor who has managed to formalize

the interpretation of local history that is beneficial to them, but by the one who has retained the ability to ignore the restrictions associated with the corresponding status. It creates a compromise between the formalized and informal languages of describing “memory places”, which ultimately determines their content.

Keywords: Siberian city, monument, private sector, right to the city, urban political regime, memory space

References

- Assman Ja. (2004) *Kul'turnaja pamjat'*. [Cultural memory and Early Civilization], Moscow: Jazyki slavjanskoj kul'tury.
- Barsukova S. (2000) Neformal'naja jekonomika i setevaja organizacija prostranstva v Rossii. *Mir Rossii*, vol. 9, no 1, pp. 52-68.
- de Serto M. (2010) Prizraki v gorode [Ghosts in the City]. *Neprikosnovennyj zapas*, no 2. Available at: <https://magazines.gorky.media/nz/2010/2/prizraki-v-gorode.html>
- Dzhentile Je. (2021) *Politicheskie religii* [Politics as Religion], Saint-Petersburg: Vladimir Dal'.
- Granovetter M. (2009) Sila slabyh svyazej [Strength of Weak Ties]. *Jekonomicheskaja sociologija*, vol. 10, no 4, pp. 31-50
- Grigorichev K. (2021) Dvojniki-nevidimki rossijskogo goroda: “chastnyj sektor” mezhdub slobodoi i vnutrennim prigorodom [The invisible twin of the Russian city: the “private housing sector” between the sloboda and the inner suburb]. *Ojkumena*, no 1, pp. 7–18.
- Harvi D. (2018) *Social'naja spravedlivost' i gorod* [Social Justice and the city], Moscow: NLO.
- Hlopin A. D. (2014) Deformalizacija pravil: pricina ili sledstvie institucional'nyh lovushek? [The deformation of rules: the cause or consequence of institutional traps]. *Polis* (Politicheskie issledovanija.), no 6, pp. 6 — 15.
- Jerlih O. (2011) *Osnovopolozhenie sociologii prava* [The foundation of the sociology of law], Saint-Petersburg: Izdatel'skij Dom SpbGU.
- Jorrensens M., Fillips L. (2009) Dzh. *Diskurs-analiz. Teorija i metod* [Discourse Analysis as Theory and Method], Har'kov: Gumanitarnyj centr.
- Kaluckov V. N. (2013) O tipah rajonov v kul'turnoj geografii [About the types of districts in cultural geography]. *Kul'turnaja i gumanitarnaja geografija*, vol. 1, no 2, pp. 3-9.
- Ledjaev V. (2006) Sociologija vlasti: teorija gorodskih politicheskikh rezhimov [Sociology of Power: Theory of Urban Political regimes]. *Sociologija vlasti*, no 3/4, pp. 46-68.
- Lynch K. (1983) *Obraz goroda* [The Image of the City], Moscow: Strojizdat.
- Loujental' D. (2004) *Proshloe — chuzhaja strana* [The Past is a Foreign country], Saint-Petersburg: Vladimir Dal'.
- McCombs M. (2004) *Setting the Agenda: The Mass Media and Public Opinion*, Cambridge: Polity Press.
- Meerovich M. G. (2014) *Rasselencheskaja doktrina Rossii segodnja i 100 let nazad* [Settlement doctrine of Russia today and 100 years ago], Irkutsk: Izd-vo Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta.
- Prak N. L. (2018) *Jazyk arhitektury. Ocherki arhitekturnoj teorii* [The Language of Architecture], Moscow: Delo.
- Pustovojt A. (2017) Gorodskie politicheskie rezhimy [Urban Political Regimes]. *Vestnik Burjatskogo gosudarstvennogo universiteta. Jekonomika i menedzhment*, no 3, pp. 9-16.
- Timoshkin D. (2020) «Vas zdes' bol'she ne zhivet»: vnutrennjaja kolonizacija i gorodskie politicheskie rezhimy Irkutskaja i Krasnojarskaja v gorodskih media [«You are no longer here»: domestic colonization and urban political regimes of Irkutsk and Krasnoyarsk in city-level media]. *Politija*, no 1, pp. 98-116.
- Timoshkin D., Grigorichev K. (2022) «Chastnyj sektor» v semioticheskoj sisteme «postsovetskogo» goroda [Areas of single-family houses in the semiotic system of the “post-Soviet” city]. *Ojkumena*, no 2, pp. 138-151.
- Zimmel G. (1898) *Problemy filosofii istorii* [The Problems of the Philosophy of History: An Epistemological Essay], Moscow: Izdanie magazina «Knizhnoe delo».

Факультативные группы, невидимые индивиды: трансформация социальных отношений в новой технологической реальности¹

Руслан Хестанов

PhD in Philosophy, заведующий Лабораторией исследований культуры
Институт исследований культуры Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»; профессор Школы философии и культурологии.
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, Москва, Российская Федерация, 101000
E-mail: khestanov@hse.ru

Александр Сувалко

Заместитель директора Института исследований культуры
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
преподаватель Школы философии и культурологии.
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, Москва, Российская Федерация, 101000
E-mail: asuvalko@hse.ru

Статья нацелена на предложение альтернативного подхода к изучению социальных эффектов цифровизации. Она по большому счету предусматривала решение двух задач. Во-первых, оценку эпистемологического потенциала и ограничений существующих теорий и подходов. Во-вторых, предполагалось совершить нечто, что Луман вслед за Спенсером Брауном назвал повторным входением (re-entry): обнаружить слепые пятна этих теорий — различия, выводящие к невоспринимаемому, фоновому и редуцированному, а затем попробовать повторно вернуться к основным теоретическим концептам. Повторное входение легче всего совершить вместе с новыми эмпирическими материалами, которые предлагаются в данной статье. К результатам исследования можно отнести следующие: 1) предложение реактуализации концепта Гордона Паска «эстетически заряженной среды» в качестве мощного аналитического инструмента социальных и цифровых коммуникаций; 2) эмпирическое и теоретическое обоснование нерелевантности использования понятия «сообщества» в контексте исследований цифровых практик и замены его понятием «факультативные группы»; 3) фиксация и описание на основе полевых исследований новых форм цифрового поведения, которые являются неизбежными реакциями на принудительный или манипулятивный характер цифровых режимов, которые выражаются в нулевой активности продвинутых пользователей, в формирующейся цифровой этике отсутствия, в выработке новых форм самодисциплины.

Ключевые слова: эстетически заряженная среда, факультативные группы, невидимые индивиды, этика отсутствия, смартфон

Задачи исследования

Исходная посылка нашего исследования была умеренно консервативной и вполне соответствовала общим ожиданиям — она сводилась к тезису о том, что цифровые и сетевые средства коммуникации являются не просто инструментом, обес-

1. Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ и АНО ЭИСИ в рамках научного проекта № 21-011- 31549 («Трансформация социальных отношений в новой технологической реальности: риски и перспективы»).

печивающим функционирование социальных отношений, но принципиальным образом преобразуют их характер. Предполагалось тщательное изучение и верификация радикальной версии гипотезы о том, что цифровые и сетевые форматы коммуникаций поступательным образом вытесняют и даже замещают их прежние социальные формы. Взгляд на цифровые медиа как на структуры, генерирующие новые социальные ансамбли, показался нам слишком общим для понимания эволюции социальных процессов. Нам также не хватало важных нюансов, которые позволили бы в разговоре об Интернете и цифровой среде безоговорочно и свободно оперировать такими понятиями, как *сообщества* или *идентичность*. Интенсивная цифровизация, вторжение новых сетевых и цифровых технологий в социальную ткань усилили амбивалентность этих понятий.

Наше исследование предполагало решение двух задач. Во-первых, понять эпистемологический потенциал и ограничения существующих теоретических подходов. Во-вторых, совершить нечто, что Луман вслед за Спенсером Брауном назвал «повторным входением» (*re-entry*): обнаружить слепые пятна этих теорий — различия, выводящие к невоспринимаемому, фоновому и редуцированному, а затем попробовать повторно вернуться к основным теоретическим концептам. Повторное входение легче всего совершить вместе с новыми эмпирическими материалами, поэтому было необходимо найти эмпирический материал, который положил бы начало дискуссиям вокруг популярных теоретических позиций.

Однако решить эти задачи невозможно, не продумав стратегию эмпирической части исследования. Выбор перспективы наблюдения определялся рядом ограничений, с которыми сталкиваются коллеги, интенсивно использующие методы сбора материалов онлайн.

«[П]риходится признать, что значительную часть людей, которые в той или иной степени присутствуют в Сети, нельзя зафиксировать с помощью онлайн-методов. Перед исследователем, естественно, встает вопрос методологии: если с помощью онлайн-рекрутмента можно описать представителей “ядерной” интернет-аудитории, то как быть с теми, кто вроде бы относится к интернет-аудитории, но крайне слабо интегрирован в нее? И вот тут возникает мысль о привлечении этнографических и иных качественных методов — хотя бы для того, чтобы понять, как пользуются цифровыми инструментами эти люди» (Колозариди, 2021: 67).

После накопления определенного опыта онлайн-наблюдений стало понятно, что априорными формами таких исследований являются сами цифровые устройства, интерфейсы мониторов или алгоритмы сбора больших данных. Используя онлайн-методы, можно отслеживать, каким образом устройства детерминируют социальные или культурные аспекты жизни, поведение людей. Но остаются незамеченными такие социальные отношения и практики, которые исключают, отменяют или ограничивают использование устройств. Поэтому интересно плотнее изучить не только то, что интегрировано в Интернет, но также те социальные

практики и ситуации, из которых люди стремятся устранить назойливую повсеместность устройств цифровой связи.

Ради преодоления ограниченности онлайн-методов было решено взглянуть на социальные эффекты цифровизации со стороны тех, кто пользуется цифровыми устройствами, а не наблюдать за поведением цифровых аватаров или сообществ со стороны мониторов и технически заданных интерфейсов. Если повседневная жизнь, отношение с государством или рынками структурируется электронной почтой, досками объявлений, текстами, мгновенными сообщениями, видеоконференциями, сайтами социальных сетей и развлечениями на экране, то имеет смысл взглянуть на этот процесс не только со стороны интерфейсов. Внимание было сосредоточено не на анализе данных, не на профилях, дискурсах и сленгах, не на цифровых группах или сообществах, наблюдаемых через мониторы и экраны технических устройств, а на суждениях и рефлексиях живых людей, активно включенных в цифровые коммуникации. Фиксировались различия, актуальные для самих пользователей, различия, помогающие им структурировать цифровую среду, осуществлять в ней навигацию, оценивать предпочтительность цифровых или нецифровых инструментов коммуникации в конкретных ситуациях, характеризовать субъективно переживаемое время, идентифицировать ценности и единомышленников и т. д. Использование методов традиционной этнографии казалось хорошим решением, которое оградит от риска превращения эмпирического материала в очередной набор наглядных примеров уже заданных теоретических перспектив.

Нам пригодились методологические разработки этнографии Шерри Теркл (Turkle, 2005). Она пыталась показать, как компьютер оказывает влияние на формирование различных компьютерных субкультур в зависимости от доминирующих «тем», характеризующих отношения с этим устройством. Согласно Теркл, для субкультуры ученых и инженеров, занятых искусственным интеллектом, общей и главной темой является метафизика (человек/машина), для хакеров первостепенными были вопросы мастерства, а для любителей и владельцев домашнего компьютера на первый план выдвигались темы идентичности. Однако эти исследования проводились в 1980-х годах, и Теркл интересовало влияние одного устройства — компьютера, нас же, переживших вторжение цифрового роя сетей, устройств и программ, интересовало влияние процесса цифровизации. Если Теркл ставила акцент на культурных эффектах (субкультуры, восприятия, представления, стили взаимодействия), то мы несколько расширили перспективу, обратив внимание на социально-культурные эффекты (сообщества, идентичности, практики повседневности).

В процессе развития исследовательского проекта возникла трудность, характерная для любой попытки удержать в одном фокусе эмпирическую и теоретическую перспективы. Теоретическая проблематизация и эмпирический материал зачастую оказывались несовместимыми или несоизмеримыми, поскольку опирались на разные базовые предпосылки, дисциплинарные матрицы или дис-

курсивные порядки. Полученный с помощью фокус-групп материал с трудом сочетался с известными способами теоретических высказываний в едином дискурсивном регистре, поскольку высказывания респондентов отличались своеобразием и идиосинкразичностью. По тому, насколько успешно мы эту трудность преодолели, можно судить об успешности нашего предприятия.

В полевой части исследования, имевшей качественный характер, трудно претендовать на исчерпывающую репрезентативность или количественно обосновать распространенность пользовательских практик и оценок. Тем не менее частично этот вопрос был решен за счет того, что организованные нами фокус-группы (а это был основной инструмент, к которому мы прибегли) проводились по единому сценарию в четырех населенных пунктах страны с тремя различными возрастными категориями². В пользу репрезентативности результатов свидетельствует то, что в разных регионах были схвачены одни и те же тенденции и структуры различий.

Теоретический контекст

Как эмпирическая, так и теоретическая части статьи сосредоточены вокруг понятий *сообщества* и *идентичности*. Трудно представить современные социальные дисциплины без этих понятий, они продолжают играть роль основных *единиц анализа* в социальных исследованиях. И это несмотря на то, что от них не раз пытались избавиться, подвергая критике за расплывчатость и неопределенность. В этом смысле иллюстративны злоключения понятия *сообщества*. В уже далеком 1955 году Джордж Хиллери предпринимает одну из самых монументальных попыток собрать все определения *сообщества*, с тем чтобы выявить зону согласия между исследователями, и терпит на этом пути поражение. Хотя он больше других преуспел в составлении полного списка определений (а насчитал он их ровно девяносто четыре), общим знаменателем определений стала неутешительная констатация — сообщества просто так или иначе имеют отношение к людям (Hillery, 1955). Чуть более десятилетия спустя о сообществе пишут как о «не-концепте» (Stacey, 1969). В 1970-х его характеризуют как источник социологических иллюзий (Scherrer, 1972), а к середине 1970-х годов намечается резкий упадок интереса к так называемым *community studies*, о чем свидетельствует график в поисковике Ngram Viewer³. Вопреки массивной критике понятие *сообщества* переживает ренессанс с наступлением эпохи новых коммуникационных технологий и цифровизации. Нельзя сказать, что все аргументы против были забыты — так или ина-

2. На фокус-группы были приглашены продвинутые пользователи цифровых устройств. Всего было проведено 13 фокус-групп (по три в Петрозаводске, Сатке и Владикавказе и четыре в Москве) с тремя возрастными категориями — лицами молодого (от 18 до 30 лет), среднего (от 31 до 45) и старшего возраста (от 46 до 65). Далее в ссылке на группу в круглых скобках будут указываться с заглавной буквы населенный пункт и возрастная категория. Например: (М., 18–30).

3. [https://books.google.com/ngrams/graph?content=community+studies&year_start=1900&year_end=2019&corpus=26&smoothing=3]

че они продолжают воспроизводиться и становятся только резче и радикальнее, вплоть до отказа от социальной перспективы как таковой.

Наш краткий обзор теорий, внимание которых было сосредоточено на социальных эффектах цифровых коммуникаций, будет своеобразным подведением итогов, целью которого является типология теоретических интерпретаций понятий *сообщества* и *идентичности*. Условно было выделено три типа перспектив.

1. Некритическая экстраполяция — наиболее распространенный подход — выражается в том, что принятые в социальных науках категории и понятия механистически экстраполируются на цифровой универсум. Как правило, работы, написанные в таком ключе, начинаются с устоявшихся в социологии определений *общества*, *сообщества* или *идентичности*, с отсылками к Тённису (2002) или Дюркгейму (1996), а затем с незначительными поправками или дополнениями переносятся на цифровую среду⁴. Такой взгляд обещает целый ряд преимуществ прикладного характера. Например, интерфейсы социальных сетей, о чем мы еще будем говорить, сконструированы так, чтобы пользователям были видны индивидуальные профили, сообщества и группы, что по умолчанию должно облегчить навигацию индивидуального пользователя в цифровой среде. Однако взгляд на цифровую среду как на виртуальный дубликат воображаемых социальных отношений и сущностей является наивной экстраполяцией, поскольку вся предшествующая история их критики игнорируется. Простая экстраполяция в цифровой универсум резко повышает уровень амбивалентности перенесенных понятий, поскольку вынуждает игнорировать те изначальные различия, благодаря которым они были порождены.

Будет бесполезно напомнить, что понятие *сообщества* возникло в результате консервативно-романтического сопротивления, отстаивавшего права на автономию и свободу *pouvoirs intermédiaires* перед лицом процессов индустриализации и государственной централизации. Это ярко выразилось у Отто фон Гирке, который понимал сообщество как особый тип ассоциации — как *товарищество* (*Genossenschaft*), как коллективное существо, способное желать, чувствовать и действовать *как личность*. Гирке настаивал на реальности существования и моральной ценности групп как личностей, на том, что люди действительно ощущают себя частью группы, идентифицируют себя с ней, становясь «внутренне» и «внешне» —

4. Вот один из примеров декларации подобного подхода: «Несмотря на большое количество определений сообщества, они, как правило, имеют две характеристики: 1) сеть отношений между группой людей, связанных с аффектами, и 2) преданность набору общих ценностей, норм и смыслов, а также общей истории и идентичности. В сообществе есть чувство «МЫ-сообщества; каждый является его членом», и сообщество обычно рассматривается как прямой контраст обществу, в котором царят корысть, индивидуализм и конкуренция... Эти характеристики сообщества распространяются и на онлайн-среду двухмерных и трехмерных виртуальных миров, где виртуальные сообщества, также известные под такими названиями, как электронные сообщества, онлайн-сообщества, электронные сети и сети знаний, переживают беспрецедентный рост. Эти сообщества принимают различные формы: от местных групп по интересам до глобальных профессиональных сообществ, от сообществ клиентов до пользовательских инновационных сообществ и сообществ с открытым исходным кодом» (Morr et al., 2011: XIII).

субъективно и объективно — ее частью. Групповое сознание, которое не является простой суммой сознаний отдельных людей, по его мнению, является реальностью. Понятие *сообщества* имело политико-правовую значимость, поскольку позволяло обосновать справедливую конституцию и новую систему права через моральную независимость и политическую автономию ассоциаций гражданского общества от государства и от рыночной стихии. Гирке полагал, что сообщества образуют особую сферу *социального права*, расположенную между частным и публичным правом (Black, 1990: XIV).

Нынешнее употребление понятия *сообщества* отличается забвением этого изначального политико-правового основания, что выражается, в частности, в том, что сообщества становятся простым обозначением разного типа коллективностей, группирований или множеств: конsumerистское сообщество (Utz, 2009), сообщества практик (Wenger, 1998) и даже сообщества хештегов (Zappavigna, 2011), разного рода профессиональных сообществ (медиков, рыбаков или учителей) и в последнее время также морских гребешков у представителей акторно-сетевой теории (АСТ) (Каллон, 2015). В мутациях изначального различения, которым было маркировано понятие *сообщества*, мы наблюдаем смещение фокуса наблюдения с социально-политической онтологии коллективных субъектов к принципам классификации населения на группы. Однако непрерывные отсылки к изначальному смыслу понятия *сообщества* привносят в виде фоновых коннотаций смыслы, придающие выделенным социальным группировкам социально-политическую субъектность, наделяя их волей, полномочиями или желаниями, хотя данные группы могут представлять собой лишь удобные классификаторы и категоризации общества.

2. Генеративный подход связан с попытками выделения новых цифровых медиа в относительно автономные структуры, производящие уникальные формы социальных связей. В противоречивой, но основополагающей книге 1993 года Говарда Рейнгольда «Виртуальное сообщество: сообщество на электронном пограничье», вокруг которой до сих пор продолжается полемика, впервые вводится понятие *виртуального сообщества*. Рейнгольд исходил из предположения, что внутри виртуальных сообществ «люди делают то же самое, что они делают в реальной жизни. Но при этом их тела не взаимодействуют. В виртуальном пространстве вас некому поцеловать или ударить кулаком в нос» (Rheingold, 1993: 3). При этом онлайн-коммуникации рассматриваются как параллельные коммуникациям социальным, а сами виртуальные сообщества определяются как «социальные агрегаты», возникающие внутри Сети. Иначе говоря, Рейнгольд утверждал, что технология может генерировать свое собственное сообщество и все пользователи «неизбежно» создают виртуальные сообщества с помощью интернет-технологий, «подобно тому, как микроорганизмы неизбежно создают колонии» (Ibid.: 5-6).

Позиция, сформулированная Рейнгольдом, оценивается большинством академических исследователей как утопическая (Goodwin, 2004). Да и сам Рейнгольд семь лет спустя пересматривает ее и отказывается от генеративной перспективы:

«Одно из главных различий между тем, что я знаю сейчас, и тем, что я знал, когда писал первое издание этой книги, заключается в том, что я понял: виртуальные сообщества не будут автоматически возникать или расти... просто при добавлении форума или чата на веб-страницу» (Rheingold, 2000: 341). В чистом виде с генеративной перспективой на цифровизацию мы сталкиваемся в маркетинговом дискурсе крупных технологических корпораций, которые претендуют на то, что создаваемые метавселенные или экосистемы являются новой социальной инфраструктурой (Dijk et al., 2018: 29). Этот взгляд транслируется в средствах массовой информации и становится общим местом в современном массовом сознании, исподволь проникая в академическую среду и образуя компромиссные или умеренные вариации поступательного поглощения или замещения аналоговых социальных коммуникаций цифровыми⁵. Подобного рода компромиссные трактовки мы обнаруживаем в такой новой дисциплине, как *информатика сообществ* (*community informatics*), усилия которой отражены в публикациях академического журнала *The International Journal of Community Informatics*⁶.

Значимый эвристический потенциал генеративного подхода демонстрирует социология мобильностей Джона Урри, который вслед за Мануэлем Кастельсом обращает внимание на особые формы коллективов и групповой солидарности, которые можно обнаружить только в сетевых организациях так называемых «партизан информационной эпохи». Речь, как правило, идет о кристаллизации в цифровом пространстве краткосрочных группирований («бундов») вокруг хобби, праздничных или эмоционально заряженных событий вроде политических манифестаций (Филиппов, 2011: 11). Но одним из признаков таких группирований является непродолжительность их существования, позволяющая сравнивать их с коллективными формами действия вроде флешмобов, что возвращает нас снова к вопросу об изначальном смысле понятия *сообщества* и его непрерывной эрозии в социальных науках.

3. Постгуманистический подход настаивает на полном очищении социальной теории от реликтов антропоцентризма, или, как выражался Никлас Луман, от «гуманистических предубеждений» (Луман, 1994). Этот подход опирается на игнорирование отличий между человеческими и нечеловеческими объектами, на критику выстроенных вокруг человека иерархических онтологий, противопоставляя им онтологии децентрализованные, дегуманизированные и «плоские». Внутри этого направления прослеживаются сложные линии преемственности, которые мы обозначим лишь пунктиром — от кибернетики Н. Винера к кибернетике второго порядка К. фон Ферстера, подхваченной Луманом, понимавшим социальные системы как смысловые системы коммуникаций, до АСТ Бруно Латура и дискурсивных сообществ современной социолингвистики.

5. Наиболее показательным в этом плане является сериал «Черное зеркало» (Black Mirror, 2011 — н.в.), призванный продемонстрировать тотальную зависимость жителей больших городов от социальных сетей и те опасности, к которым приводит такое вовлечение.

6. См.: <https://openjournals.uwaterloo.ca/index.php/JoCI/index>

Мотивы и доктринальные предпосылки сторонников этого подхода различны, но нам важно отметить их общее стремление если не искоренить, то сделать второстепенными, или радикально пересмотреть целый ряд укорененных в социальных науках понятий — *индивида, сообщества или идентичности*, в которые вшиты антропоцентрические реликты. Скажем, для АСТ и социолингвистики предметной данностью является не социальное бытие индивидов и коллективных сущностей, но многообразие данных или переменных, из которых в одинаковой мере могут конструироваться как индивиды, так и коллективы. Такими переменными могут быть идентичности (именно так — во множественном числе), которые понимаются не как стабильные и определенные характеристики конкретных индивидов, но как элементы некоторого абстрактного множества — набора ресурсов, который может использоваться (по аналогии с языком) конкретными людьми для представления или выражения себя в процессе взаимодействия с другими (Bucholtz, Hall, 2005). Для Лумана сообщества являются лишь онтологическими фиксациями (Fixpunkte), зависимыми от систем более высокого порядка — от систем коммуникации.

По аналогии с квантовой механикой Латур предлагает парадоксальную перспективу — индивид может рассматриваться одновременно как *актор* (частица), осуществляющий избирательную коммуникацию с другими актерами, и как *сеть* (волна), сплетение свойств (качеств, навыков, идентичностей и т. д.), по произволу изъятых из предзаданного набора ресурсов или данных. Аналогичным образом понимается коллектив или сообщество — как набор моделей аффилиации вокруг интернет-мемов, интересов, хобби, хештегов, принадлежности к среде или сленгу. Сообщество, как и любые другие формы коллективности или индивидуальности, уходит на второй план как набор переменных, а фокус концентрируется на «способах циркуляции стандартов через сеть, моду, сплетни, эпидемии и т. д.» (Latour, 2011: 807).

Можно было бы посмотреть на подобные теории как на разные версии решения проблемы социальной сложности, однако они представляют собой нечто большее, а именно — один из наиболее осязаемых эффектов развития технологий. Латур это прекрасно сознает, когда говорит, что исчезновение из его словаря прилагательного «социальный» есть прямой результат технического развития: «Мое утверждение, а точнее, утверждение АСТ... состоит в том, что сама идея индивида и общества является просто артефактом рудиментарного способа накопления данных. Простое умножение цифровых данных сделало коллективное существование (я больше не использую прилагательное “социальное”) *отслеживаемым* совершенно иначе, чем раньше. Почему? Благодаря той самой технике, которую вы, дамы и господа, принесли в мир» (Latour, 2011: 803). Социальность, таким образом, элиминируется за счет решения проблемы сложности — редукции к тексту, системе или сети.

Подводя промежуточный итог, можно сказать, что новая технологическая реальность и процессы цифровизации привели к росту спроса на теории, кото-

рые в той или иной степени изымают социальное из своего анализа. Мало того что сообщества и идентичности утрачивают прежнюю степень автономии и укорененности, например, в человеческой природе, они становятся производными *иных*, не социальных, в принципе, *каких угодно* процессов. Они не коррелируют с обществом, но представляют собой производные «данных» и «переменных», абстрактных множеств или ресурсов. Им несть числа, и существование их мимолетно. Фундаментальным свойством коллективов и идентичностей становится, таким образом, их пластичность, детерминированность, искусственность или программируемость. Поэтому фокус теорий сосредоточен на технике их конструирования и поддержки.

Что показали фокус-группы

Антропологический характер эмпирического исследования, как и выбор методологии фокус-групп, предполагает возвращение агентности человеку, что, естественно, устанавливает дистанцию с постгуманистическим подходом. В перспективе «гуманистических предубеждений» *аналоговый*⁷ и *цифровой* миры сопряжены благодаря человеческой агентности. Это позволяет вернуть в обсуждение целый ряд вопросов: на каких основаниях отдаленные друг от друга пространства люди могут посредством цифровых машин образовывать разнообразные социальные композиции? Что служит цементирующим раствором техно-социальных композиций? В какой степени поведение людей и коллективные взаимодействия детерминированы цифровыми устройствами?

Вполне ожидаемо, что грань, отделяющая наш подход от постгуманистического, должна была проявиться более отчетливо в ходе работы с фокус-группами. Действительно, вне зависимости от темы обсуждения в рассуждениях наших собеседников возникали два взаимосвязанных, упрямых и неперенных мотива. Первый мотив был связан с необходимостью контроля (или самоконтроля) активности в цифровой среде, которая требовала специфических усилий, правил поведения и самоорганизации. Второй мотив — чувственно-аффективная заряженность цифровых коммуникаций, а также использования цифровых устройств. При этом участники фокус-групп проводили четкое различие между активностями в цифровом и не-цифровом мире. Отсюда возникал вопрос: каким образом осуществляется синхронизированная координация между поступками людей в цифровом и аналоговом мирах?

Самоконтроль и самодисциплина. Вопреки расхожему мнению, связывающему цифровую культуру с эпатажем, распушенностью и, конечно же, прокрасти-

7. Хотя у термина «аналоговый» в нашем употреблении, условно обозначающем сферу «не-цифрового» или даже «реального», есть явные романтические коннотации, связанные с ностальгией по миру, в котором технологии не обрели подавляющей значимости, мы полагаем такое его использование вполне уместным, поскольку благодаря дискуссиям об *аналоговом* и *цифровом* такое словопотребление обрело свой теоретический статус (Galloway, 2022). Кроме того, оно стало приемлемым и удобным инструментом различения в обыденном языке и публицистике.

нацией, среди респондентов мы чаще наблюдали высокий уровень требовательности к собственному поведению, стремление к речевому самоконтролю, которое выражалось в глубокой рефлексивности и дифференцированном подходе в оценках коммуникативных возможностей отдельных каналов, форматов и способов цифровой коммуникации. Зримое для респондентов несовершенство смартфона, программных приложений и иных способов сетевых взаимодействий в первую очередь фиксировалось в виде неустрашимых искажений коммуникации. Цифровые устройства усилили беспокойство по поводу того, что в передаваемом сообщении с трудом понимается намерение, которое за ним стоит. Отсюда потребность в усилении контроля собственных высказываний и самовыражения, а также большая щепетильность в выборе формата коммуникации. Респонденты часто отказываются от мессенджеров в контактах с близкими родственниками или начальниками, предпочитая личную, не опосредованную устройствами коммуникацию, поскольку довольно часто возникали эмоционально окрашенные происшествия, связанные с искажением передаваемых сообщений. Эмодзи и прочие символические обозначения модусов эмоционального, по словам респондентов, не предотвращают коммуникационные сбои.

Напишешь что-нибудь, каждый в зависимости от своего настроения поймет, что ты написал. Перед тем, как ставить знак препинания, нужно 10 раз подумать, ты пишешь его вот так, а смайлики эти все, эмодзи, или как они там, человек их воспринимает исходя из своего ощущения, настроения, какие эмоции он тогда испытывал, не думает, что ты писал в тот момент, поэтому не люблю переписку и стараюсь звонить, даже если вот так общаюсь, не переписываться (В., 31–45).

Соответственно, способы контроля поведения в сильной степени определяются тем, что в теории информации назвали бы пропускным потенциалом канала. Звонок по телефону, реплика в мессенджере или написание текста в электронном письме предполагают разные контролирующие усилия. Участники фокус-групп проявляли большую изощренность в том, чтобы «навести порядок» в своих цифровых коммуникациях. Этот порядок устанавливался с помощью классификаций устройств и программных приложений, которые строились в зависимости от того, с кем, когда и с помощью какого канала осуществляется взаимодействие.

С удовольствием бы отказался от ватсапа, так как он только мешает, все это делает электронная почта, особенно с учетом того, что те документы, которые присылают, надо редактировать и внимательно изучать. Телефон только мешает получать от клиентов качественную информацию, они не утруждают себя тем, чтобы полезть на нормальный сайт, нормально что-то изучить... а еще! Если б можно было их анафеме предать за голосовые сообщения... сразу пожизненное давать за голосовое сообщение, чтоб ты потом все равно позвонил и попросил все изложить по новой! Не получилось от ватсапа отказаться, была героическая попытка, не вышло (В., 31–45).

Главными рубриками классификации цифровой активности были следующие: семейный/развлекательный/рабочий/новостной/образовательный. Наиболее устойчивыми различиями были: семейный/рабочий, работа/развлечение, познавательный/развлекательный. Более сложные, рефлексивные критерии различения коммуникации основывались на наблюдениях о том, какую меру искажения сообщения предполагают те или иные способы связи (приложения, телефон, видеосвязь, личный контакт), а также с точки зрения необходимой скорости передачи сообщений — отложенная/мгновенная. Именно внутри континуумов подобных различий выстраивается не только прагматика поведения, но разные практики самоконтроля и самодисциплины в цифровой среде.

Смартфон использую для связи с родными и близкими. При помощи стационарного компьютера общаюсь по рабочим вопросам с коллегами из Москвы, из Петербурга, с местными коллегами и с теми, с кем знаком в социальных сетях — в Фейсбуке, Телеграме. Я стараюсь больше общаться через гаджеты, потому что в письменном виде надо внимательно и четко выстраивать текст, чтобы было понятно и не было вопросов (П., 46–65).

Явным образом избирательность по отношению к цифровым каналам передачи является отражением правил распределения информации, которые люди устанавливают для себя в аналоговом мире. С близкими, клиентом или начальником предпочтителен, скажем, личный контакт, а иногда с разными категориями «близких» выделяются отдельные каналы коммуникации.

У нас есть и в Инстаграме домашний чат, где есть мои сестры и нет бабушки и мамы, к примеру, и в вотсапе чат — там бабушка и мама, все вместе... Буквально одна улица нас разделяет, мы видимся каждый вечер, каждое утро (В., 18–30).

Выбор формата связи для конкретного акта коммуникации и категоризация контактов предельно индивидуализированы. Они могут определяться отношениями в семье или на работе, привычками друзей, собственными пристрастиями и очень разными обстоятельствами времени и места. В принципе, собранный эмпирический материал свидетельствовал о том, что каждый пользователь озабочен проблемой управления неизбежными сбоями и искажениями в коммуникации, а разрешение этой озабоченности он видит в установлении баланса между самоконтролем или самодисциплиной и пропускными возможностями каналов. Наладка социальных коммуникаций осуществляется с помощью индивидуализированных наборов «факультативных правил», как могли бы выразиться Лабов, Фуко и Делез (Делез, 1998: 133). Каждый пользователь следует правилам и категоризациям, но у каждого они свои и вырабатываются они идиосинкразически. Поэтому синхронизированная координация *цифрового* и *аналогового* осуществляется как чувственно-эстетическая регуляция. Правила и регуляция цифрового и аналого-

вого поведения являются эмпирически фиксируемыми маркерами процесса субъективации, образующего пространства внутреннего с помощью технологий отношения с собой (самореференции) и окружающим миром (инореференции). Схема субъективации, с помощью которой Фуко описывал разные технологии самости, работает на усиление самоконтроля и дуалистического разделения между автономной самостью и ее окружением. Стоические техники, например, способствуют формированию самости, невосприимчивой к катастрофам.

На такой концептуальной схеме мы остановились после первичной обработки полевого материала. Она, однако, оказалась недостаточной, поскольку игнорировала проблемы, связанные с цифровой инфраструктурой — была к ней нечувствительна. Нужно было искать иное решение, более удачную концептуальную перспективу, чтобы выигрышным образом структурировать материал. С нашей точки зрения, более продуктивной перспективой является концепт *эстетически заряженной среды*, предложенный одним из пионеров британского кибернетического движения Гордоном Паском в 1960-е годы. Этот почти забытый концепт стоит воскресить и вернуть в научный оборот.

Обобщая исследовательские и инженерные интересы Паска, можно сказать, что его увлекала проблема возможности диалога, игры или любой другой формы интерактивного взаимодействия человека с не-человеческим, в том числе с автоматами, программами или алгоритмами, в которых он видел экстернализированные способности человека — памяти, обработки информации или рационального расчета. Автоматы наряду с людьми образуют окружающую среду обитания для современного человека. Делезианская мысль называет подобные среды ассамбляжами. На первый взгляд *эстетически заряженные среды* не отличаются от ассамбляжей делезианцев или сетей АСТ, поскольку в одинаковой мере игнорируют отличие человеческого и не-человеческого, приписывая им способность принимать решения, реагировать и приспосабливаться к среде. Эстетически заряженную среду образуют наряду с человеческими «разумами» не-человеческие «разумные» элементы — некоторые компьютерные программы, алгоритмы, боты, но также архитектура, природа и ее отдельные фрагменты — все то, что включено в определенный семиотический домен. Паск призывает смотреть на эстетически заряженные среды так, будто в них есть элементы, которые принимают решения:

«Нет необходимости рассматривать разум как нечто аккуратно помещенное в мозг, соединенное сетью каналов, называемых “медиа”. ...Я приглашаю читателя попробовать другую точку зрения, а именно образ всепроникающей среды (или сред), населенной разумами в движении. Таким образом, медиа характеризуются как вычислительные системы, хотя и особого рода» (Pask, 1977: 39).

Однако Паск через «черный ход» протаскивает гуманистическую точку зрения, когда вводит в эти среды аффективно-чувственный динамизм, то есть эстетику. Для него эстетическое является тем раствором или клеем, который удерживает ас-

самбляжи человеческого и не-человеческого в едином средовом комплексе, представляя собой базовое условие сохранения гомеостаза внутри среды. Напротив, сети или ассамбляжи, лишённые человеческой энергии аффективно-чувственно-го, остаются обездвиженными и застывшими. В них отсутствует динамика и событийность. Благодаря аффективно-чувственному среда становится динамичным семиотическим доменом, тогда как в сетях и ассамбляжах смысловая динамика проблематична.

Инженера Паска интересовал технологический вопрос о том, как конструировать *эстетически заряженную среду*. Он выработал ряд правил или требований, ее описывающих:

а) она должна предлагать достаточное и потенциально контролируемое разнообразие, необходимое человеку, но не перегружать разнообразием — если это случится, то среда будет просто непонятной;

б) она должна содержать формы, которым человек может научиться интерпретировать на разных уровнях абстракции;

в) она должна давать подсказки или содержать по умолчанию установленные инструкции, чтобы направлять процесс обучения;

г) она может, кроме того, реагировать на человека, вовлекать его в разговор и приспособлять его характеристики к преобладающему способу общения (*prevailing mode of discourse*) (Pask, 1971: 76).

Элементами среды, по Паску, могли быть машины и автоматы, человеческие аудитории, нейроны мозга, компьютеры и т. п. — такие элементы, которые «принимают решения». Он предлагает описание этих сред в статье, где рассказывает об истории проекта Musicolour, сконструированного им аппарата для светозвукового шоу, который находился в «диалоговом» взаимодействии с импровизирующим музыкантом. Паск был изобретателем и распространителем первых аудиовизуальных устройств. Но как для теоретика Musicolour было для Паска моделью *эстетически заряженной среды*, с которой музыкант вступал в диалоговое отношение (через петли обратной связи). Не-человеческое становилось партнером человека. Он также называл такие среды «реагирующими» или «адаптивными», а сегодня ее можно было бы назвать распределенной когнитивной средой.

К подобным средам можно отнести среды цифровые, населенные умными устройствами, программами, протоколами или алгоритмами, работающими как элементы распределенного и экстернализованного «разума». С такой средой и ее отдельными элементами человек может вступить в диалоговые взаимодействия. Режим такого взаимодействия человека и умной среды Паск называет *кибернетической взаимностью*, или *симбиозом* (*cybernetic mutualism*). Грубо и схематично это выглядит так: многочисленная армия компьютерных инженеров, следуя определенным правилам (вроде тех, что у Паска), конструирует цифровую инфраструктуру, а отдельные пользователи обживают эту инфраструктуру, создавая собственные цифровые вульвы — *эстетически заряженные среды*.

В игре кибернетической взаимности у каждой агентной стороны — компьютерного инженера, созданных им креатур или у индивидуального пользователя — есть конкурирующие проекции и контуры контроля, координация которых достигается эстетически. Степени контроля каждого из агентов сравнимы и сопоставимы в зависимости от того, какой из них оказывает определяющее влияние на конфигурацию среды. Но почему среда является заряженной именно эстетически? Во-первых, она обладает богатым потенциалом производства переживаний, которые могут быть извлечены во взаимодействии с ней (Паск приводит пример картины). Во-вторых, она разумна и отзывчива, поскольку понимает и приспосабливается к любому жесту, слову или действию человека. В-третьих, динамический гомеостаз среды, само ее существование, обеспечивается принципом удовольствия, которое человек извлекает из диалога с умной средой и отдельными элементами распределенного в среде разума. Отсюда на кибернетический манер можно сформулировать основополагающую максиму эстетически заряженной среды: *контур контроля совпадает с контуром удовольствия*.

Эта максима вполне приложима к цифровым средам. Пользователь становится достижимым для внешнего контроля благодаря удовольствию, которое он испытывает от возможностей интерактивных коммуникаций. Однако он стремится к самоконтролю и к дисциплине, формируя для себя комфортную среду, исходя из собственных соображений об удовольствии/неудовольствии. Инженеры сетевой инфраструктуры стремятся добиться контроля над поведением пользователей, ориентируя и адаптируя устройства к самым изысканным эстетическим паттернам. Умные цифровые машины расширяют пространство контроля, адаптируясь к поведению пользователей и специфическим задачам инженеров. Однако для всех инстанций агентности правила симбиоза устанавливаются эстетической регуляцией.

Смартфон как универсальный портал. Судя по всему, в начале 1980-х футурологи не могли поверить в возможность такого сверхминиатюрного, мобильного, многофункционального личного устройства, как современный смартфон. Когда Дж. Мартин рисовал будущее телематического общества, он мог представить нечто вроде карманного терминала, но не карманный компьютер: «Прежде люди имели при себе карманный калькулятор, теперь — карманный компьютерный терминал. У него безграничное число применений. Подключив его в любом месте к сетям связи, можно получить доступ ко многим компьютерам и банкам данных» (Мартин, 1986: 374).

Сегодня среди цифровых устройств, обеспечивающих разные способы входа в цифровую среду, преимущество принадлежит «карманному компьютеру» — смартфону. Его можно назвать артефактом кибернетического симбиоза или техническим воплощением чувственности современного человека. Из всех цифровых устройств по отношению к смартфону (респонденты нередко называют его телефоном) чаще всего можно услышать яркие и эмоционально окрашенные характеристики и суждения.

Он уже прилип к моей руке (В., 18-30).

Вдруг у меня разбивается телефон без возможности быстро приобрести другой — и всё, у меня буквально нервное состояние, то есть у меня качество жизни очень падает без доступа к соцсетям (М., 31-45).

Наше изначальное стремление обсуждать разные цифровые устройства было отклонено в ходе фокус-групп участниками, поскольку в подавляющем большинстве случаев в центре внимания непременно оказывался смартфон: «Телефон — уже самая необратимая вещь» (С., 31-45). С помощью этого устройства структурируется индивидуальная повседневная жизнь, происходят рабочие встречи, общение с близкими или клиентами, совершаются покупки и тому подобное.

От телефона сложнее всего будет отказаться, потому что там чуть ли не полжизни нашей находится (С., 31-45).

100% моего времени — телефон... и вся социальная жизнь, рабочая в телефоне (П., 18-30).

Грубо говоря, с того времени, как я проснулась, и до 12 ночи идет постоянное использование телефона (П., 18-30).

Важно отметить, что респонденты были склонны в разговоре путать цифровые устройства и приложения. Разницу они понимали отчетливо, но почти во всех группах приходилось акцентировать это различие специально. Смартфон — это овеществленная человеческая психосоматика, функциональное совершенство которого проявляется в неуловимости различия между аппаратом и программным обеспечением, что делает его для многих *интуитивным медиумом*. Его функционирование почти незаметно, разве что необходимость частой зарядки. На работу устройств и машин обращают внимание, когда что-то расстраивается, происходит сбой или зависание. Несовершенства смартфона заметны лишь тем пользователям, которые используют его в силу принудительных обстоятельств — той или иной профессиональной необходимости. Как объяснил один из собеседников, профессиональная деятельность которого требует особого внимания к документообороту, мессенджеры не очень удобны для быстрого и простого поиска нужного документа, а потому ему *«хотелось бы использовать компьютер, но приходится телефон... Смартфон — упрощение во всем, и людям как-то проще»* (В., 31-45).

Культурная значимость смартфона схватывается лучше всего в парадоксальной перспективе — в зримых для пользователя несовершенствах, с одной стороны, и почти универсальной функциональности, достигаемой посредством упрощения всевозможных форматов коммуникаций (звуковых, символических, образных, речевых и т. д.), предлагаемых приложениями. Упрощает коммуникации не только мобильность, миниатюрность и далеко еще не полностью реализованная с помощью разнообразия приложений многофункциональность, но и понижение уровня требований к навыкам пользователей — демократизм устройства.

Адаптация коммуникаций к цифровой неискренности пользователей — вот на чем построена непреложность смартфона, его подавляющее вытеснение других устройств цифровой коммуникации, требующих развития более специальных компетенций. Одним из социальных эффектов использования смартфона стало понижение уровня цифровых компетенций в некоторых фракциях молодых пользователей. Респондент, по-видимому, преподаватель вуза, поделился следующим наблюдением, которое было бы крайне полезно верифицировать специально:

Я сейчас вижу, что у студентов, вот такое было в начале 2000-х, студенты просто не могли подойти к компьютеру, они просто не знали, как к нему подойти, сейчас тоже такое — у них нет компьютеров в принципе, я уже не ожидал, что в 2021 году увижу людей, которые не знают, как пользоваться компьютером. Им все это заменил телефон. Вдруг обнаружилось, в 2021 году ты должен человеку объяснять какие-то вещи, ему нужен новый ящик показать, новый мир открывать, это надо учитывать, тут же надо понимать, это нам надо подстраиваться (В., 36–45).

То, что использование определенных цифровых устройств может обозначать социальные и имущественные водоразделы, не является новостью, которую можно извлечь из приведенной цитаты. Компьютер менее доступен, чем смартфон для семьи с небольшим достатком. Новостью также не является посредственный уровень школьных уроков компьютерной грамотности. В приведенном примере проявилась одна из главных тенденций развития техники, которая нацелена на поступательное понижение уровня требований к специальным навыкам и знаниям, в частности, к знаниям о том, как устроена машина. Таким образом, одной из главных социальных тенденций, связанных с техникой, или даже социальных функций техники, кроется в ее нацеленности на адаптацию к незнанию и отсутствию компетентности. Смартфон в этом смысле практически идеально приспособлен к когнитивным и психосоматическим несовершенствам человеческого существа.

Факультативные группы. Проведенные фокус-группы показали, что участники схватывали понятие *сообщества* как метафору, предпочитая употреблять иные выражения — группы, чаты, «болталки» и проч., что могло свидетельствовать о том, что место для сообществ зарезервировано в пространствах вне цифровых сетевых взаимодействий. Но главное наблюдение состоит не в этом. Генерируемая цифровыми коммуникациями социальность имеет едва уловимую специфику, которая также связана с эстетической регуляцией. В словах некоторых респондентов мы фиксировали разложение привычных форм групповой лояльности. Проявляется оно в падении значимости для заметного числа пользователей своеобразия, самобытности или уникальности группы. В таких случаях не имеет смысла говорить о принадлежности к группе, но скорее к определенному множеству или типу групп.

Я импульсивный человек, даже если я подписываюсь на какое-то сообщество, оно мне интересно, завтра я уже забуду, что мне это было интересно, благополучно отпишусь или оно останется, будут приходиться оповещения (В., 18–30).

*Ну вот если предположить, что какая-то... сообщество, группа, ну, исчезла — и Бог с ней! Вбей в Яндекс, в любом приложении — всё это **взаимозаменяемо**... (С., 31–45).*

Такой тип принадлежности можно назвать факультативной или нерегулярной принадлежностью.

В сетевой навигации, как свидетельствовали наши собеседники, они игнорируют структурирование социальных сетей как сообществ. Скорее они руководствуются набором любимых мотивов — тематических, нарративных, эстетических или сюжетных. Иначе говоря, сеть Интернет представляет собой скорее слабо структурированную базу данных, а не поселения виртуальных обитателей «глобальной деревни». Ориентирами в навигации служит захватывающий контент, определяющий последующую цепочку поиска и поступков: увидел нечто в TikTok, который формирует стрим под регулярно подтверждаемый интерес, затем перешел в YouTube за более подробной информацией, и если мотив продолжает удерживать внимание, то ищешь в интернете статью, идешь на живую лекцию или в библиотеку. По такой же примерно траектории разворачивается поиск нужного товара или услуги — только звенья цепочки замещаются или дополняются изучением рейтинга или количества лайков, чтением отзывов.

Было в фокус-группах несколько исключений, которые стоит оговорить отдельно и пространно. В московской фокус-группе среднего возраста несколько раз возникал разговор о соседских сообществах, которые, правда, назывались либо *домовые группы*, либо просто *группы*. Некоторые из них сформировались в результате массовых акций или флешмобов и представляли собой протестные реакции на ошибки управляющей компании в жилищно-коммунальном секторе. Но существование групп было кратковременным. Они исчезали, как только завершалась кампания. Некоторые москвичи отмечали, что сталкивались с попытками организации домовых или садовых чатов, однако при отсутствии должной модерации они в скором времени вырождались в места случайных и бессмысленных пересудов. Лишь в одном случае эксперимент оказался удачным благодаря двум случайным обстоятельствам — грамотной модерации управляющей компании и социальной однородности жителей дома:

У нашего дома три группы. Одна группа, где только пишут администраторы, где управляющая организация нас информирует о происходящем. Вторая группа, где можно задавать вопросы управляющей организации. И третья группа, где только соседи без управляющей организации. У нас достаточно дружный дом, то есть новый, где живет одна молодежь, и мы тут друг с другом ищем, договариваемся о том, что в пятницу вечером мы все идем играть в футбол на площадке рядом (М., 31–45).

Было два примера удачной организации групп в Сатке и во Владикавказе. В первом случае речь шла об организации регулярных сплавов по реке с близкими и друзьями через чат. Во втором случае организации нескольких чатов для родственников поспособствовала необходимость отметить семейное мероприятие. Однако чаты продолжили свое существование по их завершении. В обоих случаях речь шла о том, как цифровые коммуникации помогают поддерживать и по-новому структурировать уже сложившиеся в аналоговом мире социальные связи, а не генерируют их.

Я модерую в ватсапе. Мы проводили мероприятие семейное, мы его организовывали, мы его реализовали, а тетушки [в чатах] остались. Это не совсем по местному менталитету говорить взрослому человеку «делай так», но в чатах — спокойно... Я понимаю, какой ценой это достигается, это жесткое модерирование, каждый раз, когда тетушки скидывают «доброе утро», я им пишу «нет, нельзя». В чате нельзя! А потом я понимаю, что содержательного общения нет, тогда я им поставила несколько групп, где нельзя модерировать (В., 31–45).

Допустим, сплав организуем и вот создали быстренько группу удобную. Родственников туда накидал, договорились, всё порешали, кто мясо маринует, кто леску берет. Всё: откуда выезжаем, кто везет. Потом, после мероприятия, туда фоток накидали, группу закрыли до следующего раза, вот такие вот моменты бывают, которые временные, скажем (С., 46–60).

В петрозаводской фокус-группе среднего возраста были две активных участницы виртуальных сообществ: одна — лично вовлеченная в политическую активность, занимавшаяся некоторое время модерацией групп, другая — увлеченная парфюмерией, практически профессиональным коллекционированием запахов.

В целом искусственная натяжка, которую чувствовали участники фокус-групп при употреблении слова *сообщества*, имела свои основания. Большинство респондентов не проявляли интереса к участию в активности политических, фанатских или антиваксеровских сообществ. Социальные коммуникации в цифровом универсуме, по нашим данным, расположены в континууме между двумя полюсами — факультативной принадлежностью к группе или группам и активной модерацией собственной группы или групп, складывающейся благодаря мотивациям за пределами цифровых коммуникаций.

Приведенные примеры показывают, что долгое существование факультативных групп в цифровом мире обеспечивается либо необходимостью коммуникации, которая складывается в аналоговом мире, либо активной модерацией. Легитимации и укоренению понятия *сообщества* в научном лексиконе, как верно отметил Александр Гэллуэй, также способствует тот факт, что сами социальные сети организованы согласно «формальной логике сообществ, что затем воплощается в формах (априорного) восприятия действительности и этических принципах» (Galloway, 2012: 118–119). После анализа материалов фокус-групп мы готовы поддержать радикальный тезис Гэллуэя о том, что цифровые коммуникации спо-

собствуют абсолютному воцарению сетевой симуляции, отвечающей за «совершенство» или «завершение» коммунальной типизации, за продвижение сообщества к медиальной симуляции (Galloway, 2012: 124).

Цифровой эскапизм. Симуляционный характер виртуальных сообществ подтверждается динамикой индивидуального поведения в сетях, разрушающего коммунальную логику. Большинство участников фокус-групп сообщали о стремлении по возможности не оставлять следы своего цифрового присутствия, превратить себя в черный ящик для возможного сетевого наблюдения: «Нулевая активность» (С., 18–30). Эта устремленность проявляет себя в нарочитой пассивности — не ставить лайки, не комментировать, не участвовать. Свое поведение респонденты объясняют бессмысленностью или невозможностью диалога онлайн: «Бывает, что ты очень хочешь комментарий оставить, но ты не оставляешь. Ты понимаешь, что в этом нет смысла» (В., 18–30). Далеко не все пользователи, а в наших группах таких оказалось подавляющее большинство, не склонны манифестировать в социальных сетях собственную идентичность. Идентичность чаще всего осуществляется по ту сторону сетевых взаимодействий или, что мы допускаем, она может проявлять себя в цифровых каналах для частных коммуникаций.

Один из участников нашего исследовательского проекта Владимир Картавцев рельефно обозначил описываемую динамику как «процесс стихийного формирования кодекса цифрового поведения — *этики отсутствия*». Новый кодекс цифрового поведения подлежит эстетической регуляции. *Складка*, или чувственно-аффективная схема, образуется благодаря тому, что, с одной стороны, большинство участников цифровых коммуникаций декларируют и практикуют пассивность и отсутствие, с другой стороны, они активно наблюдают, слушают и смотрят.

Мне нравится наблюдать и хочется увидеть что-то тайное (М., 18–30).

По большей части я просто пользователь, который смотрит и оценивает (П., 18–30).

Таким образом, субъективация проявляет себя парадоксальным образом — в негласном наблюдении и стремлении повысить осведомленность о происходящем в окружающей цифровой среде, а также в преднамеренном отказе от публичной явленности или манифестации собственной идентичности. Фукианская «забота о себе» превращается в «заботу о своих данных»⁸.

Разумеется, этика отсутствия и негласного наблюдения — это лишь одна из выявленных тенденций адаптации к цифровым сетям. Но она ярко выражена и широко представлена в фокус-группах разного возраста и разных регионов. Поэтому у нас есть основания для того, чтобы охарактеризовать такую динамику процесса

8. Последнее особенно важно сегодня, когда даже главные адепты социальных сетей, как Марк Цукерберг, давно заявили о «смерти приватности». «Privacy is dead, get over it» — именно с таким тезисом Марк Цукерберг выступил в 2010 году. NBCNews [<https://www.nbcnews.com/id/wbna34825225>]

субъективации как массовую тенденцию. Мы уверены, что она будет подтверждена и схвачена количественными репрезентативными исследованиями. Можно предположить, что новые модели цифрового поведения продиктованы соображениями безопасности или избеганием часто воспроизводимых в Сети скандальных ситуаций, то есть свести его к вопросу о доверии. Допустимо считать такую мотивацию релевантной. Иногда вопрос о доверии возникал, но сводился к тому, что аккаунты могут наблюдаться спецслужбами. Но сами участники тут же этот мотив откладывали в сторону под предлогом того, что скрывать им нечего. По нашему мнению, пассивность скорее объясняется неудовлетворенностью коммуникацией из-за возникающих искажений и негативным опытом обратной связи. Этот мотив проявлялся много чаще и в разных контекстах. Можно предположить, что новые цифровые технологии подошли к границе *коммуницируемого*, о чем ярко высказался Николас Луман, когда писал об электронных медиа: «[С]овременное общество достигает... некой границы, на которой уже ничто не является некоммуницируемым — за единственным издавна известным исключением: коммуникации искренности» (Луман, 2005: 144).

Существуют иные типы цифрового эскапизма, которые наши исследования не схватывали. В частности, типаж, описанный в «дилемме хипстера», — особая разновидность современного нонконформиста, желающего отключиться от сверхконнективного мира, чтобы начать поиски собственной утонченной и рафинированной индивидуальности. Он, например, отказывается от смартфона в пользу кнопочного телефона, от музыкальных стриминговых сервисов и иных форм цифрового воспроизведения музыки ради винила и проигрывателя, последовательно и по мере возможностей переводит разные виды цифрового потребления на аналоговые (Thorén et al., 2018).

В фокус-группах мы чаще сталкивались с более мягкой формой неприятия цифровых коммуникаций продвинутыми пользователями цифровых устройств. Оно характерно для распространенного типа профессионалов, которые вынуждены проводить в цифровой среде непропорционально большую долю времени, которая приходится на работу (от 70 до 90% времени в Сети)⁹. Возможно, респонденты были склонны к преувеличениям. Но даже в таком случае преувеличения свидетельствуют о фрустрирующем опыте вынужденного использования цифровых устройств: *«Если с телефоном что-то произойдет, меня эта ситуация устроит»* (В., 31–45).

9. Названные нашими собеседниками параметры противоречат существующим количественным измерениям. По данным ВЦИОМ (опрос проводился практически одновременно с нашим — 21 сентября 2021 года), доля пользователей, общающихся в Telegram по работе, составляет 34%, в Viber — 38%, в WhatsApp — 46%. См.: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/mediapotrebienie-i-aktivnost-v-internete> (дата проверки доступа: 07.02.2022). Расхождение вполне объяснимо, поскольку акцент на преобладании доли рабочих коммуникаций делало, как правило, большинство участников фокус-групп среднего и молодого возраста, а у ВЦИОМа опрос проводился среди всех категорий активных пользователей.

Когда шла речь о том, как структурируется коммуникация в цифровой среде во времени, респонденты чаще всего отклоняли различие между работой и досугом и вводили собственное — между работой и семьей (близкими, друзьями). Тем самым, на наш взгляд, подчеркивалось, насколько важна для них граница между приватной и профессиональной сферами. Однако преобладание рабочих коммуникаций в цифровой активности указывает также на то, что цифровой универсум структурируется в основном профессиональными и коммерческими коммуникациями. При этом доля профессионального общения представляла собой ту сферу, которая, по словам участников фокус-групп, в наименьшей степени поддавалась контролю и упорядочиванию с их стороны, поскольку была детерминирована внешним дисциплинирующим источником: *«По работе должна связываться. Отказаться невозможно, но к минимуму свести хотелось бы. Иногда есть желание отключиться от всего. Есть такое желание очень часто»* (В., 31–45). Вполне возможно, что подобная установка, преобладающая среди профессионалов, интенсивно использующих цифровые устройства, в перспективе обретет идеологические формы саморегуляции, характерные для описанного выше типажа хипстера. Во всяком случае, мы полагаем, что формы и поведенческие типы цифрового эскапизма становятся разнообразными и распространенными.

Территориальные и возрастные отличия. Вопреки ожиданиям как возрастная, так и территориальная категоризация респондентов показали незначительные отличия. Все группы демонстрировали примерно одинаковый уровень навыков использования цифровых устройств и приложений. В одном только городе Сатке в группе старшего возраста участники фокус-группы обнаружили лучшие способности к ориентации в цифровой среде, чем участники группы молодого возраста. Во-первых, репертуар используемых приложений оказался более разнообразным — молодые не всегда имеют банковские карты или онлайн-счет, не обременены необходимостью осуществлять регулярные онлайн-платежи, редко используют финансовые приложения. Для обеих возрастных групп цифровая среда в одинаковой мере является местом культурного потребления, однако у молодых оно чаще всего ограничено музыкой, а старшее поколение проявляет больший интерес к литературе и живописи, и даже к онлайн-лекциям философского кружка¹⁰. Во-вторых, молодежь в Сатке была склонна к более пассивному присутствию в социальных сетях, чем представители старшего возраста, некоторые проявляли интерес к группам, созданным вокруг хобби или предлагавшим услуги по самообразованию (например, по совершенствованию кулинарного искусства). Старшие также чаще использовали социальные сети для получения небольших заработков, предлагая на коммерческой основе товары и услуги по извозу, в сфере красоты и эстетики и т. п. В-третьих, поведение в цифровой среде старшего поколения оказалось более осмотрительным с точки зрения безопасности — они лучше понимали угрозы возможных манипуляций и мошеннических схем. К ожидаемым особенностям

10. В Сатке, благодаря усилиям некоторых авторитетных в городе фигур, интерес к философии и шахматам является одним из проявлений местного своеобразия.

групп старшего поколения можно отнести большее внимание к медицинской тематике и здоровому образу жизни, а также склонность к такому же интенсивному использованию ресурсов Интернета в развлекательных целях, как у молодежи.

Петрозаводская фокус-группа старшей возрастной категории также продемонстрировала некоторую исключительность. Главным устройством цифровой коммуникации был не смартфон, а компьютер, поэтому электронная почта чаще называлась в качестве предпочтительного формата коммуникации, в отличие от мессенджеров. С наибольшей вероятностью эта исключительность объясняется тем, что по стечению обстоятельств участниками данной фокус-группы оказались преподаватели местных вузов, работающие с форматами длинных текстов и включенные в коммуникацию определенного профессионального профиля. Использование же смартфона предполагало в основном контакты, имевшие приватный характер, — с близкими и друзьями.

Ну и последнее отличие, выделившее пользователей столицы, состоит в том, что среди мессенджеров участники фокус-групп были склонны чаще называть мессенджер Телеграм, тогда как в других городах страны в Телеграм массы пользователей только начинают перетекать, оставаясь приверженцами других мессенджеров — WhatsApp, Viber или «ВКонтакте». Судя по репликам собеседников, их предпочтения складываются в зависимости от того, какие каналы коммуникации или мессенджеры использует большинство их контактов: *«Почему-то разным людям более привлекателен один мессенджер, другим другой и как-то приходится иметь все на своем устройстве»* (П., 18–30).

Как только критическое большинство контактов отдельного пользователя отдает предпочтение новому мессенджеру, порой вопреки своему желанию, он вынужден осваивать новый формат и добавлять его в свою цифровую коммуникацию. Таким образом, использование мессенджеров или иных форм коммуникации определяется как географической, так и темпоральной зависимостью. Последовательное использование разных способов коммуникации для некоторых пользователей маркирует определенное поколение или исторический период: *«Мы — поколение “ВКонтакте”»* (П., 31–45).

О глубинном воздействии цифровых технологий на повседневность пользователей свидетельствует появление нарративов о влиянии смены технологий и режимов коммуникаций на эмоциональное самоощущение и близкие социальные связи: *«Раньше так кайф был — вот родня собирается, и вся идет на почту ждать, допустим, с Херсоном или с Магаданом связи. И вот там праздник — поговорили, живой голос услышали. Сейчас как-то вот: ...Привет — привет, всё»* (С., 46–65).

Якорь аналогового мира

В исследовании мы стремились отразить образ мысли и действия пользователя, который, будучи осведомленным о специфике того или иного устройства или

программы, осваивает сегменты цифрового пространства, формирует, модулирует и обживает его как среду, делая ее максимально комфортной для реализации коммуникативных возможностей. Поэтому классификация цифровых устройств, программного обеспечения, мессенджеров или социальных сетей, хотя их формы оказывают определенное влияние на пользовательские практики, оказалась не релевантной. Включая смартфон, пользователь не просто открывает определенный мессенджер или набирает номер телефона, он погружается в цифровую среду, в которой у него есть много развилок и возможных траекторий. Он может отклониться от первоначального намерения, потому что его отвлек другой сигнал — сообщение, реклама или соблазн пролистать ленту в соцсетях. Он погружается в отчасти организованную им самим, отчасти созданную другими специфическую коммуникационную среду, внутри которой перемещение от одного приложения к другому, от музыкального фрагмента к чтению или письму, совершается автоматически и интуитивно.

Именно образом мыслей и действиями пользователя было продиктовано наше решение о возвращении незаслуженно забытого концепта *эстетически заряженной среды* Гордона Паска в оборот. Мы полагаем, что средовая оптика релевантна, поскольку отражает контингентность коммуникационных процессов в цифровом универсуме, их индивидуализированный и эмоциональный модус. Поэтому нам кажется вполне обоснованным возвращение в анализ цифровых коммуникаций человеческой перспективы, всего комплекса психосоматической моторики, эмоционально-аффективных состояний и процессов субъективации, максимально сохранив достижения постгуманистического подхода.

Тогда перед нами открывается более комплексная перспектива на интеграцию цифровых коммуникаций в социальные отношения. Нам не нужно будет располагать социальное только на стороне аналогового мира, что освобождает нас от дискуссий о разложении социальных форм под влиянием обновления технологий или о замещении прежних социальных форм цифровыми коммуникациями. Мы сможем разглядеть возникновение новых форм социальности в виде факультативных сообществ, клеем которых являются чувственно-эмоциональные связи. Факультативные сообщества не замещают и не отрицают другие формы социальности, но возникают наряду с ними. В то же время мимо нашего внимания не ускользнут, например, те «тяжелые якоря», которые связывают каждого пользователя с аналоговым миром, — семейные, дружеские, профессиональные связи, для которых они подбирают каналы коммуникаций в зависимости от допустимости степени искажения передачи сообщений. В аналоговых связях мы увидим аутентичные источники социальных смыслов, которые структурируются и упорядочиваются цифровыми коммуникациями. У нас больше не будет нужды смотреть на аналоговое как на источник подлинной реальности или же смысла социального в противоположность нереальности и фейковой природе виртуального. Мы можем освободиться от страха перед картинами порабощения человека страшным чудовищем техники, потому что начнем понимать, что среда органи-

зована иначе, что у человека готовы ответы на экспансию цифровых соблазнов, которые проявляются в новых формах регуляции собственной чувственности и в новых формах самоконтроля.

«Нулевая активность» продвинутых пользователей, этика отсутствия, «забота о своих данных», цифровой эскапизм и формы новой дисциплины и самоконтроля в цифровых коммуникациях являются неизбежными реакциями на принудительность цифровых режимов и подозрительную манипуляцию с помощью принципа удовольствия. Один из наиболее ярких проявлений самодисциплины и самоконтроля мы находим в том распространенном способе взаимодействия с социальными сетями, цифровыми каналами и источниками информации, когда участники фокус-групп переключают их так же, как переключают телевизионные каналы, — в режиме так называемого *зэппинга*, ограничиваясь активным наблюдением, регулируя и существенным образом ограничивая собственную вовлеченность. При этом они продолжают извлекать рационализованное удовольствие в интерактивной коммуникации.

Каждый пользователь на свой манер обживает цифровую инфраструктуру. Он приспособливает ее под свои ожидания, потребности, интересы и вкусы. Создаваемым экосистемам и метавселенным он противопоставляет организованную им самим и обживаемую эстетически заряженную среду, с контролем которой он справляется, зачастую игнорируя навязанные соцсетями паттерны навигации — от профилирования пользователей до грамматизации чувственных удовольствий. Некоторые участники фокус-групп, признававшие зависимость от определенных форм цифрового потребления, накладывают на себя аскетические ограничения, выключая на длительный период смартфон и другие цифровые устройства. В будущем можно ожидать появления большего разнообразия форм самоконтроля, спровоцированного всепроникающим характером цифровизации. В цифровом мире мы наблюдаем ту же борьбу за контроль, с которой сталкиваемся в аналоговом мире. Жесткие игры контроля в цифровой среде осуществляются в запутанных цепочках обратной связи между человеческим и не-человеческим. Это еще одна причина называть цифровые среды эстетически заряженными.

Литература

- Делез Ж. (1998). Фуко. М.: Издательство гуманитарной литературы.
- Дюркгейм Э. (1996). О разделении общественного труда. М.: Канон.
- Мартин Дж. (1986). Телематическое общество. Вызов ближайшего будущего // Новая технократическая волна на Западе / П. Гуревич (ред.). М.: Прогресс.
- Латур Б. (2013). Сети, общества, сферы: Размышления одного из создателей акторно-сетевой теории // Социальные сети и виртуальные сетевые сообщества / Под ред. Л. Н. Верченнова, Д. В. Ефременко, В. И. Тищенко. М.: РАН, ИНИОН. С. 70-76.

- Каллон М.* (2015). Некоторые элементы социологии перевода: одомашнивание морских гребешков и рыбаков залива Сен-Бриё // *Социология власти*. Т. 27. № 1. С. 196-231.
- Колозариди П.* (2021). Из каких цифр состоят цифровые навыки россиян? Разговор о статистике с Валентиной Поляковой и Константином Фурсовым // *Неприкосновенный запас*. № 6 (140). С. 62-72.
- Луман Н.* (1994). Понятие общества // *Проблемы теоретической социологии*. ИНИОН: СПб. С. 25-42.
- Луман Н.* (2005). *Медиакоммуникации*. М.: Логос.
- Тённис Ф.* (2002). *Общность и общество: Основные понятия чистой социологии*. М.: Фонд Университет: СПб.: Владимир Даль.
- Филиппов А. Ф.* (2011). Мобильность и солидарность. Статья первая // *Социологическое обозрение*. Т. 10. № 3. С. 4-20.
- Black A.* (1990). Editor's Introduction // *Gierke O. F. Community in Historical Perspective*. searchable. NY: Cambridge University Press. P. XIV-XXXI.
- Bucholtz M., Hall K.* (2005). Identity and interaction: A sociocultural linguistic approach // *Discourse Studies*. Vol. 7(4-5). P. 585-614.
- Dijck v. J., Poell T., Waal d. W.* (2018). *The Platform Society: Public Values in a Connective World*. NY: Oxford University Press.
- Galloway A.* (2012). *The Interface Effect*. Cambridge: Polity Press.
- Galloway A.* (2022). Golden Age of Analog // *Critical Inquiry*. Vol. 48. № 2. P. 211-232.
- Goodwin I.* (2004). Book Review // *Westminster Papers in Communication and Culture*. London: Westminster University. Vol. 1 (1). P. 103-109.
- Hillery G. A.* (1955). Definitions of Community: Areas of Agreement // *Rural Sociology*. Vol. 20. P. 111-123.
- Latour B.* (2011). Network, Societies, Spheres: Reflections of an Actor-Network Theorist // *International Journal of Communication*. Vol. 5. P. 796-810.
- Morr C.E., Maret P.* (eds.) (2011). *Virtual Community Building and the Information Society: Current and Future Directions*. Hershey: Information Science Pub.
- Pask G.* (1969). The Architectural Relevance of Cybernetics // *Computational Design Thinking*. Vol. 39. № 9. P. 70-72.
- Pask G.* (1971). A Comment, a Case History and a Plan // *Cybernetics, Art, and Ideas* / J. Reichardt (ed.). Greenwich, CT: New York Graphics Society. P.76-99.
- Pask G.* (1977). Minds and Media in Education and Entertainment: Some Theoretical Comments Illustrated by the Design and Operation of a System for Exteriorizing and Manipulating Individual Theses // *Proceedings of the Third European Meeting on Cybernetics and Systems Research* / R. Trappl (ed.). Amsterdam: North-Holland. P. 38-50.
- Rheingold H.* (1993). *The virtual community: Homesteading on the electronic frontier*. Massachusetts: Addison-Wesley.
- Rheingold H.* (2000). *The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier* (2nd Edition). Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

- Scherer J.* (1972). *Contemporary Community-Sociological Illusion or Reality?* London: Tavistock Publications.
- Stacey M.* (1969). *The Myth of Community Studies* // *British Journal of Sociology*. Vol. 20. P.134-147.
- Thorén C., Edenius M., Lundström J.E., Kitzmann A.* (2018). *The hipster's dilemma: What is analogue or digital in the post-digital society?* // *Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies*. Vol. 25. № 2. P. 324–339.
- Turkle S.* (2005). *The Second Self: Computers and the Human Spirit*. (Twentieth Anniversary Edition). Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- Utz C.* (2009). «Egoboo» vs. altruism: The role of reputation in online consumer communities// *New media society*. Vol. 11. № 3. P. 357–374.
- Wenger E.* (1998). *Communities of practice: Learning as a social system* // *Systems thinker*. Vol. 9. № 5. P. 1–8.
- Zappavigna M.* (2011). *Ambient affiliation: A linguistic perspective on Twitter* // *New Media Society*. Vol. 13. P. 788–806.

Facultative Groups, Invisible Individuals: The Transformation of Social Relations in the New Technological Reality

Rouslan Khestanov

Doctor of Philosophy (PhD), Professor, School of Cultural Studies, Faculty of Humanities, National Research University Higher School of Economics

Address: 20 Myasnitskaya Street, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: khestanov@hse.ru

Alexander Suvalko

Lecturer, School of Cultural Studies, Faculty of Humanities, National Research University Higher School of Economics Address: 20 Myasnitskaya Street, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: asuvalko@hse.r

The article aims to propose an alternative approach to the analysis of the social effects of digitalization. It was, by and large, intended to solve two problems; first, to assess the epistemological potential and limitations of existing theories and approaches, and second, it was to do what Luhmann, following Spencer Brown, called re-entry, to discover the blind spots of these theories, those differences that lead to the unrecognizable, the background, and the reduced, and then to try to re-enter the main theoretical concepts. Re-entry is easiest to accomplish with the new empirical material offered in this article. The study include the following results: 1) proposing a reactualization of Gordon Pask's concept of "aesthetically charged environments" as a powerful analytical tool for social and digital communications; 2) an empirical and theoretical justification for the irrelevance of using the concept of "communities" in the context of digital practices research and replacing it with the concept of "facultative groups"; and 3) the fixation and description, on the basis of field research, of new forms of digital behavior that are inevitable reactions to the coercive or manipulative nature of digital regimes, which are expressed in the zero activity of advanced users, in the emerging digital ethic of absence, and in the development of new forms of self-discipline.

Keywords: aesthetically charged environment, facultative groups, invisible individuals, the ethics of absence, smartphone

References

- Black A. (1990) Editor's Introduction. *Community in Historical Perspective*.searchable [ed. Gierke O.F.], NY: Cambridge University Press, pp. XIV–XXXI.
- Bucholtz M., Hall K. (2005) Identity and interaction: A sociocultural linguistic approach. *Discourse Studies*, vol. 7, no 4–5, pp. 585–614.
- Delez Zh. (1998) *Fuko* [Foucault], Moscow: Izdatel'stvo gumanitarnoj literatury.
- Dijk v. J., Poell T., Waal d. W. (2018) *The Platform Society: Public Values in a Connective World*, NY: Oxford University Press.
- Durkheim E. (1996) *O razdelenii obshhestvennogo truda* [The Division of Labour in Society], Moscow: Kanon.
- Filippov A. F. (2011) Mobil'nost' i solidarnost'. Stat'ja pervaja [Mobility and solidarity. Article one]. *Russian Sociological Review*, vol. 10, no 3, pp. 4–20.
- Galloway A. (2012) *The Interface Effect*, Cambridge: Polity Press.
- Galloway A. (2022) Golden Age of Analog. *Critical Inquiry*, vol. 48, no 2, pp.211–232.
- Goodwin I. (2004) Book Review. *Westminster Papers in Communication and Culture*, London: Westminster University, vol. 1 (1), pp. 103–109.
- Hillery G. A. (1955) Definitions of Community: Areas of Agreement. *Rural Sociology*, vol. 20, pp. 111–123.
- Kallon M. (2015) Nekotorye jelementy sociologii perevoda: odomashnivanje morskikh grebeshkov i rybakov zaliva Sen-Brijo [Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and the fishermen of St. Briec Bay]. *Sociologija vlasti* [Sociology of power], vol. 27, no 1, pp. 196–231.
- Kolozaridi P. (2021) Iz kakih cifr sostojat cifrovye navyki rossijan? Razgovor o statistike s Valentinou Poljakovoi i Konstantinom Fursovym [What are the numbers that make up the digital skills of Russians? Talking about statistics with Valentina Polyakova and Konstantin Fursov]. *Neprikosnovennyj zapas* [Contingency Reserve], no 6 (140), pp. 62–72.
- Latour B. (2011) Network, Societies, Spheres: Reflections of an Actor-Network Theorist. *International Journal of Communication*, vol. 5, pp. 796–810.
- Latur B. (2013) Seti, obshhestva, sfery: Razmyshlenija odnogo iz sozdatelej aktorno-setevoj teorii [Networks, Societies, Spheres: Reflections of an Actor-network]. *Social'nye seti i virtual'nye setevye soobshhestva* [Social networks and virtual networking communities] (ed. L. N. Verchenov, D. V. Efremenko, V. I. Tishhenko), Moscow: RAN, INION, pp. 70–76.
- Luman N. (1994) Ponjatie obshhestva [Theory of Society]. *Problemy teoreticheskij sociologii* [Problems of Theoretical Sociology], Saint-Petersburg: INION, pp. 25–42.
- Luman N. (2005) *Media komunikacii* [The Reality of the Mass Media], Moscow: Izdatel'stvo «Logos».
- Martin Dzh. (1986) Telematicheskoe obshhestvo. Vyzov blizhajshego budushhego [The Telematic Society. The Challenge of the Near Future]. *Novaja tehnokraticeskaja volna na Zapade* [New technocratic wave in the West] (ed. P. S. Gurevich), Moscow: Progress.
- Morr C. E., Maret P. (eds.) (2011) *Virtual Community Building and the Information Society: Current and Future Directions*, Hershey: Information Science Pub.
- Pask G. (1969) The Architectural Relevance of Cybernetics. *Computational Design Thinking*, vol. 39, no 9, pp. 70–72.
- Pask G. (1971) A Comment, a Case History and a Plan. *Cybernetics, Art, and Ideas* (ed. J. Reichardt), Greenwich, CT: New York Graphics Society, pp. 76–99.
- Pask G. (1977) Minds and Media in Education and Entertainment: Some Theoretical Comments Illustrated by the Design and Operation of a System for Exteriorizing and Manipulating Individual Theses. *Proceedings of the Third European Meeting on Cybernetics and Systems Research* (ed. R. Trappl), Amsterdam: North- Holland, pp. 38–50.
- Rheingold H. (1993) *The virtual community: Homesteading on the electronic frontier*. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley.
- Rheingold H. (2000) *The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier* (2nd Edition), Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

- Scherer J. (1972) *Contemporary Community-Sociological Illusion or Reality?* London: Tavistock Publications.
- Stacey M. (1969) The Myth of Community Studies. *British Journal of Sociology*, vol. 20, pp. 134–147.
- Thorén C., Edenius M., Lundström J. E., Kitzmann A. (2018) The hipster's dilemma: What is analogue or digital in the post-digital society? *Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies*, vol. 25, no 2, pp. 324–339.
- Toennis F. (2002) *Obshhnost' i obshhestvo: Osnovnye ponjatija chistoj sociologii* [Community and Society: Basic Concepts of Pure Sociology], Moscow: Fond Universitet, Saint-Petersburg: Vladimir Dal'.
- Turkle S. (2005) *The Second Self: Computers and the Human Spirit*. (Twentieth Anniversary Edition), Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- Utz C. (2009) «Egoboo» vs. altruism: The role of reputation in online consumer communities. *New media society*, vol. 11, no 3, pp. 357–374.
- Wenger E. (1998) Communities of practice: Learning as a social system. *Systems thinker*, vol. 9, no 5, pp. 1–8.
- Zappavigna M. (2011) Ambient affiliation: A linguistic perspective on Twitter. *New Media Society*, vol. 13, pp. 788–806.

Джеймс Скотт и Александр Чаянов: от крестьян через революции к государствам и анархиям¹

Александр Никулин

Кандидат экономических наук, директор Центра аграрных исследований,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации; директор Чаяновского исследовательского центра,
Московская высшая школа социальных и экономических наук.
Адрес: пр-т Вернадского, д. 82, г. Москва, Российская Федерация, 119571
E-mail: harmina@yandex.ru

В данной статье дается систематическое сравнение научного мировоззрения и основных исследовательских идей американского политического антрополога Джима Скотта и российского экономиста-аграрника Александра Чаянова в связи с их совпадающими интересами в изучении крестьянских революций, государственных систем и анархистских взглядов на жизнь. Отталкиваясь от рассмотрения некоторых сходств и различий их интеллектуальных биографий, осуществляется переход к сравнительному анализу концепции возникновения первых автаркических государств древности Джима Скотта и абстрактных экономико-математических моделей государств-островов Александра Чаянова. Обращение к проблемам противоречий и провалов в проектах преобразования природы и общества государственных бюрократий Нового времени в исследованиях как Скотта, так и Чаянова подчеркивает большой интерес обоих ученых к возможностям использования анархистских эпистемологических и политических идей для развития научной теории и политической практики взаимодействия общества и государства. Доказывается, что оба ученых, не являясь ортодоксальными анархистами, выступающими за полное исчезновение государства, полагают, что Левиафан государственности невозможно, да и, пожалуй, не нужно уничтожать. Тем не менее и Скотт, и Чаянов в своих исследованиях постоянно ставят вопросы о способах ограничения и ослабления власти бюрократии через развитие различных форм негосударственной общественной жизни, связанных с анархическими идеями самоорганизации, спонтанности и свободы.

Ключевые слова: Скотт Дж.С., Чаянов А.В., крестьянство, революция, государство, бюрократия, человеческий капитал, автаркия, анархия, утопия

К сравнительной характеристике социальных взглядов и направлений исследований Александра Чаянова и Джима Скотта

Александра Чаянова и Джима Скотта их оппоненты часто определяют как одних из ведущих представителей идеологии народничества или популизма (Bernstein, Byres, 2011). Надо признать, что само это понятие чрезвычайно обширно и до сих пор остается нечетким и довольно размытым. В отношении Чаянова и Скотта, как правило, подразумевается, что оба критикуют капитализм за неумеренную поляризацию общества на бедных и богатых, а социализм — за перманентную экспансию авторитарной бюрократии. Скептически относясь к капиталистическому

1. Статья подготовлена в рамках гранта, предоставленного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (№ соглашения о предоставлении гранта: 075-15-2022-326).

рынку и государственной бюрократии, Чаянов и Скотт исследуют альтернативные пути социального развития, связанные с идеями самоорганизации снизу, органичной трансформации традиционных семейных и общинных форм социальной жизни в современные формы самоуправляющихся ассоциаций и кооперативных организаций общества как самостоятельной третьей силы между рынком и государством (Uleri, 2019). В итоге со стороны ортодоксально политизированных оппонентов как справа, так и слева в адрес обоих ученых часто раздаются упреки в мелкобуржуазных иллюзиях, анархическом сентиментализме и популизме.

Здесь, конечно, стоит упомянуть и определенную личностную преемственность в мировоззрении двух ученых. Сам Скотт неоднократно подчеркивал в своих исследованиях и выступлениях, что Чаянов является одним из его любимых авторов, чья теория крестьянского хозяйства и крестьянская утопия оказали значительное воздействие на его собственные крестьяноведческие интеллектуальные изыскания (Scott, 1976: 14-15). В рабочем кабинете в Йельском университете профессор Скотт с благоговением хранит портрет Александра Чаянова, подаренный ему сыном ученого Василием. Более того, Джим Скотт, увлекающийся живописью, сам написал портрет Чаянова².

Возвращаясь к теме навешивания ярлыков популизма на работы обоих ученых, заметим, что Александр Чаянов и Джим Скотт, будучи в целом внепартийными интеллектуалами левой ориентации, в собственных самохарактеристиках всегда дистанцировались от однозначных «-измов», включая популизм, хотя действительно много и плодотворно занимались изучением разнообразных форм семейных и локальных («мелкобуржуазных») экономик, а также способов негосударственных («анархических») форм организации общества. Вместе с тем они никогда не были абсолютными противниками рынка и государства, и в своих исследованиях уделяли достаточно внимания важной роли этих институтов в жизни общества.

Значительный интеллектуальный вклад Чаянов и Скотт внесли в изучение *пограничной социальной динамики взаимодействия* вне рыночных, негосударственных форм и институтов с институтами рынка и государства. Так, например, чаяновские исследования теории и практики сельскохозяйственной кооперации и общественной агрономии как раз и являются таким образцом анализа особого институционального поля взаимодействия между крестьянством, с одной стороны, и рынком и государством, с другой. А оригинально обоснованные Скоттом понятия «моральной экономики», «оружия слабых», локального знания «метиса», жизненных практик так называемых безгосударственных стран и народов — «зо-мия» и «варваров», а также повседневного анархизма дали многое для понимания динамики пограничного взаимодействия архаичных и современных негосударственных социальных форм с древними и современными социальными институтами государств.

2. Этот портрет работы Скотта планируется поместить на обложку готовящегося сейчас к изданию в Англии сборника переводов избранных произведений А. В. Чаянова.

Чаянов и Скотт в своих исследованиях вторглись на территорию изучения основ организации собственно самих государств. Чаяновская критика так называемой политики просвещенного абсолютизма, обоснование экономико-математической модели автаркического государства-острова, эскиз политэкономической модели государственного коллективизма, разработка организационных планов крупных советских государственных агропредприятий — совхозов, так же как и историко-антропологическая реконструкция Джимом Скоттом особенностей возникновения первых государств, образцов государственной политики «высокого модернизма» в области экологии и налогообложения, аграрных и градостроительных реформ Нового и Новейшего времени — все это свидетельствует об их стремлениях создавать собственные аналитические версии развития многоукладных и многополярных социальных миров человечества.

В своей первой широко известной монографии «Моральная экономика крестьянства» Скотт глубоко проанализировал логику поведения крестьян стран Юго-Восточной Азии в процессах модернизации традиционных сообществ под натиском капитализма и государства в XX веке именно с учетом «Теории крестьянского хозяйства» Чаянова (Scott, 1976). В двух своих последующих монографиях «Оружие слабых» (Scott, 1985) и «Доминирование и искусство сопротивления: скрытые послания» (Scott, 1990) он детально рассмотрел рутинные формы сопротивления гнету различных правящих слоев не только крестьян, но и других разнообразных подвластных социальных классов. Эти две работы еще более укрепили авторитет Скотта как крупнейшего исследователя форм массового, «обывательского» (в целом не политического и отнюдь не героического) сопротивления, на уровне скрытых или двусмысленных посланий и действий, различных подчиненных своим разнообразным начальникам: крестьян — помещикам и чиновникам, слуг — хозяевам, солдат — офицерам.

В 1990-е годы Скотт кардинально меняет оптику своих исследований. От изучения повседневных форм изворотливого терпения народов под гнетом властных элит он обращается к логике функционирования и экспансии собственно государств на примере их амбициозных бюрократических планов. Книги «Благими намерениями государства» (Скотт, 2005) и «Против зерна. Глубинная история древнейших государств» (Скотт, 2020) посвящены прежде всего моделированию некоей архетипической сути государственного строительства и контроля. Одновременно в работе «Искусство быть неподвластным» Скотт ставит вопрос уже не только о приспособленческих, но и о радикальных стратегиях противодействия государству со стороны упорно непокорных, принципиально безгосударственных групп населения, обитающих в труднодоступных для государственного контроля горных и пустынных ландшафтах, которых так часто принято именовать «нецивилизованными», «варварскими» народами (Скотт, 2017). В этой книге центральной темой оказывается традиционный анархизм обширной территории так называемой Зомия, расположенной в труднодоступных высокогорьях меж границ Индии, Китая, Бирмы и Вьетнама.

Наконец, недавно Джим Скотт опубликовал небольшую публицистическую книгу, вышедшую в русском переводе с провокативным названием «Анархия? Нет, но да!» (Скотт, 2019). Она представляет собой коллекцию размышлений о значении анархического взгляда на жизнь и соответствующего ему поведения, противостоящих современным государственно-бюрократическим правилам регулирования всего и вся.

Параллельно работе над этими монографиями профессор Скотт много лет читал курс по истории и теории анархизма для студентов Йельского университета.

Тема взаимоотношений государства и анархии, которую Джим Скотт так многопланово разрабатывал в последние двадцать пять лет, красной нитью проходит и через всю научную деятельность Александра Чаянова. Глубоко символично, что первая публикация в жизни восемнадцатилетнего студента Чаянова представляла собой эмоционально сочувственную рецензию на чрезвычайно популярное в начале XX века обозрение анархических теорий немецкого ученого П. Эльцбахера (Чаянов, 1906: 4).

Со времени Первой мировой войны и Русской революции вплоть до своего ареста Чаянов обращается к переосмыслению экспансии государственного изоляционизма (Чаянов, 2015: 42-56), приводящего к становлению и усилению авторитарных автархий (Чаянов, 1920б). Одновременно во многих его работах анализируются и моделируются анархически спонтанные процессы самоорганизации населения снизу (Чаянов, 1918), на кооперативных началах самых разнообразных ассоциаций (Чаянов, 1920а: 6-12). Иронически фантастическому моделированию взаимодействия государства и анархии в значительной степени посвящена и знаменитая чаяновская крестьянская утопия (Чаянов, 1989б).

Суммируя основные интеллектуальные вехи и темы в творчестве Скотта и Чаянова, обратим внимание на изначальную увлеченность ученых исследованием проблем революционных трансформаций традиционных крестьянских стран и обществ в XX веке, в истории которых было два революционных пика. Один пришелся на первую четверть XX века — время молодости Чаянова, другой — на третью четверть XX века — время молодости Скотта. Рассмотрим, как из проблематики «крестьянство и революция» у Чаянова и Скотта возник исследовательский интерес к экспансии бюрократического государства.

Крестьянские революции и бюрократическая экспансия

В начале XX века наступило великое социальное пробуждение не только русского, но и мирового крестьянства — подавляющей части всего человечества (Shanin, 1990). Параллельно с Первой и Второй русскими революциями, которые по своим базовым, внутренним движущим силам были прежде всего крестьянскими (Данилов, 1996: 4-23), происходили великие крестьянские революции в Мексике, Иране, Китае (Wolf, 1973).

После Первой мировой войны во многих молодых странах Восточной Европы, прежде всего в Болгарии, Югославии, Чехословакии, к власти приходят радикально настроенные крестьянские партии. В 1920-е годы создаются два интернациональных политических объединения крестьянских партий: прокоммунистический советский Крестьянский интернационал и умеренно реформистский европейский Зеленый интернационал (Jackson, 1966).

В экономической, социальной, культурной сферах широких слоев крестьянства также происходят революционные изменения. Массовое образование в деревне и успехи агрономической науки, распространяющей основы рационального ведения хозяйства среди крестьян, стремительный рост крестьянских кооперативов, расширение сельского самоуправления — все это способствовало пробуждению, по словам, Т. Шанина, того крестьянского «Великого незнакомца», ради развития которого многие выдающиеся умы — от ученых Александра Чаянова и Питирима Сорокина до поэтов и писателей Сергея Есенина и Андрея Платонова — создавали свои программные мировоззренческие произведения, которые можно отнести к движению аграризма, противопоставлявшего себя урбанизму и индустриализму (Bruisch, 2014).

Что же произошло потом? Со второй половины 1920-х годов все явственнее поднимается волна политической и экономической реакции против самостоятельных и самостоятельных революционно-реформистских массовых крестьянских движений. На смену революционно-демократическим крестьянским правительствам Европы приходят авторитарные, даже фашистские режимы, которые тем не менее в своей идеологии делают ставку на консервативное крестьянство, связанное с традиционными ценностями патриархального образа жизни и поддерживающее реакционный политический порядок (Никулин, 2020а: 171-192).

К этому времени в США, как и в СССР побеждает подход тотальной индустриализации сельского хозяйства, подчинения крестьянских и фермерских хозяйств новостроящимся «фабрикам зерна и мяса». Ситуация отягчается начавшимися катастрофами Великой депрессии в США и ужасами Великого перелома в СССР (Никулин, 2020б).

Почти по всему миру к этому времени усиливается экспансия авторитарных бюрократических государств, стремящихся проводить авторитарную консервативную политику. Именно этой экспансией воинствующих авторитарных бюрократий были прерваны и подавлены крестьянские революционно-реформистские движения, связанные с поиском новых альтернативных путей развития человечества. А затем подготовка к новой мировой войне, сама война, послевоенная разруха на пару десятилетий заставили мир основательно позабыть о крестьянских альтернативах развития.

Новая волна надежд крестьянских альтернативных революций, связанная прежде всего с крушением международной колониальной системы, поднимается по всему миру в 1960-1970-е годы, во многом совпадая с первыми успехами аграрно-технологической «зеленой революции». Именно к этому времени за рубежом

вновь открывается забытое и запрещенное в России наследие школы А. В. Чаянова (Shanin, 2009: 83-101). Идеи Чаянова и идеологов аграризма 1920-х годов становятся чрезвычайно популярными полвека спустя. Но кроме переоткрытия старого, стремительно формируются действительно новые и плодотворные интеллектуальные направления социальных исследований, получившие названия *developing studies* (социология развивающихся обществ) и *peasant studies* (крестьяноведение). Они связаны с работами таких известных ученых, как Роберт Редфилд, Эрик Вульф, Болеслав Галецкий, Теодор Шанин и, конечно, Джим Скотт.

Казалось, что именно теперь всемирное крестьянство развивающихся стран получает уникальную возможность созидания справедливых, устойчиво модернизирующихся обществ, но что-то опять пошло не так — вновь крестьянские революции и движения стали подавляться, регулироваться разрастающимися национальными бюрократиями государств, а затем и наднациональными бюрократиями корпораций. Здесь лучше всего обратиться к биографической рефлексии о духе этого времени самого Джима Скотта.

«Я заинтересовался анархистской критикой государства, потому что потерял всякую надежду на революционные изменения. Это обычно и чувствовали люди, политическое сознание которых сформировалось в Северной Америке 1960-х годов. Для меня и для многих других эта эпоха стала кульминацией того, что можно назвать влюбленностью в крестьянские народно-освободительные войны.

На некоторое время меня полностью захватили эти утопические грезы. Я трепетно и, как теперь ясно, наивно наблюдал за референдумом о независимости Гвинеи при Ахмеде Секу Туре, за panaфриканскими инициативами президента Ганы Кваме Нкрумы, за первыми выборами в Индонезии, за обретением независимости Бирмой (ныне Мьянма) и первыми выборами в этой стране, где я провел год, и, конечно же, за земельными реформами в революционном Китае и общенациональными выборами в Индии...

Мне внезапно открылось (странно, что я не понял этого раньше), что практически любая масштабная и успешная революция заканчивалась созданием государства, куда более могущественного, чем то, которое она разрушила, и способного отныне выжимать из народа, которому должно было служить, гораздо больше и контролировать его намного жестче...

Политику Запада в отношении бедных стран в годы холодной войны тоже нельзя было рассматривать как наглядную альтернативу «реально существующему социализму». Режимы и государства, правившие железной рукой в условиях жесточайшего неравенства, приветствовались в качестве союзников по борьбе против коммунизма...» (Скотт, 2019: 3-5).

Возвращаясь к Чаянову, отметим, что и он, осмысливая итоги великой Русской революции, к концу 1920-х годов пришел к выводу о роковом возрастании бюрократического гнета советского государства в развертывающейся форсированной коллективизации. Под огнем беспощадной партийно-бюрократической критики ему пришлось публично отречься от разработок самоуправленческих коопера-

тивно-крестьянских планов сельского развития и заняться проектированием гигантских государственных аграрных предприятий — совхозов. Один из зарубежных исследователей чаяновского творчества Л. Чертков ссылался на некие глухие сведения о том, что «Чаянов по специальному заданию Сталина написал в конце 1920-х книгу «Автаркия» — изолированное государство» (Чертков, 1982: 24). Книга эта до сих пор нигде не найдена и скорее всего слух о ней является лишь некоей зловещей легендой. Впрочем, источники этих слухов могут корениться в идеях опубликованных гораздо раньше работах Чаянова — еще времен Первой мировой войны, Революции и Гражданской войны. В них уже тогда Чаянов пророчески моделировал некоторые схемы экспансии аграрно-бюрократических государств.

И Скотт, и Чаянов каждый в свое время столкнулись с проблемой бюрократического государства, стремящегося «оседлать» крестьянскую революцию, и, как полагается настоящим ученым, они обратились к возможным глубинным первоисточкам этого феномена. На этом пути из знаменитых крестьяноведа им пришлось стать своеобразными государствоведами. В результате Джим Скотт обосновал историко-антропологическую гипотезу происхождения древних автаркических государств, а Александр Чаянов предложил экономико-математическую модель изолированного государства-острова. Историческая гипотеза Скотта и логическая модель Чаянова архетипов государственности определенным образом взаимно дополняют друг друга.

Древние автаркические государства по Скотту

В своей последней монографии о возникновении древнейших государств, базируясь прежде всего на новейших исторических исследованиях Древней Месопотамии, Джим Скотт осуществил основательный пересмотр многих привычных мнений о происхождении государственности.

«Если приравнять цивилизацию к государству, а архаическую цивилизацию — к оседлости, земледелию, домашней усадьбе, орошению и городам, то придется признать, что наша историческая хронология в корне неверна. Все эти достижения неолита существовали задолго до того, как мы обнаруживаем нечто похожее на государство в Месопотамии.

Имеющиеся сегодня данные заставляют признать, что зачаточные формы государственности возникли благодаря сочетанию запасов зерна с рабочей силой, которое сложилось в позднем неолите и стало объектом контроля и захвата... это сочетание было единственным материалом, который подходил для строительства государств» (Скотт, 2020: 139).

Используя данные историко-антропологических исследований Дженнифер Пурнелл, Скотт описывает первые месопотамские города как своеобразные острова посреди болотистых равнин Месопотамии, чьи водные пути являлись прежде всего транспортными артериями, а уж затем оросительными каналами (Pournelle, 2003: 28).

Вот из некоторых таких городов при определенных обстоятельствах и стали возникать первые государства. Именно в них происходила исторически специфическая и уникальная концентрация рабочей силы, сельскохозяйственных земель и продовольствия. Этой сконцентрированной триаде Скотт дает название — «неолитический агрокомплекс», который и оказывается первоосновой возникновения государств.

При этом Скотт подчеркивает, что здесь недостаточно учитывать лишь краткое веберовское определение государства как территориально-политической единицы, монополизировавшей право на насилие. Скотт развивает определение государства как института, в котором прежде всего существует слой чиновников, занимающихся калькуляцией налогообложения с подвластного населения, подчиняющихся одному правителю или властвующей группе. По Скотту, государство является аппаратом исполнительной власти в уже достаточно сложных, стратифицированных иерархических обществах с разнообразным разделением труда. Далее он уточняет, что некоторые авторы включают в неперенные атрибуты государства армию, оборонительные сооружения — стены, идеологический ритуальный центр — дворец, а также, как правило, царя или царицу (Скотт, 2020:141).

Таким образом, Скотт признает, что процесс возникновения и развития первых государств был нелинейным, неодномоментным, прерывисто постепенным. Он полагает, что под самые общие критерии государственности — определенная территория с границами-стенами, особый госаппарат чиновников, собирающих налоги — подпадает действительно первое известное нам месопотамское город-государство Урук, точно существовавшее уже к 3200 году до н.э. А с 3200 по 2800 год до н.э. возникает целое созвездие таких городов-государств на Ближнем Востоке.

Скотт подчеркивает, что хотя некоторые исследователи дают им пышные наименования первых «великих цивилизаций», на самом деле эти государства были совсем невелики, так что за один день возможно было дойти из их столицы до окраинной границы. Тем не менее первые городские стены в мире, построенные именно в Уруке, окружали площадь примерно в 250 га, а это в два раза превышало площадь классических Афин спустя 3000 лет. От себя добавим, что площадь Московского Кремля составляет 27,5 га — почти в 9 раз меньше площади обнесенного стенами Урука. Численность населения среднего шумерского города-государства, например, Абу Салабиха, по исчислениям историков составляла приблизительно 10 тыс. человек. И этот город контролировал вокруг себя сельскую периферию в радиусе примерно в 10 км. Его превышал по населению и по размерам примерно в 3–5 раз все тот же самый могущественный среди шумерских государств Урук.

Скотт, соглашаясь с данными современных исторических антропологов, полагает, что древние, еще фактически безгосударственные, деревни-города стали трансформироваться в первые города-государства, превращая местное население в своих подданных прежде всего благодаря происходившему изменению климата. Так, с 3500 по 2500 год до н.э. зафиксировано резкое снижение уровня моря

и, соответственно, уменьшение объема воды в Евфрате. Усиливающаяся засуха иссушала болота, среди которых находились местные поселения. Если раньше их жители могли заниматься не только земледелием, но как охотники и собиратели пользоваться для своего потребления самой разнообразной и обильной флорой и фауной болотистой дельты реки, то теперь они были вынуждены концентрироваться вокруг оставшегося русла и нескольких притоков Евфрата, где аллювиальные почвы особенно благоприятны для интенсивного земледелия. Именно на этих территориях население достигло значительной концентрации, а так как уже без ирригации и регулирования воды и земли невозможно было обойтись, то именно тогда и стали формироваться города-государства, при помощи барщины и труда рабов, сооружающих все более разветвленную сеть искусственных каналов. Недостаток воды не только для относительно вольного образа жизни охотников и собирателей бывшей болотистой дельты, но даже для собственно формирующихся новых массовых слоев земледельцев усиливал такой тип урбанизации, при котором около 90% населения города-государства проживало примерно на 30 гектарах земли. Так возникали и развивались своеобразные зерно-человеческие модули — идеальные формы для государственного строительства.

Скотт приходит к выводу, что в этих условиях высокая концентрация зерна и рабочих рук на плодородных аллювиальных почвах способствовала росту стратификации и неравенства в городах-государствах. Формирование их ядра господства заключалось в расширении государственного контроля за интенсификацией зернового производства и расширением ирригационно-транспортной инфраструктуры.

Экономический фундамент древних государств Ближнего Востока и Средиземноморья — это выращивание злаковых культур, прежде всего пшеницы и ячменя, в Юго-Восточной Азии — риса, а в Доколумбовых империях Америки — кукурузы. И в этих «зерновых» государствах злаковые культуры были не только главным источником пищевого рациона, но также единицей налогообложения и основанием аграрного календаря, определяющим мировоззренческий и повседневный порядок жизни людей.

Скотт подчеркивает особую глубинную связь государства и зерна, поскольку именно злаковые могли стать удобной и эффективной основой налогообложения. Их урожай так легко увидеть, оценить, конфисковать, поделить, распределить, складируют, в этом он фиксирует важнейший смысл контроля иерархической пирамиды чиновников и сборщиков налогов. Остальные сельскохозяйственные культуры могут обладать какими-то другими важными питательными и прочими достоинствами, но большинству из них присущ главный недостаток — с ними больше проблем и неопределенности для государства с точки зрения тотального контроля над продовольствием и людьми.

От месопотамских городов-государств и далее до царств Древнего Египта, Китая и Рима — прежде всего зерно и контроль над ним — основа политэкономии древних государств.

«Если зерно и, соответственно, поступление налогов заканчивалось, государственная власть начинала разрушаться. Могущество древнекитайских царств держалось только на пахотных землях в бассейнах Желтой реки и Янцзы... Территория Римской империи, невзирая на все ее имперские амбиции, не очень выдавалась за границы зоны зернового земледелия» (Скотт, 2020:158).

Древние государства, в основу своего существования положившие контроль над эколого-экономическими зерновыми модулями, к тому времени сконструировали для своей защиты крепостные стены, а также разработали письменность, прежде всего фиксирующую бюрократическо-зерновое делопроизводство контроля над землей, водой, зерном и рабочей силой.

При этом, подчеркивает Скотт, стены служили не только для обороны от соседних городов-государств или от набегов каких-то безгосударственных варваров, но также и для удержания внутри самих стен жестоко эксплуатируемых земледельцев и рабов, часто пытавшихся сбежать из этих первых в мире «райских» резерваций государственности. А письменность, естественно и прежде всего, служила основой для бюрократического контроля над зерном и трудом этих агроэкологических модулей.

Далее Скотт отмечает, что эти первые древние государства были чрезвычайно хрупкими институциональными образованиями. Метафорически он сравнивает их рост и распад с процессом построения акробатической пирамиды непрофессиональными акробатами-школьниками: «Если же вопреки всем препятствиям пирамида готова, включая вершину, то аудитория, затаив дыхание, следит за тем, как она подрагивает и раскачивается, предвидя ее неизбежное крушение... Если развить эту метафору немного дальше, то можно сказать, что сегменты пирамиды по отдельности достаточно стабильны... Однако создаваемая ими сложная структура оказывается шаткой и склонной к разрушению. Неудивительно, что она быстро распадается, удивительно, что ее вообще смогли создать» (Скотт, 2020: 147).

Эти первые «пирамиды» государственности страдали от многих дефектов как природного, так и социального характера. Невероятная скученность находящихся под насильственным контролем людей вперемешку с хозяйством их одомашненных животных приводила к опасным вспышкам массовых эпидемий, фатально выкашивавших с таким трудом собранную под одной крышей авторитарной государственности концентрацию людей. Неумеренные преобразования природы в виде экспансии сети ирригационных сооружений оборачивались непредвиденными экологическими катастрофами, связанными с гибелью лесов и наступлением пустынь. Наконец, частые войны за рабов, территории и господство как между первыми городами-государствами, так и внутри них самих приводили к новым чудовищным социально-политическим катастрофам. Археологи до сих пор продолжают озадаченно разгребать останки этих стремительно возникавших, а затем так же быстро исчезающих в небытие древнегосударственных агрокомплексов.

От этих шумерских парадоксов раздувания и лопанья среди знойных болот Месопотамии первых «пузырей» власти государственности веет ужасом мистического вопрошания ведьм холодных шотландских болот «Макбета»:

«Земля, как и вода, содержит газы — И это были пузыри земли. Куда они исчезли?» (Шекспир)

Так возникали и исчезали подобно вулканическим островам-оазисам среди болот и пустынь душных междуречий земли первые государства.

Может возникнуть соблазн упрекнуть Джима Скотта в географическом детерминизме зерновых автаркий, в чем-то схожем с географическим детерминизмом гидравлических деспотий Карла Виттфогеля (Wittfogel, 1957). Но все же между концепциями развития древних государств у этих двух ученых имеются принципиальные различия. В отличие от Виттфогеля, подчеркивающего прежде всего тотальную мощь этих древних «тысячелетних рейхов», Скотт обращает внимание на перманентную хрупкость и уязвимость, присущую этим городам-государствам. Виттфогеля мало интересуют безгосударственные и антигосударственные формы внутри и снаружи этих государственных автаркий, а Скотт уделяет значительное внимание именно разнообразным формам так называемого безгосударственного варварства, отмечая, как часто автаркические цивилизации просто не могут существовать без внутренней и внешней теневой экономики варварства (Никулин, 2012: 17-33). Наконец, Карл Виттфогель проводит историко-аналитические параллели между гидравликой древних деспотий и технократией коммунистических режимов XX века, а Джим Скотт в своей концепции фокусируется на изначальной архетипичности «зерен» бюрократии месопотамских автаркий при любых формах государственности.

Если Скотт попробовал реконструировать исторически первые образцы автаркической государственности, то Чаянов попытался сконструировать ее первичные абстрактные модели.

Абстрактные автаркические государства по Чаянову

Александр Чаянов в годы Первой мировой войны был командирован царским правительством в Среднюю Азию для экспертизы возможностей государственного регулирования ирригационного сельского хозяйства в пустынях междуречья Сырдарьи и Амударьи. По результатам этой поездки через пару лет он опубликовал в нескольких номерах журнала «Вестник сельского хозяйства» свои экономико-математические очерки по теории водного хозяйства.

В основе чаяновской экономико-математической модели находится «мыслимое изолированное государство — оазис, все земледелие которого построено на орошаемых землях» (Чаянов, 1917: 5). Три тысячи лет спустя после деятельности шумерских чиновников по оптимизации управления водой, землей и людьми для

конструирования жизни агромодулей изолированных оазисов-государств Чаянов, в сущности, задается все теми же вопросами аграрной политики: определения «вредных» и «полезных» сельскохозяйственных продуктов, водных тарифов и земельных налогов с точки зрения некоего верховного государственного контролера, который «поощряя государственно-полезные растения, может увеличивать хозяйствам, их культивирующим, подачу воды и понижать плату за воду.

Обратно изгоняя вредные с народно-хозяйственной точки зрения культуры, он может сокращать отпуск воды и увеличивать плату за воду...

Подобная система активной водной политики требует очень большой осведомленности, достаточной осторожности и в то же время решительности и организации постоянного контроля и наблюдения за разбором и ведения хозяйства» (Чаянов, 1917: 11).

Эти чаяновские экономико-математические «водные» очерки носят исключительно абстрактно-теоретический характер, в них нет упоминаний конкретных среднеазиатских оазисов и рек, крестьян и чиновников. В основе чаяновских экономико-математических графиков, схем, рисунков водного хозяйства обнаруживается маржиналистский абстрактно-пространственный подход к описанию феномена города-государства, впервые разработанный в книге немецкого аграрника экономиста Иоганна фон Тюнена с его знаменитым экономико-математическим анализом модели «Der isolierte Staat».

Чаянов очень хорошо знал тюненовскую методологию, умел и любил применять ее. Именно в НИИ сельскохозяйственной экономики, создателем и первым директором которого являлся Чаянов, был осуществлен перевод и подготовлен к изданию трактат Тюнена (Тюнен, 1926). К модели Тюнена Чаянов обращался до и после Русской революции, и в еще более обобщающе абстрактном контексте, чем водное хозяйство города-оазиса.

С началом Первой мировой войны, находясь, безусловно, под впечатлением от разрыва мировых хозяйственных связей и расширяющейся автаркизации различных регионов мира, Чаянов публикует глубоко теоретическую статью, опять же в духе Тюнена, под названием «Проблема населения в изолированном государстве-острове» (Чаянов, 1915: 42-56). Шесть лет спустя он доработает, расширит этот текст и издаст в виде отдельной брошюры «Опыты изучения изолированного государства» (Чаянов, 2021: 1-36).

Если в центре тюненовской модели стоит проблематика оптимального выбора размещения производства сельскохозяйственных культур в центрально-периферийном пространственном контексте города-государства, то в чаяновской модели находится регулирование занятости сельско-городского населения в абстрактно-изолированном государстве. И вновь, с первых страниц чаяновского трактата, у нас непроизвольно могут возникнуть ассоциации с опытами реконструкции логики государственного контроля древних государств по Скотту.

Чаяновский текст начинается следующим допущением: «§ 1. I. Представим себе некое изолированное государство с единым городом-рынком в его центре, при-

чем в отличие от тюненовского изолированного государства, окруженного беспредельно плодородной равниной, наше государство примем лежащим на острове...» (Чаянов, 1917: 2). Далее Чаянов описывает эту модель с такими уточняющими параметрами: площадь острова составляет 10 млн десятин плодородной земли (этот остров чуть меньше площади острова Куба. — А. Н.). Здесь один-единственный пищевой продукт А удовлетворяет все человеческие потребности в пище в размере «400 пудов в год на работника и связанных с ним домочадцев» (Чаянов, 1917: 3).

Так Чаянов фактически доводит до абстрактно-логического конца ту самую универсальную питательную культуру по Скотту, которая в древних государствах монокультуривировалась в зависимости от региона в виде пшеницы, риса или кукурузы в целях редуccionистского удобства государственного контроля.

Но Чаянов идет в своих государственных абстракциях еще дальше, предполагая, что в изолированном государстве-острове производится только единственный продукт городской промышленности Т, удовлетворяющий все другие человеческие потребности человека в количестве 10 пудов при неизменной производительности труда. Далее сообщается, что производство аграрного продукта А происходит по законам убывающего плодородия почвы, при этом транспортные издержки равны нулю, а средства и орудия производства изготавливают сами производители. Кроме того, в этой стране нет частной собственности, но в ней чрезвычайно быстро растет население. В конце первой главы допускается, что эта страна может «входить в сношение с другими странами, отличающимися от нее по степени густоты населения» (Чаянов, 1917: 14).

Чаянов, конечно, признает, что выдуманная им система хозяйственной жизни «до крайности упрощенная» (Чаянов, 1917: 17). Несмотря на это, далее он очень уверенно начинает оперировать собственными предложенными условиями, стремясь ответить на целый ряд вопросов, связанных с центральной проблемой — исследованием изменений степени интенсивности земледелия во взаимодействии города и села в данной абстрактно утопической стране. Через разветвленную сеть таблиц и графиков, напоминающих своими рисунками каналы древних государственных деспотий, он победоносно приходит к выводу о первенстве сельского (крестьянского) хозяйства в его соревновании с городской экономикой.

Вторая часть чаяновской работы начинается с введения в нее ряда дополнительных условий, несколько преодолевающих упрощения главы первой. Так, признаются транспортные издержки и появляется частная собственность на землю. Кроме крестьянских в этой модели теперь присутствуют и капиталистические хозяйства. Территория острова увеличилась до 25 млн десятин (это уже чуть больше, чем остров Англия). К тому же это изолированное государство разделяется на пять концентрических зон, при этом оговариваются конкретные транспортные издержки для сельского продукта А и городского Т.

Затем опять следует каскад таблиц и графиков, варьирующих различные альтернативы взаимодействия трудовых и капиталистических хозяйств. В параграфе 17 предполагаются даже серьезные политические осложнения: «Примем, что не-

большая группа граждан нашего города силою оружия или каким-то иным способом овладевает другим таким же островом, как их родина, и устанавливает на ней режим частной собственности на землю. При этом они получают возможность переселять к себе на остров избыточное население с первого острова, благодаря чему оно наводняет второй остров в качестве наемных рабочих, которым дают ту же заработную плату, как и на первом острове» (Чаянов, 1917: 30).

При любых разнообразно абстрактных условиях и вытекающих из них вариантов как в первой, так и во второй главе в своих выводах Чаянов всякий раз демонстрирует, как в его утопическом маргиналистском государстве-острове (и даже государствах-островах) трудовое земледельческое население возрастает, а городское население и капиталистическое хозяйство уменьшаются, вопреки очевидным социально-экономическим реалиям XX века.

На наш взгляд, этот затейливый маргиналистский трактат о взаимоотношениях города и села в некоей абстрактной автаркии-острове является своеобразным аналогом интеллектуальной аграрно-экономической «игры в бисер» в духе притчи-романа Германа Гессе — игры с выигрышем для села и крестьян, и проигрышем для города и капиталистов. И здесь мы должны также обратить внимание, что, хотя в этой модели совершенно не рассматривается политико-административное устройство чаяновского государства-острова, предлагаемая Чаяновым сеть калькуляционных категорий изолированного государства могла бы привести в организационно-административный восторг всякого квалифицированного бюрократа — от шумерского Ура, до советского Госплана. Возможно, именно эта работа Чаянова стала источником легенды о том, что Сталин заказал ему политико-экономический трактат «Автаркия» (Nikulin, 2011: 211-219).

Впрочем, политико-экономической критике государств Нового и Новейшего времени и Скотт, и Чаянов посвятили гораздо больше своих работ, чем исследованию древних и абстрактных автаркий. Эта критика осуществлялась в связке с рассмотрением иных социальных сил и институтов, автономных от государства, а если и взаимодействующих с государством, то непременно при сохранении своей собственной свободы и логики действий, часто объяснимых с точки зрения анархического мировоззрения и действия.

Государство и анархизм Джима Скотта

Скотт в своих работах дал определение и исследовал логику провалов планов современных государств последних трех веков в связи с роковым совмещением в их политике трех ключевых составляющих: «высокого модернизма», могущества современного государства, а также ослабленности гражданского общества. Солидаризируясь в целом с определением Д. Харви «высокого модернизма» как «веры в линейный прогресс, абсолютные истины и рациональное планирование идеального социального порядка при стандартных условиях знания и производства» (Harvey, 1989: 35), Скотт приводит в своих сочинениях немало примеров, ко-

гда государства, а порой и крупные капиталистические корпорации смело брались за решение амбициозных и неизведанных задач, оборачивавшееся порой впечатляющими катастрофами.

Излюбленный пример Скотта — история внедрения научно-промышленного лесоводства в Европе еще в конце XVIII века. Скотт анализирует научные представления того времени о природе и лесе. В знаменитой энциклопедии Дидро лес определяется как экономический ресурс, полностью подчиненный фискальной и коммерческой логике, логике прибыльности. Англоязычный понятийный аппарат XVIII века делит обитателей леса на «чистых» и «нечистых» с точки зрения дохода. Естественно, количество «чистых» надо приумножать, а «нечистых» (на языке XVIII века, «дряни») сокращать (Скотт, 2005: 18). Более всего в тотальном претворении в жизнь такого отношения к лесу продвинулась Германия. Ее ученые и лесники поставили перед собой задачу преобразовать древнехаотическое лесное скопище в новую форму леса, состоящего из геометрически точных рядов нормализованных деревьев, которые обеспечивают максимальную и стабильную доходность. На протяжении почти всего XIX столетия немцы пунктуально (по таблицам) вычищали свой лес. Немецкая школа научного лесоводства служила западным исследователям эталоном переустройства лесных пространств от Норвегии до Северной Америки.

Действительно, первые поколения деревьев регулярного германского леса демонстрировали наивысшую древесную стать и прочность, из них извлекалась соответствующая внушительная прибыль. А через поколение рост леса и соответствующий ему рост прибыли резко пошли на спад. Германский лес стал гибнуть на корню и весь. Административное лесоводство, упрощающее и стандартизирующее природу, привело к катастрофе. После этого немцам вновь пришлось стать пионерами, но уже в деле ликвидации лесных коммерческо-административных амбиций. Новыми поколениями ученых создавалась наука «лесной гигиены», предусматривающая специальное разведение в лесу (ради его сохранения) всяческой животной и растительной «дряни» (птиц, насекомых, растений), бесполезной с точки зрения просветительского бизнес-администрирования.

Другой показательный лесной пример Скотта относится уже к началу XX века, когда знаменитый автомобильный король Генри Форд решил обеспечить каучуком производство шин для собственных автомобилей. Форд взял в аренду территорию в лесах бассейна Амазонки размером с американский штат Коннектикут и там решил основать свою Фордландию — страну, где массово выращиваются каучуковые деревья для производства автомобильной резины. Вообще-то в естественных условиях Амазонки каучуковые деревья произрастают, но весьма разреженно, среди остального потрясающего биоразнообразия тропических лесов. Форд же постарался заложить обширные регулярные плантации каучуконосов по образцу английских и голландских плантаций в Юго-Восточной Азии. Но в Юго-Восточной Азии такие плантации были возможны потому, что там не было таких вредителей и врагов каучуконосов, которые обитали в Амазонии. За несколько лет

плантации Форда были уничтожены множеством местных болезней и вредителей, несмотря на все усилия фордистских плантаторов, применявших даже дорогостоящие тройные прививки для защиты здоровья каучуковых деревьев. Истратив миллионы долларов на этот проект, внося различные изменения в его менеджмент, преодолевая протесты рабочих, в конце концов Форд был вынужден прекратить свою бразильскую авантюру (Скотт, 2019: 51-53).

Но, пожалуй, самыми ужасающими и амбициозными проектами государств «высокого модернизма» левого толка стали «великие переломы» советской коллективизации и «большие скачки» китайских коммун, обернувшиеся катастрофическими многомиллионными жертвами великих бюрократических планов. В целом Скотт характеризует программу крупного аграрно-индустриального производства в большевистской России как советско-американский фетиш «высокого модернизма». Ради воплощения в жизнь этой теории в России 30–50-х годов XX века развивались специфические формы высокомодернистского крепостничества. В сельской местности сформировались обширные «государственные ландшафты контроля и присвоения» (Скотт, 2005: 278). Лишь массовое явное и скрытое сопротивление российского крестьянства авторитаризму «высокого модернизма» ограничило и до неузнаваемости изменило первоначальные замыслы.

Как бы подводя итог всем своим многочисленным и впечатляющим примерам «наломанных дров» энергичной государственной деятельности различных политических направлений, Скотт выносит вердикт: «На протяжении последних двух столетий привычные устои рушились с такой скоростью, что следовало бы называть это их массовым вымиранием — чем-то сродни ускоренному исчезновению видов. Причина этого вымирания аналогична биологической: утрата мест обитания... главный виновник — не что иное как, государство, в частности, современное государство, заклятый враг анархистов. Его развитие и повсеместное распространение вытеснило, а затем и уничтожило множество прежних форматов политического устройства: рода, племена, вольные города и их союзы, общины и империи. На их месте теперь повсюду лишь одна форма политического устройства — сформировавшееся в XVIII веке североатлантическое национальное государство, притворяющееся универсальным» (Скотт, 2019: 64).

Повсюду, отмечает Скотт, мы видим привычные символы государственности: государственные флаг и гимн, государственные театры и оркестры, глав государств и парламенты, центральные банки, регулярность деятельности министерств и органов безопасности и так далее. Такой стандартный формат управления распространили в свое время колониальные империи и соответствующее им «модернистское» подражание. В настоящее время подобную стандартизацию лоббируют наравне с государствами и международные организации — Всемирный банк, МВФ, ВТО, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Международный трибунал — их главная задача заключается в распространении повсюду норм «передового опыта» государств. Заодно подобную работу по стандартизации всего и вся проводят и транснациональные корпорации с их космополитической атмосферой единой

для бизнеса нормативно-правовой законодательной базы. Скотт предполагает, что уже в недалеком будущем любой представитель международного бизнеса сможет сесть в самолет и, оказавшись в любой точке земного шара, окунуться во все те же ему хорошо знакомые государственно-корпоративные правила управления социумом, лишь разбавляемые колоритом местной кухни и музыки, но так же широко использующих рекламу.

В этой связи Скотт ставит тревожный вопрос о возможном из-за исключительных успехов распространения повсюду разнообразных форм государственного контроля истощении способностей людей и общин к независимости и организации. По его мнению, задолго до Фуко анархист Прудон хорошо сказал о том, что «...управляться — значит быть все время под присмотром, контролем, наблюдением, внушением, пропагандой и цензурой, выслушивая приказы существ, не обладающих ни знанием, ни добродетелью. Управляться — значит на каждом шагу, при всяком поступке, и в любой деятельности подвергаться учету, подсчету, оценке, порицанию, запретам, внесению в списки, определению стоимости, переделкам и правкам» (Скотт, 2019: 14). Так, государство и рынок в последние десятилетия часто стремятся определять многообразие различных форм человеческой деятельности через калькуляцию и оценку величины так называемого «человеческого капитала» — весьма абстрактного понятия, но наполняемого все более конкретной эмпирикой государственного контроля.

Солидаризируясь в других местах своих сочинений с различными взглядами анархистов, например, с идеями Михаила Бакунина и Льва Толстого, Скотт замечает, что сам он так и не обзавелся неким цельным анархистским мировоззрением. Но именно сквозь призму анархистского взгляда, полагает Скотт, возможно увидеть как в истории народных движений и революций, так и в политической рутине государств нечто, недоступное с иных точек зрения.

По Скотту, анархизм растворен и укоренен в повседневном поведении людей, даже никогда не думавших об анархизме и не занимавшихся какой-либо политической деятельностью. Скотту импонирует анархистская снисходительность к суете и внезапности, а также анархистская убежденность в значимости ситуативного сотрудничества и взаимных компромиссов.

О самом себе Скотт говорит как о «стороннике “процессо-ориентированного” анархистского взгляда, иначе называемого практическим анархизмом» (Скотт, 2019: 4), который стремится отстаивать свою позицию посредством политики конфликтов и дискуссий, с учетом окружающей нас неопределенности, скептически относясь к всякого рода систематизированному сциентизму любых идеологических направлений.

При этом Скотт, в отличие от множества анархистских мыслителей, не считает, что государство всегда и везде является врагом свободы. В этой связи он предлагает, например, вспомнить, как именно государство в лице представителей национальной гвардии США в 1957 году сопровождало идущих в школу чернокожих детей, защищая их от толпы разъяренных белых. Впрочем, полагает Скотт,

такая возможность у государств — иногда становиться на защиту свободы своих граждан — появилась лишь за последние двести лет, после Великой Французской революции и с распространением понятий демократического гражданства, всеобщего избирательного права, расширившегося впоследствии для женщин, рабов, представителей меньшинств. И все же государство, по Скотту, чаще угрожает свободе, чем защищает ее. Впрочем, кроме государства можно упомянуть и о других институтах, с незапамятных времен угрожавших свободе, например, связанных с рабовладением, бесправием женщин, войнами и разбоем.

«Анархист» Скотт является противником фундаменталистского рыночного анархизма, ведущего к поляризации людей на богатое меньшинство и бедное большинство. Именно из-за него «демократические институты сами в большой степени стали товаром, и тот, кто больше заплатит, тот и сможет их купить» (Скотт, 2019: 9). И пока интеллектуалы обсуждают, при каком уровне неравенства демократия все еще не превращается в фарс, мир уже давно вступил в эпоху некоей фарсокрации, ибо «демократия без *относительного* равенства — это жестокий обман» (Скотт, 2019: 9).

В этих условиях, полагает Скотт, как теоретически, так и практически не стоит уничтожать государство, надо как-то уживаться с этим Левиафаном, не оставляя попыток приручить его, хотя вряд ли это людям вполне удастся. Публицистическая книга Скотта «Анархия? Нет, но да!» фактически являет собой пеструю коллекцию анархистских притч-фрагментов о человеческих достоинстве, осмысленном труде и иронии, в спонтанных проявлениях здравого смысла противостоящих государственно-бюрократическим правилам жизни.

В этом смысле чаяновское мировоззрение, пусть и почти столетней давности, определенно оказывается близким анархистскому мировоззрению Джима Скотта.

Государство и анархизм Александра Чайнова

Чаянов, как и Скотт, неоднократно признавался в своих анархистских предпочтениях, по крайней мере до тех пор, пока в Советской России их можно было высказывать открыто. Чайнов, как и Скотт, является «аморфным» анархистом, без собственной четко систематической анархистской теории, но непременно поминующим с сочувствием своих наиболее любимых анархистских мыслителей. Разница, пожалуй, заключается в их персональных предпочтениях. Если Скотт чаще всего ссылается на Прудона и Бакунина, то Чайнов предпочитает упоминать имена Уильяма Морриса и Петра Кропоткина. Так, например, выступая в 1918 году на II съезде ВСНХ, Чайнов заявил: «Моя анархо-идеология более близка к идеологии Кропоткина...» (Савинова, 2022: 44). В личной беседе об анархизме с Джимом Скоттом автор этой статьи спросил, кто ему ближе из великих русских анархистов: Бакунин или Кропоткин. Скотт ответил: Бакунин.

Обращаясь к практико-ориентированным вопросам сравнений анархистских взглядов, надо признать, что у обоих ученых, кроме их богатого университетско-

академического есть и опыт активной вовлеченности в общественную жизнь, связанный в том числе и с конфликтным противостоянием государству. Но если у Скотта это преимущественно опыт левого активиста, участвовавшего в различных движениях протеста, например, против войны во Вьетнаме или репрессий авторитарного режима в Бирме, то Чайанов был заметным общественным и государственным деятелем времен Русской революции, связанным не только с разработкой и экспертизой аграрных и кооперативных реформ, но и с попытками их осуществления на практике.

Чаянов, так же как и Скотт, никогда не придерживался радикально анархистских взглядов, не разделял идей ликвидации государства как такового. Напротив, он неоднократно писал о важном значении в прогрессивных социальных преобразованиях именно государства. Другое дело, что так же, как и Скотт, Чайанов приводит в своих сочинениях историю картофельных провалов государства, например, при Петре, Фридрихе, Екатерине Второй вплоть до Николая Первого, увлеченных просветительским распространением посадок картофеля среди крестьян, приводивших в результате к массовым антикартофельным крестьянским бунтам и протестам.

И тем не менее Чайанов — анархист по духу, в решающие моменты истории все-таки определенно становился государственным деятелем. Например, во время аграрных реформ Русской революции он последовательно выступал за национализацию земли, а в ходе форсированной коллективизации принял активное участие в проектировании крупных государственных аграрных предприятий — совхозов.

Другое дело, что Чайанову пришлось жить и работать не в демократической Америке, а в авторитарных царской и советской России, где государственным деятелем приходится порой становиться не от хорошей жизни (Савинова, Чайанов, 2020). Однако и в таких условиях Чайанов решал фактически ту самую задачу, о которой пишет Скотт: приручения государственного Левиафана к осознанию важности и даже поддержке свободных общественных ассоциаций.

Это особенно ярко проявилось в деятельности Чайанова в 1917 году, когда он активно участвовал в решении сложнейших задач преодоления социально-экономических кризисов, так называемых продовольственного и аграрного вопросов. Уже в 1916 году из-за дезорганизации российской экономики и транспорта в условиях затянувшейся мировой войны стали проявляться проблемы в городах, связанные с перебоями поставок продовольствия. Как известно, в феврале 1917 года ситуативным детонатором падения царского режима явилось в значительной степени народное недовольство из-за растущих хлебных очередей Петрограда.

В своей работе «Продовольственный вопрос», написанной в апреле 1917 года, Чайанов подробным образом проанализировал, как государство в 1915–1917 годах своими непродуманными и противоречивыми бюрократическими мерами фатально подорвало продовольственное снабжение страны. Одновременно государство ревниво, почти до самого своего падения, не подпускало негосударственные общественные институты земского самоуправления и коопера-

ции к участию в разрешении накопившихся продовольственных трудностей. Чаянов в ряде своих работ 1917 и 1918 годов попытался обрисовать собственную теоретико-мировоззренческую картину социальной эволюции общества. Признавая, что государство, как и рынок, является могучей социальной силой, оказывающей глубочайшее воздействие на социальную жизнь, он поставил вопрос о возникновении и возрастании третьей силы, так называемого *организованного общественного разума*, состоящего прежде всего из различных негосударственных, нерыночных самоуправляющихся союзов, объединений, ассоциаций, все увереннее берущих на себя обязательства, которые ранее ассоциировались исключительно с функционированием рынка или государства. «Организованный общественный разум», вбирая в себя определенные элементы как государственного, так и рыночного регулирования, оказывается даже чем-то большим и важным, чем государство и рынок сами по себе. В этом «разуме» прежде всего рефлексировался поток стихийной социальной эволюции и формулируются предложения, предпринимаются действия по ее общественному, ненасильственному регулированию в определенном компромиссном согласии с рынком и государством.

Одной из важнейших задач, стоявших перед «организованным общественным разумом» России в 1917 году, по Чаянову, была демократизация распределения национального дохода страны в интересах роста производительности труда и национального благосостояния. Чаянов призывал ключевых представителей «общественного разума» России начала XX века — земских деятелей и кооператоров, выражающих интересы крестьянства, объединиться в созидании свободных и демократичных, эффективных и устойчивых форм развития революционной страны. Если же земско-кооперативная общественность не сможет справиться со стоящими перед ней задачами организации и самоорганизации страны, тогда, предсказывал Чаянов, Россию ожидает погружение в хаос разрухи и выход из нее иными, скорее всего государственно-диктаторскими средствами.

Тревожные предчувствия Чаянова сбылись в полной мере. Хотя уже обширная, но политически неопытная и недостаточно организованная земская и кооперативная общественность не смогла сплотиться в эффективную массовую организацию, проигрывая в 1917–1918 году более искушенным, сплоченным, авторитарным профессиональным политическим организациям, среди которых большевики оказались поразительно успешными, энергично занявшись преодолением кризиса и развитием страны, но методами преимущественно насильственного огосударствления всего и вся.

В последующих своих работах Чаянов назвал политэкономический идеал, к построению которого стремились большевики, строем государственного коллективизма. Государственный коллективизм, по его мнению, характеризуется отказом ориентироваться на рыночные экономические стимулы, заменяя их стимулами высоко сознательной работы или внеэкономического принуждения. Кроме того, не доверяя все тем же рыночным товарно-денежным отношениям, государствен-

ный коллективизм стремится вернуться к первоосновам натуральной безденежной экономики, но непременно под эгидой центрально организованного планирования.

Разочаровавшись в своих надеждах на силу «организованного общественного разума», Чаянов публикует в 1920 году ироничную фантастическую сказку «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии», предлагая в ней своеобразные анархистские альтернативы экспансии государственного коллективизма с его верой в скорую победу мировой коммунистической революции.

В чаяновской крестьянской утопии мировая коммунистическая революция действительно побеждает где-то уже к началу 1920-х годов, своими декретами стремясь упразднить даже институт семьи, но, впрочем, это ненадолго. Вскоре в результате нового круговорота войн, разрушивших коммунистический «Мирсовнархоз» из-за так и не исчезнувших национализма, коррупции и личностных амбиций политических вождей, мир ко второй половине XX века распадается на несколько достаточно автаркических социально-экономических систем со своими регионально-культурными особенностями политической и экономической жизни.

Загадочно необъяснимым образом в результате некоего сна-обморока главный герой утопической повести — высокопоставленный коммунистический чиновник попадает из бюрократическо-коммунистической Москвы 1922 года в анархическо-крестьянскую Москву 1984-го. Там он убеждается, что возможны иные формы некоего кооперативно-государственного анархизма, почти во всем противостоящие принципам государственного коллективизма. В этой крестьянско-кооперативно-утопической России противоречия между городом и селом преодолены в пользу органичного высококультурного сельско-городского образа жизни. Эта утопическая страна крепка массовым низовым слоем крестьянских семей, самоуправлением местных общин и разнообразием кооперативных ассоциаций. Ей присуща затейливая комбинация местных властей традиционных политических мастей, при которой, например, «в Якутской области у нас парламентаризм, а в Угличе любители монархии завели “удельного князя”, правда, ограниченного властью местного совдепа, а на Монголо-Алтайской территории единолично правит “генерал-губернатор” центральной власти» (Чаянов, 1989б: 197). Однако все это скорее старинные декорации бывших грозных вертикалей властей вплоть до, конечно, сохраненного традиционного величия московского Кремля.

Ибо как поясняет один из жителей этой утопии: «...мы совершенно почти разгрузили государство от всех социальных и экономических функций, и рядовой обыватель с ним почти не соприкасается.

Да и вообще мы считаем государство одним из устарелых приемов организации жизни, и 9/10 нашей работы производится методами общественными, именно они характерны для нашего режима; различные общества, кооперативы, съезды, лиги, газеты, другие органы общественного мнения, академии и, наконец, клубы — вот та социальная ткань, из которой слагается жизнь нашего народа как такового» (Чаянов, 1989б: 198).

В многоукладной и мультикультурной чаяновской утопии бережно сохранено все — даже государство и капитализм, но их роль не является такой же всепоглощающей и все подавляющей, как в нашей реальной жизни. Государство, например, сохраняя монополию на землю, леса, природные ресурсы в целях поддержания справедливого доступа всех граждан к распределению национальных богатств, не занимается повседневным мелочно-бюрократическим контролем всего и вся, а проявляет себя лишь изредка, только в случаях необходимости поддержания социального порядка, при этом ведя себя всегда безукоризненно вежливо. А предпринимательский гений капиталистов по-прежнему может реализовывать себя в этой утопии, но достигаемая ими сверхприбыль облагается драконовскими налогами в целях демократического выравнивания доходов всех граждан Москвы-1984.

Определенно, чаяновская московская утопия столетней давности до сих пор остается примером для «американской мечты» Джима Скотта о прирученном анархистами Левиафане. Да и сам Скотт признает, что идеи чаяновской утопии чрезвычайно дороги его уму и сердцу.

Заключение

Проведенный анализ эволюции ключевых тем научных исследований Джима Скотта и Александра Чайнова, связанных с понятиями крестьянства, революции, государства и анархии, подводит нас к обобщающей попытке реконструкции понимания ими общества и динамики его развития.

Очевидно, что оба ученых являются антипрогрессистами в смысле отрицания предзаданной однолинейности развития человеческого общества — от низших к некоей наивысшей социальной форме. Такой мировоззренческой картине мира Чайнов противопоставлял в своей работе «К вопросу теории некапиталистических систем хозяйства» понимание эволюции общества как причудливого динамического движения конгломерата больших и малых социально-экономических форм, находящихся к тому же часто меж собой в неформальном симбиотическом взаимодействии. Причем для этого конгломерата чрезвычайно важна историческая инерция существования до конца не изжитых, не исчезнувших, в том числе и древних, социальных форм и отношений.

Исходя из такой точки зрения становится более понятным, почему, например, Скотт и Чайнов, успешно занимавшиеся историческим и логическим анализом «уходящего в прошлое» крестьянства, предприняли также попытки моделирования истории возникновения и логики функционирования государств, как правило, в связи с конгломератным и симбиотическим взаимодействием государства с мирами домохозяйств и общин крестьян (и не только крестьян), а в случае исследований Скотта и с домохозяйствами охотников-собирателей, кочевников и прочих «варваров».

Чайнов был убежден, что подобного рода историко-логические реконструкции древних фундаментов социальных и политических отношений и различных социальных форм могут иметь и вполне прагматические результаты: «Исследова-

ние, пусть даже напоминающее любительское собирательство древностей, могло бы стать весьма существенным: будучи своеобразной экономической палеонтологией, оно не только способствовало бы сравнительному анализу существующих экономических структур, но и сослужило бы хорошую службу достижению практических целей экономической политики» (Чаянов, 1989а: 116).

Такая исследовательская позиция, безусловно, родственна и исследовательской логике Теодора Шанина, который в своей модели маятника — колебаний государства и рынка и эксплоярных (неформальных) экономик — предпринял попытку вставить в современный политический и социальный контекст историко-логические изыскания А. Чаянова и Дж. Скотта. В модели Шанина представлен конгломерат различных симбиотических социальных форм, находящихся в современном политэкономическом контексте под гипертрофированным давлением двух глобальных социальных институтов современности — рынка и государства (Шанин, 1999: 545-554).

А где же во всех этих больших и малых, древних и современных социальных конгломератах и симбиозах социальных форм и институтов проявляет себя столь дорогая сердцу Чаянова и Скотта анархия? С точки зрения их мировоззрения — анархия как повседневная и непредсказуемая спонтанность проявления человеческих чувств, замыслов, дел и отношений растворена, укоренена как внутри, так и меж границ формальных структур и взаимоотношений социальных институтов. Хорошим историко-социологическим подтверждением такой точки зрения может явиться историко-социологическое исследование «Бюрократическая анархия. Статистика и власть при Сталине» (Блюм, 2006). Его автор, французский историк А. Блюм, реконструируя на материалах личных дел, хранящихся в архивах, биографии сотрудников таких государственных учреждений, как ЦСУ и Госплан СССР, выяснил, насколько часто даже у них складываются жизненные ситуации анархических решений, взаимодействий, течения дел. И такого рода анархия, по Чаянову и Скотту, может являться необходимым условием сохранения очагов свободы человеческого выбора. Революции, предоставляя уникальные возможности для созидания новых социальных отношений справедливого и свободного миропорядка, часто погибали из-за узурпации и трансформации их анархического наследия правящими бюрократически постреволюционными элитами. Но история с ее анархически непредсказуемыми сюжетами продолжается... И потому осуществленные двумя учеными междисциплинарные исследования в области своеобразной палеонтологии и футурологии крестьянства и революции, государства и анархии остаются чрезвычайно актуальными для современной науки и политики.

Литература

- Блюм А. (2006). Бюрократическая анархия. Статистика и власть при Сталине. М.: РОССПЭН.
- Данилов В. П. (1996). Крестьянская революция в России, 1902–1922 гг. / Конференции «Крестьяне и власть». Москва-Тамбов. С. 4–23.

- Никулин А. М. (2012). От одомашниваний в неолите к оседлости в империях: концепция истории борьбы между государством и варварами Дж.С. Скотта // Социология власти. № 4–5. С. 17–33.
- Никулин А. М. (2020). Аграрные идеологии фашизма среди альтернатив сельского развития 1920–1930-х годов // ЭКО. Т. 50. № 6. С. 171–192.
- Никулин А. М. (2020). Школа Чаянова: утопия и сельское развитие. М.: Издательский дом «Дело». РАНХиГС.
- Савинова Т. А. (2022). 1918 год в жизни А. В. Чаянова: кооперация, литературное творчество и анархизм // Крестьяноведение. Т. 7. № 2. С. 38–46.
- Савинова Т. А., Чаянов А. В. (2020). «...Мысль невольно ищет выхода из создавшегося положения, стремясь абсолютный недостаток сельскохозяйственных машин восполнить повышением коэффициента их использования» // Крестьяноведение. Т. 5. № 1. С. 84–92.
- Скотт Дж.С. (2005). Благими намерениями государства. М.: Университетская книга.
- Скотт Дж.С. (2017). Искусство быть неподвластным: Анархическая история высокогорий Юго-Восточной Азии. М.: Новое издательство.
- Скотт Дж.С. (2019). Анархия нет, но да! / Пер. с англ. М.: Радикальная теория и практика.
- Скотт Дж.С. (2020). Против зерна. М.: Издательский дом «Дело».
- Тюнен И. Г. (1926). Изолированное государство. М.: Экономическая жизнь.
- Чаянов А. В. (1906). Рецензия на кн.: Эльцбахер П. Сущность анархизма (СПб., 1906) // Вятская жизнь. Вятка. № 133 (9 июля). С. 4.
- Чаянов А. В. (1915). Проблема населения в изолированном государстве-острове // Агрономический журнал. Харьков. № 2. С. 42–56.
- Чаянов А. В. (1917). Очерки по теории водного хозяйства // Вестник сельского хозяйства. № 49–50. С. 5–11.
- Чаянов А. В. (1918). Основные идеи и методы работы общественной агрономии. М.: Новая деревня.
- Чаянов А. В. (1920а). Государственный коллективизм и крестьянская кооперация // Кооперативная жизнь. № 1–2. С. 6–12.
- Чаянов А. В. (1920б). Проблема хозяйственного учета в социалистическом государстве // Экономическая жизнь. № 225 (9 октября).
- Чаянов А. В. (1921). Опыты изучения изолированного государства. М.: Гос. изд-во. С. 1–36.
- Чаянов А. В. (1989а). Крестьянское хозяйство. Избранные труды. М.: Экономика.
- Чаянов А. В. (1989б). Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии // Венецианское зеркало: Повести. М.: Современник.
- Чертков Л. (1982). А. В. Чаянов как прозаик / А. В. Чаянов. История парикмахерской куклы и другие сочинения ботаника Х. NY.: RUSSICA PUBLISHERS. С. 3–24.
- Шанин Т. (1999). Эксплуатация экономики: политэкономия общественных обочин // Неформальная экономика. Россия и мир. / Под. ред. Т. Шанина. М.: Логос. С. 545–554.

- Bernstein H., Byres T.J.* (2011). From Peasant Studies to Agrarian Change // *Journal of Agrarian Change*. Vol. 1. №1. P. 1-56.
- Bruisch K.* (2014). *Als das Dorf noch zukunfft war: Agrarismus und expertise zwischen Zarenreich und Sowjetunion*. Köln: Böhlau.
- Harvey D.* (1989). *The condition of postmodernity: An inquiry into the origins of social change*. Oxford: Basil Blackwell.
- Jackson George D. Jr.* (1966). *Comintern and Peasant in East Europe (1919-1930)*. New York: Columbia University Press.
- Nikulin A.* (2011). Tragedy of a Soviet Faust: Chayanov and Central Asia 1917-1937 // *Soviet Era in Anthropology of Eurasia, Halle Studies*. Vol. 4. P. 211-219.
- Pournelle J.* (2003). *Marshland of Cities: Deltaic Landscapes and the Evolution of Early Mesopotamian Civilization*. University of California at San Diego. P. 28.
- Scott J. C.* (1976). *The Moral economy of the Peasant*. New Haven and London: Yale University Press.
- Scott J. C.* (1985). *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven: Yale University Press.
- Scott J. C.* (1990). *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*. New Haven: Yale University Press.
- Shanin T.* (1990). *Defining Peasants. Essays Concerning Rural Societies, Expolary Economies, and Learning from Them in the Contemporary World*. Oxford: Basil Blackwell.
- Shanin T.* (2009). Chayanov's treble death and tenuous resurrection: An essay about understanding, about roots of plausibility and about rural Russia // *Journal of Peasant Studies*. Vol. 36. № 1. P. 83-101.
- Uleri F.* (2019). Capitalism and the peasant mode of production: A Chayanovian analysis // *Russian Peasant Studies*. Vol. 4. № 3. P.43-60.
- Wittfogel K. A.* (1957). *Oriental Despotism; a Comparative Study of Total Power*. NY.: Yale University Press.
- Wolf E. R.* (1973). *Peasant Wars of the Twentieth Century*. London: Faber and Faber.

James Scott and Alexander Chayanov: From the peasantry through revolutions, to the states, and anarchies

Alexander Nikulin

PhD (Economics), Head of the Center for Agrarian Studies, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration; Head of the Chayanov Research Center, Moscow School of Social and Economic Sciences. Address: Vernadskogo Prosp., 82, Moscow, Russian Federation 119571
E-mail: harmina@yandex.ru

The author conducts a systematic comparative analysis of the scientific worldviews and key research ideas of the American political anthropologist James Scott and the Russian agrarian economist Alexander Chayanov, to show their similar interests in the study of peasant revolutions, state systems, and anarchist ideas. Based on the identified similarities and differences in the milestones of their

intellectual biographies, the author compares Scott's concept of the first ancient autarkic states with Chayanov's abstract economic-mathematical models of island-states. The article describes the contradictions and failures of modern projects for transforming the nature and society by state bureaucracies as revealed in the studies of Scott and Chayanov, and emphasizes the interest of both scholars in the potential of the anarchist epistemological and political ideas for the development of the scientific theory and political practice of interaction between society and the state. The author argues that Scott and Chayanov are not orthodox anarchists insisting on the complete disappearance of the state; they believe that the Leviathan statehood is impossible and, perhaps, not necessary to destroy. However, in their research, both Scott and Chayanov constantly raise questions about the ways to limit and weaken the power of the state bureaucracy with various forms of non-state public life associated with the anarchist ideas of self-organization, spontaneity, and freedom.

Keywords: J. C. Scott, A. V. Chayanov, peasantry, revolution, state, bureaucracy, human capital, autarchy, anarchy, utopia

References

- Bernstein H., Byres T.J. (2011) From Peasant Studies to Agrarian Change. *Journal of Agrarian Change*, vol. 1, no 1, pp. 1-56.
- Bloom A. (2006) *Byurokraticheskaya anarhiya. Statistika i vlast' pri Staline* [Bureaucratic Anarchy. Statistics and Power under Stalin], Moscow: ROSSPEN.
- Bruisch K. (2014) *Als das Dorf noch zukunft war: Agrarismus und expertise zwischen Zarenreich und Sowjetunion*, Köln: Böhlau.
- Chayanov A. (1989b) Puteshestvie moego brata Alekseya v stranu krest'yanskoj utopii [The Journey of My Brother Alexei to the Land of Peasant Utopia]. *Venecijskoe zerkalo* [Venetian Mirror], Moscow: Sovremennik, pp. 161-208.
- Chayanov A.V. (1906) Recenziya na kn.: El'cbaher P. Sushchnost' anarhizma [Book Review Elzbacher P. The Essence of Anarchism] *Vyatka life*, Vyatka, no 133 (July 9), p. 4.
- Chayanov A.V. (1915) Problema naseleniya v izolirovannom gosudarstve-ostrove [The Problem of Population in an Isolated Island State]. *Agronomic journal*, Kharkiv, no 2, pp. 42-56.
- Chayanov A.V. (1917) Ocherki po teorii vodnogo hozyajstva [Essays on the Theory of Water Management]. *Bulletin of agriculture*, no 49-50, pp. 5-11.
- Chayanov A.V. (1918) *Osnovnye idei i metody raboty obshchestvennoj agronomii* [Basic Ideas and Methods of Social Agronomy], Moscow: New village.
- Chayanov A.V. (1920a) Gosudarstvennyj kollektivizm i krest'yanskaya kooperaciya [State Collectivism and Peasant Cooperation]. *Cooperative life*, no 1-2, pp. 6-12.
- Chayanov A.V. (1920b) Problema hozyajstvennogo ucheta v socialisticheskom gosudarstve [The Problem of Economic Accounting in a Socialist State]. *Economic life*, no 225 (October 9).
- Chayanov A.V. (1921) *Opyty izucheniya izolirovannogo gosudarstva* [Experiences in the Study of an Isolated State], Moscow: State publishing house, pp. 1-36.
- Chayanov A.V. (1989a) *Krest'yanskoe hozyajstvo* [Peasant Economy], Moscow: "Economics".
- Chertkov L. (1982) A.V. Chayanov kak prozaik. A. V. Chayanov. *Istoriya parikmaherskoj kukly i drugie sochineniya botanika X* [A.V. Chayanov as a Prose Writer. The History of the Hairdressing Doll and Other Works of the Botanist X], New York: RUSSICA PUBLISHERS, pp. 3-24.
- Danilov V.P. (1996) *Krest'yanskaya revolyuciya v Rossii, 1902-1922 gg.* / Konferencii «Krest'yane i vlast'» [Peasant revolution in Russia, -1902-1922 / Conference "Peasants and Power"], Moscow-Tambov, pp. 4-23.
- Harvey D. (1989) *The condition of postmodernity: An inquiry into the origins of social change*, Oxford: Basil Blackwell.
- Jackson George D. Jr. (1966) *Comintern and Peasant in East Europe (1919-1930)*, New York: Columbia University Press.
- Nikulin A. (2011) Tragedy of a Soviet Faust: Chayanov and Central Asia 1917-1937. *Soviet Era in Anthropology of Eurasia. Halle Studies*, vol. 4, pp. 211-219.
- Nikulin A.M. (2012) Ot odomashnivanii v neolite k osedlosti v imperiyah: koncepciya istorii bor'by mezhdu gosudarstvom i varvarami Dzh. S. Skotta [From Neolithic Domestication to Imperial

- Settlement: J. S. Scott's Conception of the History of Struggle Between State and Barbarians]. *Sociology of Power*, no 4–5, pp. 17–33.
- Nikulin A. M. (2020) Agrarnye ideologii fashizma sredi al'ternativ sel'skogo razvitiya 1920–1930-h godov [Agrarian Ideologies of Fascism among Alternatives to Rural Development in the 1920s–1930s.]. *EKO*, vol. 50, no 6, pp. 171–192.
- Nikulin A. M. (2020) *Shkola Chayanova: utopiya i sel'skoe razvitie* [The Chayanov School: Utopia and Rural Development], Moscow: Delo Publishing House. RANEPa.
- Pournelle J. (2003) *Marshland of Cities: Deltaic Landscapes and the Evolution of Early Mesopotamian Civilization*, University of California at San Diego, p. 28.
- Savinova T. A. (2022) 1918 god v zhizni A. V. Chayanova: kooperaciya, literaturnoe tvorchestvo i anarhizm [1918 in the life of A. V. Chayanov: Cooperation, Writing and Anarchism]. *Russian Peasant Studies*, vol. 7, no 2, pp. 38–46.
- Savinova T. A., Chayanov A. V. (2020) "...Mysl' nevol'no ishchet vyhoda iz sozdavshegosya polozheniya, stremyas' absolютnyj nedostatok sel'skohozyajstvennyh mashin vospolnit' povysheniem koefficienta ih ispol'zovaniya" ["...The Mind Involuntarily Seeks a Way out of the Situation and Tries to Fill the Absolute Scarcity of Agricultural Machinery with the Increasing Utilization Rate"]. *Russian Peasant Studies*, vol. 5, no 1, pp. 84–92.
- Scott J. C. (1990) *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*, New Haven: Yale University Press.
- Scott J. S. (2005) *Blagimi namereniyami gosudarstva* [Well Intentioned], Moscow: University book.
- Scott J. S. (2017) *Iskusstvo byt' nepodvlastnym* [The Art of being Invincible], Moscow: New publishing house.
- Scott J. S. (2019) *Anarhiya net, no da!* [Anarchy no, but yes!], Moscow: Radical theory and practice.
- Scott J. S. (2020) *Protiv zerna* [Against the Grain], Moscow: Delo Publishing House.
- Scott J. C. (1985) *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*, New Haven: Yale University Press.
- Scott J. C. (1976) *The Moral economy of the Peasant*, New Haven and London: Yale University Press.
- Shanin T. (1990) *Defining Peasants. Essays Concerning Rural Societies, Expolar Economies, and Learning from Them in the Contemporary World*, Oxford: Basil Blackwell.
- Shanin T. (1999) *Ekspolyarnye ekonomiki: politekonomiya na obochine / Neformalnay Economica. Rossia i Mir*. [Expolar Economies: Political Economy on Margins / Informal economy. Russia and the World]. (Ed. by Teodor Shanin), Moscow: Logos, pp. 545–554.
- Shanin T. (2009) Chayanov's treble death and tenuous resurrection: An essay about understanding, about roots of plausibility and about rural Russia. *Journal of Peasant Studies*, vol. 36, no 1, pp. 83–101.
- Tyunen I. G. (1926) *Izolirovannoe gosudarstvo* [Isolated State], Moscow: Ekon. life.
- Uleri F. (2019) Capitalism and the peasant mode of production: A Chayanovian analysis. *Russian Peasant Studies*, vol. 4, no 3, pp.43–60.
- Wittfogel K. A. (1957) *Oriental Despotism; a Comparative Study of Total Power*. NY: Yale University Press.
- Wolf E. R. (1973) *Peasant Wars of the Twentieth Century*, London: Faber and Faber.

Конвергируемость реальных и виртуальных сообществ в цифровом пространстве: социологический обзор

Феликс Шарков

Доктор социологических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор кафедры социологии,
Московский государственный институт международных отношений;
заведующий кафедрой общественных связей и медиаполитики,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Адрес: проспект Вернадского, д. 84, Москва, Российская Федерация, 119606
E-mail: sharkov_felix@mail.ru

Наталья Кириллина

Кандидат социологических наук, доцент кафедры общественных связей и медиаполитики,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Адрес: проспект Вернадского, д. 84, Москва, Российская Федерация, 119606
E-mail: nata.kirillina@gmail.com

В статье представлен критический анализ процессов, обусловленных развитием виртуальных сообществ, переносом социальных практик в традиционных сообществах в пространство интерактивной коммуникации с последующими трансформациями характера взаимодействия и социальных ролей его участников. Авторами представлены и обобщены точки зрения в отношении сообществ — традиционных и виртуальных, и сформулированы отличительные характеристики виртуальных и т.н. «реальных» сообществ, сформировавшихся на территории географически ограниченных объектов (деревни, города, страны), в сходных условиях (исторических, культурных, языковых) и существующих в едином нормативно-правовом поле. Виртуальные сообщества, как правило, географически разрознены, что подразумевает существенные различия в отношении исторической памяти, культуры, родного языка, традиций и прочего, но остаются сообществами в том смысле, что объединяют группы людей на основе общих интересов, целей, взглядов и обеспечивают взаимодействие акторов и обмен информацией между ними. Принимая основные отличительные характеристики традиционных сообществ, виртуальные сообщества утрачивают часть традиционно присущих сообществам свойств, обусловленных единой территорией, историей, культурой.

Виртуальные сообщества определены авторами как группы акторов, взаимодействующих в виртуальном пространстве (например, в социальной сети) вне географических и политических границ и объединенных общими интересами или целями. Для них характерна значительная эмоциональная вовлеченность участников в процесс сетевого взаимодействия. В современных условиях, когда происходит оцифровка практически любого создаваемого (и созданного ранее) контента, в цифровом пространстве конвергируются реальные и виртуальные сообщества: (1) виртуальные сообщества принимают некоторые характеристики традиционных, и наоборот; (2) повышается вероятность дополнения или замещения пространственных связей в реальных сообществах виртуальными коммуникациями, что создает так называемые конвергентные сообщества.

Ключевые слова: сообщество, виртуальная среда, виртуальное сообщество, социальные сети, конвергенция, вовлеченность, цифровое пространство

От реальности к гиперреальности

Изучение процесса формирования и развития сообществ не ново. Само понятие «сообщество» обычно трактуется как объединение людей, народов, государств, имеющих общие интересы. Сообщества могут иметь сетевую форму, как, например, научно-профессиональные сообщества, религиозные общины, террористические формирования и любые другие, взаимодействующие и офлайн, и в виртуальном пространстве. Вопрос перехода существующих традиционных сообществ в онлайн-формат предполагает изучение этого процесса в социологии, философии, науках о коммуникации, социальной психологии и других смежных дисциплинах.

Задолго до становления информационного общества, то есть общества, в котором происходит экспоненциальный рост количества производимой и потребляемой информации, люди объединялись в сравнительно небольших локальных сообществах, которые формировались в пределах ограниченных географических пространств, а проживающие на их территории люди становились частью сообщества. Взаимодействие осуществлялось в основном лицом к лицу и было обусловлено соответствующими социокультурными, политическими и правовыми характеристиками среды. Развитие средств информационного обмена между географически и социально разрозненными сообществами и в сравнительно недавнем прошлом появление интернета и интерактивных интернет-площадок предопределило, во-первых, появление дополнительных возможностей для взаимодействия в рамках уже существующих и взаимодействующих офлайн-сообществ и, во-вторых, возникновение собственно виртуальных сообществ, объединяющих людей, разрозненных географически и не взаимодействовавших в реальной жизни.

Характер взаимодействий в «реальных» сообществах актуализирует противоречия между индивидуальным и коллективным, что в целом сохраняется и в гиперреальных, т. е. виртуальных сообществах (Кравченко, 2014: 27-37). Они, во-первых, существуют как форма интеракции индивидов (Simmel, 1970: 27). Во-вторых, априори являются продуктом действий индивидов, а их развитие базируется на предшествующих интеракциях, при этом, с одной стороны, сообщество как социальная структура становится основой для взаимодействия индивидов, с другой — направляет и ограничивает их (Гидденс, 2005). Наконец, с позиций теории фигурации Норберта Элиаса такой тип сообществ предполагает тесную взаимозависимость между структурными элементами общества и социальными действиями индивидов: каждый индивид существует в рамках выстраиваемых им отношений, где его функции зависят от других, а другие — от него. Структура этих отношений в различных типах обществ будет отличаться, и ни один индивид, какими бы ни были его личные качества и склонности, не свободен от общественных рамок и в то же время не может их мгновенно изменить (Элиас, 2001: 62), но вместе они формируют общественный порядок, обладающий собственной историей

и идентичностью. Однако в случае виртуализации сообщества этот процесс имеет свои особенности, на которые обратил внимание, в частности, Ж. Бодрийяр.

Для этого им вводится понятие гиперреальности, т. е. избыточного, симулированного реального, следствием чего выступает переосмысление понимания социального Ж. Бодрийяром. Он указывает на ключевое для производства знаков, как и собственно для процесса взаимодействия между индивидами, понятие «симулякр», обращая внимание на феномен появления «копий без оригинала» с возможностью их неограниченного распространения, т. е. копий, никак не связанных с какой бы то ни было реальностью. Он связал этот процесс с появлением нового состояния реальности, определяемого им как «гиперреальность» (Baudrillard, 1981). Буквально Бодрийяр пишет следующее: «В наши дни виртуальное решительно берет верх над актуальным; наш удел — довольствоваться такой предельной виртуальностью, которая в противовес аристотелевской лишь устрашает перспективой перехода к действию. Мы пребываем уже не в логике перехода возможного в действительное, но в гиперреалистической логике запугивания себя возможностью реального» (Бодрийяр, 1994).

Виртуальное реально, реальное виртуально

Проблематику виртуального некоторые интерпретаторы находят еще в самых ранних философских работах. Так, к примеру, платоновскую онтологию можно истолковать как своеобразное отношение между виртуальным миром идей и актуальным наличным бытием. Схоластическая концепция виртуального представляет его как нечто идеальное: например, Бог виртуален, что не означает, что он возможен, но он реален в полной мере.

В новейшей философии возрождение интереса к теме виртуального обычно связывают с именем Жюль Делёза. Опираясь на А. Бергсона, Делёз вводит пару «виртуальное-актуальное», стремясь обойти таким образом концептуальные тупики, содержащиеся в традиционной диалектической паре «действительного-возможного». Он акцентирует внимание на том, что «виртуальное не противопоставляется реальному, оно реально в первую очередь» (Делёз, 1998: 255). Виртуальные образы не более отделимы от реального объекта, чем последний — от них. Действительное и виртуальное сосуществуют и вступают в прямую циркуляцию, которая постоянно ведет от одного к другому. Отношение фактического и виртуального формируют обращение непрерывно, но двояко: либо действительное относится к виртуальному, как к другому объекту в расширенном обращении. В «Различии и повторении» Делёз, рассматривая соотношение возможного-реального, отмечает: «...виртуальное обладает полной реальностью в качестве виртуального <...>. Возможное бывает актуальным, хотя оно нереально, в то время как виртуальное может не быть актуальным, при том что оно необходимо реально. Виртуальное реально, так как оно производит эффект, но как оно может переживаться, если субъект — это индивидуальное?» (Там же).

Дмитрий Попов раскрывает идею виртуального в контексте конструирования реальности следующим образом: «Виртуальность — это не онтологическая основа реальности, а социальная способность человека конструировать специфические «формы» материальных объектов, или, пользуясь термином Бодрийяра, создавать симуляции» (Роров, 2011: 9). Виртуальность предполагает наличие огромных возможностей для манипулирования и построения имитационных структур во всех сферах жизнедеятельности.

Мы можем наглядно представить «виртуальное» как соотношение идеального-реального в виде схематической таблицы (табл. 1).

Таблица 1. Виртуальное и реальное

	Реальное	Возможное
Идеальное	Виртуальные (например, воспоминания)	Абстрактные (например, понятия)
Фактическое	Конкретные (например, материальные объекты)	Вероятные (например, риски)

Здесь виртуальное одновременно находится в позиции реального (существующего), а не в состоянии абстрактного как возможное (несуществующее). Пьер Леви, французский философ, культуролог, медиатеоретик, в работе «Становление виртуальным» различает виртуальное и реальное (конкретное), отмечая в то же время, что виртуальное столь же реально, как и реальное (Levy, 2008). Реальное — это конкретное (материальное) и виртуальное одновременно. Например, «виртуальный офис» — это не офис в его традиционном понимании, не комната, а эффект офиса, так сказать, новая форма, которая может быть актуализирована в определенный момент времени.

Пространственное сообщество, «сообщества без принадлежности», «воображаемые сообщества»

Мануэль Кастельс само понятие сообщества считает спорным, поскольку данный термин со всеми его мощными коннотациями смешивал различные виды общественных отношений и вызывал идеологические споры между теми, кто испытывал ностальгию по старому, привязанному к пространству сообществу, и горячими приверженцами альтернативных сообществ, появление которых сделал возможным Интернет. Тем не менее он широко использовал понятие «виртуальные сообщества», рассматривая их как сети интерактивных коммуникаций (Castells, 1996). Мелвин Уэббер (Webber, 1964) описывает «сообщества без принадлежности»: совокупность обитателей «непространственных городских сообществ», соединенных определенными социальными и экономическими сетями. Бенедикт Андерсон

в 1983 году описал «воображаемые сообщества», формируемые национальными медиа, способствовавшими развитию национального и регионального сознания в национальных государствах. Некоторые авторы впоследствии критиковали эту концепцию, утверждая, что все сообщества основаны на коммуникации и что дихотомия воображаемого и реального распадается, поэтому слово «воображаемый» проблематично или даже устарело. Тем не менее «воображаемое сообщество» не фальшивое. Оно характеризуется настолько значительными размерами, что его члены не знают друг друга лично и уже в силу этого подобное сообщество является в какой-то степени воображаемым¹.

Взаимосвязь виртуальных и реальных сообществ

Американский социолог Говард Рейнгольд (Rheingold, 2000), специализирующийся на изучении культурных, социальных и политических влияний на медиасферу, предложил одно из первых обоснований киберкультуры и описал некоторые основы функционирования онлайн-сообществ. Для создания виртуального сообщества, утверждал он, необходимо достаточно большое число людей, общающихся на протяжении определенного времени, т. е. он предполагал возможность конвергенции создаваемых виртуальных сообществ с реальными. При этом, отмечал он, обязательна также и личная вовлеченность (эмоциональная окраска коммуникаций). Отметим, что все эти признаки характеризуют и реальные (пространственно-географические) сообщества, где взаимодействие до появления технических средств осуществлялось «лицом к лицу». Именно поэтому некоторые авторы склонны рассматривать виртуальные сообщества как электронные версии реальных.

Автор нашумевшей «Декларации независимости киберпространства» Джон Барлоу, пытаясь определить влияние виртуальных общностей на реальные, ставит вопрос: «Обогащают ли виртуальные сообщества социальные отношения или отвлекают от реального социального взаимодействия и реального сообщества?» (Barlow, 1995).

В научных текстах часто используется понятие виртуального мира, обозначающее пространство особой концентрации символов, ценностей, сообществ (см., например: Bell; Bartle; Girvan; Биосса, Леву и др.). Во всех случаях виртуальный мир подразумевает симуляцию и далеко не всегда имеет связь с конкретным материалом. Виртуальный мир может копировать реальный или делать это частично (Kaplan, Haenlein, 2009). В этом отношении целью создания виртуальной реальности является моделирование такого цифрового мира, который в основе своей похож на реальный, но предполагает и дополненную реальность (augmented reality), когда компьютерное моделирование, по сути, позволяет заново создать вирту-

1. Chan S., Anderson B., Scholar Who Saw Nations as "Imagined", Dies at 79. The New York Times. <https://www.nytimes.com/2015/12/15/world/asia/benedict-anderson-scholar-who-saw-nations-as-imagined-dies-at-79.html>

альную среду, не похожую на офлайн. В то же время нельзя считать, что между этими средами нет взаимосвязей. Сам факт, что виртуальный мир конструируют реальные люди и сообщества на основе того, что они могут видеть, анализировать, представлять окружающим исходя из своего опыта, дает основания полагать, что реальный и виртуальный миры взаимосвязаны между собой. Одни объекты существуют лишь в реальном пространстве, а другие — лишь в виртуально сконструированном мире. Причем многие объекты поддаются созданию в виртуальном поле лишь в том случае, когда они имеют реальные образы. Однако многие объекты могут возникнуть в виртуальном пространстве, не имея реального аналога, а могут найти воплощение в реальном мире.

Вопросу о том, реальны ли виртуальные сообщества, посвящено исследование Барри Веллмана и Милены Гулия: они предполагают, что критики виртуального сообщества часто принимают в качестве отправной точки скорее мифическую пасторальную идиллию, нежели реальные характеристики современного постмодернистского сообщества. Авторы статьи *Net surfers don't ride alone: Virtual communities as communities*, опубликованной в сборнике «Сообщества и киберпространство» (Smith, Kollock, 1999), исследуя факторы, отличающие киберсообщества от пространственно ограниченных сообществ, пришли к выводу, что первые не менее реальны, чем территориально обусловленные, а социальные связи, выстроенные в сети, не менее крепки, чем социальные связи в традиционных сообществах, хотя и несколько различны по своим свойствам. Это обусловлено как объемом и характером распространения информации (новые сведения мы преимущественно получаем из интернет-источников), так и ростом мобильности — взаимодействие посредством мессенджеров и социальных сетей позволяет людям поддерживать связь, находясь на удалении (Wellman, Gulia, 1999).

Гибридизация в сетевом пространстве

В процессе конструирования многоуровневой (социально-личностной) рефлексии в сетевом пространстве технологические и социальные изменения объединяются. Происходящая гибридизация может быть описана такими терминами, как:

— цифровизация (дематериализация изображений, звуков, документов, интерпретируемых ПК);

— конвергенция (различные типы контента собираются вместе на одной основе);

— характер распространения информации (в отличие от традиционных медиа, цифровые медиа не являются однонаправленными и централизованными);

— гипертекстуальность (использование нелинейно, но контент может быть персонализирован);

— социальная динамика в сетевых сообществах (например, Facebook, Twitter или других соцсетях);

— интерактивность (пользователи имеют возможность взаимодействовать).

В виртуальном пространстве физическое местоположение или географическое соседство при взаимодействии между сообществами становится иллюзорным. Многие исследователи (см., например: Markham; Budka; Kaku; Suler; Whitehead, Wesch и др.) обращаются к антропологии и этнографии для понимания и описания взаимодействия людей в виртуальном пространстве (как они выражают себя, что их мотивирует и вовлекает в процесс коммуникации). В изучении социального взаимодействия в интернете часто применяются подходы и методы, используемые ранее для «реальных» сообществ, например, проектирование пользовательских интерфейсов и информационных компаний на основе качественных, де-факто — этнографических исследований.

Вполне вероятно, что реальные и виртуальные общества находятся в одной плоскости, одно не исключает другого. Глобализация изменила значение некоторых терминов: если раньше люди были взаимно «соседями», то теперь по мере усиления индивидуализации и отчужденности все люди стали «чужими». В этом отношении вообще примечательны работы философов, социологов, культурологов, посвященные взаимодействию сообществ в больших городах (см., например: Зиммель, Джекобс, Сеннет). Структура и управление взаимодействием в таких сообществах во многом сходны с тем, как это происходит в сетевом пространстве — порядок взаимодействия выстраивается внутри сообщества, а сама структура — то, как она выглядит и как развивается — определяется тем, как его члены договариваются между собой.

В сетевом пространстве создаются связанные аудитории, потребляющие информацию и развлечения, изменяющие существующую ранее модель пространства взаимодействия (Sharkov et al., 2018). Эти аудитории также становятся производителями/со-производителями информации. Так, Генри Дженкинс (Jenkins, 2008) в «Конвергентной культуре» пишет, что одним из наиболее характерных ее элементов становится возможность участия/со-участия. Появление интернета, по сути, положило начало постепенной революции в возможностях общения и обмена между людьми.

Связанная рефлексивность в социальном пространстве: конвергенция классических и новых медиа

Изменения, происходящие в медиа, в основном касаются реальности связанных, т. е. вовлеченных в сетевое взаимодействие аудиторий (пользователей), процессов создания и передачи заданного смысла, что происходит при непосредственном участии пользователя в производстве и распространении информации. Этот процесс обусловлен культурной конвергенцией медиа. Мы можем говорить о «состоянии связи», которое создает опосредованную среду культуры, чей характер определяется недихотомической и неконтрастной логикой (Boccia Artieri, 2012). С появлением интернета мы перестали быть просто аудиторией, или же потребителями информации. В блогах, социальных сетях, в Вики и на других интер-

активных платформах мы конструируем нашу собственную рефлексивность, и это позволяет нам производить, распространять и потреблять новыми способами символические формы и значения, необходимые для понимания и изменения мира. С развитием интернета, и главным образом его интерактивных опций, создается иное социальное равновесие: в логике «коммуникативной парадигмы» воспроизводство социальной реальности, развитие и видоизменение социальной структуры обусловлено взаимодействием субъектов, обменом информацией, медиа. За короткий промежуток времени изменились привычки общения, что отразилось на отношениях между людьми и структуре самого общества (табл. 2).

Таблица 2. Виды виртуальных сообществ (основные платформы)

Платформы	Контент	Примеры
Блоги и социальные сети, форумы	Сети выпускников, личные новости, обмен информацией на интересующие сообщество темы (от специализации группы с социальной сети или форума)	LiveJournal, MySpace, Facebook ² , LinkedIn и др.
Мессенджеры	Группы по общим задачам и интересам, рабочие группы	WhatsApp, WeChat и др.
Википедии	Интернет-энциклопедии с открытым для редактирования контентом	Wikipedia, WikiWikiWeb, MeatballWiki, Лукоморье и др.
Виртуальный мир/виртуальная реальность	Имитация окружающей среды, опыт	LucasFilm's Habitat, Second Life и др.
Агрегаторы контента	Новости, видео, подкасты, торговые площадки и др.	YouTube, Яндекс.Новости, Amazon, e-Bay, Авито и др.
Онлайн-игры	Многопользовательские онлайн-игры, многопользовательские ролевые онлайн-игры (MMORPG)	World of Warcraft, Star Wars: The Old Republic и др.

Интернет, мобильные сервисы и социальные сети помимо технических возможностей предполагают и соответствующие алгоритмы взаимодействия. В результате удобство использования социальных медиа связано с доступностью других инструментов персонального опосредования, таких как печатная бумага, средства вещания или классические формы телекоммуникаций. Как радиовещание и телекоммуникации, так и социальные сети позволяют осуществлять мгновенные — в режиме реального времени — формы общения, которые, как правило,

2. Деятельность социальной сети признана экстремистской и запрещена на территории РФ, данные используются в исследовательских целях.

мимолетны (если только они не записаны или не собраны). Однако, как и в случае печатных медиа, также возможна и отложенная асинхронная форма общения, которая потенциально более постоянна и ее легче архивировать. Социальные медиа сочетают коммуникацию «один ко многим» с коммуникацией «один к одному», используя матрицу доступности, которая находится на пересечении реального и асинхронного времени, между публичным/внешним и частным/внутренним (Cammaerts, 2014: 90-91). В сети пространственно-временные границы и традиции размываются, понятие интернет-жизни приобретает другой статус, характеризуемый размыванием пространственных границ, растяжением и конденсацией времени, открытостью, наличием знаковых мест (Suler, 1996).

Континуум между микрореальностью практик взаимодействия, происходящих на ежедневной основе, и практиками преднамеренными и осознанными представляет собой привилегированную площадку для изучения современных цифровых сред. Изменения в основном касаются процессов создания и передачи заданного смысла. Они происходят при участии аудитории (пользователя) и с учетом культурной конвергенции основных и нишевых средств массовой информации и генерируемого пользователями контента.

Современные медиа позволяют гибко проходить через различные уровни близости, в которых индивид чувствует себя принадлежащим к тому или иному сообществу. Социальные сети и соответствующие каналы в них — это инструмент непрерывной коммуникации с кругами друзей, предлагающий более слабые связи (Грановеттер) с расширенными сетями друзей и их знакомых, которые ранее были просто потенциальными.

Сеть предлагает не только информацию, но и участие, что становится очевидным из блогов, форумов, Twitter и всех других социальных применений Web 2.0. Контаминация между старыми и новыми медиа очень сильна во всех информационных технологиях: сеть повторно опосредует и другие медиа. На самом деле это реальность, которая никогда полностью не избавляется от пройденных стадий, а скорее включает и трансформирует их в свои последующие модификации (Ong, 1997).

Логика связности сети становится культурной матрицей, которая наделяет индивида компетенцией и усиливает его роль в формировании социальных связей, поддерживая формы организации и реорганизации самих ролей, а также в управлении взаимодействием (Voccia Artieri, 2012). В отношении индивидов и общества нет разницы между офлайн и онлайн, потому что оба способа адекватны социальности индивида, взаимодействующего как в реальной, так и виртуальной среде и проявляющегося в этом взаимодействии через аутентичность и индивидуализацию. Речь идет о том, чтобы задействовать свой собственный контент, публикуя его в социальных сетях, — материалы, которые представляют собой смесь публичного и частного (Sennett, 2003). Опосредованная коммуникация отражает социальное пространство как абстрактное, теоретическое, ориентированное на производство. Это социальное пространство предпола-

гает совместное конструирование, репрезентацию и формализацию формальных планов и абстрактных схем влиятельных акторов, влияющих на социальное действие. Этот аргумент параллелен более ранней концепции И-Фу Туана (Tuana, 1977) о месте и пространстве как эфемерных или виртуальных областях, а не фиксированных местоположениях.

Конвергенция подчеркивает большую диверсификацию цифровых технологий, в то время как телефон, телевизор и компьютер — реопосредованы настолько, что каждый из них представляет собой гибрид технологических, экономических и социальных практик (Bolter, Grusin, 1999). Конвергенция происходит не только между медиа, но и в сознании отдельных пользователей и в их социальных взаимодействиях. Каждый из нас осуществляет на практике концепцию аккомодации и ассимиляции (Пиаже, 2003): ассимилирует фрагменты медиа, а затем преобразует их в ресурсы путем приспособления к тому, что уже известно. В теории коммуникативной адаптации Говарда Джайлза также подчеркивается влияние контекста на коммуникативное поведение участников взаимодействия. При этом сам процесс адаптации может происходить, во-первых, через конвергенцию, посредством которой индивиды приспособляются к коммуникативному поведению друг друга, для того чтобы уменьшить социальные различия, и, во-вторых, через дивергенцию, когда индивиды подчеркивают социальные различия между собой и собеседником (Giles, Smith, 1979; Giles, Turner, Lynn, 2010).

Дихотомия гомогенности/гетерогенности восприятия индивидом реального и виртуального пространства

Сила традиционных моделей заключается в их предполагаемой регулярности, которая придает уверенности, но она же и вступает в противоречие с человеческим стремлением к новизне. Принято считать, что общество структурировано, хотя люди изменчивы. Если, с одной стороны, мы ищем сильной индивидуализации, то с другой — мы хотим вести себя, как все остальные, оставаясь при этом самими собой. Здесь стоит обратить внимание на постоянную и противоречивую тенденцию, которая выражается в том, что пользователи де-факто взаимодействуют друг с другом в дихотомии гомогенности/гетерогенности, отражающей сущностную двойственность индивида/общества (Tessarolo, 2019). Структурирование социального пространства подразумевает, что система, генерируя человеческие ресурсы и структурные нормы, формируется посредством социального взаимодействия (Giddens, 1991). Кроме того, дихотомия восприятия, которая особенно явно раскрывается в интернете, влечет за собой риск содействия распространению фальшивых и ложных новостей (фейков), которые распространяются и приобретают силу в эхо-камерах и коммуникационных пузырях. Трансформация смысла внутри сообществ в виде интерпретаций, симулякров (Baudrillard, 1981), появляющихся в результате действий других, становится активатором коммуникативного поведения субъектов, влияет на функционирование и внутреннюю интеграцию и/

или дезинтеграцию элементов коммуникативной системы и определяет ее воздействие на социальную среду (Кириллина, 2022: 173).

Вопрос о дихотомии в контексте сильных и слабых связей в реальных и виртуальных сообществах отсылает нас к теории Грановеттера о «силе слабых связей». Слабые связи (Грановеттер, 2009) представляют собой разреженные сети, которые устанавливают связь между сетями «сильных связей», то есть связей с близкой группой друзей и семьей. Сети слабых связей склонны выбирать функции, которые часто недооцениваются. Люди с небольшим количеством слабых связей исключаются из обмена информацией и не имеют возможностей, которые лежат за пределами их собственной группы.

И, наконец, дихотомия вовлеченности (включенности в сообщество) и дистанцированности (Элиас, 2001) актуализирует соотношение рационального и иррационального, объективного и субъективного в сетевом взаимодействии с позиций непосредственного в нем участия и/или наблюдения и управления извне.

Так, сегодня многие авторы, особенно психологи, социальные психологи, обращают внимание на то, что увлечение социальными медиа не лучшим образом отражается на социализации в реальной жизни: например, это выражается в том, что молодые люди не имеют достаточного количества социальных взаимодействий, необходимых для овладения социальными навыками, и в дальнейшем испытывают трудности во взаимодействии с другими людьми — взрослыми и сверстниками.

Информационный обмен является необходимым ключом доступа к формам социальности, характеризующим современную жизнь, возникающую в результате взаимодействия социального пространства онлайн с отношениями, происходящими в физическом пространстве. Такое переплетение допускается новыми технологиями: активное и интерактивное участие влечет за собой обмен данными, контентом и платформами (Gorman, McLean, 2009). Стремление человека к взаимодействию с другими людьми стало основой виртуального межличностного общения, позволяя каждому субъекту найти свою собственную идентичность не только лицом к лицу, но и с «Ты», которого нет. Поэтому оценка «Я» в соответствии с тем, что о нем заявляют или как его показывают в процессе сетевого взаимодействия, позволяет каждому пользователю выстроить свой виртуальный образ так, как ему захотелось бы.

Социальные сети изменили поведение и позволили пользователю получить опыт нового, более приятного образа жизни, но не удовлетворение от этого опыта. Согласно Кассу Санстейну (Sunstein, 2005), если личные предпочтения являются продуктом ограниченных возможностей, возникает проблема, но она возникает и тогда, когда вариантов слишком много. Когда речь заходит о коммуникации, система, никак не ограничивающая индивидуальный выбор, не обязательно соответствует интересам гражданственности и самоуправления (Tessarolo, 2019). Включенность человека и сообществ в процессы цифровизации зависит не только от его психологических установок и барьеров восприятия инноваций, но и от сте-

пени подготовленности к таким изменениям. Одним из факторов цифровизации современной общественной жизни является уровень цифровой грамотности, под которой понимается базовый набор знаний, навыков и установок, которые позволяют человеку эффективно решать повседневные задачи в цифровой среде.

Следствием процесса цифровизации является то, что каждый носитель получает возможность распространяться с помощью различных технологий и алгоритмов. Например, радио может транслироваться как в эфирном, так и в цифровом виде, по мобильному телефону или через интернет. Каждая технология может применяться на различных носителях информации, например, мобильный телефон может включать в себя функции непосредственно телефонной связи, но также интернет, радио, кино и телевидение. Информационные технологии привели к созданию взаимосвязанных сетей, которые непрерывно передают информацию — это неизбежно ведет к информационализму (*informationalism*), когда производство базируется на торговле информацией (Castells, 1996).

Цифровая социология. Включенность сообществ в виртуально-цифровое пространство

Цифровой поворот в социологии, который можно принять как основной концепт, позволяющий получить методологический ориентир изучения происходящих перемен, не имеет четкой детерминанты в силу сложности цифровой реальности. Неизменным является понимание значительного влияния цифровизации на общество и человека. Большинство современных концепций и подходов подчеркивают, что последствия цифровизации являются множественными и, по словам Нортье Маррес, «цифровое» влечет за собой изменения взаимосвязи технологий и социальной жизни, между знаниями, обществом и технологиями» (Marges, 2017).

Виллем Вандербург утверждает, что в современном обществе каждое новое поколение социализируется в новый технический порядок, значительно отличающийся от прежнего (Vanderburg, 2016), что влечет не только технологический, но и духовный разрыв между поколениями. В этом контексте весьма интересным и востребованным направлением будет эмпирическое сопровождение научных изысканий, которое позволит также использовать цифровые технологии в исследовательском процессе. Изучение феномена вовлеченности в сетевое взаимодействие в этом смысле — лишь один из аспектов амбивалентного влияния цифровых технологий на развитие социологической науки. Об этом, в частности, пишут Морин Тейлор и Майкл Кент, предлагая изучение феномена вовлеченности в рамках диалога: «Вовлеченность является частью диалога, взаимодействуя в котором организация и общественность могут принимать совместные решения, создающие социальный капитал» (Taylor, Kent, 2014: 385). В интеракции «субъект-субъект» вовлеченность становится критерием оценки значимости сообщений для аудиторий и одним из ключевых инструментов оценки эффективности стратегической коммуникации в ситуациях, когда ее инициаторы (органы власти, предприятия

бизнеса и т. п.) отдают приоритет необходимости подлинного и деятельного (со-) участия заинтересованных сторон (Johnston, Taylor: 2018). Изучение феномена вовлеченности в этом смысле — лишь один из аспектов амбивалентного влияния цифровых технологий на развитие социологической науки. Иначе трактует понятие вовлеченности в «теории фреймов» Ирвинг Гофман, определяя ее как «психобиологический процесс, в котором субъект перестает, по крайней мере частично, сознавать направления своих переживаний и познавательного внимания. Это, собственно, означает сосредоточенность, поглощенность делом» (Гофман, 2003: 436). И, наконец, вовлеченность в процесс интерактивной коммуникации, которая фактически является производной активных действий, предпринимаемых активными пользователями в отношении полученных сообщений, может быть интерпретирована как отражение социального потенциала коммуникации с точки зрения ее способности или неспособности к дальнейшему воспроизводству (Кириллина, 2017, 2020).

Цифровая социология как научное направление изучает скорее цифровые методы познания социального (Ницевич, 2018), а социология цифровизации — социальные аспекты цифровизации, факторы и последствия этого процесса для человека, социальных групп и общества в целом. Помимо преимуществ, которые привносят в общество цифровые технологии, они несут и новые риски — несанкционированного сбора приватной информации, тотального цифрового наблюдения, нарушения личного пространства индивида и др. (Mosco, 2017). Цифровые риски и метаморфозы не только определили социальные и культурные изменения, но радикально изменили природу общества и человека, выводя их на новый уровень социальных связей и культурного жизненного мира (Kravchenko, 2019: 397).

Выводы

Дискурс социологии интернета о возможностях возникновения социальных отношений внутри интернет-пространства и длительной вовлеченности акторов в последние годы перешел в стадию широкого обсуждения проблем формирования сетевых сообществ. Внутри сети формируется огромное количество виртуальных сообществ, как путем переноса в виртуальное пространство реальных сообществ, так и путем создания новых самоорганизующихся чисто виртуальных образований. Многие географические (пространственные) сообщества или полностью организуют свою жизнедеятельность в виртуальном пространстве, или продолжают существовать как продолжение реально существующих формализованных или неформализованных организационных форм. По сути, такие социальные конструкции сохраняют объединяющее начало как реального, так и виртуального, т. е. являются конвергентными сообществами.

Основой для возникновения сетевых сообществ является наличие обратной связи, личного выбора для вхождения в такое сообщество и конструирования соб-

ственной идентичности (Старцев, Гришанин, Кириллина, 2018; Шарков, Якушина, 2020; Abaev, Sharkov, Aleshnikova, 2021). Например, в социальных сетях создаются группы, никак не связанные с реально существующими. Такие коммуникации изначально формируются по принципу *ad hoc* вокруг каких-то случаев, новостей, и могут существовать и развиваться в долгосрочной перспективе. В данном случае мы говорим уже не о поддержании сложившихся ранее социальных связей (т. е. не о переносе первичной реальности в виртуальное пространство), а о виртуальном сообществе принципиально нового типа, которое изначально создано в виртуальной среде из акторов, объединенных общими интересами и поддерживающих в последующем более-менее постоянные взаимосвязи.

Сообщества в этом смысле можно условно разделить на виртуально-реальные и реально-виртуальные: виртуально-реальные сообщества объединяют членов, в основном знакомых друг с другом (знакомые знакомых также включаются в такое сообщество); реально-виртуальные группы объединяются в цифровом пространстве на основе общих интересов и/или целей. Второй тип группы является виртуальным сообществом в собственном смысле слова, сохраняющим относительную автономность своего функционирования. Созданные же на основе реально существующих объединений людей виртуальные сообщества во многом продолжают сохранять взаимоотношения, сложившиеся в первичной реальности. Такие объединения, имея высокую степень конвергируемости, создают достаточно устойчивое сообщество, поддерживающее своих участников и сохраняющее устойчивую обратную связь.

Классические газеты и журналы, радио, телевидение ныне размещают свои копии в цифровом пространстве. Это позволяет им поддерживать коммуникации как внутри виртуальных сообществ, так и между ними. Сетевые медиа информационно насыщают виртуальное пространство непосредственно (им не нужно размещать свой контент в сети — они «живут» в цифровых сетях) и увеличивают возможность активной коммуникации в этом пространстве как для реальных, так и для виртуальных сообществ. Таким способом цифровое пространство превращается в платформу, на которой конвергируются реальные и виртуальные сообщества. Оба сообщества (реальные и виртуальные), оказавшись в одной сфере, трудно различимы в пространственном измерении.

Виртуальные сообщества стали мощным инструментом искажения и формирования реальности в силу своей способности менять достаточно быстро и в глобальном масштабе информационно-когнитивный фон, что активно используется различными лидерами мнений, политическими и духовными лидерами и др. Виртуальные сообщества приобретают возможность воздействия на сознание достаточно большой аудитории, сосредоточенной на площадке того или иного интернет-ресурса. Риски, возникающие в связи с расширением влияния виртуальных сообществ на поведение людей, затрагивают прежде всего неискушенных участников социальных сетей и потребителей информации, не умеющих провести объективный анализ происходящих процессов.

В контексте изложенного важно, чтобы участники происходящих масштабных изменений глобального информационного ландшафта, представленные в том числе и научными сообществами, поддерживали гуманизацию цифровых преобразований, чтобы цифровизацию сопровождало рождение новых этических реалий, основанных на гуманизме, солидарности и безопасности вместо или хотя бы в дополнение к прагматизму и формальному рационализму, господствующим в этой сфере.

Литература

- Бодрийяр Ж.* (1994). Войны в заливе не было. Художественный журнал. № 3. С. 33–36.
- Гидденс Э.* (2005). Устройство общества: очерк теории структуризации, 2-е изд. М.: Академический проект.
- Гофман И.* (2003). Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта. М.: Институт социологии РАН.
- Грановеттер М.* (2009). Сила слабых связей / Пер. с англ. З. В. Котельникова, науч. ред. В. В. Радаев, Г. Б. Юдин // Экономическая социология. Т. 10. № 4. С. 31–50.
- Делёз Ж.* (1998). Различие и повторение. СПб.: Петрополис.
- Джекобс Д.* (2019). Смерть и жизнь больших американских городов. М.: Новое издательство.
- Зиммель Г.* (2018). Большие города и духовная жизнь / Пер. с нем. М.: Strelka.
- Кириллина Н. В.* (2017). Символический обмен как системная характеристика коммуникативных практик // Поведенческая экономика современности и формирование рынков будущего. Материалы VII международной социологической Грушинской конференции 15–16 марта 2017 г. С. 1701–1703.
- Кириллина Н. В.* (2020). Феномен вовлеченности как отражение социального потенциала коммуникации // Коммуникология. Т. 8. № 1. С. 27–33.
- Кириллина Н. В.* (2020). Фрагментация аудитории медиа: от глобальной деревни к глобальному театру // Коммуникология. 2022. Т. 10. № 2. С. 170–179.
- Кравченко С. А.* (2010) Динамика современных социальных реалий: инновационные подходы // Социологические исследования. № 10. С. 14–25.
- Ницевич В. Ф.* (2018). Цифровая социология: теоретико-методологические истоки и основания // Цифровая социология. № 1. С. 18–28.
- Пиаже Ж.* (2003). Интеллект и биологическая адаптация // Психология интеллекта / Пер. А. М. Пятигорского. СПб.: Питер.
- Сеннет Р.* (2002). Падение публичного человека. М.: Логос.
- Старцев А. А., Гришанин Н. В., Кириллина Н. В.* (2018). Идентичность и идентификация личности в социальных сетях // Коммуникология. Т. 6. № 4. С. 76–87.
- Шарков Ф. И., Якушина О. И.* (2020). Концептуальные модели межкультурных отношений в процессе формирования идентичностей индивидов и групп // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 2. С. 385–404.

- Элиас Н.* (2001). Общество индивидов / Пер. с немецкого А. Иванченко, А. Антоновского, А. Круглова; общ. ред. М. Хорькова. М.: Праксис.
- Abaev A., Sharkov F., Aleshnikova V.* (2021). The application of digital marketing technologies for improvement of customer communications // Lecture notes in networks and systems. Vol. 155. P. 873–880.
- Barlow J.* (1995). Is there a there in cyberspace? Utne Reader, №. <https://www.eff.org/ru/pages/there-there-cyberspace>.
- Bartle R.* (2010). From MUDs to MMORPGs: The History of Virtual Worlds // International Handbook of Internet Research. Springer. P. 23–39.
- Baudrillard J.* (1981). Simulacres et simulations. Collection Débats. Paris: Galilée.
- Bell M.* (2008). Toward a Definition of Virtual Worlds // Journal of Virtual Worlds Research. № 1 (1). P. 1–5. <https://journals.tdl.org/jvwr/index.php/jvwr/article/viewFile/283/237>.
- Biocca F., Levy M.* (1995). Virtual reality as a communication system. // LEA's communication series. Communication in the age of virtual reality / F. Biocca & M. Levy (eds.). Lawrence Erlbaum Associates, Inc. P. 15–31.
- Boccia Artieri G.* (2012). Stati di connessione. Pubblici, cittadini e consumatori nella (social) network society. Milano: FrancoAngeli. <https://www.academia.edu/RegisterToDownload/BulkDownload>.
- Bolter J., Grusin R.* (1999). Remediation: Understanding New Media. Cambridge Massachusetts: MIT Press.
- Budka P., Kremser M.* (2004). CyberAnthropology — The anthropology of cyberculture // Contemporary Issues in Socio-cultural Anthropology: Perspectives and Research Activities from Austria / S. Khittel, B. Plankensteiner, M. Six-Hohenbalken (eds.). Wien: Löcker. P. 213–226.
- Cammaerts B.* (2015). Technologies of self-mediation: affordances and constraints of social media for protest movements. // Civic Engagement and Social Media: Political Participation Beyond Protest / Uldam, Julie and Vestergaard, Anne (eds.). London: Palgrave Macmillan. P. 97–110.
- Castells M.* (1996). Informationalism, networks, and the network society: a theoretical blueprint. // The Network Society. https://ideas.repec.org/h/elg/eechap/3203_1.html.
- Ellis D., Oldridge R., Vasconcelos A.* (2004). A Community and virtual community. // Annual Review of Information and Science and Technology. Vol. 38. P. 145–186.
- Giddens A.* (1991). Modernity and Self-Identity. Self and society in the late modern age. Stanford University Press.
- Giles H., Lynn H., West R.* (2010). Communication Accommodation Theory. Introducing Communication Theory: Analysis and Application (4th ed.). NY: McGraw-Hill.
- Giles H., Smith P.* (1979). Accommodation Theory: Optimal Levels of Convergence. // Language and Social Psychology / H. Giles, R. Clair. Baltimore: Basil Blackwell.
- Girvan C.* (2013). What is a Virtual World? Definition and Classification. Dublin, Ireland: School of Computer Science and Statistics (SCSS) at Trinity College Dublin.

- Gorman L., McLean D.* (2009). *Media and Society into the 21st Century: A Historical Introduction*. John Wiley & Sons.
- Jenkins H.* (2008). *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. NY University Press.
- Johnston K., Taylor M.* (2018). Engagement as Communication: Pathways, Possibilities, and Future Directions. In: Taylor M., Johnston K. (Eds.) *The handbook of communication engagement (Handbooks in Communication and Media)*. John Wiley and Sons. P. 1–15.
- Kaku M.* (2018). *The Future of Humanity: Terraforming Mars, Interstellar Travel, Immortality, and Our Destiny Beyond Earth*. New York: Doubleday; Allen Lane.
- Kaplan A., Haenlein M.* (2009). *The fairyland of Second Life: About virtual social worlds and how to use them*. Business Horizons.
- Kravchenko S. A.* (2019). Sociology on the move: the demand for the humanistic digital turn. *Bulletin of the Peoples Friendship University of Russia. Series: Sociology*. Vol. 19. № 3. P. 397–405.
- Levy P.* (2008). *Becoming Virtual*. New York: Plenum Press.
- Markham A., Tiidenberg K.* (2020). *Metaphors of Internet: Ways of Being in the Age of Ubiquity*. UK: Peter Lang.
- Markham A.* (2004). Representation in online ethnographies: A matter of context sensitivity // *Online Social Research: Methods, Issues, and Ethics* / S. Chen, G. Hall, M. Johns (eds.). New York: Peter Lang Publishers. P. 131–145.
- Marres N.* (2017). *Digital Sociology. The Reinvention of Social Research*. Cambridge; Polity Press.
- Mosco V.* (2017). *Becoming Digital. Toward a Post-Internet Society*. Bingley: Emerald Publishing Limited.
- Ong W.* (1997). *Interfaces of the Word: Studies in the Evolution of Consciousness and Culture*. Cornell University Press.
- Popov D.* (2011). The Virtual University. For a definition of the terms. In: *Virtualization of inter-university and academic communication: methods, structure, communities*. Academic and research publication / Eds. N. Pokrovsky, J. Round, A. Boklin. M.: Society of Professional Sociologists.
- Reinhold H.* (2000). *The virtual community: Homesteading on the electronic frontier* (revised ed.). Cambridge, Mass.: MIT University Press.
- Sennett R.* (2003). *Respect: The Formation of Character in a World of Inequality*. Penguin UK.
- Simmel G.* (1970). *Grundfragen der Sociologie (Individuum und Gesellschaft)*. Berlin: Walter de Gruyter.
- Sharkov F. I., Silkin V. V., Abramova I. E., Kirillina N. V.* (2018). Violation of information ecology in media space // *RUDN Journal of Sociology*. Vol. 18 № 4. P. 765–775.
- Smith M., Kollock P.* (eds.) (1999). *Communities in cyberspace*. London: Routledge.
- Sprondel J., Breyer T., Wehrle M.* (2011). *Cyberanthropology — Being Human on the Internet*. Berlin: Humboldt University of Berlin. P. 1–27.

- Suler J.* (1996). The Psychology of Cyberspace [el. source]: https://www.researchgate.net/publication/37366481_The_Psychology_of_Cyberspace.
- Sunstein C.* (2007). Republic.com. Princeton university press.
- Taylor M., Kent L.* (2014). Dialogic Engagement: Clarifying Foundational Concepts // Journal of Public Relations Research. Vol. 25, Is. 5. P. 384–398.
- Tessarolo M.* (2019). Individual and social space in media communication // Rethoric and Communications. Issue 39.
- Tuan Y.* (1977). Space and Place: The Perspective of Experience. Contemporary Sociology. Minneapolis: University of Minnesota Press. Vol. 7.
- Vanderburg W.H.* (ed.). (2016). Our Battle for the Human Spirit: Scientific Knowing, Technical Doing, and Daily Living. Toronto: University of Toronto Press.
- Webber M.* (1964). The Urban Place and the Non-Place Urban Realm // Explorations into Urban Structure / Webber et al. (eds.). Pennsylvania.
- Wellman D., Gulia M.* (1999). Net surfers don't ride alone: Virtual communities as communities // Communities in cyberspace / M. Smith, P. Kollock (eds.). London: Routledge. P. 167–194.
- Whitehead N., Wesch M.* (eds.). (2012). Human No More? Digital Subjectivities, Unhuman Subjects, and the End of Anthropology. Boulder: University Press of Colorado.

The convergence of real and virtual communities in the digital space: a sociological review

Felix Sharkov

Doctor of Sociological Sciences, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation, Professor of the Department of Sociology, Moscow State Institute of International Relations (MGIMO — University); Head of the Department of Public Relations and Media Policy, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA). Address: Vernadsky prospect 84 Moscow, Russian Federation 119606
E-mail: sharkov_felix@mail.ru.

Natalia Kirillina

PhD in Sociology (Candidate of Sociological Sciences), associate professor at the Department of Public Relations and Media Policy, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA). Address: Vernadsky prospect 84 Moscow, Russian Federation 119606
E-mail: nata.kirillina@gmail.com.

The paper represents a critical analysis of the processes caused by the development of virtual communities, and by the transfer of social practices of traditional communities into the space of interactive communication with subsequent transformations in the nature of interaction and the social roles of its participants. The authors introduce and summarize the approaches to communities such as traditional and virtual, and enunciate the distinctive characteristics of virtual and 'real' communities formed on the territory of geographically limited objects (villages, cities, countries), in similar conditions (historical, cultural, linguistic) and existing in a common regulatory and legal field. Based on the assumption that virtual communities are usually geographically disparate, implying significant differences in terms of historical memory, culture, native language, traditions, and other things, the authors prove that they remain communities in the sense

that they unite groups of people based on common interests, goals, and views, ensuring the interaction of actors and an information exchange between them. However, the taking on the main distinctive characteristics of traditional communities, virtual communities lose some of the properties traditionally inherent in communities, such as a common territory, history, and culture. Virtual communities are defined by the authors as groups of actors interacting in a virtual space (for example, in a social network) beyond geographic and political boundaries and united by common interests or goals. They are characterized by a significant emotional involvement of the participants in the process of network interaction. In present conditions, when almost any created (and previously created) content is being digitized, real and virtual communities converge in the digital space: thus, (1) virtual communities take on some characteristics of traditional ones, and vice versa; and (2) the likelihood of adding or replacing spatial connections in real communities with virtual communications increases, which creates the convergent communities.

Keywords: community, virtual environment, virtual community, social media, engagement, convergence, digital space

References

- Abaev A., Sharkov F., Aleshnikova V. (2021) The application of digital marketing technologies for improvement of customer communications. *Lecture notes in networks and systems*, vol. 155, pp. 873–880.
- Barlow J. (1995) Is there a there in cyberspace? *Utne Reader*, No. 68. <https://www.eff.org/ru/pages/there-there-cyberspace>.
- Bartle R. (2010) From MUDs to MMORPGs: The History of Virtual Worlds. *International Handbook of Internet Research*, Springer, pp. 23–39.
- Baudrillard J. (1981) *Simulacres et simulations*. *Collection Débats*, Paris: Galilée.
- Baudrillard J. (1994) Vojny v zalive ne bylo [The Gulf War didn't take place]. *Moscow Art Magazine*, no 3, pp. 33–36.
- Bell M. (2008) Toward a Definition of Virtual Worlds. *Journal of Virtual Worlds Research*, no 1 (1), pp. 1–5. <https://journals.tdl.org/jvwr/index.php/jvwr/article/viewFile/283/237>.
- Biocca F., Levy M. (1995) Virtual reality as a communication system. *LEA's communication series. Communication in the age of virtual reality* F. Biocca & M. Levy (eds.), Lawrence Erlbaum Associates, Inc., pp. 15–31.
- Boccia Artieri G. (2012) *Stati di connessione. Pubblici, cittadini e consumatori nella (social) network society*. Milano: FrancoAngeli. <https://www.academia.edu/RegisterToDownload/BulkDownload>.
- Bolter J., Grusin R. (1999) *Remediation: Understanding New Media*, Cambridge Massachusetts: MIT Press.
- Budka P., Kremser M. (2004) CyberAnthropology — The anthropology of cyberculture. *Issues in Socio-cultural Anthropology: Perspectives and Research Activities from Austria Contemporary* (S. Khittel, B. Plankensteiner, M. Six-Hohenbalken eds.), Wien: Löcker, pp. 213–226.
- Cammaerts B. (2015) Technologies of self-mediation: affordances and constraints of social media for protest movements. *Civic Engagement and Social Media: Political Participation Beyond Protest* (J.Uldam, A. Vestergaard eds.), London: Palgrave Macmillan, pp. 97–110.
- Castells M. (1996) Informationalism, networks, and the network society: a theoretical blueprint. *The Network Society*. https://ideas.repec.org/h/elg/eechap/3203_1.html.
- Deleuze J. (1998) *Razlichie i povtorenie* [Difference and Repetition], Saint-Peterburg: Petropolis.
- Elias N. (2001) *Obshhestvo individov* [Society of individuals], transl. A. Ivanchenko, A. Antonovsky, A. Kruglov, ed. M. Khorkova, Moscow: Praxis.
- Ellis D., Oldridge R., Vasconcelos A. (2004) A Community and virtual community. *Annual Review of Information and Science and Technology* (B. Cronin ed.), Medford: Information Today, vol. 38, pp.145–186. .
- Giddens A. (1991) *Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age*, Stanford University Press.
- Giddens E. (2005) *Ustroenie obshhestva: ocherk teorii strukturacii* [Structure of society: an essay on the theory of structuration], 2nd ed., Moscow: Academic project.

- Giles H., Lynn H., West R. (2010) *Communication Accommodation Theory. Introducing Communication Theory: Analysis and Application*, 4th ed., New York, NY: McGraw-Hill.
- Giles H., Smith P. (1979) Accommodation Theory: Optimal Levels of Convergence. *Language and Social Psychology* (H. Giles, R. Clair eds.), Baltimore: Basil Blackwell.
- Girvan C. (2013) *What is a Virtual World? Definition and Classification*. Dublin, Ireland: School of Computer Science and Statistics (SCSS) at Trinity College Dublin.
- Goffman E. (2003) *Analiz frejmov: esse ob organizaciji povsednevnogo opyta* [Frame analysis: an essay on the organization of everyday experience], Moscow: RAS Institute of Sociology.
- Gorman L., McLean D. (2009) *Media and Society into the 21st Century: A Historical Introduction*, John Wiley & Sons.
- Granovetter M. (2009) Sila slabih svjazej [The Strength of Weak Ties], transl. Z. V. Kotelnikova, ed. V. V. Radaev, G. B. Yudin. *Economic Sociology*, vol. 10, no 4, pp. 31–50.
- Jacobs D. (2019) *Smert i zhizn bolshih amerikanskih gorodov* [Death and Life of Great American Cities], Moscow: Novoe izdatelstvo.
- Jenkins H. (2008) *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*, NY University Press.
- Johnston K., Taylor M. (2018) Engagement as Communication: Pathways, Possibilities, and Future Directions. The handbook of communication engagement (Handbooks in Communication and Media) (M. Taylor, K. Johnston eds.), John Wiley and Sons, pp. 1–15.
- Kaku M. (2018) *The Future of Humanity: Terraforming Mars, Interstellar Travel, Immortality, and Our Destiny Beyond Earth*, New York: Doubleday; Allen Lane.
- Kaplan A., Haenlein M. (2009) *The fairyland of Second Life: About virtual social worlds and how to use them*, Business Horizons.
- Kirillina N.V. (2017) Simvolicheskiy obmen kak sistemnaya karakteristika kommunikativnykh praktik [Symbolic Exchange as a System Characteristic of Communicative Practices]. *Proceedings of the VII International Sociological Grushin Conference*, March 15–16, pp. 1701–1703.
- Kirillina N.V. (2020) Fenomen vovlechenosti kak otrazhenie socialnogo potentsiala kommunikacii [Engagement as a Reflection of Communicative Potential]. *Communicology*, vol. 8, no 1, pp. 27–33.
- Kirillina N.V. (2020) Fragmentacija auditorii media: ot globalnoj derevni k globalnomu teatru [Fragmentation of Media Audience: from global village to global theater]. *Communicology*, vol. 10, no 2, pp. 170–179.
- Kravchenko S. A. (2010) Dinamika sovremennykh socialnykh realij: innovacionnye podhody [Dynamics of Modern Social Reality: innovative approaches]. *Sociological Studies*, no. 10, pp. 14–25.
- Kravchenko S. A. (2019) Sociology on the move: the demand for the humanistic digital turn. *Bulletin of the Peoples Friendship University of Russia. Series: Sociology*, vol. 19, no 3, pp. 397–405.
- Levy P. (2008) *Becoming Virtual*, New York: Plenum Press.
- Markham A. (2004) Representation in online ethnographies: A matter of context sensitivity. *Online Social Research: Methods, Issues, and Ethics* (S. Chen, G. Hall, M. Johns eds.), New York: Peter Lang Publishers, pp. 131–145.
- Markham A., Tiidenberg K. (2020) *Metaphors of Internet: Ways of Being in the Age of Ubiquity*, UK: Peter Lang.
- Marres N. (2017) *Digital Sociology. The Reinvention of Social Research*, Cambridge; Polity Press.
- Mosco V. (2017) *Becoming Digital. Toward a Post-Internet Society*, Bingley: Emerald Publishing Limited.
- Nishevich V. F. (2018) Cifrovaja sociologija: teoretiko-metodologicheskie istoki i osnovanija [Digital Sociology: Theoretical and Methodological Origins and Foundations]. *Digital Sociology*, no 1, pp. 18–28.
- Ong W. (1997) *Interfaces of the Word: Studies in the Evolution of Consciousness and Culture*, Cornell University Press.
- Piaget J. (2003) Intellekt i biologicheskaja adaptacija [Intelligence and biological adaptation]. *Psychology of intelligence* (transl. A. M. Pyatigorsky), Saint-Peterburg: Peter.
- Popov D. (2011) The Virtual University. For a definition of the terms. *Virtualization of inter-university and academic communication: methods, structure, communities. Academic and research publication* (N. Pokrovsky, J. Round, A. Boklin eds.), Moscow: Society of Professional Sociologists.

- Reinhold H. (2000) *The virtual community: Homesteading on the electronic frontier* (revised ed.), Cambridge, Mass.: MIT University Press.
- Sennet R. (2002) *Padenie publicnogo cheloveka* [The Fall of Public Man], Moscow: Logos.
- Sennett R. (2003) *Respect: The Formation of Character in a World of Inequality*, Penguin UK.
- Sharkov F.I., Silkin V.V., Abramova I.E., Kirillina N.V. (2018) Violation of information ecology in media space. *RUDN Journal of Sociology*, vol. 18, no 4, pp. 765–775.
- Sharkov F.I., Yakushina O.I. (2020) Konceptual'nye modeli mezhhkul'turnyh otnoshenij v processe formirovaniya identichnostej individov i grupp [Conceptual Models of Intercultural Relations in the Process of Forming the Identity of Individuals and Groups]. In: Monitoring of Public Opinion: economic and social changes, no. 2, pp. 385–404. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.2.769>.
- Simmel G. (1970) *Grundfragen der Sociologie (Individuum und Gesellschaft)*, Berlin: Walter de Gruyter.
- Simmel G. (2018) *Bolshie goroda i duhovnaja zhizn* [The Metropolis and the Life of Spirit], Moscow: Strelka.
- Smith M., Kollock P. eds. (1999) *Communities in cyberspace*, London: Routledge.
- Sprondel J., Breyer T., Wehrle M. (2011) *Cyberanthropology — Being Human on the Internet*, Berlin: Humboldt University of Berlin, pp. 1–27.
- Startsev A.A., Grishanin N.V., Kirillina N.V. (2018) Identichnost i identifikacija lichnosti v social'nyh setjah [Identity and Identification in Social Networks]. *Communicology*, vol. 6, no 4, pp. 76–87.
- Suler J. (1996) The Psychology of Cyberspace [el. source]: https://www.researchgate.net/publication/37366481_The_Psychology_of_Cyberspace.
- Sunstein C. (2007) *Republic.com*, Princeton university press.
- Taylor M., Kent L. (2014) Dialogic Engagement: Clarifying Foundational Concepts. *Journal of Public Relations Research*, vol. 25, issue 5, pp. 384–398.
- Tessarolo M. (2019) Individual and social space in media communication. *Rethoric and Communications*, issue 39.
- Tuan Y. (1977) *Space and Place: The Perspective of Experience*. *Contemporary Sociology*, vol. 7, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Vanderburg W.H. (ed.) (2016) *Our Battle for the Human Spirit: Scientific Knowing, Technical Doing, and Daily Living*, Toronto: University of Toronto Press.
- Webber M. (1964) The Urban Place and the Non-Place Urban Realm. *Explorations into Urban Structure* (Webber et al. eds.), Pennsylvania.
- Wellman D., Gulia M. (1999) Net surfers don't ride alone: Virtual communities as communities. *Communities in cyberspace* (M. Smith & P. Kollock eds.), London: Routledge, pp. 167–194.
- Whitehead N., Wesch M. (eds.) (2012) *Human No More? Digital Subjectivities, Unhuman Subjects, and the End of Anthropology*, Boulder: University Press of Colorado.

Urban History: между историей и социальными науками¹

Игорь Стась

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник,
Лаборатория исторической географии и регионалистики,
Тюменский государственный университет.

Адрес: Володарского ул., 6, Тюмень, Российская Федерация, 625003

E-mail: igor.stas@mail.ru

В статье анализируется становление и развитие Urban History как направления американо-британской исторической науки до и сразу после эпохи городского кризиса 1950–1960-х годов. Концепция статьи предполагает, что городская историография формировалась в постоянном диалоге с социальными науками. В 1930-х годах академические городские историки выступили в роли оппонентов «аграрной» и «фронтальной» истории Америки. Черпая свои идеи в чикагской социологии города, они воспроизводили национальную историю гражданских местных сообществ, выражавших достижения западной цивилизации. Историки, описывающие историю городов в национальном нарративе, преимущественно работали в рамках подхода «город как место». В конце 1950-х — 1960-е годы Urban History и социальные науки вступили в междисциплинарный союз. В контексте наступившего городского кризиса социальные науки декларировали значимость генерализации социальных явлений, вслед за которыми городская историография отвернулась от идеи города как места в сторону обобщения урбанизации (подход «город как процесс»). Другая часть историков, которая придерживалась междисциплинарной парадигмы, акцентировала внимание на изучении физических форм и разнообразия пространств в городах (подход «город как среда/пространство»). Эти историки предложили холистический взгляд на город как на фокус и линзу, посредством которой пишется история. Вскоре в среде историков образовалась группа «бунтовщиков». Они назвали свое движение New Urban History и выступили за возвращение исторического контекста в городские исследования и против социальной теории. Но в стремлении реконструировать историю «снизу вверх» через квантитативное изучение социальной мобильности новые городские историки неожиданно потеряли город в качестве важной переменной своего анализа. Им пришлось отказаться от модного названия и признать себя представителями социальной истории, интересующейся проблемами класса, культуры, сознания и конфликтов. В этой ситуации некоторые попытались примерить на себя ускользающий бренд «New Urban History». Впрочем, и их попытка потерпела неудачу. В итоге городскими историками остались только те, кто сохранял верность национальному нарративу и междисциплинарному подходу «город как среда/пространство», но продолжал, оставаясь в лоне исторической науки, метаться вокруг конвенциональной социологии города и ее отрицания.

Ключевые слова: городская история, новая городская история, социология города, социальные науки, национальная история, междисциплинарный подход, социальная история, квантитативный метод

1. Исследование выполнено при поддержке Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (грант № AP08857378).

При первом взгляде на Urban History² может показаться, что, несмотря на все превратности увлекательного дисциплинарного развития, она вписалась в главные парадигмы исторической науки, свернула на основных перекрестках социально-гуманитарных наук: от социальной истории к культурному повороту, от национального метанарратива к пространственным и постколониальным исследованиям, от локальной истории к глобальной. Вместе с тем Urban History двигалась и несколько в ином ритме. Большие научные сдвиги не оказались в приоритете ее саморефлексии. С одной стороны, она была в поиске своей идентичности в диалоге с самой собой, в среде научного исторического сообщества, в котором постоянно задавался вопрос «Что такое городская история?». Но также она искала себя в разговоре с социальными науками, ставшими для нее своеобразной концептуальной абстракцией, о которую эхом резонировали идеи городских историков. Urban History пыталась осознать, что она такое и как она делается: «Что она изучает?», «Что такое город?», «Как историк его исследует?». Поставленные вопросы касались не только служителей Клио, но относились к теории города. Эти два параллельных поиска себя как историографического направления определяли рождение, становление и дифференциацию городской истории.

Само рождение Urban History в 1930–1940-е годы происходило в тесном диалоге с социальными науками. Не выдумывая чего-то нового, городские историки легко обращались к концептам города, сформулированным социальными учеными. Со временем эта междисциплинарная коммуникация только усиливалась. Если в первых трудах городские историки лишь ссылались на социальных ученых, обозначая научные возможности своего исследовательского предмета, то впоследствии, в период городского кризиса 1950–1960-х годов, они стали полноправными участниками междисциплинарных дискуссий о генерализирующих теориях города и урбанизации. В конечном итоге историки предложили свой взгляд на теорию города и урбанизации и выступили с критикой социальных концепций.

Анализ диалога Urban History и социальных наук в данной статье базируется на исследовании американской и частично британской историографии. Хотя в западной исторической науке британская Urban History рассматривается как самостоятельное направление городской историографии, я все же склонен считать, что на появление британского варианта значительно повлияла американская Urban History³. Такое пространственное лимитирование исследования также

2. В российской науке это историографическое направление не имеет единого названия или устоявшегося перевода. Российский нейминг данного исследовательского поля включает разные понятия: «историческое городоведение», «городская история», «историческая урбанистика». Поскольку каждое из этих понятий имеет излишнюю отечественную коннотацию (соответственно — ассоциация с краеведением; обозначение самого исторического процесса, но не направления; углубление «урбанистического» знания вплоть до XVIII в.), в данной статье я предпочитаю употреблять термин в оригинале — Urban History. Это также важно с учетом того, что историческая урбанистика в СССР/России имеет собственный оригинальный опыт взаимодействия с социальными науками (например, школа И. М. Гревса и Н. П. Анциферова или влияние демографии), который почти не затрагивал западную интеллектуальную традицию.

3. Подробнее об этом смотрите в диссертации Гэри Дэвиса (Davies, 2014: 131-141).

объясняется слабым влиянием социальных наук, в частности социологии города, на становление городской истории в других странах. Так, даже канадская Urban History на удивление была мало связана с социологической концептуализацией (Stave, 1980: 198; Artibise, Linteau, 1984: 11). Городские историки чаще всего работали в национальных, иногда даже локальных, традициях исторической науки. Например, краеведческий дискурс значительно предопределял становление городской историографии в СССР/России (Стась, 2015: 31, 42). Судя по корпусу обобщающих работ о развитии городской историографии, опубликованных на страницах журналов по Urban History, историки за пределами англосаксонской традиции по большей части не расширяли свою методологию инструментарием из других наук. Но некоторые исключения были. Так, французские историки-урбанисты тесно соприкасались с географией (Stave, A Conversation with Francois Bedarida, 1984: 299) и даже пытались ответить на некоторые вопросы социальных ученых (Bedarida, 1968: 59-60). Германская городская история была в какой-то степени отражением развивающейся социологии сообществ (community-sociology) (Reulecke, Huck, Sutcliffe, 1981: 42-43). Либо встречались одиночки, такие как австралийский историк Рональд Лоусон (Ronald Lawson), которые черпали вдохновение в американской городской социологии (Davison, 1979: 104). Впрочем, эти примеры не переросли в полноценный диалог между историками и социальными учеными, который наблюдался в США и отчасти в Великобритании.

Основная гипотеза данной статьи предполагает, что этапы становления Urban History как американо-британского историографического направления (1930–1980-х гг.) предопределялись сменой отношения историков к социальным исследованиям города и урбанизации. Все проанализированные публикации обобщали историю своего научного направления и задавали вопросы о взаимосвязи Urban History и социальных наук. Я вывожу на первый план этот диалог городских историков и социальных ученых, который, как попытаюсь доказать в дальнейшем, был первостепенным в развитии городских исследований исторической науки. Несмотря на то, что в этом междисциплинарном взаимодействии участвовали представители различных социальных наук (социологи, демографы, географы, социальные антропологи, экономисты), на внутреннюю логику развития Urban History в первую очередь влияли контакты с социологией. По этой причине это исследование фокусируется на анализе реакций исторической науки на социологический подход в изучении города и урбанизации.

Необходимо уточнить, что данная статья не является социологической. Ее фабула выстроена в хронологическом нарративе, показывающем эволюцию исторической субдисциплины с точки зрения истории идей и тех людей, которые стояли за ними. Этот текст также не является институциональной историей, поэтому читатель не найдет в нем анализа становления специализированных журналов, разработки первых университетских курсов или научных центров. Равным образом эта статья не является обзором всех трудов, которые были опубликованы в рамках данного направления в эпоху его становления. Я анализировал историографиче-

ские источники, то есть исследовательские тексты, которые сами рефлексировали над историей своей дисциплины и пытались ответить на вопрос «Что такое городская история?». Важнейшим корпусом источников стали интервью с историками-урбанистами, которые собрал Брюс Стейв (Bruce M. Stave) (Stave, 1977b, *The Making of Urban History*). В них городские историки давали свою интерпретацию становления *Urban History* и делились субъективными представлениями о связях городской историографии с социальными науками. Таким образом, данная статья является исследованием истории идентификации ученых-историков, которые выбрали объектом своего изучения город и пытались найти свое место в системе социальных наук.

Основываясь на этом критерии, я выделяю три этапа в развитии *Urban History*. В первом формирующееся историографическое направление было частью традиционной национальной истории и определялось идеологическими и теоретическими взглядами Чикагской школы социологии (1930–1950-е годы). Во время второго *Urban History* интегрировалась в междисциплинарную дискуссию социальных наук о генерализации городской теории (вторая половина 1950-х — 1960-е годы). В третьем была сформирована *New Urban History*, которая выступила с критикой социальных исследований города, а затем, трансформируясь в новую социальную историю, предложила описание урбанизации, основанное на исторической контекстуализации (вторая половина 1960-х — начало 1980-х годов). На каждом этапе историки предлагали новый исследовательский фокус, который дискурсивно определял научную повестку и был реакцией на социальную теорию. В конечном итоге в *Urban History* сформировались четыре подхода к городским исследованиям, которые продолжают существовать в исторической науке в том и или ином виде. Я их условно называю «город как место», «город как процесс», «город как среда/пространство», «контекст без города»⁴.

В тени социологии города: *Urban History* как национальная история

В формате местного ненаучного историописания городская история появилась задолго до упоминаемых в данной статье событий. С середины XIX века и вплоть до 1920-х годов американские урбан-историки были поколением любителей и журналистов, которые занимались «бустеризмом» родных мест (Abbott, 1996: 688–692). Вместе с тем под влиянием идейного романтизма первой половины XIX века эта традиционная историография конструировала негативный образ городской жизни. Общественные деятели с неприятием относились к городу как порождению промышленного переворота, разрушающему сельскую и природную идиллию. Публицисты рассматривали города почти исключительно как политические и социальные «проблемы», как «аномалии в обществе» и отклонение от естественного

4. Впервые подобную типологизацию подходов выделил Теодор Хершберг (Hershberg, 1978: 4–9). Он предложил следующие исследовательские стратегии — «городская биография», «городское как место» (*urban as site*), «городское как процесс» (*urban as process*).

и нормального порядка жизни (Glaab, 1963: 15; Lampard, 1961: 52; Diamond, 1941: 68-70). До 1950-х годов этот антиурбанизм был распространенным в американско-британской историографии взглядом. Историк Гэри Дэвис считает, что неприязнь к промышленно-городской экспансии задержала формирование Urban History как научного направления (Davies, 2014: 54-55).

Вплоть до 1930-х годов национальная история США традиционно рассматривалась как рассказ о сельско-аграрной экспансии на Великий Запад, в то время как городу уделялось второстепенное значение. Особенно влиятельной была теория фронта Фредерика Тёрнера (Frederick J. Turner), согласно которой появление города на американском Западе произошло только на последнем этапе фронтальной интеграции. Однако в 1930-е годы сформировалась группа академически ориентированных историков, писавших биографии городов в контексте национальной истории (Abbott, 1996: 692). Так, публикация томов серии «История американской жизни» была первой попыткой взглянуть на общую историю городов США. Наиболее авторитетной в этой серии стала книга Артура Шлезингера-старшего (Arthur Schlesinger, Sr.) о расцвете американских городов в конце XIX века (Glaab, 1963: 13). Большинство исследователей сходятся во мнении, что Urban History как отдельная отрасль исторической науки восходит именно к работам Шлезингера-ст. (Frisch, 1979: 353).

И хотя сам Шлезингер-ст., а впоследствии и другие историки-урбанисты, ссылался на высказанную Тёрнером в конце жизни мысль о необходимости городского переосмысления истории Америки, именно он в 1940 году предложил траекторию такого пересмотра: постоянное взаимодействие города и деревни в развитии американской цивилизации, где город выступал слугой сельскохозяйственной экономики, затем ревнивым соперником, потом угнетателем, а в конце становился товарищем и соучастником в новом национальном синтезе (Schlesinger, Sr., 1940: 43, 66). Тем самым Шлезингер-ст. встраивал городское развитие в схему американской национальной истории: подъем городов был триумфом индустриализации над сельским хозяйством, урбанизированный Восток угрожал ценностям старой Америки и аграрного Запада, город был местом классового конфликта капиталистов и рабочих. Для Шлезингера-ст. и его последователей городская история стала национальной историей.

Таким образом, первые исторические исследования города резко разграничивали сельскую и городскую историю. Городская традиционная историография формировалась как реакция на идеализацию пасторальных сюжетов. Одновременно, с подачи Макса Вебера, Георга Зиммеля и Фердинанда Тённиса, первые социальные теории города основывались на бинарной оппозиции сельского и городского. В этих концепциях, будучи враждебным, болезненным и рациональным существом, город поглощал размеренную и привычную деревенскую жизнь. Веберовский городской западнцентризм окончательно утвердился в трудах чикагских социологов, чьи работы оказывали сильное влияние на американских историков. Эта идеология наиболее отчетливо отразилась в авторитетных эссе Луиса

Вирта, в которых он провозгласил, что история цивилизации может быть написана только через историю городов, а американские города находились на переднем крае современной цивилизации, представляя составную часть и результат экспансии Европы (Wirth, 1940: 755). При написании национальных нарративов историки уже не могли игнорировать такую интерпретацию истории.

В 1941 году был опубликован сборник «Историография и урбанизация». Его авторы сосредоточились на изучении предметных тем — от выборов до школ — на фоне города, за исключением Уильяма Даймонда (William Diamond). Он первым комплексно посмотрел на городскую историю как историографическое направление, объявив знаменитые работы чикагских социологов — эссе Роберта Парка и сборник под редакцией Эрнста Бёрджесса — самыми важными текстами для городских историков (Park, 1915; Burgess, 1926). Эти труды определяли круг вопросов, которые историки должны были задавать городу на каждом этапе его развития (Diamond, 1941: 79–80). В русле социологического подхода Даймонд также акцентировал внимание на отличиях города и села. Но в то же время он предупреждал, что главная опасность не в дихотомии городского и сельского, а в неумении проводить различия между результатами городской жизни и культурными изменениями по причине индустриализации. Он считал, что не стоит смешивать урбанизм с капитализмом и индустриализмом, иначе город превратится в еще один фронт, в расплывчатую концепцию американской истории (Diamond, 1941: 107–108).

Новые интенции городских историков зависели от популярного в то время неклассического историзма с его неокантианскими антипозитивизмом и идиографической когнитивной стратегией. По сути, традиционная городская историография выстраивалась вокруг веберовской проблематизации понятия «город», в котором он выступал не просто поселением с жителями, но как гражданская община, чьи члены обладали правами и обязанностями. Уже в самом начале формирования городской истории наметился интерес к исследованию городских сообществ и ассоциаций как наиболее заметному проявлению национальной истории. Карл Эбботт (Carl Abbott) выделил два основных исследовательских вопроса этой традиционной Urban History: 1) почему и как люди собирались вместе в больших городах? 2) как жителям этих городов удалось объединиться, взаимодействовать и функционировать в качестве гражданских образований? (Abbott, 1996: 688).

Историки-урбанисты отвечали на эти вопросы преимущественно описанием истории одного города (популярный жанр «городских биографий») или исследованием одной сферы городской жизни в конкретных хронологических рамках. В городской историографии такая стратегия связывалась с идиографическим подходом (Frisch, 1979: 353) и получила название «город (городское) как место» (urban as site) (Katz, 2015). Согласно Эбботту, такой подход воссоздания исторического опыта гражданских сообществ Америки означал работу в тени традиций Чикагской социальной науки. Если социологи изучали способы, с помощью которых города функционировали как экономические и социальные единицы,

несмотря на их фрагментацию по районам, классам, этническим признакам и расам, то историки всего-навсего писали нарратив об экономическом росте Америки на примере истории городов и местной общественности (Abbott, 1996: 692-694).

Наиболее обстоятельно эти исследовательские принципы были очерчены в статье Блэйка МакКелви (Blake McKelvey), ученика Шлезингера-ст. По его мнению, задача историков-урбанистов состояла в выявлении взаимосвязанных течений городской жизни и оценке проблем и достижений при росте городов. В такой установке историк пытался выявить, как устремления конкретных сообществ проявлялись в городском развитии (McKelvey, 1952: 920). При этом для МакКелви было важно рассматривать городскую застройку современного периода не просто как проявление прогресса и упадка, но как элемент исторического процесса (McKelvey, 1952: 928). После позитивной реакции на эту статью МакКелви и другой городской историк, автор книги об истории Милуоки, Бэйрд Стилл (Bayrd Still) создали в 1953 году исследовательскую Группу американской городской истории (American Urban History Group) при Американской исторической ассоциации (American Historical Association), которая начала выпускать информационный бюллетень (Newsletter) (Stave, 1976: 474-475). Группа представляла собой небольшой коллектив исследователей и так и не заняла центральное место в объединении традиционных городских историков, которых по всей стране на тот момент насчитывались десятки. Тем не менее именно эта команда первой попыталась суммировать и концептуализировать городские исследования.

В конце 1950-х годов была опубликована наиболее успешная монография по городской истории, написанная в контексте национального нарратива (Abbott, 1996: 694). Историк Ричард Уэйд (Richard C. Wade) с урбанистических позиций окончательно переосмыслил теорию фронта Тёрнера. Он выдвинул тезис о том, что города на Западе на самом деле являлись главным элементом фронта и в своем развитии подражали городским центрам восточного побережья США (Wade, 1959). Другим крупным городским историком, продолжившим свои изыскания в рамках наследия Шлезингера-ст., была Констанс Грин (Constance McLaughlin Green). Ее в первую очередь интересовало влияние национальных изменений на города и вклад, который они внесли в американскую историю (Green, 1957; Green, 1965). И хотя последователи Шлезингера-ст. продолжали негативно описывать города, видя в них источник новых социальных и политических проблем (Glaab, 1963: 14), в исторических сюжетах город, следуя заветам чикагских социологов, приобрел ведущую роль в становлении американского общества и его экономической мощи. Весь пафос этого национального урбанистического метанарратива проявился в работе Льюиса Мамфорда «Город в истории» (Mumford, 1961). Будучи скорее социальным мыслителем и философом, Мамфорд решил обобщить всю мировую историю города. В его повествовании город освободил человечество от примитивной, иррациональной жизни сельского общества и стал конечным продуктом западной науки и техники (Gilfoyle, 2015: 572-573).

В 1970 году Ричард Уэйд опубликовал программную статью, которая подытоживала путь Urban History как национальной истории. Он подчеркивал, что урбанизация была глубоко национализирующей силой, а национальный прогресс являлся следствием городских реформ. Уэйд настаивал, что городская история должна продолжать: 1) анализировать рост городов Америки от первых поселений до мегаполисов и 2) определять, какое значение городское развитие внесло в национальный опыт. При этом Уэйд отмечал, что чикагские социологи обеспечили рамки и акценты, которые доминировали тогда в городском анализе (Wade, 1970: 43, 49, 62).

Таким образом, национальная Urban History 1930–1960-х годов в США вдохновлялась ранней социологией города. Для нее было характерно: 1) по-веберовски изучать гражданство; 2) по-чикагски концентрироваться на местных сообществах; 3) категорично противопоставлять городское и сельское; 4) превозносить города Запада как символ современной цивилизации. В синтезе с социологией традиционная городская историография уже больше не была обыкновенной местной историей, теперь она отражала многие аспекты регионального и национального развития (Lampard, 1961: 54). Тем не менее, просто рассказывая городские биографии в национальном контексте («город как место»), этот вариант Urban History остался наиболее консервативным, в то время как общественный резонанс 1950–1960-х годов, связанный с городскими проблемами, подталкивал историков-урбанистов к глубокому методологическому и концептуальному пересмотру своих исследований.

В союзе с социальными науками: Urban History как междисциплинарный подход

Этот общественный резонанс получил название городского кризиса (Urban Crisis) (Weaver, 2017). В послевоенные годы американские города столкнулись с большими социальными трудностями. Предшествующий век модерна превратил их в пространства для автомобилей, но не для людей. Масштабная субурбанизация вела к усилению расовой сегрегации, стремительно нарастало социальное неравенство. Современники воспринимали американские города как больные организмы, которые следовало лечить. В 1961 году эти негативные общественные настроения воплотились в трех знаковых книгах об «умирающих» городах. Джейн Джекобс призвала к новому урбанизму, отдававшему приоритет комфортной городской среде. Уже упоминавшийся Льюис Мамфорд описал историческую природу города от древности до современности, чтобы поставить вопрос, возможно ли строительство города нового типа, свободного от внутренних противоречий и способствующего развитию человечества. Жан Готтман объявил о наступлении мегаполисов как новой формы урбанизации и географической организации мира (Ewen, 2016: 17-18; Wade, 1970: 48; Miller, Griffen, Stelter, 1977: 10-11).

Этот дискурс 1950–1960-х годов актуализировал внимание историков на современном развитии городов. Когда в середине 1960-х годов заработала американская программа реформ «Великое общество», изучение ретроспективного опыта виделось частью практического решения последствий урбанизации. Федеральные комиссии, изучавшие социальные проблемы, привлекали историков, чтобы те показали генезис современных городских вызовов, фонды стали активно предоставлять им гранты (Wade, 1970: 47-48). Urban History быстро институционализировалась, становясь частью большого пространства социальных городских исследований. Для диалога Urban History с самой собой и социальными науками городской кризис выступил точкой отсчета, временем развилки ветвей городской истории. В этот период из ствола Urban History как национальной истории выросло множество междисциплинарных ответвлений, которые придали новый смысл вопросу «Что такое городская история?» и окончательно встроили ее в контекст социальных наук. Общественный интерес эпохи городского кризиса давал поводы для интеллектуального пересмотра городской истории, который давно назрел (Lampard, 1961: 49).

Развилка обозначилась в 1950-е годы, когда часть историков пришла к пониманию того, что конфликт города и села, индустриальных центров и сельско-аграрных регионов исчерпал возможности описания социальных изменений (Lampard, 1961: 53). Этапы истории отдельного города могли не отражать вехи национальной истории, а периоды развития городского сообщества часто проистекали из критических поворотных точек внутри его самого (Glaab, 1965: 61). В этот момент руку помощи протянули социальные исследователи, которые уже говорили о необходимости изучения не только концепции города и урбанизма как образа жизни, но и феномена урбанизации как социального процесса (Frisch, 1970: 882) и сразу же осмыслили эту проблематику в междисциплинарном контексте.

В мае 1954 года Советом по исследованиям в области социальных наук (Social Science Research Council) была организована первая такая конференция «Роль городов в экономическом развитии и культурных изменениях», собравшая ученых из разных научных сфер. В мае 1958 года Совет провел вторую большую междисциплинарную конференцию на тему урбанизации, по ее итогам был создан Комитет по урбанизации (Committee on Urbanization) под председательством демографа Филипа Хаузера (Philip Hauser). За время своего существования в 1958–1964 годы Комитет объединил представителей различных наук — географов, политологов, социальных антропологов, социологов, экономистов и историков. Междисциплинарная команда пришла к выводу о наличии значительных пробелов в знании об истоках и последствиях урбанизации, поскольку прошлые исследования основывались на ограниченном историзме, связанном только с наблюдениями западного мира. По этой причине особой критике подверглись чикагские социологи (Hauser, Schnore, 1965: V-VI).

Будучи в начале 1960-х годов секретарем этого Комитета, Лео Шноре (Leo Francis Schnore) стал настоящим представителем социологов в вопросах меж-

дисциплинарных связей между социальными науками и городской историей. Шноре рассматривал город как социальный организм, который подвержен процессу постепенного роста и развития, он критиковал социальные исследования города за их ограниченность в историческом анализе и недостаточное внимание к измерению времени: «Сейчас я более чем когда-либо убежден, что исторический подход к городским экологическим и демографическим явлениям дает наилучшую надежду на обоснованные обобщения в этой области» (Schnore, 1975b: 397). Шноре призывал историков в приоритетном порядке осуществлять демографические, экологические, организационно-структурные и социально-психологические исследования (Schnore, 1968; Schnore, 1975b: 398).

Членом Комитета был экономический историк Эрик Лэмпард (Eric E. Lampard), который еще в 1954–1955 годах представил свои наработки для Комитета по исследованиям в экономической истории (Committee on Research in Economic History). В них он указывал на особые трудности обобщения в исследовательском поле историков-урбанистов (Stave, 1975a: 447). Ученый считал, что идентичность города складывалась из общих социальных сил, при этом население каждого конкретного города сталкивалось со специфическими ограничителями в виде городской культуры, окружающей среды, размера, ресурсов, позиции, местоположения и использования техники. Лэмпард стремился дифференцировать городские процессы в концептуальных рамках экономического анализа (Lampard, 1955: 84). Идеи Лэмпарда во многом ознаменовали закат доминирования идеографического подхода в Urban History и возвышение номотетического подхода.

Наиболее подробно номотетические идеи Лэмпард описал в статье «Американские историки и исследование урбанизации», которую опубликовал в старейшем историческом журнале США в 1961 году. Он писал: «Американская городская история — все, что существует в ней — это в значительной степени история городов и их “проблем”, а не история урбанизации» (Lampard, 1961: 49). Он резко критиковал традиции конструирования «городского» через «место» (site). По его мнению, ученые были озабочены биографиями конкретных сообществ, исследованием случаев в городском соперничестве или общим «влиянием» города на общество, а не урбанизации как социального процесса. Лэмпард призывал изучать историю населения, но выйти за пределы голых статистических схем его концентрации. Предикат «городской» (urban) из предмета превращался в схему концептуализации (Lampard, 1961: 50, 61).

В конечном итоге Лэмпард резко критиковал классических городских социологов, которые утверждали, что города — это «образ жизни» или «состояние ума», за то, что они достаточно вольно трактовали «городские» отношения и поведения. Он утверждал, что те сообщества, которые встречались в городах, не обязательно являлись «городскими», хотя именно так их определяли большинство исследователей. Согласно Лэмпарду, ученые должны были прийти к целостной поисковой теории «сообщества», чтобы выяснить, что в целом было «городским» в американском опыте. Для решения этой проблемы он предложил историкам опираться

на разработки школы экологической социологии Амоса Генри Хоули (Amos Henry Hawley), Отиса Дадли Дункана (Otis Dudley Duncan) и уже упомянутого Лео Шноре. В рамках их теорий городские сообщества могли рассматриваться как результат изменения баланса между населением и окружающей средой, обусловленного технологиями и организацией (Lampard, 1961: 56-58, 60).

Позднее Лэмпард при историческом анализе урбанизации обращался к демографии, социальным и поведенческим наукам. Для этого нужно было объединить демографический (урбанизация как концентрация населения) и структурный (урбанизация как социальная и экономическая дифференциация) подходы, а сама модель урбанизации выстраивалась через четыре переменные — население, технологии, социальную организацию и окружающую среду (Lampard, 1965: 519-522, 550). Как позже отмечал Шноре, схема с этими переменными, впервые предложенная социологом Дунканом, обладала большим потенциалом для городских историков (Schnore, 1975b: 408). Итак, придерживаясь номотетического фокуса, Лэмпард выдвинул два отличительных, но взаимосвязанных подхода к городской истории: изучение урбанизации как социального процесса и концентрации населения и сравнительное изучение сообществ в рамках экологии человека (Lampard, 1961: 61).

Другой историк Чарльз Глааб (Charles N. Glaab) также сотрудничал с Комитетом по урбанизации. Он представлял исследовательскую группу, которая была сформирована в Канзас-Сити в 1955 году на средства фонда Рокфеллера. Под руководством историка Ричарда Уола (Richard Wohl) она реализовывала междисциплинарный проект «История Канзас-Сити», посвященный ретроспективному изучению с помощью новых технологий социальных структур города. Проект осуществлялся в духе повествовательной и аналитической истории и был первым большим исследованием в городской истории США, разрушившим барьеры между социологами и историками. Теодор Браун (Theodore Brown), возглавивший проект после смерти Уола, заметил, что в американской историографии еще не было такого полномасштабного исторического исследования, которое рассматривало бы город в качестве ориентира вместо того, чтобы вписывать местные события в готовую сетку национальной истории (Glaab, 1992: 379). В 1962 году исследовательский проект был завершен, хотя Браун и продолжил работать над ним до 1965 года (Glaab, 1992: 387). Как междисциплинарный теоретик городской истории Глааб считал, что историку-урбанисту необходимо использовать точные методы социальных наук и принимать во внимание их выводы о городах настоящего (Glaab, 1965: 58).

Таким образом, историки относительно быстро осознали важность союза с социальными науками. Фактически именно тогда, в начале 1960-х годов, родилось распространенное сегодня понимание Urban History как интердисциплинарной области историографии. В 1961 году Объединенный центр городских исследований (Joint Center for Urban Studies) и Летняя школа Гарвардского университета (Harvard University Summer School) провели первую посвященную истории городов кон-

ференцию. И вновь на мероприятие, помимо историков, были приглашены планировщики, архитекторы, экономисты, философы и социологи. Через несколько лет доклады участников были опубликованы в сборнике (Handlin, Burchard, 1963). Участники мероприятия — историки Оскар Хандлин (Oscar Handlin), Дэнис Бруган (Denis Brogan) и Джон Бурхард (John Burchard) — поддержали монографические исследования городов и тем самым выступили против номотетических идей Лэмпарда, который также присутствовал на конференции. Как отмечал Хандлин, «историк должен иметь дело с частностями, а не с обобщениями». По его мнению, теоретические рассуждения о природе города не давали ответа на вопросы о конкретном городе во всей его уникальности, о развитии городов, об их сравнении, причинно-следственных связях городских событий, почему одни оказались успешнее, чем другие: «Какой бы полезной ни была общая теория города, только подробное отслеживание огромного диапазона переменных в контексте прольет свет на динамику процессов». На конференции он произнес впоследствии часто цитируемое антимамфордское высказывание: «Нам нужно меньше исследований города в истории, чем истории городов» (Handlin, 1963: 25-26).

В начале 1960-х годов в Великобритании зарождалась еще одна влиятельная ветвь городской истории. Ее основателями были известные историки викторианского города Джим Дайос (Jim Dyos) и Эйза Бриггс (Asa Briggs), также вначале вдохновленные школой чикагских социологов. Тем не менее первые историки-урбанисты Великобритании считали, что концепции Чикагской школы нуждались в адаптации к британским городам в конкретно-историческом контексте (Davies, 2014: 144, 150). Формируя новую отрасль английской историографии, Дайос решил встроиться в общую традицию американских междисциплинарных форумов 1954, 1958 и 1961 годов, которые подняли вопрос об изучении феномена урбанизации (Dyos, 1968: 10-14). Так, в сентябре 1966 года он организовал подобный форум в Лестерском университете, на который также собрались историки, географы, социологи и проектировщики («civil designers»). На мероприятии присутствовал и главный сторонник междисциплинарного взаимодействия социолог Шноре, который с досадой указывал, что в последние годы стало совершенно очевидно, что история как наука не собиралась генерировать исторические данные и интерпретации по всем многочисленным аспектам города и его прошлого, которые интересуют социологов. Поэтому он не видел другого выхода, как каждой дисциплине социальных наук, которая изучает город, выпускать своих собственных историков, что привело бы к признанию новых «городских» специальностей. Он понимал все трудности такого реформирования, так как даже американская городская социология была областью с полным отсутствием интереса к историческим вопросам и дисциплиной без фокуса (Schnore, 1968: 189-190).

Британские участники конференции частично соглашались с таким суждением: для написания истории городов историк-урбанист должен был временно погружаться в результаты социальных исследований (Briggs, 1968: V). Однако они настаивали на повышении роли исторической науки. В своей знаме-

нитой «Повестке дня для урбан-историков» Дайос отметил, что социологи собирали коллекцию отклонений городской жизни, но упускали из виду ее обычную рутину, а географы анализировали исключительно рост городов. В этой связи он призывал социальных ученых предварительно изучать (*pre-occupation*) историю городов, прежде чем начинать свои исследования (Dyos, 1968: 4). В британском варианте, не являясь отдельной дисциплиной или формой знаний самой по себе, *Urban History* становилась фокусом взаимодействия различных дисциплин (Dyos, 1982: 31): «Она должна быть открыта влиянию всех видов родственных дисциплин, ареной, на которую люди приходят извне» и, конечно, «должна касаться всего города в целом» (Stave, 1979: 491-492). Это означало не просто изучение фиксированных во времени и пространстве отдельных сообществ, но исследование более широких исторических процессов и тенденций, которые полностью выходили за рамки жизненного цикла и диапазона опыта конкретных городских сообществ (Dyos, 1968: 7). Следовательно, позиция Дайоса отличалась от американского коллеги Хандлина, но не в сторону генерализации, как может показаться, но холистическим принципом обобщения. В то же время Дайос, как и Хандлин, предостерегал от неисторического и апокалиптического видения городской истории, как в книге Мамфорда «Город в истории» (Dyos, 1968: 7, 9). Через контекст конкретных городских кейсов образцовому урбан-историку следовало показать процесс урбанизации в целом и обеспечить ощущение реальности города, то есть понимание того, как люди упорядочивают свою жизнь, создают ее стиль, форму и направление, а также участвуют в принятии политических решений, необходимых для конкретного пространства (*place*) (Stave, 1979: 479).

Еще одной серьезной фигурой в междисциплинарной области *Urban History* стал Сэм Басс Уорнер-младший (Sam Bass Warner, Jr.). По его мнению, писать историю городов невозможно, не заимствуя концепции из других дисциплин: «Моя идея заключается в том, что существует множество гипотез социальных наук, которые помогают нам понять город, но не хватает исторических данных, чтобы сказать, являются ли эти гипотезы точными или неточными, или как их необходимо сформулировать или изменить» (Stave, 1974: 108). Его исследования — новаторские исторические труды, которым удалось реконструировать взаимосвязанность физической среды города и социальных отношений (Gilfoyle, 2015: 573). В книге, вышедшей в 1962 году, он показал, что структурные особенности субурбанизации конца XIX века определялись экономическими факторами и транспортными коммуникациями, в первую очередь движением трамваев (Warner, Jr., 1962). Лэмпард назвал эту книгу одной из самых влиятельных в городской истории, поскольку в ней удалось создать ощущение времени и пространства (*place*), обладающее исторической предметностью (Stave, 1975a: 461).

Впоследствии, анализируя историю Филадельфии, Уорнер-мл. выдвинул теорию о том, что урбанизация США была связана с американской системой ценностей «приватизма» (*privatism*), то есть стремлением американцев участвовать

в индивидуальной борьбе за богатство. По этой причине города Америки превращались в места для «частных дельцов» («private money makers») (Warner, Jr., 1968). В начале 1970-х годов Уорнер-мл. опубликовал книгу «Городская глушь», которая произвела широкий резонанс в научном сообществе и стала частью дискуссии о необходимости городских преобразований. В отличие от Хандлина и Дайоса, ему была не чужда риторика Мамфорда о гуманизации городов. Опираясь на историческую и социальные науки, Уорнер-мл. представил свой образ городского кризиса, который оказывался частью «давней традиции» бесконечной неспособности строить и поддерживать гуманные города. В этом заключалась суть городской истории как исторического процесса — рост городов, происходивший в рамках непрерывного доминирования белых над черными, богатых над бедными, мужчин над женщинами. Выход из кризиса виделся ему только в демократическом социальном планировании, которое сделало бы американские города гуманными и справедливыми (Warner, Jr., 1972). Работы Уорнера-мл. получили признание в сообществе городских историков и усилили интерес к пространственным исследованиям в Urban History.

В парадигме междисциплинарного подхода в городской истории действовали еще два крупных ученых — социальные историки Рой Любов (Roy Lubove) и Линн Лис (Lynn Lees). Первый из них, критикуя Лэмпарда, призывал обобщать исследования не только в категориях урбанизации, которую считал абстракцией, но использовать термин «городское строительство» (city-building). Он указывал, что продвигаемая Лэмпардом и Шноре концепция «экологического комплекса» на практике упускала из виду понимание города как артефакта, то есть его средовое формирование — архитектурный ландшафт, жилье, здравоохранение, санитария, промышленность, транспорт. Посредством их анализа историк мог узнать о конкретных механизмах создания городской среды, ее связях с технологиями и социальной организацией (Lubove, 1967: 36). Однако между Лэмпардом и Любовом есть принципиальное фундаментальное согласие в том, что историки не способны проанализировать процесс строительства городов в течение времени (Ebner, 1973: 5).

Линн Лис также критиковала Лэмпарда за его призыв сократить разрыв между теорией и практикой, радикально изменив методологию. По ее мнению, первоочередной была другая проблема, а именно ответ на вопрос «Как писать городскую историю?». Одновременно она не поддержала Хандлина с его акцентом на биографии городов, которые всего-навсего строились по географическому принципу. Лис предлагала промежуточный путь: вместо изучения целых городов и формулирования всеобъясняющей теории урбанизации необходимо сконцентрироваться на анализе социальных процессов, таких как социальная мобильность, миграция, социальные и семейные структуры, насилие и протестные движения. Они происходили в городских условиях и, рассказывая их историю, можно исследовать одновременно историю городов и социальную историю, в том числе за счет методов и концепций других наук (Lees, 1972: 30-32).

Таким образом, эпоха конца 1950-х — 1960-х годов стала временем формирования Urban History как междисциплинарной области историографии. Именно в эпоху городского кризиса она эволюционировала от идеографической ориентации («город как место») к номотетической концептуализации («город как процесс»). Союз с социальными науками, который укрепился в череде научных междисциплинарных конференций, произвел поворот в сторону изучения урбанизации и генерализации методов историков-урбанистов (Frisch, 1970: 881). Шноре, Лэмпард, Уол, Браун и Глааб призывали к моделированию города как процесса (урбанизации). С их точки зрения, городские историки были неспособны сделать свою работу сопоставимой с исследованиями других ученых и пренебрегали общей теорией городского развития. Однако историкам хватало сил исповедоваться, и, как указывала Лис, большая часть нападок растворялась в самокритике (Lees, 1972: 29). Одновременно часть городских историков выступила против номотетических обобщений. Они предложили холистический и контекстуальный подход к изучению города (Уорнер-мл., Дайос, Бриггс, Любов, Лис), который учитывал физическое и пространственное развитие. Этот исследовательский взгляд можно назвать «город как среда/пространство» (urban as place)⁵.

Несмотря на споры историков-урбанистов, их всех объединяла критика социальных наук за неспособность учитывать темпоральное измерение города. Это заставляло историков все глубже погружаться в проблематику социального, которое стало самой популярной темой в Urban History. Наряду с экономическими, политическими, пространственными или связанными с восприятием города, эти исследования черпались историками из социальных наук (Checkland, 1983: 454-456). Одновременно историки-урбанисты принялись, в отличие от социологов, использовать тематические исследования в городе для иллюстрации более крупных городских процессов (Gilfoyle, 2015: 573). Постепенно междисциплинарный анализ становился модным инструментарием городских историков. Даже корифеи национальной истории, такие как МакКелви, попытались пересмотреть традиционный подход в сравнительном ключе (McKelvey, 1973). По мнению Лис, биографы городов соглашались с требованием выдвигать и проверять социальные гипотезы о городе, а большинство городских историков стали отождествлять себя с социальными учеными или, по крайней мере, на словах утверждали, что их исследования были мультидисциплинарными, общими по содержанию и сравнительными по своей природе (Lees, 1972: 29). Вместе с тем однозначное понимание междисциплинарного подхода среди историков-урбанистов отсутствовало. Чаще он просто означал широкий спектр научного взаимодействия городской истории с социологией города, демографией, экологией человека и в том числе с количественным анализом.

5. О концептуальном движении городской истории от места (site) к среде/пространству (place) см.: Katz, 2015.

В борьбе с социальной теорией: (New) Urban History как социальная история

Следующая ключевая развилка в Urban History как раз была связана с популярностью квантитативного анализа. В эпоху городского кризиса американское общество осознало важность изучения бедности, расы, этничности и городских проблем. В этом контексте актуализации борьбы за права меньшинств молодые историки стремились найти релевантные методы воссоздания исторического опыта социальных и этнических групп. Наиболее подходящим виделся количественный подход, легко воспроизводимый с помощью развивающихся компьютерных технологий, посредством анализа статистических данных мог реконструировать социальную жизнь «низовых» слоев городского общества (Thernstrom, 1968: 59-78; Frisch, 1979: 356-358). Интерес к описательному статистическому подходу отозвался массой подражательных диссертаций и публикаций, престижных премий и грантов (Conzen, 1983: 654). Этим историкам было суждено повернуть Urban History в сторону количественной генерализации.

Все началось с того, что в конце 1950-х годов в Объединенном центре городских исследований в Гарварде Оскар Хандлин предложил аспиранту Стефану Тернстрому (Stephan Thernstrom), у которого не было особых интересов изучать город, но которого увлекал марксизм, ответить на вопрос «Почему в Америке нет социализма?» через анализ феномена социальной мобильности. Лэмпард в своей знаменитой статье 1961 года указывал на изучение социальной мобильности как возможное будущее направление городских историков. Он смотрел на это явление не только с точки зрения карьерных перемещений отдельных лиц, но и структурных трансформаций в составе населения, рабочей силе и распределении доходов (Lampard, 1961: 59-60)⁶. После предложения Хандлина Тернстром не был настроен на специальное использование количественных данных при изучении социального движения. Позже он вспоминал, что просто хотел обнаружить в истории простых людей, для чего обратился к изучению переписей населения, а квантитативный метод навязался ему природой самих этих источников (Stave, 1975b: 192-193). Так, во многом случайно, появилось новое яркое, но скоротечное ответвление в Urban History, во главе угла которого стояла количественная методология.

Получив докторскую степень, в 1964 году Тернстром издал книгу «Бедность и прогресс» о социальной мобильности рабочего класса в городе Ньюберипорт во второй половине XIX века (Thernstrom, 1964). На основе количественного (переписей населения, данных налоговых проверок, отчетов ипотечных и сберегательных банков, городских справочников) и письменного (газет) материала он выделил этапы жизни конкретных обычных людей, а затем объединил их в более крупные социальные модели. Такой подход был настоящим компромиссом между квантитативным анализом и поиском индивидуального опыта в городской исто-

6. Однако впоследствии Лэмпард раскаивался в своем совете изучать социальную мобильность (Stave, 1975a: 465).

рии. Если прежние идеографический и номотетический подходы игнорировали изучение социальных групп, то схема Тернстрома описывала историю с их точки зрения, «снизу вверх» (from the bottom up) (Frisch, 1979: 357).

Реконструкция мобильности «снизу вверх» базировалась на общепонятной методике. Тернстром выделил списки неквалифицированных рабочих и их семей в переписи 1850 года и затем искал их в материалах последующих переписей (1860, 1870, 1880). Исследование показало, что большинство рабочих выходили из зоны наблюдения в последующих записях, они становились как бы «невидимыми», что, возможно, свидетельствовало о большой географической мобильности. Для тех, кто оставался в городе, продвижение по профессиональному статусу шло медленно, и большая часть рабочих (чаще следующее поколение сыновей) делали лишь один шаг по социальной лестнице — становились полуквалифицированными работниками. Никто не поднимался до должностей в политике или промышленной отрасли. Однако за это время они успевали приобрести собственность, которая и давала им ощущение значимости в обществе. В интерпретации Тернстрома урбанизация США определялась вовлечением рабочего класса в городскую индустриальную орбиту, где человек находил скромные, но существенные возможности для продвижения «вверх» по социальной лестнице, а те, кто не находил таких возможностей, перемещались из города в город, становясь отчужденными, беспомощными и невидимыми в источниках (Thernstrom, 1968: 173).

В ноябре 1968 года историк и социолог Ричард Сеннет (Richard Sennett) и Тернстром организовали в Йельском университете конференцию, посвященную изучению промышленного города XIX века. Мероприятие имело серьезный резонанс. В нем приняли участие молодые, но уже известные историки и социологи Лео Шноре, Чарльз Тилли, Эрик Лэмпард, Сэм Басс Уорнер-мл., Теодор Хершберг (Theodore Hershberg), Стюарт Блюмин (Stuart Blumin), Майкл Фриш (Michael H. Frisch), Майкл Кац (Michael B. Katz) и др. Как отмечали сами организаторы, они объединились вокруг: 1) интереса к увязке социологической теории с историческими данными; 2) использования количественных данных; 3) стремления расширить сферу городских исследований, охватив социальный опыт обычных людей. Майкл Фриш указывал, что новые городские историки также пытались изучать социальные группы и сообщества и придерживались номологической концептуализации (Frisch, 1979: 360). Эти историки хотели понять социальную динамику в городских поселениях, переживавших бурный рост и структурные преобразования.

Подчеркивая свое отличие от традиционной историографии американского города, молодые историки в изданном в следующем году сборнике материалов конференции назвали свое направление Новой городской историей (New Urban History). Вот что писали Тернстром и Сеннет в предисловии: «Возможно, пока преждевременно утверждать, что появилась “новая городская история”, но ясно, что развивающаяся область городской истории сейчас находится в состоянии творческого брожения» (Thernstrom, Sennett, 1969: VII). Они отмечали, что классические теоретики Чикагской школы рассматривали город как фиксированный набор со-

циальных элементов. Сторонники New Urban History намеревались ввести в научный оборот исторические данные, что позволило бы показать города как живые и меняющиеся институты (Thernstrom, Sennett, 1969: X).

Собственно, новые городские историки стремились опровергнуть прежние выводы социологов о городских процессах. Уже первая книга Тернстрема была ответом на работу знаменитого антрополога и социолога Ллойда Уорнера о «Янки-Сити», который аналогично проводил свои полевые исследования в Ньюберипорте: «Антиисторические методологические предубеждения заставили исследователей Янки-Сити неправильно понять прошлое Ньюберипорта, и это непонимание серьезно исказило их портрет сообщества 1930-х гг.» (Thernstrom, 1964: 4). В приложении к монографии Тернстром писал, что общение между историей и социологией в основном осуществлялось в форме монолога одной социальной науки: «Если историкам есть чему поучиться у своих коллег по социологии и социальной антропологии, то в равной степени следует настаивать и на обратном. Неисторическая социальная наука так же часто узка и поверхностна, как и социологически примитивная история» (Thernstrom, 1964: 225). Основным оружием против суждений социологов Тернстром сделал количественные расчеты. Как отмечал культурный антрополог Стивен Олсен (Steven L. Olsen), новые городские историки выступали за реалистическую или натуралистическую метафизику, утверждая, что основные компоненты социальной жизни объективны и поддаются статистической проверке (Olsen, 1980: 335).

Тернстром совершенно по-другому смотрел на междисциплинарные обобщения. По его мнению, они требовали разделения труда между историком и социальным ученым. Он писал, что роль историка сводилась к разработке и уточнению материалов, которые позволили бы совершить генерализацию среднего и низкого уровня о социальных феноменах, поскольку пока социологи будут осуществлять промежуточные обобщения, историки потеряют к этому интерес и вернуться к изучению событий и процессов в ограниченном контексте (Thernstrom, 1968: 71). В статье 1971 года Тернстром подробно расписал отношение нового городского историка к подходу социальных наук. Согласно ученому, концептуальная универсализация пренебрегала историческим контекстом. Принцип историзма должен был оставаться незыблемым в городской истории:

«Одна из основных функций исторических исследований, основанных на проблемах социальных наук, заключается именно в редактировании, уточнении и обогащении теории путем выявления и изучения важных исторических событий, которые не могут быть четко объяснены существующей теорией. Таким образом, отношение нового городского историка к теории социальных наук является критическим и эклектичным. Вместо того чтобы применять теорию, как новый экономический историк он должен опираться на множество социальных наук, а также на свое собственное историческое чутье, чтобы определить элементы исторической ситуации, которые могли быть важными, и получить подсказки о том, как их можно измерить и проанализировать» (Thernstrom, 1971: 362-363).

Тернстром был однозначен: «Сравнительно мощной общей социальной теории, которая касалась бы вопросов, представляющих первостепенный интерес для городского историка, просто еще не существует. Действительно, есть некоторые основания сомневаться в том, что это когда-либо произойдет, учитывая природу человеческого общества» (Ibid., 1971: 362). Поэтому он полагал, что историку выгоднее стремиться к теоретическим обобщениям более скромного масштаба, ограниченным в пространстве и времени, лимитированным определенными контекстами (Ibid.).

Кроме большой массы новых городских историков, в исторической науке появилось несколько заметных продолжателей этой критики. Эрик Монкконен (Eric H. Monkkonen), анализируя записи уголовного суда и богадельни, данные переписи населения и городские справочники в Коламбусе 1860–1885 годов, резюмировал, что урбанизация не вела к росту преступности или бедности и что преступники и нищие не обязательно были одними и теми же людьми. И они мало чем отличались от обычных жителей. Поэтому он считал, что урбанизация недостаточно сильно влияла на структуру общества (Monkkonen, 1975). Другой новый городской историк Кэтлин Конзен (Kathleen Neils Conzen) проанализировала взаимосвязи между ростом городов и адаптацией иммигрантов в Милуоки. Основываясь на широком корпусе источников, она пришла к выводу, что только немцы создали независимое и функциональное сообщество. Фактор разнообразной, подвижной и многочисленной группы становился не препятствием, а, наоборот, важным условием успешной американизации и урбанизации (Conzen, 1976). Другой историк Майкл Кац (Michael B. Katz), синтезируя количественный и качественный подходы, выявил социальные и семейные модели в Гамильтоне 1851–1861 годов. По его мнению, большая часть социальной теории была основана на предположениях, которые исторически неточны. Так, он утверждал ложность противопоставления традиционного сельского и индустриального городского обществ, поскольку промышленный город трансформировался из предыдущей стадии коммерческого города. И жители Гамильтона являлись представителями социальной городской системы, которая сохранялась на протяжении веков и была отличной от промышленного города (Katz, 1976).

Конечно, эти выводы были историческим ответом социологам, которые резко отделяли город от иных, в первую очередь сельских, поселений, рассматривали промышленный город как основной источник социальной маргинализации, видели в этнических сообществах сдерживающий фактор социальной интеграции. В отличие от городских историков, работающих в междисциплинарном синтезе, новые городские историки защищали и оправдывали города. Как вспоминал Монкконен: «Моя первая книга была права в одном, а именно в том, что города не являются причиной преступности, как мы привыкли думать, как учила нас старая социология. Что ж, если города не являются причиной преступности, то решение проблемы преступности состоит не в том, чтобы исправлять города, а в том, чтобы делать что-то другое» (Stave, 1996: 241).

Задаваясь такими основополагающими вопросами, сторонники Тернстрома вскоре почувствовали, что рамки количественных интерпретаций стали им тесны. В июне 1970 года в Мэдисоне, штат Висконсин, была проведена еще одна конференция о количественных исследованиях в *New Urban History*. Участники форума пришли только к одному консенсусу: дихотомия «старая-новая» не охватывала большую часть городской истории, которая велась с 1960-х годов (Schnore, 1975a: 4). Название «*New Urban History*» не отражало широту их интеллектуальной позиции, и ее представители начали отождествлять себя с социальной историей. Как отмечала Конзен, количественные проблематики *New Urban History* теперь более логично и удобно решались в темах новой социальной истории — семейной истории, новой истории труда, истории иммиграции, истории полиции и т. д. (Conzen, 1983: 655). Сам Тернстром усматривал цель нового городского историка в раскрытии вопросов: «Как и почему комплекс изменений, предлагаемых концепцией “урбанизация”, изменил общество. Городская история в этой формулировке находится непосредственно в области социальной истории, и для изучающего современное общество она действительно почти совпадает с социальной историей» (Thernstrom, 1971: 362). Он пояснял: «Вводящая в заблуждение особенность наименования “новая городская история” связана с термином “городская”, который, по-видимому, подразумевает, что это особая специализированная область исторических исследований. Я сомневаюсь в этом. Город — это особенная правовая сущность, и ему свойственны своеобразные явления. Но решающие особенности городской жизни в современное время не распределены пространственно таким образом, чтобы оправдывать городскую историю или, если на то пошло, городскую социологию как особое поле. <...> большинство тем, которые занимали новых городских историков <...> не ограничены пределами города, и к ним не следует подходить так, как если бы они были. Они затрагивают деятельность общества в целом, хотя, конечно, они по-разному проявляются в сообществах разного размера и типа» (Thernstrom, 1971: 361).

В ситуации отказа историков от модного термина, *New Urban History* сделалась более притягательным исследовательским полем для представителей других социальных наук, чем ветвью классического исторического знания. Главным сторонником «рейдерского захвата» был неутомимый Лео Шноре, который редактировал сборник материалов конференции в Мэдисоне, изданный только через пять лет после самой встречи (Schnore, 1975c). Из двенадцати историков — участников той конференции в авторах остались только пятеро, а другие семь текстов принадлежали четырем экономистам, двум географам и одному социологу. Шноре явно не удовлетворялся простыми количественными исследованиями социальной мобильности, вышедшими из-под пера историков. Он говорил, что новых городских историков заботил ограниченный круг проблем — вопросы городской стратификации и социальной мобильности и пространственные паттерны в городах (Schnore, 1975a: 4). Поэтому Шноре осознанно выводил городскую историю из сферы историографии и направлял в сторону других дисциплин. Развивая взгляды

на новые специальности собственных историков внутри социальных наук, о которых впервые высказался на британской конференции 1966 года, он предложил иное научное наполнение для New Urban History.

Фактически за счет расширения и усложнения математической методологии Шноре хотел преобразовать новую городскую историю в экономико-географическую субдисциплину. По его мнению, в науке сформировались три типа городских историков: 1) традиционный, или «старый», нарративный историк; 2) счетчик (enumerator), то есть тот, кто просто рассчитывал и представлял результаты в простых процентных распределениях и несложных кросс-таблицах; 3) разработчик моделей (model-builder), который создавал формализованную теорию в статистических и математических терминах и проверял гипотезы, вытекающие из нее (Schnore, 1975a: 4). Именно третий тип и был для Шноре идеальным новым городским историком, в то время как последователи Тернстрема являлись лишь счетчиками. Для того чтобы превратить авторов тома в разработчиков моделей, редактор даже предложил сравнение новой городской истории со старой городской историей (Schnore, 1975a: 5):

Старая	Новая
Нарративный стиль	Акцент на количественные методы
Сущностный (substantive) интерес к интеллектуальным проблемам с эклектичной зависимостью от документальных свидетельств	Методологические акценты; интерес к тому, «как» ответить на вопросы, чем к самим вопросам
Традиционная периодизация в качестве временных рамок (например, президентские сроки)	Периодизация, релевантная городскому развитию (например, основанная на внутригородских и внешних перемещениях)
Синтетическая, в значении стремления охватить историю (story) всю целиком	Аналитическая, в значении фокусирования на специфических гипотезах
Исследование локальных случаев или городская биография	Сравнительная, с региональным или национальным охватом; исследование множества городов

Однако сам Шноре писал, что эта схема была категорически отвергнута, а участники приводили достаточно примеров, нарушавших ее (Schnore, 1975a: 5). В итоге он признавал, что не существует ни единого предмета, ни проблемы, ни метода в New Urban History. Единственное, что было ясно для Шноре, так это большие различия в использовании количественного анализа, поскольку разные социальные науки владели методологическим аппаратом различной сложности: экономисты-историки применяли нетривиальные математические и статистические методы, исследования географов занимали промежуточное положение,

а вот в трудах историков, как правило, не использовались сложные количественные вычисления (Schnore, 1975a: 7). Сборник Шноре, несмотря на название, уже не был *New Urban History* в том виде, который предложил Тернстром. Критики указывали, что в сборник просто вошли все, кто с точки зрения социальных наук и посредством анализа количественных данных подступался к городским проблемам в исторической ретроспективе, включая в первую очередь экономистов и географов (Conzen, 1983: 659).

На страницах сборника Эрик Лэмпард, похоже, желал поставить точку в нескончаемом споре: «либо пыхтеть и сопеть над квантификацией, либо уже положить конец количественным методам» (Lampard, 1975: 48; Stave, 1975a: 450-451). Конечно, как экономического историка его также не устраивал уровень количественного анализа в работах последователей Тернстрома. Он с большим скепсисом относился к прежней версии *New Urban History*, которая не выходила за рамки бухгалтерской работы: «Я нахожу, что одна из величайших иллюзий — это изучение социальной мобильности. Это особая область; она анализирует движения через структуры, на самом деле не связывая движения с процессами, которые создают и преобразуют структуры; она принимает слишком многое как должное. <...> Я не думаю, что это очень реально. Я думаю, что это своего рода наложение грубых приемов на чрезвычайно грубые социологические концепции; а затем проецирование этого на историческое прошлое, да еще недостаточно тонко» (Stave, 1975a: 464). Тем не менее в 1970-х годах многие историки продолжали следовать количественным схемам, которые, с позиции Шноре и Лэмпарда, казались слишком простыми. Как отмечал Монкконен, для большинства коллег методы новых городских историков были грубыми, таблицы излишне сложными, а результаты неубедительными. Фактически это означало конец *New Urban History* (Monkkonen, 1986: 1149-1150).

В середине 1970-х годов Тернстром признался, что «в значительной степени отказался от этого термина; на самом деле, я вообще перестал называть себя городским историком», а стал идентифицировать себя с новым социальным историком (Stave, 1975b: 198). Возможно, эта смена дисциплинарной идентичности Тернстрома была обусловлена волной критики от сторонников междисциплинарного взаимодействия. Так, авторитетный Сэм Басс Уорнер-мл. назвал эту ветвь *Urban History* ужасной ошибкой, поскольку ее представители потеряли то, что являлось уникальным, а именно использование самого города для понимания общества (Stave, 1984: 110). Он соглашался с последующей позицией Тернстрома, что это направление было социальной историей, в которой влияние «городского» не измерялось, не обсуждалось и не рассматривалось на самом деле (Stave, 1974: 92).

Лидер национальной городской истории Уэйд считал, что новых городских историков характеризовал только интерес к количественной оценке, но их труды не затрагивали темы, которые отличались бы от традиционной истории: «Я не вижу ни одного предмета, которого не было бы на семинарах Артура Шлезингера в 1940-х годах» (Stave, 1977a: 227). По мнению корифея британских истори-

ков-урбанистов Дайоса, коллеги по New Urban History были безразличны к человеческому содержанию города, не исследовали индивидуальный опыт и культуру в нем, не искали связей между пространством (городом) и процессом (урбанизацией) (Cannadine, 1982: 213-214). Дайос считал, что «никто не живет в статистической таблице» и «никто не живет в этой абстрактной реальности», а люди живут по определенным адресам и городам. Согласно британскому ученому, вызов для городского историка как раз состоял в том, чтобы связать великий процесс урбанизации с индивидуальным опытом конкретных пространств (Stave, 1979: 479).

Другой крупный филладельфийский историк Теодор Хершберг указывал, что объяснительный контекст изучения социальной мобильности имел ограниченный характер, поскольку движение людей происходило будто в вакууме. Новые городские историки не поясняли, каким образом конкретные пространства и городская среда влияли на поведение людей. По его мнению, без введения экологических переменных в количественный анализ невозможно понять детерминанты социальной мобильности как городского процесса. Город рассматривался как объект, а не как процесс (Hershberg, 1978: 16-17, 22-25). Однако Хершберг стал последним, кто в духе Шноре пытался реанимировать New Urban History. Он утверждал, что она должна быть междисциплинарной и объединять усилия историков, демографов, социологов, географов и экономистов (Hershberg, 1978: 29-32). Именно такой подход к этому направлению он пытался реализовывать с 1969 года в своем амбициозном междисциплинарном проекте по социальной истории конкретного города — Филадельфии (Philadelphia Social History Project). В этот проект Хершберг привлек десятки историков и программистов, которые создали масштабную компьютерную базу данных о городе 1850–1880 годов, всех его жителей, улицах, предприятиях и учреждениях. Несмотря на использование компьютерных технологий, сам филладельфийский проект сложно назвать New Urban History в духе работ Тернстрема. Концепция Хершберга «города как процесса» была сосредоточена на исследовательских проблемах, вытекающих из экологического подхода к городской истории, провозглашенного Лэмпардом (Ebner, 1981: 78). Проект скорее расширял историческое воображение об отдельном городе, то есть словно соединял воедино подходы «город как место», «город как процесс» и «город как среда/пространство»: реконструировал застройку городских районов, индивидуальные судьбы, детальную эволюцию социальных групп и институтов (Frisch, 1979: 373-374). Для анализа всего этого массива информации Хершберг предложил понятие «структура возможностей» (structure of opportunity) как общую рамку для междисциплинарного исследования. Следуя ей, ученые проекта анализировали влияние физической среды города на возможности адаптации и социализации его разнообразных жителей и групп населения (Hershberg, 1981). Проект был завершен в 1985 году.

Конец New Urban History привел и к упадку подхода «города как процесса», который казался историкам слишком «социально научным» (Frisch, 2015: 596). Проект Хершберга оказался одной из последних попыток возродить этот под-

ход. В конце 1970-х годов талантливых наследников Тернстрома вся эта критика квантификационных схем подталкивала искать новые интерпретации своего исторического материала. От первых исследований мобильности и меняющихся систем стратификации в ходе индустриализации они переключились на изучение культурных факторов, вытекающих из принадлежности к классу или этничности, и к попыткам измерить интеграцию сообщества (Conzen, 1983: 673). Так, *New Urban History* Тернстрома отказалась от самобытного названия и влилась в общее научное поле новой социальной истории. В практике исследователей это означало признание важности игнорировавшихся прежде тем класса, культуры, сознания и конфликтов (Stave, 1983: 422).

Наиболее авторитетным историком, модифицировавшим посредством классового подхода идеи Тернстрома, стал Майкл Катц. По его мнению, в начале 1970-х годов работы *New Urban History* изобиловали концепциями и терминологией социальных наук, но подвергались критике, определялись как пустые социологические абстракции. В отличие от социологов историки должны были всегда обращать внимание на контекст, который, с его точки зрения, лучше всего воспроизводился через классовый анализ, потому что класс выступал социальным отношением, проявляющимся в деятельности людей и преломляющимся в их взгляде на мир. Он считал, что нарративные методы историков и методологический эклектизм превращались в главное оружие против социальной теории: «историческому анализу социальной структуры препятствовало относительно некритичное принятие категорий, используемых в американской социологии. <...> Освобождение истории от тирании традиционной социальной науки основывается не только на возвращении к повествованию или «насыщенному описанию», но и на непочтительном эклектизме, в котором интеллектуальная теория и широчайший, наиболее творческий набор методов используются для решения центральных проблем человеческого общества, прошлого и настоящего» (Katz, 1981: 604-605).

Таким образом, новая городская история родилась в конце 1960-х годов как квантитативный ответ социальным наукам и междисциплинарным обобщениям. Призыв к реконструкции «снизу вверх» для городских историков означал критическое отношение к социологии города и контекстуальный подход к городскому прошлому. Одновременно эта ветвь получила большую популярность среди молодых исследователей, которые за счет готовых описательных статистических шаблонов и компьютерных программ выпускали однотипные исследования социальной мобильности и стратификации. Вскоре стремление к конкретно-исторической контекстуализации новой проблематики привело сторонников Тернстрома к идентификационному дрейфу в сторону социальной истории, а термин «*New Urban History*» был присвоен адептами количественных методов из социальных наук.

По существу, феномен *New Urban History* не был, как может показаться на первый взгляд, только квантитативным поворотом. Не стоит также редуцировать его к очередному варианту новой социальной истории как «левой историографии»,

основанной на клиометрии. Скорее, как подметила Конзен, рассуждения Тернstromа являлись частью старых дебатов в рамках городской истории относительно степени теоретической согласованности, которой могла обладать эта область исследований (Conzen, 1983: 657). Интеллектуальная линия New Urban History была вкладом историков в критику общей социальной теории города и урбанизации, которые вернули категорию контекста в социальные исследования города. Тем не менее это был лишь социальный (или классовый) и темпоральный контекст, но не контекст города. М. Кац даже указывал, что новые городские историки, выросшие из конференции 1968 года, продолжали использовать город в духе традиционной историографии — лишь как место (site), то есть фоном, на котором происходили социальные процессы (Katz, 2015: 561). Вместе с тем я считаю, что этот подход в Urban History хоть и не выделял город в качестве существенного фактора в истории, но был самодостаточным, обладал заметными особенностями — высокой исторической контекстуализацией, квантитативной методологией и критикой социологических концепций города.

Кто такой городской историк?

Как мы видим, ответ на этот вопрос лежит в плоскости взаимодействия истории и социальных наук. Идентифицировать городского историка — значит понять, как он исследует город, какой смысл он вкладывает в это слово и, в общем, что именно он изучает. В поисках решений историки осознанно прибегали к помощи социальных наук и в результате этого контакта оформили четыре подхода внутри Urban History.

Первый подход рассматривал город как место (site). Он появился как идейный протест историков против традиционной аграрной истории и фронтальной интерпретации развития Америки. Для него были характерны главным образом идеографические описательные работы — «биографические» исследования конкретных городов, местные сюжеты становления гражданских сообществ или тематические истории на фоне развития того или иного города. На примере определенного города этот подход позволял реконструировать национальную историю и решительно разделял «городской» и «сельский» образ жизни, как делали это чикагские социологи. В духе Чикагской школы город превратился в определяющий фактор всемирного исторического процесса, а историки описывали его улицы и пространства как очаги разрушения и упадка.

Однако постепенное осознание узости исследований местных сообществ и нарастающий интерес к генерализации дали толчок масштабному междисциплинарному синтезу 1950–1960-х годов. Историки включились в большую дискуссию о сущности урбанизации и методах ее изучения. Так, в междисциплинарном калейдоскопе история стала социальной наукой. Одновременно в условиях городского кризиса ученые и урбанисты пытались спасти «умирающие города». Городские историки присоединились к этому движению гуманизации городов, ак-

туализировав ретроспективный анализ современными городскими проблемами. В рамках этого междисциплинарного взаимодействия в Urban History появились новые подходы.

Второй подход можно обозначить как «город как процесс». Для его сторонников такой подход предполагал номотетический фокус на городской истории и ее генерализацию — выделение урбанизации как самостоятельного исследовательского объекта. Обобщение урбанизации осуществлялось за счет анализа концентрации населения, социальной организации, технологического развития и влияния на окружающую среду. Сторонники такого видения Urban History стремились к расширению применения математических и статистических методов и пытались, по их мнению, сделать из городских историков полноценных социальных ученых.

Третий подход подразумевал понимание города как среды или пространства (place). Историки, работающие в рамках этой концептуализации, акцентировали внимание на физическом пространстве города, на разнообразии развития городских форм и взаимосвязанности материального мира города и социальных отношений. В то же время эти историки-урбанисты придерживались целостного холистического взгляда на город. В британском варианте этот подход означал, что Urban History выступала не столько дисциплиной, сколько исследовательским фокусом, в котором город и его пространство являлись призмой, через которую анализируется исторический процесс.

Со временем интервенция социальной теории в городскую историографию привела к критике междисциплинарного синтеза, в рамках которого сформировался **четвертый подход**. Он был распространен среди представителей New Urban History и последователей Тернстрема, которые вступили в оживленную полемику с социальной теорией. Они стремились написать историю угнетенных социальных городских групп, классов и обычных людей посредством количественного анализа. В полемике с социологами новые городские историки вернули городу его доброе имя и отказались рассматривать его как причину социальных проблем. Основным теоретическим принципом их исследований была установка на воссоздание исторического контекста, который игнорировался социальными теориями города. Однако увлечение количественными данными и контекстуализацией материала привело к тому, что в работах этих историков город как объект выпал из исторического анализа. Внимание к исследованию исключительно социальных трансформаций привело к удивительному парадоксу: перестав быть социальной наукой, новая городская история превратилась в социальную историю, документирующую структурные изменения общества. Поэтому этот подход можно назвать «контекстом без города».

Эти четыре подхода предопределили интеллектуальную эволюцию Urban History. Они существовали бок о бок, и их не стоит рассматривать как абсолютно замкнутые традиции (Gilfoyle, 2015: 574-575). Чаще всего историки проводили исследования, которые можно было бы отнести к нескольким подходам, либо они со временем меняли свои предпочтения и старались испытать себя в разных

методологических и теоретических рамках. К концу 1970-х годов, после самороспуска *New Urban History* и потери популярности подхода «город как процесс», городскими историками оставались в первую очередь те, кто сохранял верность национальному нарративу или междисциплинарному подходу «город как среда/пространство». Но если первые выступали за полный отказ от претензий на социальную науку и более тесное включение *Urban History* в описательный фокус национальной истории, то вторые — предлагали восстановить права социальных теорий (Conzen, 1983: 654). Именно для вторых — междисциплинарных историков Америки или Великобритании (следовавших традициям Сэма Басса Уорнера-мл. и Джима Дайоса) — город являлся потрясающей «линзой» и операционной стратегией для понимания общества (Stave, 1984: 90; Stave, 1979: 491), а подход «город как среда/пространство» стал доминирующим в историко-урбанистических исследованиях. При этом падение *New Urban History* преподало историкам-урбанистам важный урок: всегда оставаться плюралистами — по методу, содержанию, идеологии и вкусу (Ebner, 1981: 84).

Описанная в данной статье история научной дисциплины охватывает период 1930-х — начало 1980-х годов. Однако в наши дни взаимодействие *Urban History* с социальными науками никуда не исчезло. В последующие годы городские историки находили все больше пересечений с социологией, социальной антропологией, географией или демографией. Но именно в реконструируемом периоде городской историк прошел через процессы аккультурации и ассимиляции теми, кто поклонялся социальным и поведенческим наукам (Stave, 1983: 422), и в итоге сегодня обрел двоякую идентичность. На страницах книги Брюса Стейва (Stave, 1977b), взявшего интервью у десятка историков-урбанистов, заметно метание ученых-информантов между историей и социологией, которые искусно сплели воедино биографию и библиографию, концепции и карьеры (Monkkonen, 1986: 1150). Недавние опросы городских историков показали, что социология по-прежнему значительно влияет на *Urban History*, особенно в исследованиях физических характеристик и типов социальных отношений, отличающихся от негородских, а также «виртовских» категорий плотности и гетерогенности. И здесь современные городские историки демонстрируют разброс мнений от «Вирт мертв» до «Да здравствует Вирт!» («Wirth is dead; long live Wirth!») (Harris, 2019: 1243). В приоритете у городских историков осталось понимание важности не только разговора между собой, но и более широкого, непрерывного диалога с социальными науками, чтобы защитить центральную роль городов в изучении общества (Lees, 1994: 13). Историки не оставляют призывы использовать новые методы и теории для переформулировки самих городских исследований, а не просто следовать гипотезам социологов (Katz, 2015: 564). Однако, как говорил Монкконен, объединить историю и социологию очень, очень сложно: «Вот где существует большая фрагментация, но это происходит и продолжает происходить, и это довольно захватывающе по своим последствиям» (Stave, 1996: 248). Действительно, выдающийся социолог Чарльз Тилли утверждал, что благодаря интеграции *Urban History* с социальными на-

уками историки-урбанисты заняли бы центральное место в исторической науке и стали самыми главными интерпретаторами того, как глобальные социальные процессы соотносятся с мелкомасштабной социальной жизнью (Tilly, 1996). Но похоже, что эта амбициозная задача еще не нашла своих исследователей.

Литература

- Стась И. Н. (2015). Историческая урбанистика в Сибири // Историческая урбанистика: прошлое и настоящее города / И. Н. Стась (ред.). Курган: ООО «Курганский Дом печати». С. 28-46.
- Abbott C. (1996). Thinking about cities: The Central Tradition in U.S. Urban History // Journal of Urban History. Vol. 22. № 6. P. 687-701.
- Artibise A. F. J., Linteau P.-A. (1984). The Evolution of Urban Canada: An Analysis of Approaches and Interpretations. Winnipeg: Institute of Urban Studies, University of Winnipeg.
- Bedarida F. (1968). The Growth of Urban History in France: Some Methodological Trends // The Study of Urban History: The Proceedings of an International Round-Table Conference of the Urban History Group at Gilbert Murray Hall, University of Leicester, on 23-26 September 1966 / H. J. Dyos (ed.). London: Edward Arnold. P. 47-60.
- Briggs A. (1968). Foreword // The Study of Urban History: The Proceedings of an International Round-Table Conference of the Urban History Group at Gilbert Murray Hall, University of Leicester, on 23-26 September 1966 / H. J. Dyos (ed.). London: Edward Arnold. P. V-XI.
- Burgess E. W. (ed.). (1926). The Urban Community: Selected Papers from the Proceedings of the American Sociological Society, 1925. Chicago: University of Chicago Press.
- Cannadine D. (1982). Urban history in the United Kingdom: the «Dyos Phenomenon» and After // Exploring the Urban Past: Essays in Urban History by H. J. Dyos / D. Cannadine, D. Reeder (eds.). Cambridge, New York: Cambridge University Press. P. 203-221.
- Checkland S. G. (1983). An Urban History Horoscope // The Pursuit of Urban History / D. Fraser, A. Sutcliffe (eds.). Baltimore: Edward Arnold. P. 449-466.
- Conzen K. N. (1976). Immigrant Milwaukee, 1836-1860: Accommodation and Community in a Frontier City. Cambridge, Mass, and London: Harvard University Press.
- Conzen K. N. (1983). Quantification and the New Urban History // The Journal of Interdisciplinary History. Vol. XIII. № 4. P. 653-677.
- Davies G. W. (2014). The Rise of Urban History in Britain c. 1960-1978. Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy at the University of Leicester.
- Davison G. (1979). Australian Urban History: a Progress Report // Urban History. Vol. 6. P. 100-109.
- Diamond W. (1941). On the Dangers of an Urban Interpretation of History // Historiography and Urbanization: Essays in American History in Honor of W. Stull Holt / E. F. Goldman (ed.). Baltimore: The Johns Hopkins Press. P. 67-108.

- Dyos H. J.* (1968). *Agenda for Urban Historians//The Study of Urban History: The Proceedings of an International Round-Table Conference of the Urban History Group at Gilbert Murray Hall, University of Leicester, on 23–26 September 1966 / H. J. Dyos (ed.). London: Edward Arnold. P. 1–46.*
- Dyos H. J.* (1982). *Urbanity and suburbanity // Exploring the Urban Past: Essays in Urban History by H. J. Dyos / D. Cannadine, D. Reeder (eds.). Cambridge, New York: Cambridge University Press. P. 19–36.*
- Ebner M. H.* (1973). *The New Urban History: Bibliography on Methodology and Historiography// Council of Planning Librarians. Exchange bibliography. № 445. P. 1–10.*
- Ebner M. H.* (1981). *Urban History: Retrospect and Prospect//The Journal of American History. Vol. 68. № 1. P. 69–84.*
- Ewen S.* (2016). *What Is Urban History? Cambridge: Polity Press.*
- Frisch M.* (1979). *American Urban History as an Example of Recent Historiography// History and Theory. Vol. 18. № 3. P. 350–377.*
- Frisch M.* (2015) *Comment on Michael B. Katz, “From Urban as Site to Urban as Place: Reflections on (Almost) a Half Century of U. S. Urban History”// Journal of Urban History. Vol. 41. № 4. P. 595–599.*
- Frisch M. H.* (1970). *L’histoire urbaine américaine: Réflexions sur les tendances récentes// Annales. Histoire, Sciences Sociales. 25e Année. № 4. P. 880–896.*
- Gilfoyle T. J.* (2015). *Michael Katz on Place and Space in Urban History// Journal of Urban History. Vol. 41. № 4. P. 572–584.*
- Glaab C. N.* (1963). *The Historian and the American Urban Tradition// Wisconsin Magazine of History. Vol. 47. № 1. P. 12–25.*
- Glaab C. N.* (1965). *The Historian and the American City: A Bibliographic Survey//The Study of Urbanization / P. M. Hauser, L. F. Schnore (eds.). New York: John Wiley & Sons. P. 53–80.*
- Glaab C. N., Rose M. H., Wilson W. H.* (1992). *The History of Kansas City Projects and the Origins of American Urban History// Journal of Urban History. Vol. 18. № 4. P. 371–394.*
- Green C. McL.* (1957). *American Cities in the Growth of the Nation. New York: John de Graff.*
- Green C. McL.* (1965). *The Rise of Urban America. New York: Harper and Row.*
- Handlin O.* (1963). *The Modern City as a Field of Historical Study// The Historian and the City / O. Handlin, J. Burchard (ed). Cambridge: The M. I. T. Press and Harvard University Press. P. 1–26.*
- Handlin O., Burchard J.* (eds). (1963). *The Historian and the City. Cambridge: The M. I. T. Press and Harvard University Press.*
- Harris R.* (2019). *A Portrait of North American Urban Historians// Journal of Urban History. Vol. 45. № 6. P. 1237–1245.*
- Hauser P. M., Schnore L. F.* (eds.). (1965). *The Study of Urbanization. New York: John Wiley & Sons.*

- Hershberg T.* (1978). *The New Urban History: Toward an Interdisciplinary History of the City*// *Journal of Urban History*. Vol. 5. № 1. P. 3–40.
- Hershberg T.* (ed.). (1981). Philadelphia. *Work, Space, Family, and Group Experiences in the Nineteenth Century. Essays Toward An Inter-Disciplinary History of the City*. New York: Oxford University Press.
- Katz M. B.* (1976). *The People of Hamilton, Canada West: Family and Class in a Mid-Nineteenth-Century City*. Cambridge, Mass., Harvard University Press.
- Katz M. B.* (1981). *Social Class in North American Urban History*// *The Journal of Interdisciplinary History*. Vol. 11. № 4. P. 579–605.
- Katz M. B.* (2015). *From Urban as Site to Urban as Place: Reflections on (Almost) a Half-Century of U.S. Urban History*// *Journal of Urban History*. Vol. 41. № 4. P. 560–566.
- Lampard E. E.* (1955). *The History of Cities in the Economically Advanced Areas*// *Economic Development and Cultural Change*. Vol. 3. № 2. Part 2. P. 81–136.
- Lampard E. E.* (1961). *American Historians and the Study of Urbanization*// *The American Historical Review*. Vol. 67. № 1. P. 49–61.
- Lampard E. E.* (1965). *Historical Aspects of Urbanization*// *The Study of Urbanization* / P.M. Hauser, L.F. Schnore (eds.). New York: John Wiley & Sons. P. 519–554.
- Lampard E. E.* (1975). *Two Cheers for Quantitative History: An Agnostic Foreword*// *The New Urban History: Quantitative Explorations by American Historians* / L. F. Schnore (ed.). Princeton, N. J.: Princeton University Press. P. 12–48.
- Lees L. H.* (1972). *From the History of Cities to the History of Society*// *The Urban & Social Change Review*. Vol. 6. № 1. P. 28–32.
- Lees L. H.* (1994). *The Challenge of Political Change: Urban History in the 1990s*// *Urban History*. Vol. 21. № 1. P. 7–19.
- Lubove R.* (1967). *The Urbanization Process: An Approach to Historical Research*// *Journal of the American Institute of Planners*. Vol. 33. № 1. P. 33–39.
- McKelvey B.* (1952). *American Urban History Today*// *The American Historical Review*. Vol. 57. № 4. P. 919–929.
- McKelvey B.* (1973). *American Urbanization: A Comparative History*. Glenview, Ill. and Brighton: Scott Foresman & Co.
- Miller Z. L., Griffen C., Stelter G.* (1977). *Urban History in North America*// *Urban History*. Vol. 4. Pp. 6–29.
- Monkkonen E. H.* (1975). *The Dangerous Class: Crime and Poverty in Columbus, Ohio, 1860–1885*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Monkkonen E. H.* (1986). *The Dangers of Synthesis*// *The American Historical Review*. Vol. 91. № 5. P. 1146–1157.
- Mumford L.* (1961). *The City in History: Its Origins, Its Transformations, and its Prospects*. New York: Harcourt, Brace and World.
- Olsen S. L.* (1980). *Yankee City and the New Urban History*// *Journal of Urban History*. Vol. 6. № 3. P. 321–338.

- Park R. E.* (1915). *The City: Suggestions for the Investigation of Human Behavior in the City Environment*// *American Journal of Sociology*. Vol. 20. № 5. P. 577–612.
- Reulecke J., Huck G., Sutcliffe A.* (1981) *Urban History Research in Germany: Its Development and Present Condition*// *Urban History*. Vol. 8. P. 39–54.
- Schlesinger Sr. A. M.* (1940). *The City in American History*// *The Mississippi Valley Historical Review*. Vol. 27. № 1. P. 43–66.
- Schnore L. F.* (1968). *Problems in the Quantitative Study of Urban History*// *The Study of Urban History: The Proceedings of an International Round-Table Conference of the Urban History Group at Gilbert Murray Hall, University of Leicester, on 23–26 September 1966*/ H. J. Dyos (ed.). London: Edward Arnold. P. 189–208.
- Schnore L. F.* (1975a). *Further Reflections on the «New» Urban History: A Prefatory Note*// *The New Urban History: Quantitative Explorations by American Historians*/ L. F. Schnore (ed.). Princeton, N. J.: Princeton University Press. P. 3–11.
- Schnore L. F.* (1975b). *Urban History and the Social Sciences: An Uneasy Marriage*// *Journal of Urban History*. Vol. 1. № 4. P. 395–408.
- Schnore L. F.* (ed.). (1975c). *The New Urban History: Quantitative Explorations by American Historians*. Princeton, N. J.: Princeton University Press.
- Stave B. M.* (1974). *A Conversation with Sam Bass Warner, Jr*// *Journal of Urban History*. Vol. 1. № 1. P. 85–110.
- Stave B. M.* (1975a). *A Conversation with Eric E. Lampard*// *Journal of Urban History*. Vol. 1. № 4. P. 440–472.
- Stave B. M.* (1975b). *A Conversation with Stephan Thernstrom*// *Journal of Urban History*. Vol. 1. № 2. P. 189–215.
- Stave B. M.* (1976). *A Conversation with Blake McKelvey*// *Journal of Urban History*. Vol. 2. № 4. P. 459–486.
- Stave B. M.* (1977a). *A Conversation with Richard C. Wade*// *Journal of Urban History*. Vol. 3. № 2. P. 211–238.
- Stave B. M.* (1977b). *The Making of Urban History: Historiography Through Oral History*. Beverly Hills, Calif.: Sage Publications.
- Stave B. M.* (1979). *A Conversation with H. J. Dyos: Urban History in Great Britain*// *Journal of Urban History*. Vol. 5. № 4. P. 469–500.
- Stave B. M.* (1980). *A Conversation with Gilbert A. Stelter: Urban History in Canada*// *Journal of Urban History*. Vol. 6. № 2. P. 177–209.
- Stave B. M.* (1983). *In Pursuit of Urban History: Conversations with Myself and Others — A View from the United States*// *Fraser D., Sutcliffe A.* (eds.). *The Pursuit of Urban History*. Baltimore: Edward Arnold. P. 407–427.
- Stave B. M.* (1984a). *A Conversation with Francois Bedarida: Urban History in France*// *Journal of Urban History*. Vol. 10. № 3. P. 295–318.
- Stave B. M.* (1984b). *A Conversation with Sam Bass Warner, Jr. Ten Years Later*// *Journal of Urban History*. Vol. 11. № 1. P. 83–113.
- Stave B. M.* (1996). *A Conversation with Eric Monkkonen*// *Journal of Urban History*. Vol. 22. № 2. P. 231–252. P.

- Thernstrom S.* (1964). *Poverty and Progress: Social Mobility in a Nineteenth Century City*. Cambridge: Harvard University Press.
- Thernstrom S.* (1968). *Quantitative Methods in History: Some Notes* // *Sociology and History: Methods* / S. M. Lipset, R. Hofstadter (eds.). New York: Basic Books. P. 59–78.
- Thernstrom S.* (1968). *Urbanization, Migration, and Social Mobility in Late Nineteenth-Century America* // *Towards A New Past: Dissenting Essays in American History* / B. J. Bernstein (ed). New York: Pantheon Books. P. 158–175.
- Thernstrom S.* (1971). *Reflections on the New Urban History* // *Daedalus*. Vol. 100. № 2. P. 359–375.
- Thernstrom S., Sennett R.* (1969). *Preface* // *Nineteenth-Century Cities: Essays in the New Urban History* / S. Thernstrom, R. Sennett (eds.). New Haven: Yale University Press. P. VII–XIII.
- Tilly C.* (1996). *What Good is Urban History?* // *Journal of Urban History*. Vol. 22. № 6. P. 702–719.
- Wade R. C.* (1959). *The Urban Frontier: The Rise of Western Cities, 1790–1830*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Wade R. C.* (1970). *An Agenda for Urban History* // *The State of American History* / H. J. Bass (ed.). Chicago: Quadrangle Books. P. 43–69.
- Warner Jr. S. B.* (1962). *Streetcar Suburbs: The Process of Growth in Boston, 1870–1900*. Cambridge: Harvard University Press and the M. I. T. Press.
- Warner Jr. S. B.* (1968). *The Private City: Philadelphia in Three Periods of Its Growth*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Warner Jr. S. B.* (1972). *The Urban Wilderness. A History of the American City*. New York: Harper & Row.
- Weaver T.* (2017). *Urban Crisis: the Genealogy of a Concept* // *Urban Studies*. Vol. 54. № 9. P. 2039–2055.
- Wirth L.* (1940). *The Urban Society and Civilization* // *American Journal of Sociology*. Vol. 45. № 5. P. 743–755.

Urban History: between History and Social Sciences

Igor Stas

Candidate of Sciences (History), Senior Research Fellow, Laboratory for Historical Geography and Regional Studies, University of Tyumen

Address: Volodarskogo str., 6, Tyumen, Russian Federation 625003

E-mail: igor.stas@mail.ru

The article analyzes the formation and development of Urban History as a branch of historical science before and immediately after the era of the Urban Crisis of the 1950s and 1960s. The concept of the article suggests that urban history was formed in a constant dialogue with the social sciences. At the beginning, academic urban historians appeared in the 1930s as opponents of American “agrarian” and frontier histories. Drawing their ideas from the Chicago School of sociology, they reproduced the national history of civic local communities that expressed the

achievements of Western civilization. However, in the context of the impending Urban Crisis, social sciences, together with urban historians, have declared the importance of generalizing social phenomena. A group of rebels soon formed among historians. They called their movement 'New Urban History' and advocated the return of historical context to urban studies, and were against social theory. However, in an effort to reconstruct history "from the bottom up" through a quantitative study of social mobility, new urban historians have lost the city as an important variable of their analysis. They had to abandon the popular name and recognize themselves as representatives of social history and interested in the problems of class, culture, consciousness, and conflicts. In this situation, some social scientists have tried to try on the elusive brand 'New Urban History', but their attempt also failed. As a result, only those who remained faithful to the national narrative or interdisciplinary approach remained urban historians, but continued to remain in the bosom of historical science, rushing around conventional urban sociology and its denial.

Keywords: urban history, new urban history, urban sociology, social sciences, national history, interdisciplinary approach, social history, quantification

References

- Abbott C. (1996) Thinking about cities: The Central Tradition in U. S. Urban History. *Journal of Urban History*, vol. 22, no 6, pp. 687–701.
- Artibise A. F. J., Linteau P.-A. (1984) *The Evolution of Urban Canada: An Analysis of Approaches and Interpretations*, Winnipeg: Institute of Urban Studies, University of Winnipeg.
- Bedarida F. (1968) The Growth of Urban History in France: Some Methodological Trends. *The Study of Urban History: The Proceedings of an International Round-Table Conference of the Urban History Group at Gilbert Murray Hall, University of Leicester, on 23–26 September 1966* (ed. H. J. Dyos), London: Edward Arnold, pp. 47–60.
- Briggs A. (1968) Foreword. *The Study of Urban History: The Proceedings of an International Round-Table Conference of the Urban History Group at Gilbert Murray Hall, University of Leicester, on 23–26 September 1966* (ed. H. J. Dyos), London: Edward Arnold, pp. V–XI.
- Burgess E. W. (ed.) (1926) *The Urban Community: Selected Papers from the Proceedings of the American Sociological Society, 1925*, Chicago: University of Chicago Press.
- Cannadine D. (1982) Urban history in the United Kingdom: the «Dyos Phenomenon» and After. *Exploring the Urban Past: Essays in Urban History by H. J. Dyos* (eds. D. Cannadine, D. Reeder), Cambridge, New York: Cambridge University Press, pp. 203–221.
- Checkland S. G. (1983) An Urban History Horoscope. *The Pursuit of Urban History*, Baltimore: Edward Arnold, pp. 449–466.
- Conzen K. N. (1976) *Immigrant Milwaukee, 1836–1860: Accommodation and Community in a Frontier City*, Cambridge, Mass., and London: Harvard University Press.
- Conzen K. N. (1983) Quantification and the New Urban History. *The Journal of Interdisciplinary History*, vol. XIII, no 4, pp. 653–677.
- Davies G. W. (2014) *The Rise of Urban History in Britain c. 1960–1978*, Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy at the University of Leicester.
- Davison G. (1979) Australian Urban History: a Progress Report. *Urban History*, vol. 6, pp. 100–109.
- Diamond W. (1941) On the Dangers of an Urban Interpretation of History. *Historiography and Urbanization: Essays in American History in Honor of W. Stull Holt* (ed. E. F. Goldman), Baltimore: The Johns Hopkins Press, pp. 67–108.
- Dyos H. J. (1968) Agenda for Urban Historians. *The Study of Urban History: The Proceedings of an International Round-Table Conference of the Urban History Group at Gilbert Murray Hall, University of Leicester, on 23–26 September 1966* (ed. H. J. Dyos), London: Edward Arnold, pp. 1–46.
- Dyos H. J. (1982) Urbanity and suburbanity. *Exploring the Urban Past: Essays in Urban History by H. J. Dyos* (eds. D. Cannadine, D. Reeder), Cambridge, New York: Cambridge University Press, pp. 19–36.
- Ebner M. H. (1973) The New Urban History: Bibliography on Methodology and Historiography. *Council of Planning Librarians. Exchange bibliography*, no 445, pp. 1–10.

- Ebner M. H. (1981) Urban History: Retrospect and Prospect. *The Journal of American History*, vol. 68, no 1, pp. 69–84.
- Ewen S. (2016) *What Is Urban History?* Cambridge: Polity Press.
- Frisch M. (1979) American Urban History as an Example of Recent Historiography. *History and Theory*, vol. 18, no 3, pp. 350–377.
- Frisch M. (2015) Comment on Michael B. Katz, “From Urban as Site to Urban as Place: Reflections on (Almost) a Half Century of U. S. Urban History”. *Journal of Urban History*, vol. 41, no 4, pp. 595–599.
- Frisch M. H. (1970) L’histoire urbaine américaine: Réflexions sur les tendances récentes. *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, 25e Année, no 4, pp. 880–896.
- Gilfoyle T. J. (2015) Michael Katz on Place and Space in Urban History. *Journal of Urban History*, vol. 41, no 4, pp. 572–584.
- Glaab C. N. (1963) The Historian and the American Urban Tradition. *Wisconsin Magazine of History*, vol. 47, no 1, pp. 12–25.
- Glaab C. N. (1965) The Historian and the American City: A Bibliographic Survey. *The Study of Urbanization* (eds. P. M. Hauser, L. F. Schnore), New York: John Wiley & Sons, pp. 53–80.
- Glaab C. N., Rose M. H., Wilson W. H. (1992) The History of Kansas City Projects and the Origins of American Urban History. *Journal of Urban History*, vol. 18, no 4, pp. 371–394.
- Green C. McL. (1957) *American Cities in the Growth of the Nation*, New York: John de Graff.
- Green C. McL. (1965) *The Rise of Urban America*, New York: Harper and Row.
- Handlin O. (1963) The Modern City as a Field of Historical Study. *The Historian and the City* (eds. O. Handlin, J. Burchard), Cambridge: The M. I. T. Press and Harvard University Press, pp. 1–26.
- Handlin O., Burchard J. (eds.) (1963) *The Historian and the City*, Cambridge: The M. I. T. Press and Harvard University Press.
- Harris R. (2019) A Portrait of North American Urban Historians. *Journal of Urban History*, vol. 45, no 6, pp. 1237–1245.
- Hauser P. M., Schnore L. F. (eds.) (1965) *The Study of Urbanization*, New York: John Wiley & Sons.
- Hershberg T. (1978) The New Urban History: Toward an Interdisciplinary History of the City. *Journal of Urban History*, vol. 5, no 1, pp. 3–40.
- Hershberg T. (ed.) (1981) *Philadelphia. Work, Space, Family, and Group Experiences in the Nineteenth Century. Essays Toward An Inter-Disciplinary History of the City*, New York: Oxford University Press.
- Katz M. B. (1976) *The People of Hamilton, Canada West: Family and Class in a Mid-Nineteenth-Century City*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Katz M. B. (1981) Social Class in North American Urban History. *The Journal of Interdisciplinary History*, vol. 11, no 4, pp. 579–605.
- Katz M. B. (2015) From Urban as Site to Urban as Place: Reflections on (Almost) a Half-Century of U. S. Urban History. *Journal of Urban History*, vol. 41, no 4, pp. 560–566.
- Lampard E. E. (1955) The History of Cities in the Economically Advanced Areas. *Economic Development and Cultural Change*, vol. 3, no 2, part 2, pp. 81–136.
- Lampard E. E. (1961) American Historians and the Study of Urbanization. *The American Historical Review*, vol. 67, no 1, pp. 49–61.
- Lampard E. E. (1965) Historical Aspects of Urbanization. *The Study of Urbanization* (eds. P. M. Hauser, L. F. Schnore), New York: John Wiley & Sons, pp. 519–554.
- Lampard E. E. (1975) Two Cheers for Quantitative History: An Agnostic Foreword. *The New Urban History: Quantitative Explorations by American Historians* (eds. L. F. Schnore), Princeton, N. J.: Princeton University Press, pp. 12–48.
- Lees L. H. (1972) From the History of Cities to the History of Society. *The Urban & Social Change Review*, vol. 6, no 1, pp. 28–32.
- Lees L. H. (1994) The Challenge of Political Change: Urban History in the 1990s. *Urban History*, vol. 21, no 1, pp. 7–19.
- Lubove R. (1967) The Urbanization Process: An Approach to Historical Research. *Journal of the American Institute of Planners*, vol. 33, no 1, pp. 33–39.
- McKelvey B. (1952) American Urban History Today. *The American Historical Review*, vol. 57, no 4, pp. 919–929.

- McKelvey B. (1973) *American Urbanization: A Comparative History*, Glenview, Ill. and Brighton: Scott Foresman & Co.
- Miller Z. L., Griffen C., Stelter G. (1977) Urban History in North America. *Urban History*, vol. 4, pp. 6–29.
- Monkkonen E. H. (1975) *The Dangerous Class: Crime and Poverty in Columbus, Ohio, 1860–1885*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Monkkonen E. H. (1986) The Dangers of Synthesis. *The American Historical Review*, vol. 91, no 5, pp. 1146–1157.
- Mumford L. (1961) *The City in History: Its Origins, Its Transformations, and its Prospects*, New York: Harcourt, Brace and World.
- Olsen S. L. (1980) Yankee City and the New Urban History. *Journal of Urban History*, vol. 6, no 3, pp. 321–338.
- Park R. E. (1915) The City: Suggestions for the Investigation of Human Behavior in the City Environment. *American Journal of Sociology*, vol. 20, no 5, pp. 577–612.
- Reulecke J., Huck G., Sutcliffe A. (1981) Urban History Research in Germany: Its Development and Present Condition. *Urban History*, vol. 8, pp. 39–54.
- Schlesinger Sr. A. M. (1940) The City in American History. *The Mississippi Valley Historical Review*, vol. 27, no 1, pp. 43–66.
- Schnore L. F. (1968) Problems in the Quantitative Study of Urban History. *The Study of Urban History: The Proceedings of an International Round-Table Conference of the Urban History Group at Gilbert Murray Hall, University of Leicester, on 23–26 September 1966* (ed. H. J. Dyos), London: Edward Arnold, pp. 189–208.
- Schnore L. F. (1975a) Further Reflections on the «New» Urban History: A Prefatory Note. *The New Urban History: Quantitative Explorations by American Historians* (ed. L. F. Schnore), Princeton, N. J.: Princeton University Press, pp. 3–11.
- Schnore L. F. (1975b) Urban History and the Social Sciences: An Uneasy Marriage. *Journal of Urban History*, vol. 1, no 4, pp. 395–408.
- Schnore L. F. (ed.) (1975c) *The New Urban History: Quantitative Explorations by American Historians*, Princeton, N. J.: Princeton University Press.
- Stas I. N. (2015) Istoricheskaja urbanistika v Sibiri [Urban History in Siberia]. *Istoricheskaja urbanistika: proshloe i nastoiashchee goroda [Urban History: the Past and Present of the City]* (ed. I. N. Stas), Kurgan: Kurgan Printing House, pp. 28–46.
- Stave B. M. (1974) A Conversation with Sam Bass Warner, Jr. *Journal of Urban History*, vol. 1, no 1, pp. 85–110.
- Stave B. M. (1975a) A Conversation with Eric E. Lampard. *Journal of Urban History*, vol. 1, no 4, pp. 440–472.
- Stave B. M. (1975b) A Conversation with Stephan Thernstrom. *Journal of Urban History*, vol. 1, no 2, pp. 189–215.
- Stave B. M. (1976) A Conversation with Blake McKelvey. *Journal of Urban History*, vol. 2, no 4, pp. 459–486.
- Stave B. M. (1977a) A Conversation with Richard C. Wade. *Journal of Urban History*, vol. 3, no 2, pp. 211–238.
- Stave B. M. (1977b) *The Making of Urban History: Historiography Through Oral History*, Beverly Hills, Calif.: Sage Publications.
- Stave B. M. (1979) A Conversation with H. J. Dyos: Urban History in Great Britain. *Journal of Urban History*, vol. 5, no 4, pp. 469–500.
- Stave B. M. (1980) A Conversation with Gilbert A. Stelter: Urban History in Canada. *Journal of Urban History*, vol. 6, no 2, pp. 177–209.
- Stave B. M. (1983) In Pursuit of Urban History: Conversations with Myself and Others — A View from the United States. *The Pursuit of Urban History* (eds. D. Fraser, A. Sutcliffe), Baltimore: Edward Arnold, pp. 407–427.
- Stave B. M. (1984a) A Conversation with Francois Bedarida: Urban History in France. *Journal of Urban History*, vol. 10, no 3, pp. 295–318.

- Stave B. M. (1984b) A Conversation with Sam Bass Warner, Jr. Ten Years Later. *Journal of Urban History*, vol. 11, no 1, pp. 83–113.
- Stave B. M. (1996) A Conversation with Eric Monkkonen. *Journal of Urban History*, vol. 22, no 2, pp. 231–252.
- Thernstrom S. (1964) *Poverty and Progress: Social Mobility in a Nineteenth Century City*, Cambridge: Harvard University Press.
- Thernstrom S. (1968a) Quantitative Methods in History: Some Notes. *Sociology and History: Methods* (eds. S. M. Lipset, R. Hofstadter), New York: Basic Books, pp. 59–78.
- Thernstrom S. (1968b) Urbanization, Migration, and Social Mobility in Late Nineteenth–Century America. *Towards A New Past: Dissenting Essays in American History* (ed. B. J. Bernstein), New York: Pantheon Books, pp. 158–175.
- Thernstrom S. (1971) Reflections on the New Urban History. *Daedalus*, vol. 100, no 2, pp. 359–375.
- Thernstrom S., Sennett R. (1969) Preface. *Nineteenth–Century Cities: Essays in the New Urban History* (eds. S. Thernstrom, R. Sennett), New Haven: Yale University Press. pp. VII–XIII.
- Tilly C. (1996) What Good is Urban History? *Journal of Urban History*, vol. 22, no 6, pp. 702–719.
- Wade R. C. (1959) *The Urban Frontier: The Rise of Western Cities, 1790–1830*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Wade R. C. (1970) An Agenda for Urban History. *The State of American History* (ed. H. J. Bass), Chicago: Quadrangle Books, pp. 43–69.
- Warner Jr. S. B. (1962) *Streetcar Suburbs: The Process of Growth in Boston, 1870–1900*, Cambridge: Harvard University Press and the M. I. T. Press.
- Warner Jr. S. B. (1968) *The Private City: Philadelphia in Three Periods of Its Growth*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Warner Jr. S. B. (1972) *The Urban Wilderness. A History of the American City*, New York: Harper & Row.
- Weaver T. (2017) Urban Crisis: the Genealogy of a Concept. *Urban Studies*, vol. 54, no 9, pp. 2039–2055.
- Wirth L. (1940) The Urban Society and Civilization. *American Journal of Sociology*, vol. 45, no 5, pp. 743–755.

Философия путешествий, общение с местностью и «ландшафтная аналитика»¹

«Одушевленный ландшафт» / Ред.-сост. А. С. БЕЛОРУСЕЦ, С. В. БЕРЕЗИН. СПб.: АЛЕТЕЙ, 2021. — 260 С. ISBN 978-5-00165-234-2

Михаил Немцев

Старший научный сотрудник Школы исследований окружающей среды и общества (Антропошколы), Тюменский государственный университет.
Адрес: ул. Пржевальского, 37, корп. 1, Тюмень, Российская Федерация, 625053
E-mail: nemtsev.m@gmail.com

Философские рассуждения о путешествиях легко превращаются в анализ мышления и самосознания путешественников. Однако философия путешествия не должна отвлекаться от земного (физического) пространства. Принципиальное и важнейшее свойство путешествия состоит в аффективном взаимодействии с местностью, которое может быть понято как особый вид общения, и представляет собой эмпирическую базу для осмысления путешествия не только как исследовательского метода, но и как метода самопознания. В статье рассматривается сборник, где разносторонне описан такой опыт использования путешествий в психотерапии. Расширенное представление о «путешествии» позволяет переосмыслить роль аффектов в исследовании культурных ландшафтов. Они оказываются способными проявлять своеобразную активность, обращаясь к путешествующим и производя в тех особые, лично ценные переживания (например, аффект топофилии).

Ключевые слова: аффект, аффорданс, «ландшафтная аналитика», культурный ландшафт, путешествия, топофилия, философия путешествия

Путешествия сыграли свою огромную роль в развитии знания, однако совершенствование транспортных технологий постепенно их упростило и лишило той роли, какую они играли столетиями. Как можно философски мыслить «путешествие»? Теперь, когда почти никто *не должен* путешествовать? Если путешествия в старом стиле, со всматриванием в пересекаемую местность — это сегодня всего лишь необязательный личный выбор?..

Философские рассуждения о путешествиях легко уходят в анализ мышления и самосознания путешественников. Казалось бы, само перемещение в пространстве, благодаря которому «путешествие» и открывает возможности для уникального опыта, должно быть предметом внимания. Однако «перемещение» зачатую образует в философском анализе путешествий фигуру, а пространство, где оно происходит, превращается в фон. Местность, где путешествуют, становится чем-то вроде предлога для внутренних событий.

1. Работа написана при поддержке гранта Правительства РФ, проект № 075-15-2021-611 «Человек в меняющемся пространстве Урала и Сибири». Опубликовано в рамках программы «Университетское партнерство».

Поэтому не удивительно обнаружить в работах, посвященных «философии путешествия», исследования путешествий философов. Конечно, путешествовать — значит удовлетворять собственную любознательность, но философия и подразумевает удовлетворение познавательного интереса, а потому так привлекательна фигура философа-путешественника (Thomas, 2020; Назаров, 2016).

Однако настоящий интеллектуальный вызов философии путешествий состоит именно в сосредоточении на материальной стороне: это поверхность земли — всегда конкретная местность, это тело путешествующего и их взаимодействие. Путешествие может иметь исследовательские, эстетические, рекреационные или другие цели, однако в его основе всегда материальный процесс. Так что путешествие — торжество эмпиризма (Немцев, 2021: 94), оно постоянно возвращает к взаимодействию с пространством, иногда радостному, иногда травмирующему, непредсказуемому.

Поэтому философия путешествия должна быть эмпирической и материалистической. Как только она отвлекается от земного (физического) пространства, скажем, развивая некую генеральную идею путешествия «вообще», она перестает быть именно философией путешествия. Ведь тогда она больше уже не может мыслить этот материальный процесс взаимодействия². Мыслить только «путь» недостаточно. Материальность пространства фундаментально определяет различие между движением в пространстве — и, скажем, каким-либо воображаемым «странствием». Пространство (воз)действует на путешествующих, и это воздействие, то есть именно материальность путешествия, и должно быть предметом осмысления в философской теории путешествия. Ее феноменологическую базу предоставляют любые эмпирические дисциплины, имеющие дело с материальностью земного пространства. В частности, особенно важны гуманитарная география и краеведение, поскольку в них путешествие остается необходимостью в силу их специфического исследовательского метода (Немцев, 2021).

Сборник «Одушевленный ландшафт», о котором речь пойдет ниже, интересен прежде всего тем, что в нем встречаются представители профессий, обычно мало соприкасающихся: географы (специалисты по «ландшафту») и психологи (зая-

2. Так, например, А. Н. Иванова ставит перед собой задачу «объединить в философском определении “путешествия” все возможные варианты передвижения человека — как в физическом реальном мире (“внешние” географические), так и во внутреннем пространстве его личности и трансцендирования за ее пределы (“внутренние” метафизические)» (Иванова, 2015: 51). При этом она вводит очень широкое понятие «путешествования» как процесса «покидания на время чего-то хорошо известного и понятного ради попадания во что-то, до тех пор неизвестное и незнаемое» (Там же). В таком определении теряются внешние обстоятельства движения покидания и возвращения, то есть само то пространство, благодаря которому это движение возможно. В предложенной ею в статье классификации, кроме таких путешествий, как «открытие новых земель», «этнографического», «эко-природного» и других пространственно детерминированных, появляются «сновидения», «поиск себя» и пр. В итоге путешествие, понятое как реализация «потребности в самотрансценденции», превращается в универсальную метафору почти любой культурной практики. Но зачем тогда говорить именно о «путешествии»?..

тые «душой»). Чтение этой книги позволяет войти в область исследований и работ еще только формирующуюся, со смутными дисциплинарными признаками и очертаниями. Их предмет — индивидуальные переживания пространства. Метод — физическое перемещение в этом пространстве при особом внимании именно к этим переживаниям. В сборник включены как академические статьи, так и очерки в свободной форме — наблюдения над разными взаимодействиями с географическим пространством.

География играет свою незаменимую роль в нашей жизни, но часто об этом легко забывается. Так, место встречи профессионального психотерапевта с учениками и клиентами имеет географическую локацию, однако этот тривиальный факт не оказывает влияния на их отношения, когда дело происходит в современной урбанизированной техносреде. Авторы «психотерапевтической» части сборника предлагают выйти из города, туда, где данные в ощущениях особенности окружающего пространства могут сыграть свою особую, специальную роль в психотерапевтической работе.

Выйдя из города на простор, психотерапевты и участники их сессий оказываются в какой-то местности, где можно присмотреться к своим ощущениям. Эта географическая локация обретает индивидуализирующую или же, в других случаях, типизирующую конкретность. Само взаимодействие с этим пространством — ландшафтом — производит специфический психологический эффект. Путешествующие могут испытать весьма нетривиальные аффекты. Авторы сборника предлагают обратиться к их анализу. Для этого и предлагается «*ландшафтная аналитика*». «Ландшафт» здесь не предмет, а инструмент анализа, и в каком-то смысле даже и субъект анализа. Предавшись этому анализу, мысленно отправившись куда-то «в поля», психотерапевты «встречаются» там с исследователями пространства, с географами, которые тоже осваивают эту местность, путешествуя сквозь нее.

Географ-путешественник превращает самого себя в инструмент познания. Причем речь должна идти обо всем теле как рабочем инструменте. Тела движимы аффектами, влияют на познание также настроения и другие телесные черты или особенности, не осознаваемые и самими путешествующими (Немцев, 2021). И для их осознания нужна экспериментальная ситуация. Таковой является практика путешествия. Это предрасполагает увидеть в «путешествиях», кроме исследования некоторой местности, особый метод самопознания.

В работах сборника целенаправленное перемещение в пространстве — прогулка или путешествие рассматриваются как бы в двух модальностях: либо с преимущественным интересом к местности, либо к самому себе. Вопрос о том, как их сочетать и нужно ли их сочетать, особенно важен в контексте большого «аффективного поворота» в социальных науках, благодаря которому «социология эмоций» постепенно перестает быть малопопулярной дисциплиной (Троцук, 2021). Как могут гуманитарные науки вообще, и критические исследования пространства в особенности, иметь дело с аффективными переживаниями во время

исследовательских или других взаимодействий с географическим пространством? В чем их интересосубъективное значение?

Легко увидеть, что аффективные отношения с местностью двунаправлены. С одной стороны, местность вызывает у путешественников особые аффекты, а с другой — сам аффект, возникающий при посещении данной местности, является и целевой и движущей причиной посещения или путешествия.

Рефлексируя эти аффекты, путешественники могут узнать нечто существенное о себе самих. Хотя такая рефлексия не признается в качестве цели путешествий, она их сопровождает и, по-видимому, делает путешествия столь привлекательными. Для такой рефлексии используются ассоциации, аналогии с переживаниями архетипов и т. д.

Методики работы с аффектами — это основная тема обсуждаемой книги, для этого и нужна предложенная в ней *«ландшафтная аналитика»*. Это может быть, например, переживание особой близости к некоторой местности, воспринимаемой как уникальная и ценная именно в своей *неповторимой фактической данности*.

Вслед за И-Фу Туаном можно понимать переживание как *филию* — «топофилию» (Туан, 1977, 1990). Особое, специфически исследовательское видение преобразует местность в *ландшафт*. Методологический вопрос состоит в том, как совмещать рефлексии переживаний ландшафта с другими активностями. Например, исследовательскими задачами, ради решения которых и предпринято путешествие.

Феноменологию таких переживаний, в том числе столь же яркого, как топофилия³, привычнее искать в художественной литературе, а вот социальные исследования к ней довольно равнодушны. Когда-то, впрочем, географы и другие исследователи не цензурировали доходивший иногда до искреннего восхищения свой личный интерес к месту. В современной науке возвращение интереса к эмоциональной (аффективной) стороне отношений с географическим пространством выразилось в появлении новых подходов в исследовании пространственных феноменов и в методике репрезентаций этих феноменов (Шукин, 2008).

Можно представить себе, что некий ученый занят исследованием именно этого ландшафта, потому что тот ему нравится, волнует его и т. д. Туда хочется. Именно этот ландшафт лично значим. Такой аффект местности обычно остается за рамками академических описаний, хотя, пожалуй, всем он непосредственно знаком. Эта привычность и превращает его в обычный незначимый фон — казалось бы, кому какая разница, что именно чувствовал исследователь к данной местности, когда исследовал ее?.. Идея «топофилии» академически легализует эти переживания. Так становится понятнее, откуда берется интерес к исследованиям

3. Это понятие мимоходом использовал У.Х. Оден, но тогда оно не привлекло к себе внимания. В академический оборот введено Гастоном Башляром (Соболев, 2011; Stoddart, 1986). И-Фу Туан показал продуктивность применения этой абстрактной концепции в конкретных гуманитарно-географических исследованиях.

пространства и зачем они нужны. Зачем вообще как-то специально заниматься ландшафтом?.. Затем, что... именно эта местность лично почему-либо очень важна⁴.

«Ландшафтная аналитика» специально сосредоточена на этих переживаниях местности. При этом она разрабатывает и альтернативную феноменологию исследовательских путешествий.

Феноменология и методология теоретических путешествий в географии рассматриваются, в частности, В. Л. Каганским (он входит и в авторский коллектив этого сборника). В своей методологии теоретических путешествий он уделяет особое, хотя и не исключительное, внимание зрению (Каганский, 2018: 35). Это, безусловно, основной орган чувств любого исследователя пространства — зрение не что иное, как дистанция, протяженность, расстояние⁵. Но зрение всегда отвлекает видящих от них самих, зрение не-рефлексивно и даже антирефлексивно. Для исследования топофильского аффекта местности оно наименее всего подходит. Здесь требуется интроспекция.

Описанные в сборнике «терапевтические прогулки» и путешествия балансируют на грани гуманитарно-географического заинтересованного всматривания (но и вслушивания, вчувствования, внюхивания...) в местность и терапевтического «всматривания в себя». Разумеется, как путешествующий географ не может избавиться от самого себя и должен в какой-то мере постоянно интересоваться самим собой, так и психологический анализ проекций своих состояний на местности не лишает возможности любоваться, например, пейзажем и отличать особенности одних мест от других.

В рамках предложенного в книге подхода с его ориентацией на эмпирическое самопознание, психологический эгоцентризм «по очкам» переигрывает географический ландшафтоцентризм. Это предопределено тем, что инициатива всего проекта явно исходила от психологов.

«Ландшафтная аналитика», вопреки ее названию, сосредоточена на путешествующей самости и тоже не очень интересуется местностью — самим этим *путешествуемым* (термин В. Л. Каганского, см. ниже) ландшафтом. Его функция — воздействовать на путешествующих. Тем не менее «ландшафтная аналитика» интересна как трансдисциплинарный опыт исследования и практического использования внерациональных аспектов путешествия.

Прежде всего зададимся вопросом, какое место в этом методе отводится самому географическому пространству? С помощью «ландшафта» давно создаются самые разнообразные метафоры (Лавренова, 2013). Слишком уж он удобен в каче-

4. В такой прикладной сфере исследований пространства, как природоохранная география, также происходит переоценка аффектов: от отношения эстетической приязни — до глубокой преданной любви. Эта любовь переосмыляется не только как одно из «добавочных» свойств некоторого данного конкретного ландшафта, которое может быть использовано, например, в природоохранной пропаганде, но как его важнейшее свойство, заслуживающее специального изучения, оценки и охраны (Davis et al., 2016).

5. «Видеть» означает *обладать на расстоянии...*» (Мерло-Понти, 1992: 19).

стве универсального образа для пространственного измерения любых явлений (Соболев, 2011: 153). Протяженность — атрибут материи, любая мыслимая протяженность превращается в ландшафт. В данном сборнике «ландшафт» также определяется по-разному. Для большинства авторов это скорее продуктивная метафора (об этом в предисловии пишет С. Березин (С. 8)). Она удобна тем, что выражает особенности некоторого конкретного пространства и одновременно герменевтические интенции его посетителей.

Составители и участники сборника, впрочем, обходятся без общего неметафорического определения «ландшафта». Только В.Л. Каганский, работая с феноменологией культурного ландшафта, вводит специальное определение: «объемный многокомпонентный комплекс поверхности Земли на природной основе, картируемый, районируемый и путешествуемый» (С. 50). Особенно важен атрибут «*путешествуемость*». Ландшафт отличается этим от других объектов исследования — познавать его, значит путешествовать по нему. Только если под «ландшафтом» подразумевается именно эта данная местность, телесное взаимодействие с ней становится эпистемологической проблемой, решение которой может расширить и понимание ландшафта и понимание самого себя, тогда ландшафт — это не метафора. Телесное присутствие не может быть метафорой. *Путешествие должно быть путе-шествием, а не интеллектуальной метафорой*. Путешествовать — значит «быть в ландшафте», переживать его, коммуницировать с ним, о чем и идет речь в этой книге. Идея топофилии подразумевает, что предметом этой коммуникации может быть любовь (к «месту»). Она как осознанное переживание тоже поддается рационализации, однако в опыте путешественников все-таки остается еще что-то, момент какой-то переживаемой в этих отношениях трансформации.

«Ландшафт», о котором идет речь в теоретической части, — это «загородный», то есть пригородный культурный ландшафт. В нем всегда заметны преобразующие действия людей. Это важно, поскольку превращает все описываемые путешествия в неклассические, точнее, в постклассические. Речь идет о гетерогенной местности, находящейся где-то между городом и тем, что обычно опознается массовыми посетителями как «дикая» местность (wilderness). Такая местность легко досягаема и этим удобна для участников «психотерапевтических путешествий».

Разумеется, на обычную прогулку в «дикое место» уехать сложно, тем более из мегаполиса. Кроме того, хотя это реже становится предметом специальной рефлексии, большинство россиян только с пригородной местностью и имеют какое-либо непосредственное телесное знакомство⁶ («природный» ландшафт про-

6. «Опыт пространства есть у каждого, он обилен и разнообразен, но запечатан, как пещера Али-Бабы. Человеку, например, трудно принять даже ту мысль, что известный ему, как и большинству других россиян, в ощущениях и опыте ландшафт родины — в первую очередь ландшафт города (74% населения; для 67% населения — ландшафт крупного города, для 40% — ландшафт миллионного города), а не деревня с березками и тем более не камчатские вулканы с медведями» (Корандей, 2016).

тивопоставлен «городскому» в сборнике в статье О. А. Капцевич). Однако вполне очевидно, что существеннейшая характеристика «природной» местности — именно в ее «дикости». Современный человек ценит местность, в которой глаза и подошвы узнают исключенность из деятельности, в которой сразу же распознается ее не-искусственность. Именно это максимально привлекает многих из ищущих общения с «природой». И похоже, что именно не-антропогенные ее аспекты и объекты максимально полезны в терапевтических путешествиях. Какова роль не-культурного в «культурном ландшафте» путешествий и терапевтических прогулок? Некоторое колебание — что же в итоге понимать под «ландшафтом», заметно и в самой композиции сборника.

Тексты сгруппированы по четырем разделам: «Теория», «Практика», «Культура» и «Я» (можно было бы ожидать раздел «Ландшафт», но такого раздела нет). По мысли составителей, они соответствуют схеме «общей персонологии» целостного знания личности В. Петровского и Г. Старовойтенко — теория, практика, герменевтика (она же «культурная персонология») и самополагание (С. 6). В самой структуре сборника легко можно распознать вполне традиционную антропологическую программу его составителей — от «теории» к саморазвитию («Я») через присвоение пространства (С. 9). Хочу обратить внимание в первую очередь на пять теоретических статей первого раздела.

Составитель сборника С. В. Березин в программной статье «Пространство и время “я”» обращается сначала к анализу восприятия пространства в российской психологической традиции (у Н. А. Бернштейна, И. И. Ухтомского). Место нахождения, которое всегда пространственно-конкретно, «проецируется» в психику человека. По мысли автора, психика тоже обладает пространственным измерением. Субъективное пространство индивидуального «я» как модель воспроизводит это (присваиваемое) пространство, то есть именно конкретный ландшафт. А раз так, изменение этого пространства позволяет, по мысли автора, влиять на характеристики этого индивидуального «я». Они образуют систему «человек — ландшафт», в которой человек проецирует на ландшафт свои эмоциональные (аффективные) состояния, а особые элементы ландшафта (ландшафтные объекты) активизируют «эмоциональные переживания и смыслы вполне определенной направленности» (С. 16). Автор приводит пример такой активизации: это описание Алейдой Ассман обращения к культурной памяти в особых «ландшафтах воспоминания».

Для авторов сборника всякий ландшафт — это культурный ландшафт. Восприятие ландшафта, таким образом, опосредованно дважды: культурным (групповым) опытом и индивидуальными аффектами. В воспринимаемый ландшафт уже инвестированы индивидуальные психические состояния, поэтому он кажется уже насыщенным какими-то настроениями, состояниями, аффектами и фактически «становится для нас нашим альтер эго, не воспринимаемым как таковое» (С. 20-21). С этим «субъективированным» ландшафтом предлагается вступить в диалог посредством «сенсорно-двигательного контакта» (С. 25).

Для Березина как практического психотерапевта наиболее важен актуализирующий потенциал таких взаимодействий. Различные элементы природного рельефа откликаются на скрытые повседневной рутинной стороны существования.

Разумеется, это не «диалог» в обычном смысле этого слова. Это, скорее, беседа с особым образом подобранным зеркалом. Фактически предлагается психотехническая инструментализация ландшафта. При ней ландшафт уже перестает быть лишь метафорой, он возвращает себе, так сказать, материальную плотность поверхности земли. И тогда «путешествия становятся средством развития личности» (там же). Цель психотерапевта-организатора «ландшафтной аналитики» на этом достигнута. К сожалению, Березин не формирует здесь собственной концепции путешествия, хотя без нее не обойтись, как только заходит речь о специальной методике перемещений в географическом пространстве.

Наиболее целостным и в академическом смысле увесистым текстом является статья В. Л. Каганского «Очерк феноменологии культурного ландшафта» (С. 26-51). Она продолжает известные темы его многолетних полевых и теоретических исследований, в которых «концептуальному путешествию» принадлежит ключевая методологическая роль (Каганский, 2018). Статья посвящена разворачиванию понятия «культурный ландшафт» и прекрасно иллюстрирует его сложность, обусловленную особой сложностью самого предмета. Заметно, что она написана таким образом, что ландшафт остается исключительно объектом познания — для Каганского, ландшафт — это эпистемологическая проблема. Сравнение этого очерка с другими теоретическими и феноменологическими материалами в сборнике наглядно показывает различие двух представленных здесь подходов к ландшафту. Это либо рациональное, интеллектуализированное его познание, приносящее в перспективе академически значимые результаты, либо «диалог» с ним, приносящий результаты иного рода.

О. А. Капцевич в своем обзоре «Визуальная среда природы и города» исследует визуальное влияние городской среды. Современный город — это явная «не-природа», что в большинстве случаев означает явное визуальное отсутствие растительности и воды. Как такой «бесприродный» ландшафт влияет на состояние человека? Рассмотренные в статье исследования показывают, что любой вид или изображения, распознаваемые как вид «природы», действительно благоприятно влияют на психоэмоциональные состояния и когнитивные способности. Следовательно, известное стремление горожан к максимизации «природы» в городской среде имеет не только культурно сформированные эстетические причины, но и укоренено в некоторых психофизиологических особенностях. Более того, рассмотренные ею работы доказательно проясняют значимо-позитивную роль ландшафта, распознаваемого как «природный», в психическом благополучии человека. Полноценным видом из окна является вид, в котором есть какие-то узнаваемые элементы «природы», и это не эстетическая прихоть.

7. «Ландшафтная аналитика» разработана С. В. Березиным совместно с Д. С. Исаевым (С. 64).

А. С. Белорусец в статье «Символический диалог человека и мира в ландшафтной аналитике: путь от интроекции к интериоризации» прямо ставит вопрос о диалоге, который был лишь намечен выше у Березина. Он обращается преимущественно к роли *впечатления* как факта психической жизни в формировании личности и ее отношений с самой собой. Проникая в сознание, новое впечатление может его как-то изменить. Чтобы избежать дискомфорта, личность может зачищаться от преобразующего действия этого впечатления, и для этого существуют различные стратегии «формального обладания» вместо приобщения (С. 67). Автор статьи к ним относится критично, поскольку из-за стратегий копинга «личность отказывается принимать впечатление на свой счет» (С. 69) и как бы не замечает их. Автор тут следует критической логике известной дихотомии «Иметь или быть?» Эриха Фромма. Пример такого «обладателя» — турист, одержимый фотографированием. Отношение обладания не оставляет возможности для диалога. Белорусец противопоставляет избегающим стратегиям такого рода две психологические стратегии, которым способствует «ландшафтная аналитика».

Первая стратегия — *автоархеология*: не прямой самоанализ, состоящий в совместном обсуждении того, какие именно элементы ландшафта (они же «ландшафтные объекты» в терминологии Березина) стали источником особых впечатлений, что именно это позволяет узнать о себе? Психика получает от ландшафта ответы на вопросы, которых не задавала, автоархеология их ретроактивно распознает. Можно собрать коллекцию «символов своей жизни» в форме впечатлений от путешествия, правда, при этом пересекаемая местность со всей ее материальной конкретностью стремится превратиться в полностью символическое, лишь из культурных символов состоящее пространство⁸.

Вторая стратегия — это, собственно, *диалог*: между путешествующими (прогуливающимися) и ландшафтом, между ними по поводу ощущаемого пространства вокруг и, наконец, по поводу их общей с ландшафтом культуры. В диалоге достигается «соощущение ощущений» (по В. А. Петровскому (С. 73)). Принципиальна для автора возможность сохранения «зазоров» между впечатлениями и символическим значением вызвавших их элементов ландшафта, между личным опытом и коллективно переживаемой множественностью впечатлений. Эти «зазоры» и создают пространство возможностей для вероятных изменений. «Ландшафтная аналитика» тогда оказывается многоуровневым процессом, методически надстроенным над перемещением в физическом пространстве.

Автор уделяет особое внимание символике культуры, которую актуализирует ландшафт с его особыми объектами-символами. Причем для общения с ними еще нужно создать или освоить особый язык (С. 76). Заранее такой язык, точнее, коммуникативную среду (в этих случаях общение ведь бессловесно), не сконструировать, это происходит в самой ситуации диалога. Можно только сознательно

8. По этой причине, упоминая о пространственных перемещениях, я предпочитаю использовать не нагруженный культурологической и теоретической рефлексией «ландшафт», но более наглядную и менее подверженную проекциям «местность».

«туда» прийти — такое попадание «туда» и берется организовать ведущий прогулки «ландшафтных аналитиков». Эти объекты-символы, как бы обращающиеся к путешествующему, Белорусец называет аффордансами, определяя их как «воспринимаемые возможности, которые дает субъекту тот или иной объект» (С. 77). Природные объекты, взятые как аффордансы, особенно легко встраиваются в человеческие практики. В дупле можно укрыться от непогоды, из него удобно вести наблюдения и т. д. Можно увидеть в аффордансах своеобразные провокации определенного поведения, провокации раскрытия потенциально новой деятельности (как в концепции «провоцирующего ландшафта» (см.: Корандей и др., 2021)).

Аффордансы проявляют *несубъектную агентность* местности. Исторически разные ландшафты провоцировали разные логики их освоения, вызывали разные интеллектуальные ответы на то, что постфактум исследователь и определяет как аффорданс. Такая провокация — тоже возможность диалогического взаимодействия. Человек, как самоопределяющийся в пространстве агент, отвечает на нее, ответом становится развитие какой-то местной, районно-специфичной деятельности. Это не просто приспособление к природной среде, это творческое раскрытие потенциальных возможностей взаимодействия, на которые этот аффорданс как бы только намекает. Такое представление об аффордансах сформировалось в современной социальной экологии, полевой антропологии и в (концептуально более близких к тематике этого сборника) исследованиях туризма (Ackerman, 2019).

Белорусец указывает другое направление взаимодействия с аффордансами, и диалога с ландшафтом посредством их: самопознание. Но какой символизм предлагает ландшафт-аффорданс? Это должно бы стать предметом специальной «диалогической» феноменологии ландшафта — не терапевтической, а философской «ландшафтной аналитики».

Неожиданный такой ее пример обнаруживается в книге «Метамодерн в музыке и вокруг нее» Настасьи Хрущевой. Это панорамный обзор современной культуры, «глобализованной и локализованной» одновременно. Стремясь показать в ней место русской культуры, Хрущева выявляет нечто, именно этой культуре как-то по-особому присущее и связанное именно с особенностями русского ландшафта. Это особый аффект «русской пустоты» (чтоб ее визуализировать, Хрущева использует фотографии, размещенные в социальной сети в одноименном паблике). «Русская пустота» — широкое (=бескрайнее) пространство, идущая куда-то (в никуда?) дорога и настроение меланхолии. Это особый аффект, «состояние тоски, порождаемой невозможностью охватить бесконечное пространство как физически, так и мысленно» (Хрущева, 2021: 166). В этом аффекте в нем самоуничтожающее юродство восплаяет в красоту... созерцание такой «русской пустоты» само по себе эстетическая практика. Насыщенный «русской пустотой» ландшафт вводит созерцателя в этот особый аффект (который и есть базовый аффект метамодерна, по Хрущевой), и посредством него русским открывается нечто важное о них самих — в этой «пустой» местности рожденных и живущих.

Другой пример — «Родина» Оксаны Тимофеевой, где она описывает свои возвращения в поселки и город, где прошло и закончилось ее детство (Тимофеев, 2020). Они воспринимаются как места особого яркого переживания, которое тут же подхватывает авторская рефлексия и оформляется в сознании как аффект. «Мы еще прошли по тропинкам среди ржавых качелей и белых берез. Столько света, столько сияния и праздника в этой майской роще — я как будто вспомнила то, чего не было, и вот теперь оно у меня есть» (С. 16). Чтобы «это» случилось, нужно приехать именно туда, где возможен такой опыт возвращения домой. Притом что эти места уже не являются домом, они оставлены в прошлом и такое возвращение ни к чему авторку объективно не обязывает, она там никогда больше не будет жить. Само это возвращение — подчеркнуто произвольный жест, вызванный ее стремлением к самопониманию, требующему восстановить отношения с когда-то, в ранние периоды жизни, значимой местностью⁹. Во второй части книги Тимофеева дает альтернативное понимание понятия «Родина». При этом подразумевается, что эти размышления и стали возможны благодаря (узнаваемо топофилическим) опытам этих возвращений в первой части.

Краткая статья Б. Б. Родомана «Ландшафт и личность: от присвоения к отдаче» рассматривает стадии отношения человека к «окружающей среде». Он считает их стадиями личного (духовного) развития, по аналогии со стадиями жизненного пути у С. Керкегора. Их вектор четко обозначен в заглавии: в результате накопления телесного опыта познания «окружающей среды» человек приходит к осознанному альтруизму (в том числе к стадии и отдаче ранее собранных, накопленных вещей).

Родоман специально указывает, что этот очерк написан по наблюдениям в походах и путешествиях, то есть он предлагает обобщение опыта взаимодействий с местностью, а не результат изучения специальной литературы (С. 82). Таким образом, его статья являет собой *de facto* феноменологию опыта путешествий, пример их возможного антропологического результата.

В контексте сборника этот очерк становится уместным переходом к собранию текстов другого рода: заметок и отчетов о личном опыте участия в «ландшафтной аналитике». Например, в качестве посредников путешествия выступают домашние животные (статьи О. В. Конопельцевой об использовании собак (С. 83-94) и Е. А. Анисимовой о терапии с лошадьми (ипповенции) (С. 95-97)).

Описанные в сборнике «терапевтические прогулки» происходили в очень своеобразном месте — на (или *по?*) Самарской Луке, поэтому интересно было бы прочитать гуманитарно-географический очерк этого «хронотопа». В представленных эссе упоминаются местные топонимы и микротопонимы, движение в специфическом ландшафте (особенно примечателен очерк — «полевой дневник» психотерапевтической прогулки в феврале 2014 года «Зимняя ландшафтная аналитика» (С. 157-162), за авторством «И. Ф.»)). Уместна была бы возможность «наложить» эти описания на более-менее систематический «портрет» этой местности. И-Фу

9. Таков именно «интимный опыт места» (Intimate Experience of Place), по И-Фу Туану, того места, где прошло детство (Tuan, 1977: 136-147).

Туан считает, что «идентичность места постигается драматизацией вдохновений, потребностей, функциональных ритмов личной и групповой жизни» (Туан, 1977: 178). В этих прогулках подобная драматизация явно происходит без дополнительной режиссуры. Узнать бы, какая идентичность места предстает при этом участникам этой групповой жизни! «Ландшафтная аналитика» может позволить себе больше топофилии... что будет для нее, вероятно, означать привязку к определенным местам, лично значимым для исполнителей. Топофилия опять-таки предполагает отвлечение от своих переживаний, от рефлексии — в пользу местности в ее «таковости», явленной и переживаемой конкретности. Каковы личные отношения участников «прогулок» с Самарской Лукой? Какие аффекты она производит в них именно как Самарская Лука? Неясно...

Сборник завершается очерком И. О. Сиды «Одушевленный ландшафт: пролегомены к фитософии» (С. 232-249), в котором читатель наконец узнает, кроме всего прочего, смысл названия сборника. Сид пишет о возможности разговора. О том, как получить от ландшафта некие содержательные послания. «Одушевленность» ландшафта подразумевает наделение его некой субъективностью, без нее дальнейшие спекуляции о коммуникации с ландшафтом теряют смысл, хотя, казалось бы, самый интересный интеллектуальный вызов — именно в гипотетической возможности коммуникации с неодушевленным ландшафтом. Не замыкает ли избранная метафора «одушевленности» любой данный ландшафт в привычной субъект-объектной диалогической схеме?

У Сиды ландшафт как субъект репрезентируют растения. «Одушевленный ландшафт» в прямом смысле — это, конечно же, флора... растения, это душа ландшафта» (С. 236). Сид приводит имена тех, кого он считает создателями философии растений (фитософии) — это Мэтью Холл, Лоренц Окен, Владимир Библихин, Майкл Мардер, Даур Занатрия (С. 239, 241). Как включить ландшафт в коммуникативное сообщество? Это вопрос о методиках коммуникации с растениями. Сид предлагает любопытного коммуникативного посредника: зелья (психоактивные вещества растительного происхождения). Возможно, они являются каналом, через который растения как представители ландшафта передают нечто важное людям. Однако до сих пор они остаются неслышанными, поскольку люди слишком отвлекаются на обусловленные особенностями этого канала внешние эффекты. Однако, предполагает Сид, стоит уже наконец поговорить «о некоем растительном повороте в культуре и науке» (С. 247). Подразумевается именно поворот к коммуникации.

В фитософии Игоря Сиды, как исследовании практик общения с растительным миром, можно разглядеть параллели с «философским анимизмом» австралийки Вэл Пламвуд. Она стремилась преодолеть принципиальное для современного философского рационализма разделение разумных существ на людей (и всех прочих существ) и на предметы. Это разделение, фокус принципиальной критики экофеминизма, Пламвуд считала метафизическим основанием современного потребительского «природопользования». Пламвуд противопоставляла свой «философский анимизм» в первую очередь религиозоведческому «анимизму» Чарльза Тэйлора, поскольку последний принципиально основан на той же метафизике.

Для нее же «философский анимизм» — это прежде всего образ жизни, основанный на преодолении этого разделения, признании существования других личностей и осознания себя внутри большого сообщества — в постоянном общении (Rose, 2013). Пламвуд ориентировалась на опыт австралийских аборигенов, Сид так же апеллирует к древнему, во многих культурах сохранившемуся опыту общения с растениями посредством употребления различных веществ растительного происхождения (айауаска у кечуа, обычное кофе у нас всех (С. 243)). Его интерес к фитософии — исследовательский, познавательный, то есть в конечном счете он остается в академических рамках. Пламвуд, напротив, стремилась к новой экологически релевантной этике, чтобы гармоничнее жить вместе с нечеловечески живыми существами. Но фитософия Сиды и философский анимизм Пламвуд сходятся в качестве философских альтернатив господствующим представлениям о природе. Это происходит, когда они ставят вопрос о возможности коммуникации с «той стороной», для чего необходимо увидеть в природе способного к общению и намеренного вступить в него субъекта.

В «ландшафтной аналитике» местность тоже будто бы говорит нам о нас же нечто важное, только надо решиться принимать это «местность говорит» всерьез, диалогически.

Итак, если мыслить «путешествие» как уникальную практику, нужно исходить из личного взаимодействия с пространством (ландшафтом) как основного содержания этой практики. Путешествующие используют свои тела как инструменты познания, при этом *путешествуемая* местность своими аффордансами воздействует на путешествующих, порождая в них разнообразные аффекты. Путешествующие оказываются в эпистемологически сложной и психологически (для многих) привлекательной ситуации телесного познания уникальной местности, и притом — самопознания «за счет» местности и благодаря ей. В этом взаимодействии играют роль, в частности, такие аффекты, как симпатия, привязанность, любовь к данной местности. Это взаимодействие можно понимать как диалог, если принять, что местность может каким-то образом обращаться к человеку: тогда путешествие есть коммуникативная практика. Гуманитарные географы, краеведы и другие специалисты по местности рутинно имеют дело с подобными аффектами местности. В рассматриваемом же сборнике представлен опыт психотерапевтического использования путешествий, который в конечном итоге может дать ответы о том, как путешествовать, зачем путешествовать и что при этом можно пережить.

Литература

- Белорусец А. С. (2021). Символический диалог человека и мира в ландшафтной аналитике: путь от интроекции к интериоризации // «Одушевлённый ландшафт» / ред.-сост. А. С. Белорусец, С. В. Березин. СПб.: Алетейя. С. 63–79.
- Белорусец А. С., Березин С. В. (2021). Обживая пространство между // «Одушевлённый ландшафт» / ред.-сост. А. С. Белорусец, С. В. Березин. СПб.: Алетейя. С. 5–10.

- Березин С. В.* (2021). Пространство и время «я» // «Одушевлённый ландшафт» / ред.-сост. А. С. Белорусец, С. В. Березин. СПб.: Алетейя. С. 11–25.
- Иванова А. Н.* (2015). Путешествия как потребность в самотрансценденции // Вестник Томского государственного университета. № 395. С. 51–59.
- Лавренова О. А.* (2013). Ландшафт как источник метафорической проекции // Культурная и гуманитарная география. Т. 2. № 2. С. 126–132.
- Каганский В. Л.* (2018). Путешествия теоретика // География и туризм. № 1. С. 33–44.
- Каганский В. Л.* (2021). Очерк феноменологии культурного ландшафта // «Одушевлённый ландшафт» / ред.-сост. А. С. Белорусец, С. В. Березин. СПб.: Алетейя. С. 26–51.
- Капцевич О. А.* (2021). Визуальная среда природы и города // «Одушевлённый ландшафт» / ред.-сост. А. С. Белорусец, С. В. Березин. СПб.: Алетейя. С. 52–61.
- Корандей Ф. С., Абрамов И. В., Костомаров В. М., Черепанов М. С., Шелудков А. В.* (2021). Провоцирующие ландшафты: исследования повседневных культурных ландшафтов периферии агломераций // Вестник археологии, антропологии и этнографии. № 3 (54). С. 247–257.
- Корандей Ф. С.* (2016). О любви к Родине. URL: <http://gefter.ru/archive/18178> (дата доступа: 20.02.2022).
- Мерло-Понти М.* (1992). Око и дух / Пер. А. В. Густыря. М.: Искусство.
- Назаров А. Н.* (2016). Путешествия как метод постижения бытия. М.: Университетская книга.
- Немцев М. Ю.* (2021). Семь фрагментов о гуманитарной географии, путешествиях и краеведении // Labyrinth: теории и практики культуры. № 1. С. 89–97.
- Родоман Б. Б.* (2021). Ландшафт и личность: от присвоения к отдаче // «Одушевлённый ландшафт» / ред.-сост. А. С. Белорусец, С. В. Березин. СПб.: Алетейя, 2021. С. 80–82.
- Сид И. О.* (2021). Одушевлённый ландшафт: пролегомены к фитософии // «Одушевлённый ландшафт» / ред.-сост. А. С. Белорусец, С. В. Березин. СПб.: Алетейя. С. 232–249.
- Соболев Д. М.* (2011). «Топофилия»: Культурная география как жанр современной художественной прозы // Международный журнал исследований культуры. № 4 (5). С. 136–155.
- Тимофеева О. В.* (2020). Родина. М.: Сигма.
- Троцук И. В.* (2021). Как возможна социология эмоций и что она дает для понимания счастья и справедливости // Вестник РУДН. Серия: Социология. Т. 21. № 3. С. 610–622.
- Хрущева Н.* (2021). Метамоdern в музыке и вокруг нее. М.: РИПОЛ Классик.
- Щукин В. Г.* (2008). Заветное «где». Топофилия и методы ее исследования // Вопросы философии. № 4. С. 69–90.
- Ackerman Joy W.* (2019). Meaning-making in the course of action: affordance theory at the pilgrim/tourist nexus // Tourism Geographies. Vol. 21. № 7. P. 405–421.

- Beery T., Ingemar Jönsson K., Elmberg J. (2015). From Environmental Connectedness to Sustainable Futures: Topophilia and Human Affiliation with Nature // *Sustainability*. Vol. 7. P. 8837–8854.
- Davis N., Daams M., van Hinsberg A., Sijtsma F. (2016). How deep is your love of nature? A psychological and spatial analysis of the depth of feelings towards Dutch nature areas // *Applied Geography*. Vol. 77. P. 38–48.
- Rose D. B. (2013). Val Plumwood's Philosophical Animism: attentive interactions in the sentient world // *Environmental Humanities*. Vol. 3. P. 93–109.
- Oliveira J., Roca Z., Leitão N. (2010). Territorial identity and development: From topophilia to terraphilia // *Land Use Policy*. Vol. 27. P. 801–814.
- Stoddart D. R. (1986). Topophilia // *Annals of the Association of American Geographers*. Vol. 76. №2. P. 283.
- Thomas E. (2020). *The Meaning of Travel: Philosophers Abroad*. Oxford University Press.
- Tuan Y. F. (1977). *Space and Place: The Perspective of Experience*. Univ. of Minnesota Press.
- Tuan Y. F. (1990). *Topophilia—A Study of Environmental Perception Attitudes and Values*. Columbia University Press/Morningside Edition, New York.

The philosophy of travel, communication with locality, and 'landscape analytics'

A. Belorusetz and S. V. Berezin (eds.) *Spiritualized Landscape*. Moscow: Aleteya, 2021.

Mikhail Nemtsev

Senior Researcher, School for Environmental and Social Studies, University of Tyumen

Address: ul. Przheval'skogo, 37, korp. 16 Tyumen', Russian Federation 625053

E-mail: nemtsev.m@gmail.com

Philosophical discussions about travel can easily turn into an analysis of the thinking and self-consciousness of travelers. However, the philosophy of travel should not be distracted from the locality with its materiality aspects. The essential feature of travel is that it implies an affective interaction with the terrain. The interaction can be understood as a special kind of communication. Therefore it might be taken as the empirical basis for understanding travel not only as a research method, but also as a method of self-knowledge. The article discusses a collection of papers where such an experience of using travel in psychotherapy is developed in theory and conceived as a field test. This extensive understanding of the "journey" allows us to rethink the role of affects in the study of cultural landscapes. They turn out to be able to show a kind of activity, addressing travelers, and producing some personally valuable experiences (for example, the affect of topophilia).

Keywords: affect, affordance, cultural landscape, landscape analytics, philosophy of travel, travels, topophilia

References

- Ackerman Joy W. (2019) Meaning-making in the course of action: affordance theory at the pilgrim/tourist nexus. *Tourism Geographies*, vol. 21, issue 7, pp. 405–421.
- Beery T., Ingemar Jönsson K., Elmberg J. (2015) From Environmental Connectedness to Sustainable Futures: Topophilia and Human Affiliation with Nature. *Sustainability*, vol. 7, pp. 8837–8854.
- Belorusetz A. S., Berezin S. V. (eds.) (2021) *Odushevlyonnyj landschaft* [The Spiritualized Landscape], Saint-Petersburg: Aleteia.

- Belorusec A. S. (2021) Simvolicheskiy dialog cheloveka i mira v landshaftnoj analitike: put' ot introekcii k interiorizacii [Symbolical Dialogue between the Human and the World in Landscape Analytics: The Way from Introjection to Interiorization] «*Odushevljonnyj landschaft*» [Spiritualized Landscape] (eds. A. S. Belorusec, S. V. Berezin), Saint-Peterburg: Aleteya, pp. 63–79.
- Belorusec A. S., Berezin S. V. (2021) Obzhivaja prostranstvo mezhdu [Learning to live in the Space-between]. «*Odushevljonnyj landschaft*» [Spiritualized Landscape] (eds. A. S. Belorusec, S. V. Berezin), Saint-Peterburg: Aleteya, pp. 5–10.
- Berezin S. V. (2021) Prostranstvo i vremja «ja» [Land Space and Time of "I"] «*Odushevljonnyj landschaft*» [Spiritualized Landscape] (eds. A. S. Belorusec, S. V. Berezin), Saint-Peterburg: Aleteya, pp. 11–25.
- Davis N., Daams M., van Hinsberg A., Sijtsma F. (2016) How deep is your love of nature? A psychological and spatial analysis of the depth of feelings towards Dutch nature areas. *Applied Geography*, vol. 77, pp. 38–48.
- Ivanova A. N. (2015) Puteshestviya kak potrebnost' v samotranscendentsii [Travelling as a need in self-transcendence]. *Tomsk State University Journal*, no 395, pp. 51–59.
- Kaganskij V. L. (2018) Puteshestviya teoretika [Theoretician Travelling]. *Geografiya i turizm*, no 1, pp. 33–44.
- Kagansky V. L. (2021) Ocherk fenomenologii kul'turnogo landschafta [An Essay on Phenomenology of Cultural Landscape] «*Odushevljonnyj landschaft*» [Spiritualized Landscape] (eds. A. S. Belorusec, S. V. Berezin), Saint-Peterburg: Aleteya, pp. 26–51.
- Kapevich O. A. (2021) Vizual'naja sreda prirody i goroda [Visual Environment of Nature and City] «*Odushevljonnyj landschaft*» [Spiritualized Landscape] (eds. A. S. Belorusec, S. V. Berezin), Saint-Peterburg: Aleteya, pp. 52–61.
- Khuscheva N. (2021) *Metamodern v muzyke i vokrug nee* [Metamodern in Music and All Around], Moscow: RIPOL Classic.
- Korandei F. S., Abramov I. V., Kostomarov V. M., Cherepanov M. S., Sheludkov A. V. (2021) Provociruyushchie landschafty: issledovaniya povsednevnyh kul'turnyh landschaftov periferii aglomeracij [Provocative landscapes: a study of everyday cultural landscapes at the outskirts of agglomerations]. *Vestnik arheologii, antropologii i etnografii*, no 3(54), pp. 247–257.
- Korandei F. (2016) O lyubvi k Rodine [About Love for Motherland]. URL: <http://gefter.ru/archive/18178>.
- Lavrenova O. A. (2013) Landschaft kak istochnik metaforicheskoy proekcii [Landscape as the Source of Metaphorical Projections]. *Kul'turnaya i gumanitarnaya geografiya*, vol. 2, no 2, pp. 126–132.
- Oliveira J., Roca Z., Leitão N. (2010) Territorial identity and development: From topophilia to terraphilia. *Land Use Policy*, vol. 27, pp. 801–814.
- Merleau-Ponty M. (1992) *Oko i dukh* [L'œil et l'esprit]. (transl. by V. Gustyr'), Moscow: Iskusstvo.
- Nazarov A. N. (2016) *Puteshestviya kak metod postizheniya bytiya* [Travels as method of stuing being], Moscow: Universitetskaya kniga.
- Nemtsev M. Yu. (2021) Sem' fragmentov o gumanitarnoj geografii, puteshestviyah i kraevedenii [Seven fragments about humanitarian geography, traveling and kraevedenie], *Labyrinth: Teorii i praktiki kul'tury* [Labyrinth: Theories and practices of culture], no 1, pp. 89–97.
- Rodoman B. B. (2021) Landschaft i lichnost': ot prisvoeniya k otdache [The Landscape and the Person: from Appropriating to Giving Away] «*Odushevljonnyj landschaft*» [Spiritualized Landscape] (eds. A. S. Belorusec, S. V. Berezin), Saint-Peterburg: Aleteya, pp. 80–82.
- Rose D. B. (2013) Val Plumwood's Philosophical Animism: attentive interactions in the sentient world. *Environmental Humanities*, vol. 3, pp. 93–109.
- Schukin V. G. (2008) Zavetnoe «gde». Topofiliya i metody eyo issledovaniya [The promised 'where'. Topophilia and methods of its study]. *Voprosy filosofii*, no 4, pp. 69–90.
- Sid I. O. (2021) Odushevljonnyj landschaft: prolegomeny k fitosofii «*Odushevljonnyj landschaft*» [Spiritualized Landscape] (eds. A. S. Belorusec, S. V. Berezin), Saint-Peterburg: Aleteya, pp. 232–249.
- Sobolev D. (2011) «Topofiliya»: Kul'turnaya geografiya kak zhanr sovremennoj hudozhestvennoj prozy [“Topophilia”: Cultural Geography as a Genre of Contemporary Fiction]. *International Journal of Cultural Research*, vol. 4(5).
- Stoddart D. R. (1986). *Topophilia. Annals of the Association of American Geographers*, vol. 76, no 2, p. 283.

- Thomas E. (2020) *The Meaning of Travel: Philosophers Abroad*, Oxford University Press.
- Timofeeva O. (2020) *Rodina* [The Motherland], Moscow: Sygma.
- Trotsuk I.V. (2021) Kak vozmozhna sociologiya emocij, i chto ona daet dlya ponimaniya schast'ya i spravedlivosti [How sociology of emotions is possible, and how it helps to understand happiness and justice]. *RUDN University. Sociology*, vol. 21, no 3, pp. 610–622.
- Tuan Y.F. (1977) *Space and Place: The Perspective of Experience*, Univ. of Minnesota Press.
- Tuan Y.F. (1990) *Topophilia—A Study of Environmental Perception Attitudes and Values*, Columbia University Press/Morningside Edition, New York.

Рационализм и страсть, или Вебер глазами Фрейда¹

Ионин Л. Г. (2022). ДРАМА ЖИЗНИ МАКСА ВЕБЕРА. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС. 384 с. ISBN 978-5-85006-408-2

Олег Кильдюшов

Научный сотрудник, Центр фундаментальной социологии,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация, 101000
E-mail: kildyushov@mail.ru

Выход рецензируемой здесь книги о личности классика социологии Макса Вебера — редкостное событие для русского интеллектуального ландшафта вообще и для русского вебероведения особенно. Ведь несмотря на устойчивый интерес к идеям отца-основателя современного социального знания в нашей стране, о самом Вебере, как крайне амбивалентной персоне, отечественные исследователи столь откровенно никогда не писали. Автор отдает себе в этом отчет, что в отечественной научной среде «эта книга вряд ли находит предшественников и единомышленников» (с. 87). Можно лишь добавить, что в опубликованных по-русски работах о Вебере как человеке предметно говорится разве что в известной монографии А. И. Патрушева, вышедшей ровно 30 лет назад².

Замечательно, что столь долгожданный труд об этой, говоря словами Ганса-Георга Гадамера, «демонической фигуре» и «последнем полигисторе» написал крупный отечественный знаток социологической классики, ординарный профессор НИУ ВШЭ Леонид Григорьевич Ионин³, посвятивший почти два десятка лет изданию веберовского «Хозяйства и общества»⁴.

Хотя, казалось бы, после выхода последнего тома данного мегапроекта можно было бы ожидать от мэтра скорее «сопровождающего» исследования о социально-теоретической релевантности изданного компендиума. Тем более что в мировой веберiane существуют различные интерпретации «Хозяйства и общества», в том числе оспаривающие не только центральное значение этого *opus magnum* в наследии классика, но и сам факт его существования в качестве целостного труда,

1. Публикация подготовлена в рамках исследовательского проекта «Новые социетальные общности глобального мира: аффекты и культурная легитимация различий», реализуемого Центром фундаментальной социологии НИУ ВШЭ в 2022 году в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

2. Патрушев А. И. (1992). Расколдованный мир Макса Вебера. М.: Изд-во МГУ.

3. Его перу принадлежит ряд работ по истории социальной мысли: Ионин Л. Г. (1978). Теоретическая социология США сегодня. М.: Знание (в соавторстве); Ионин Л. Г. (1979). Понимающая социология. Исторический и критический очерк. М.: Наука; Ионин Л. Г. (1981). Георг Зиммель — социолог. М.: Наука.

4. Вебер М. (2016–2019). Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. В 4 тт. / Пер. с нем. под ред. Л. Г. Иониной. М.: Издательский дом ВШЭ.

написанного самим Вебером⁵. Однако Л. Г. Ионин после завершения своей редакторско-издательской эпопеи ограничился, судя по всему, лишь интервью интернет-порталу Вышки IQ.HSE в 2020 году, в котором рассказал о первоначальном замысле четырехтомника и его реализации⁶.

«Драма жизни» — не первое обращение издательства «Дело» к фигуре Макса Вебера: несколько лет назад там же вышла веберовская биография франкфуртского журналиста Юргена Каубе⁷, быстро получившая широкое признание и пару раз упомянутая в обсуждаемой здесь работе. Кстати, к двум недавним юбилеям классика — 150-летию со дня рождения (2014) и 100-летию со дня смерти (2020) — одних его биографий за последние два десятилетия вышло с полдюжины. В своей реконструкции личной жизни Вебера Ионин эксплицитно ссылается прежде всего на исследования историка Йоахима Радкау⁸ (в книге его имя упомянуто около 40 раз); также в ней есть ссылки на работы философа Михаэля Зукале⁹ и социологов Дирка Кесслера¹⁰ и Ганса-Петера Мюллера¹¹.

Несколько удивляет отсутствие среди использованной автором литературы недавно вышедших работ, прямо обращающихся к центральным проблемам «Драмы жизни», — например, тема эротики и сексуальной жизни Вебера предметно обсуждается в сборнике работ выдающегося социолога-вебероведа Марио Райнера Лепсиуса «Макс Вебер и его окружение»¹², история духовного и политического становления великого социального мыслителя — в свежей интеллектуальной биографии пера историка идей Гангольфа Хюбингера¹³, а реконструкция его поздней

5. См., например, программную работу Фридриха Тенбрука, в которой он в качестве главного труда Вебера рассматривает «Хозяйственную этику мировых религий»: Тенбрук Ф. (2020). Главный труд Макса Вебера / Пер. с нем. О. В. Кильдюшов // Социологическое обозрение. Т. 19. № 2. С. 76-121.

6. <https://iq.hse.ru/news/401674782.html>

7. Каубе Ю. (2016). Макс Вебер: жизнь на рубеже эпох / Пер. с нем. К. Г. Тимофеевой. М.: Дело. В апреле 2017 года в Германском историческом институте в Москве прошла презентация русского издания книги с участием самого Ю. Каубе и автора этой рецензии:

https://www.youtube.com/watch?v=X1SMwaUddxo&feature=emb_logo

8. Radkau J. (2005). Max Weber. Die Leidenschaft des Denkens. München: Hanser; Радкау Й. (2017). Эпоха нервозности. Германия от Бисмарка до Гитлера. М.: Изд. дом Высшей школы экономики.

9. Sukale M. (2002). Max Weber — Leidenschaft und Disziplin. Leben, Werk, Zeitgenossen. Mohr Siebeck, Tübingen.

10. Kaesler D. (2014). Max Weber: Preuße, Denker, Muttersohn. München: C. H. Beck.

11. Müller H.-P. (2007). Max Weber. Einführung in sein Werk. Köln, Weimar, Wien: Böhlau, 2007. См. рецензию на второе и дополненное издание книги: Кильдюшов О. В. (2021). Рецензия на книгу: Müller, Hans-Peter: Max Weber. Eine Spurensuche. Berlin: Suhrkamp, 2020 // Rezensionen zur internationalen Forschung zur russischen und deutschen Geschichte — Rezensionsreihe des DHI Moskau. Т. 12: https://perspectivia.net/receive/pnet_mods_00004675

12. Lepsius M. R. (2016). Max Weber und seine Kreise. Essays. Tübingen: Mohr Siebeck. См.: Кильдюшов О. В. (2018). Рецензия на книгу: Lepsius, Mario Rainer: Max Weber und seine Kreise. Essays. — Tübingen: Mohr Siebeck, 2016 // Rezensionen zur internationalen Forschung zur russischen und deutschen Geschichte — Rezensionsreihe des DHI Moskau. Т. 9: https://perspectivia.net/receive/pnet_mods_00000869

13. Hübing G. (2019). Max Weber: Stationen und Impulse einer intellektuellen Biographie. Tübingen: Mohr Siebeck. См. русские отклики на книгу: Кильдюшов О. В. (2020). Новая интеллектуальная биография Макса Вебера // Социологическое обозрение. Т. 19. № 3. С. 466-475; Дмитриев Т. А. (2020). Макс Вебер: веки интеллектуальной биографии // Социология власти. Т. 32. № 4. С. 8-44.

социологии — в трудах другого крупного знатока веберовского наследия Вольфганга Шлюхтера¹⁴.

С другой стороны, книга Ионина носит скорее научно-популярный характер, не предполагающий полноценного обзора релевантной литературы по теме исследования, что несколько понижает ее ценность для собственно научных целей хотя бы из-за отсутствия полноценного аппарата. Автор не случайно назвал свое сочинение «драмой» — подобно всякой пьесе, его предваряет «список действующих лиц». Правда, невольно бросается в глаза, что сам Макс Вебер представлен в нем, помимо прочего, как «социолог», тогда как его младший брат Альфред Вебер — как «выдающийся социолог», притом что главным героем является именно первый, а не второй. Вероятно, эти и иные спорные моменты вызваны спецификой жанра интеллектуальной драмы или даже интеллектуального расследования¹⁵. Зато — словно в качестве компенсации за отсутствие привычной наукообразности — текст написан отличным русским языком, что может дополнительно расширить круг читателей, и без того привлеченных темой сексуальной жизни великого немца.

Тема травматической любви и эротики является центральной в книге Ионина — ей посвящены целые главы («Страшная болезнь», «Любовь в Венеции», «Без Эльзы», «Тайная страсть») и многие разделы других глав. Именно поэтому с эксплицитной тематизацией веберовской сексуальности связан главный вопрос условного квалифицированного читателя к автору — какова прагматика его обращения к столь интимным моментам жизни классика, вплоть до отдельных физиологических подробностей? Ведь у многих почти неизбежно может возникнуть ощущение «подглядывания в замочную скважину», довольно проблематичное с точки зрения какой бы то ни было эвристики социального. К сожалению, исследователь не дает прямого ответа на такого рода сомнения, особенно когда речь идет не об изложении аутентичных мест из личных писем Вебера, а о построениях некоторых его биографов в духе З. Фрейда (прежде всего Й. Радкау). И увы, в книге нет содержательного введения, где была бы сформулирована исходная исследовательская задача или как-то иначе прояснен авторский подход к довольно специфическому для истории социологии материалу вроде половой жизни ученых.

Явно ожидая такого рода инвективы, Ионин обсуждает этическую сторону вопроса в специальном разделе «Мораль в этой книге», переходя далее к более широкой проблеме научного языка в гуманитарном знании («Язык в науке»): «До сих пор я не очень провинился перед воображаемым рецензентом, разве что его внимание сможет привлечь онанизм вместо мастурбации, но это ведь почти цитата

14. Schluchter W. (2016). Max Webers späte Soziologie. Tübingen: Mohr Siebeck (рус. отклик: *Катаев Д. В.* (2017). Социология Макса Вебера: поздняя, незавершенная и современная // Социологическое обозрение. Т. 16. № 3. С. 428-435); Schluchter W. (2020). Mit Max Weber. Tübingen: Mohr Siebeck (рус. отклик: *Дмитриев Т. А.* (2021). Рецензия на книгу: Schluchter, Wolfgang: Mit Max Weber. Tübingen: Mohr Siebeck, 2020 // Rezensionen zur internationalen Forschung zur russischen und deutschen Geschichte — Rezensionsreihe des DHI Moskau. Т. 12).

15. Филолог Е. Н. Пенская в своем блербе фиксирует в книге, помимо сценической оптики, даже признаки романа.

из Бинсвангера, великого невролога начала XX в., а тогда именно так все и называлось. Что же касается пресловутых поллюций и эрекций, то это ведь вполне естественнонаучные термины, суждения относительно которых вполне могут быть фальсифицированы. Может вызвать возражение и даже отталкивание не просто эрекция, а эрекция у Вебера, но это уже не по линии языка, а по линии морали, как мы это описали в предыдущем разделе» (с. 87).

Лишь в конце книги и бегло Ионин говорит про смелость собственной попытки описать то, что в результате оказалось «ничто и смерть» (с. 357). При желании в этом можно увидеть неявное признание проблематичности избранной нарративной стратегии отношения к жизни и смерти, противопоставляемой тактичному умолчанию в силу вкуса.

Неудачным с точки зрения ожидаемого подведения неких выводов можно считать и краткий эпилог (с. 358-361), посвященный в основном оценке аутентичности и адекватности любовных переживаний Вебера, а также степени их симулятивности и брутальности (садизма) в отношении партнера и т. д. В этом смысле «эротическая антропология», возможно, вполне успешная как литературная и маркетинговая стратегия, скорее затрудняет прояснение неразрешимых структурных проблем эпохи зрелого модерна, ярко проявившихся в титанической личности ее главного теоретика.

Центральную идею авторской драматургии Ионина может прояснить одно место из последней главы «Революция и смерть», где прямо говорится о возможности отождествления *жизненной драмы* Макса Вебера с его *любовной драмой* (с. 353). Подобный несоциологический — сексуально-эротический — редукционизм выглядит довольно неожиданно в книге одного социолога о другом социологе. И дело не только в известном методологическом принципе («социологизме») классика социологии Э. Дюркгейма, требовавшего объяснять социальное социальным — для самого Вебера такого рода редукционистские спекуляции фрейдистского рода были паранаучным шарлатанством. В другом месте автор пишет о том, что «Фрейд и Вебер в общем и целом прошли мимо друг друга» (с. 58). На это можно заметить, что Вебер довольно отчетливо высказывался о сектантском характере фрейдизма, прикрывающегося научностью: «Определенные медицинские, психиатрические теории сегодня очевидно способствуют образованию сект, например, теория одного знаменитого венского психиатра привела к тому, что возникла секта, которая зашла так далеко, что ее собрания строго закрыты и секретны для тех, кто к ней не принадлежит. Предмет сектантского воздействия здесь — “человек без комплексов” как идеал и ведение жизни, посредством которого этот свободный от комплексов человек может формироваться и поддерживаться. Самые различные сферы жизни регламентируются на основе этих идеалов, что, конечно, ни один человек не смог бы отсюда вывести самостоятельно, если бы сначала рассматривал эти теории как чисто психиатрические и предназначенные для научных целей...»¹⁶

16. Вебер М. (2022). Деловой отчет Немецкого социологического общества / Пер. с нем. О. В. Кильдюшов // Социологическое обозрение. Т. 21. № 2. С. 144-145.

В качестве примера несколько иного обращения к очень личным, в буквальном смысле интимным моментам в жизни Макса Вебера можно привести соответствующий раздел из упомянутой выше книги М. Р. Лепсиуса «Макс Вебер и его окружение». В нем исследование интеллектуальной биографии выдающегося ученого также сочетается с изучением его социальной среды, в т. ч. его сексуальных связей, но по ту сторону физиологии и фрейдистских спекуляций. Известный веберовед пытается решить ключевой для всей дисциплины вопрос исторической контекстуализации социологии начала XX века при помощи реконструкции жизни семейства Веберов в доме на Цигельхойзер Ландштрассе, 17, в Гейдельберге, включая и запутанную историю его любовных отношений с Миной Тойблер и Эльзой Яффе. В результате читатель может получить объемное представление о жизни великого социального теоретика — причем не только интеллектуальной, но и личной, — не опускаясь при этом до бестактностей и не прячась за ширму ханжества.

К счастью, содержание книги Ионина все же не сводится к одной-единственной теме. Во многих разделах читатель найдет крайне содержательные высказывания мэтра отечественной социологии. Так, вероятно, впервые в отечественном вебероведении заслуженную оценку получил концептуальный веберовский текст «Промежуточное рассмотрение» (с. 251-261), примыкающий к первому тому «Хозяйственной этики мировых религий». В нем Вебер на первый взгляд неожиданно развивает довольно изощренную социологию сексуальности. Автор неоднократно обращается к этим местам, но в основном ради теоретического фундирования в целом фрейдистских построений. Можно только сожалеть, что веберовский аналитический инструментарий социологии сексуальности играет лишь инструментальную роль в общей интерпретативной конструкции, абсолютно гетерогенной для веберовского понимания таких сфер жизни, как эротика и любовь.

Очень ценными являются наблюдения относительно ситуации с переводами и рецепцией наследия классика. Причем речь идет не только о нашей стране: в главе, посвященной «Протестантской этике», можно найти справедливые высказывания об американских исследователях Вебера: о Д. Александре, не знающем оригинальных текстов на немецком языке (с. 136-137), о чудесном превращении ключевой веберовской метафоры *твердого как сталь панциря* (stahlhartes Gehäuse) в *железную клетку* (iron cage) у Т. Парсонса¹⁷, что полностью извращает первоначальный смысл (с. 135), и т. п.

Заметим, что в профессиональном сообществе отечественных социологов ситуация с русской веберианой также остается довольно странной, и не только на уровне спорных переводов некоторых понятий: если я не ошибаюсь, несмотря на общий рост числа публикаций, мероприятий и других форм тематизации наследия классика, даже выход упомянутого выше четырехтомника «Хозяйство

17. В статье Д. Ю. Куракина «Символические классификации и “железная клетка”: две перспективы теоретической социологии» предложен другой вариант перевода — «стальной панцирь». См.: https://sociologica.hse.ru/data/2011/03/31/1211858155/4_1_3.pdf. Мы сами склоняемся к варианту *твердый как сталь корпус*.

и общество» под редакцией Л. Г. Ионина не стал поводом для соответствующей конференции или для развернутых откликов в научной прессе. Та же судьба постигла и первый том из веберовского цикла «Хозяйственная этика мировых религий», вышедший пять лет назад в нашем переводе¹⁸: насколько мне известно, до сих пор эта публикация также не получила ни одного отзыва в профессиональной литературе, даже в жанре ретрорецензии!

Возможно, именно персональное измерение истории социологии в лице ее отца-основателя Макса Вебера облегчит доступ широкой общественности к базовой топике современного социального знания. Хочется надеяться, что издатели РАНХиГС продолжат свою веберовскую серию и введут в русскоязычный научный оборот еще несколько важных биографических работ, в которых отражены последние достижения мирового вебероведения, располагающегося на пересечении социологической теории и интеллектуальной истории.

В любом случае, несмотря на принципиальные возражения и мелочные придирки рецензента, книга Л. Г. Ионина — яркое событие в русской интеллектуальной жизни, настоящий подарок для всех (по)читателей творчества Макса Вебера. Благодаря ей теперь «далекий» и «темный» классик станет гораздо ближе и человечнее.

Passion and Rationalism: Max Weber in Freud's Eyes

Book review: *Ionin L. Max Weber: A Drama of Life*. (Moscow: Delo Publishers, RANEPА, 2022). (In Russian)

Oleg Kildyushov

Research Fellow, Centre for Fundamental Sociology, National Research University — Higher School of Economics Address: Myasnitskaya Str., 20, Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: kildyushov@mail.ru

18. Вебер М. (2017). Хозяйственная этика мировых религий: Опыты сравнительной социологии религии. Конфуцианство и даосизм / Пер. с нем. О. В. Кильдюшов. СПб.: Владимир Даль.

Онтологическая безопасность в международных отношениях: о механике присвоения территорий в сознании наций¹

EJDUS F. (2020). CRISIS AND ONTOLOGICAL INSECURITY. SERBIA'S ANXIETY OVER KOSOVO'S SECESSION. CHAM: SPRINGER NATURE SWITZERLAND AG. 202 P.

Петр Куслий

Кандидат философских наук, старший научный сотрудник
Института философии РАН.

Адрес: ул. Гончарная, д. 12, стр. 1, Москва, Российская Федерация, 109240

E-mail: kusliy@iph.ras.ru

Почему государства зачастую ведут себя на международной арене крайне неожиданным или даже иррациональным образом? Почему государства ввязываются в войны или иные конфликты без, казалось бы, объективной нужды или принимают решения, имеющие долговременные последствия, никак не отвечающие их объективным экономическим приоритетам, а, наоборот, ведут к спаду в экономике или не позволяют им получить значимые экономические преимущества? Ответ, который дает на эти вопросы в рецензируемой книге ее автор профессор политологии Белградского университета Филип Эйдус, заключается в том, что государства могут вести себя таким образом, стремясь сохранить свою «онтологическую безопасность».

«Онтологическая безопасность» — это термин известного британского социолога Э. Гидденса², на работы которого опирается в своем исследовании Ф. Эйдус. По Гидденсу, онтологическая безопасность есть система идей, представлений и ценностей, обеспечивающих людям постоянство конкретных практик, воспроизводящих существующие социальные структуры и создающих новые. Онтологическая безопасность важна для чувства стабильности и для самоидентификации социальных акторов. Кризис — это ситуации, в которых чувство безопасности утрачивается и возникает ситуация дисбаланса³. Однако если у Гидденса онто-

1. Исследование проведено при финансовой поддержке гранта Министерства науки и высшего образования РФ (проект «Новейшие тенденции развития наук о человеке и обществе в контексте процесса цифровизации и новых социальных проблем и угроз: междисциплинарный подход», соглашение № 075-15-2020-798).

2. Giddens A. (1984). The constitution of society: Outline of the theory of structuration. Univ of California Press; Giddens A. (1991). Modernity and self-identity, Cambridge: Polity Press.

3. Понимание термина «онтологическое» у Гидденса очевидным образом опирается на хайдеггеровское видение онтологии как сферы бытия, как возможности существования того или иного предметно-чувственного мира. Гидденс пишет: «Понятие онтологической безопасности тесно связано с тем, что относится к практическому сознанию и его специфике не выражать словами. Иначе говоря, речь идет о связи с тем, что в феноменологии называется “заключением в скобки” в рамках “естественной установки” ежедневной жизни. По ту сторону тех или иных аспектов повседневных

логическая безопасность была связана с жизнью индивида, то в данной книге это понятие используется для анализа сферы международных отношений.

Сам теоретический аппарат Гидденса был введен в дискуссии в сфере международных отношений А. Вендтом⁴. Однако, как указывает Эйдус, концепции онтологической безопасности в этой сфере знания, чтобы она обрела ту форму, в которой он обсуждает ее в своей книге, потребовались дополнительные этапы осмысления и обсуждения в работах исследователей международных отношений. В данной книге субъектом поиска онтологической безопасности рассматривается государство как сущность с собственным онтологическим статусом и антропоморфными признаками. А источником потребности в обретении государством онтологической безопасности оказываются не его внешние интеракции с другими государствами, а внутренняя динамика существования и развития государственной идентичности (в развитие идей Б. Стила⁵).

Таким образом, в рассматриваемой книге государства представляются как действующие агенты в среде международных (межгосударственных) отношений, и им как таковым агентам необходимо для целей собственной идентичности то, что называется онтологической безопасностью⁶.

Кейсом государства, стремящегося поддерживать свою онтологическую безопасность вопреки собственным объективным экономическим и политическим интересам, выбрана Сербия и ее поведение на международной арене в связи с темой Косово.

Автор обсуждает идею права Сербии на этот регион как часть превалирующей в Сербском государстве и обществе концепции ее онтологической безопасности. Автор исследует корни этой идеи и ту роль, которую она играет в социальной организации сербского общества. Критической ситуацией для сложившейся таким образом концепции онтологической безопасности стала, разумеется, провозглашенная Косово декларация о его независимости от Сербии. В книге исследуются социальная и политическая механика, которая использовалась при появлении у сербов такого отношения к Косово и проявляется сегодня в попытках Сербии

действий и дискурса (которые могут казаться тривиальными) скрывается хаос. И этот хаос заключается не только в дезорганизации, но и в потере чувства повседневной реальности предметов и других людей» (Giddens A. (1991). *Modernity and self-identity*, Cambridge: Polity Press. P. 36).

4. Wendt A. (1987). *The Agent-Structure Problem in International Relations Theory*// *International Organization*. Vol. 41. № 3. P. 335-370; Wendt A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.

5. Steele B. (2008). *Ontological security in international relations: self-identity and the IR state*. NY: Routledge.

6. Для более подробного обсуждения концепции онтологической безопасности в контексте социально-психологических теорий и проблематики международных отношений, соответственно, см. работы: Баринов Д. Н. (2017). «Онтологическая безопасность» и ее границы в современном обществе// *Социодинамика*. № 9. С. 75-89; Худайкулова А. В., Неклюдов Н. Я. (2019). Концепция онтологической безопасности в международно-политическом дискурсе// *Вестник МГИМО Университета*. № 6 (69). С. 129-149.

преодолеть созданный кризис, а также достигнуть нового равновесия в сфере онтологической безопасности.

На протяжении всей книги автор, обсуждая государства как самостоятельных акторов, оговаривается, что действия, предпринимаемые ими, являются следствиями решений, принимаемых их лидерами. При этом он указывает на то, что политические лидеры, будучи, с одной стороны, инициаторами тех или иных действий, тем не менее не оказываются в полной мере создателями, порождающими те или иные идеи. Согласно позиции Эйдуса, они скорее оперируют в рамках дискурса, который отображает существующий в обществе онтологический консенсус.

Я попытаюсь задаться в данной рецензии вопросом о том, насколько данная перспектива на «зависимые» действия представителей государства оказывается оправданной в свете того материала, который, собственно, и предлагает нам автор. Опираясь на текст самого Эйдуса, я покажу, что так называемый дискурс онтологического консенсуса не возникает стихийно и не существует самостоятельно, а инициируется, конструируется и поддерживается теми же политиками. Он является скорее инструментом в достижении ими конкретных тактических или стратегических целей (по крайней мере, применительно к случаю Косово).

Для реализации этого замысла я во втором разделе данного исследования представлю общую экспозицию содержания книги и той концептуальной рамки, которая в ней обосновывается, а в третьем разделе, опираясь непосредственно на текст автора, я попытаюсь выявить обозначенную выше альтернативную перспективу.

Косово как онтическое пространство

Как уже было сказано, теория онтологической безопасности формулируется Эйдусом с отсылкой на работы Гидденса, содержание которых, в свою очередь, переводится автором в нужном ему ракурсе в плоскость теории международных отношений. Так, у Гидденса онтологическая безопасность индивида связывается с наличием у него ответа на четыре вопроса экзистенциального характера: о самом его существовании, конечности жизни, способах взаимоотношения с другими людьми и стабильности его самоидентификации. Наличие у индивида ответов на эти фундаментальные вопросы дает ему возможность спокойно решать свои ежедневные задачи и заниматься связанными с ними заботами. Онтологическая безопасность индивидов нарушается, когда они по тем или иным причинам не могут вынести за скобки своего сознания хотя бы один из перечисленных выше вопросов. Это порождает в них соответствующее беспокойство и озабоченность, а вместе с ними и стремление восстановить онтологическую безопасность.

В политической плоскости, как указывает Эйдус, эти вопросы и ощущения возникают у коллективных политических акторов. Они нуждаются в понимании устройства миропорядка и их места в нем: «Ощущение нахождения на своем месте (at home) наделяет политических субъектов (polities), существующих на международной арене, чувством наличия у них собственной роли в международном

порядке и, как следствие, определенной степени когнитивного контроля за тем региональным и международным окружением, в котором они пребывают» (р. 18). Когда возникает кризисная ситуация, она задевает как минимум один из четырех параметров онтологической безопасности (существование, конечность, отношения с другими и восприятие собственной биографии), превращая государства в экзистенциально дезориентированных субъектов и мешая им спокойно реализовывать их рутинную ежедневную деятельность. В качестве исторического примера такой кризисной ситуации, с которой столкнулось государство, Эйдус приводит ультиматум, выдвинутый Германией Бельгии в 1914 году, который поставил последнюю перед угрозой не только для ее физической, но также и онтологической безопасности. Другим примером является приход к власти в США в 2017 году Дональда Трампа, который неожиданным образом подорвал ощущение онтологической безопасности как у многих региональных политических акторов внутри США, так и у международных акторов на глобальной арене.

Теоретический вклад, который стремится сделать Эйдус в своем исследовании, относится именно к этой транслированной в сферу международных отношений версии теории онтологической безопасности. Он заключается в двух аспектах: во-первых, это прояснение природы критических ситуаций как препятствий, которые государства вынуждены преодолевать с большей или меньшей степенью успешности, чтобы продолжать свое существование; во-вторых, это демонстрация того, что государства осуществляют материализацию тех или иных компонентов символического комплекса, из которых состоит их онтологическая безопасность. В частности, они превращают некоторые элементы окружающей материальной среды (территории, локации, памятники и т. п.) в «онтические пространства», т. е. «пространственные расширения коллективной самоидентификации, помогающие государственной идентичности выглядеть более крепкой и непрерывной» (р. 2). В таком статусе элементы окружающей среды обретают совершенно иную значимость, становясь конститутивными частями социальной структуры, с которой государства связывают свою идентичность и прочие ключевые вопросы⁷.

Как указывает Эйдус, данный процесс превращения осуществляется не за счет каких-то внутренне присущих данным территориям свойств, а посредством установления особой дискурсивной связи одним из двух способов: интроекцией и/или проекцией. Интроекция предполагает поглощение некоторого материального объекта или пространства внутрь государственной идентичности в качестве конститутивного элемента. Практически в каждом государстве есть свои сущностные

7. К сожалению, Эйдус не проводит более глубокого исследования понятия онтического пространства. Продолжая аналогию с хайдеггеровским различием между «онтологическим» и «онтическим», можно предположить, что онтическое — то, что, будучи материально-чувственным, является одной из возможных реализаций абстрактного онтологического. Поясняя в другом месте книги приведенное выше его описание, автор лишь добавляет: «Привязывая свою идентификацию к конкретной материальной среде, государства усиливают чувство согласованного коллективного действия, “выводя за скобки” (“bracket out”) фрагментарную и спорную природу этой идентификации» (р. 162).

территории, с которыми ассоциируется национальная идентичность. Подвергаться интроспекции могут не только территории, но и, например, результаты археологических раскопок, которые также начинают восприниматься как выявляющие важные аспекты национальной идентичности. Проекция, с другой стороны, предполагает создание важных артефактов и подобных предметов или территорий в рамках государства, которые также становятся частью национальной идентичности: башни-близнецы в Нью-Йорке, уничтоженные 11 сентября 2001 года, лишь один из таких примеров.

Именно подобным онтическим пространством в картине онтологической безопасности Сербии стало Косово. Регион, считающийся в рамках национального дискурса в Сербии «колыбелью нации», по мере его постепенной албанизации с конца 1960-х и ослабления контроля над ним со стороны официального Белграда становился источником все большей озабоченности сербов в отношении их национальной онтологической безопасности. Как известно, попытка Белграда в 1999 году восстановить контроль над регионом после распада Югославии привела к войне с НАТО, а уже в 2000 году в Сербии был официально провозглашен курс на членство в ЕС и НАТО.

С этого времени, как пишет Эйдус, политика Сербии стала состоять из двух несовместимых устремлений — неприятие сецессии и непризнание независимости Косово, вопреки позиции подавляющего большинства стран Евросоюза, с одной стороны, и готовность стать частью объединенной Европы — с другой. Объяснить такое «иррациональное или иногда даже шизофреническое» поведение государства, не приносящее ему на протяжении десятилетий ничего, кроме материальных убытков и репутационных издержек, по мнению Эйдуса, можно в терминах осуществляемой этим государством попытки «поддерживать свою биографическую непрерывность (continuity) перед лицом полной утраты региона, который воспринимается широкими слоями как национальное онтическое пространство» (р. 3), т. е. утраты конститутивного элемента онтологической безопасности.

Более конкретно: провозглашение независимости Косово и последовавшие процессы затронули обозначенные выше параметры онтологической безопасности Сербии следующим образом. Во-первых, активные действия ведущих членов мирового сообщества по расчленению Сербии, при общем согласии с этим большинства остальных его представителей, разрушили веру Сербии в окружающий ее мир, как понятный, непрерывный и предсказуемый. В этом отношении, как пишет Эйдус, был нанесен удар по первому экзистенциальному компоненту онтологической безопасности. Во-вторых, наличие внутри Сербии других территорий, на которых проживают национальные меньшинства, поставило вопрос о возможном конце Сербского государства в силу просматривавшейся перспективы дальнейшего расчленения Сербии. В-третьих, отношения Сербии с другими государствами претерпели резкие изменения, что сделало нетривиальным вопрос о том, на каких принципах следует выстраивать отношения с этими государствами и главным образом с Евросоюзом. В-четвертых, перспектива сецессии Косово

затронула биографическую составляющую уходящей в Средневековье идентичности Сербии.

Проводя исторический анализ, автор показывает, как именно Косово обрело свой специальный статус онтического пространства в восприятии сербов, а также более подробно исследует положение того «онтологического диссонанса», в котором Сербия сегодня пребывает в результате случившегося конфликта вокруг этой территории и его последствий. В рамках этого исследования он демонстрирует, в результате каких событий в истории Сербии Косово, не всегда рассматривавшееся сербами в качестве «колыбели нации», стало восприниматься в качестве такового.

История Косово для сербов связывается с легендой о произошедшей здесь в 1389 году битве с турками, которая была ознаменована героизмом и самопожертвованием со стороны сербов, но закончилась их поражением в результате предательства, что привело к многовековому рабству. Автор описывает, как долгое время история битвы была частью национального эпоса и национальной идентичности без каких-либо претензий на контроль над регионом, который находился под контролем Османской империи. Обретение территорией Косово соответствующего статуса в рамках национальной идентичности Сербии началось после Берлинского конгресса 1878 года, когда устремления Сербии в плане территориальной экспансии в Боснию и Герцеговину натолкнулись на позиции Австро-Венгрии и переориентировались на юг в сторону Косово. Именно тогда в процессе легитимизации претензий Сербии на эти территории и стала происходить их интроекция внутрь национальной идентичности. Сербия смогла аннексировать эти территории в 1913 году после Лондонской мирной конференции, посвященной результатам Первой Балканской войны.

В книге утверждается, что одним из ключевых моментов, приведших к началу распада Югославии в 1991 году, стала растущая на протяжении последних двух десятилетий существования этого государства озабоченность Сербии демографической ситуацией в Косово, а именно увеличением албанского населения. Одновременно с этой озабоченностью набирал силу и сербский национализм, который привел к дезинтеграции Югославии, а потом и к войне 1999 года. Как уже было сказано выше, поражение в войне с НАТО заставило сербские элиты выбрать путь евроинтеграции и перейти к политике «сидения на двух стульях» из-за их позиции по Косово.

В двух заключительных главах книги в подробностях обсуждается то, как сербское общество реагировало на декларацию о независимости Косово и на последующее взаимодействие Белграда с Приштиной, с одной стороны, и Брюсселем, с другой. Основным итог состоит в том, что и сербские правящие элиты (по заявлениям их представителей), и собственно сербское общество (по результатам опросов) в подавляющем большинстве продолжают придерживаться лозунга «и Европа, и Косово», при этом осознавая несовместимость этих двух опций. Именно статус территории Косово как онтического пространства, связанного с представ-

лениями об онтологической безопасности сербской нации, по мнению автора, является той объективной причиной, которая приводит Сербию к такому незавидному поведению на международной арене, которое сейчас наблюдается.

О роли политических элит в формировании онтических пространств

Данная книга дает и некоторое понимание той роли в формировании образа Косово как онтического пространства и колыбели нации, которую на протяжении веков играли сербские политические элиты. Уже в начале повествования, обсуждая взгляды Б. Стила⁸ на природу критических ситуаций, Эйдус пишет: «Не имеет никакого значения <...> считает ли исследователь некое событие критической ситуацией; важно то, считают ли его таковым представители политического истеблишмента (policymakers). Критические ситуации, таким образом, не объективные факты, а социальные конструкции, создаваемые в самом процессе интерпретации» (р. 15). И хотя он уточняет, что «представители государства, выступая агентами этого процесса, оперируют не в вакууме, а внутри ранее созданных и установленных дискурсов идентичности» (р. 30), его собственный текст, как кажется, позволяет усомниться в этом последнем утверждении. Ниже я попытаюсь, используя текст самого Эйдуса, показать, что (по крайней мере, в случае с Косово) более широкие дискурсы идентичности возникали уже вследствие агентной деятельности властей предрешающих, которые руководствовались скорее корыстными целями и ситуативными соображениями, нежели исходили из неких ранее существующих дискурсов идентичности.

Роль политических элит проявляется на всех ключевых этапах создания мифа о Косово как «колыбели нации». Так, на протяжении всей второй главы, обсуждающей процесс трансформации Косово в онтическое пространство для Сербии, автор описывает роль властей и их конкретные мотивы на каждом из ключевых этапов этого процесса. Ссылаясь на работы сербских историков, Эйдус считает, что битва при Косово, вошедшая в национальную память как катастрофическое поражение, во-первых, не была поражением, а во-вторых, с военной точки зрения не имела серьезного стратегического значения, хотя известно, что в ней погибли и сербский князь Лазарь, и османский султан Мурад. Прославление Лазаря как великомученика этой битвы, повлекшее впоследствии превращение Косово в «сердцевину самой идеи Сербии» (р. 40), имело, по словам автора, политическую составляющую, т.к. позволяло наследникам Лазаря легитимировать свои претензии на власть и тем самым давало им преимущества над конкурентами.

Возникшие уже тогда (т.е. в конце XIV — начале XV века) песни и легенды о Лазаре, его героизме и якобы предательстве его зятя Вука Бранковича (хотя предательства, как считается, на самом деле не было) стали важной основой нацио-

8. Steele B. (2008). *Ontological security in international relations: self-identity and the IR state*. NY: Routledge.

нальной идентичности сербов и осуществляли эту функцию на протяжении столетий. Отсылка именно к этим событиям со стороны политических и религиозных лидеров Первого сербского восстания против Османской империи в 1804 году стала одной из мотиваций, позволившей организовать действия людей в нужном направлении.

Однако в начале XIX века образ Косово, хоть и наращивал свою символическую значимость, тем не менее оставался метафорическим и не конвертировался в какие-либо территориальные претензии: в сербских восстаниях этого периода территориальный контроль над Косово идеологами и лидерами этих восстаний ни в каком виде не рассматривался (р. 45). Их устремления были направлены на земли современной центральной Сербии, Черногории, а также Боснии и Герцеговины. Включение же территории Косово в Сербию не присутствовало даже в проекте Сербской империи, который часто обсуждался в первой трети XIX века (р. 46).

Изменения в данном вопросе произошли лишь во второй половине 1870-х годов, когда претензии Сербии на Боснию и Герцеговину натолкнулись на аналогичные претензии со стороны Австро-Венгерской империи. Этим устремлениям Сербии, как указывает автор, было не суждено сбыться из-за секретных соглашений между Российской империей и Австро-Венгрией, по которым право оккупировать Боснию и Герцеговину было отдано последней. При этом известно, что российский министр иностранных дел А. М. Горчаков сказал сербскому посланнику прямым текстом: «Говорю Вам, что бы вы ни делали, вы не получите Боснию...» (р. 48). И только после того, как вопрос о возможности получения контроля над Боснией и Герцеговиной был закрыт, а Сербия в 1877 году вступила во вторую войну с Турцией, сербское правительство изменило свои ориентиры на территориальную экспансию Косово (р. 48).

Эйдус пишет, что отказ от Боснии и Герцеговины, являвшейся «основным объектом желаний Сербии с 1804 по 1878 год», и переориентация на военную экспансию в другом направлении потребовали от сербских властей «значимых дискурсивных усилий», в результате которых был дан старт процессу символической интродукции внутрь идентичности Сербии не только метафорического образа, но и непосредственно материальной территории Косово (р. 49). И данный процесс на своих первых этапах был вполне контролируемый: осознанные изменения в официальной внешней политике Сербии, позициях, озвучиваемых сербскими консулами, образовательная политика и прочие сферы, формирующие национальную идентичность, ориентировались на обсуждение Косово (Старой Сербии) как ключевой для сербов территории. Только после этого, насколько можно понять из повествования автора, этот процесс стал массовым: «В последовавшие два десятилетия вплетение территории Косово в генеральный сербский нарратив (*master-narrative of Serbia*) осуществлялось за счет усилий ученых, художников, писателей, композиторов и прочих интеллектуалов, а не государственных деятелей или военных» (р. 50).

К 1912 году во время Лондонской мирной конференции сербское правительство уже высказывалось о Косово исключительно как о «священной земле», в отношении которой «сербский народ не может и не будет идти ни на какие уступки, сделки или компромиссы, и ни одно сербское правительство также не будет готово на что-либо подобное» (р. 53). Косово было аннексировано Сербией по результатам Бухарестского мирного договора 1913 года.

Период между двумя мировыми войнами, по словам автора, характеризуется процессом проекции сербской идентичности на территорию Косово через появление новых сербских поселений, носивших характерные названия, отсылавшие к временам конца XIV века. Во время коммунистического правления миф о Косово не использовался официальной пропагандой, но и не пресекался. Он продолжал поддерживаться дискурсом Сербской православной церкви. Но, как уже было сказано выше, усиление озабоченности демографическими процессами в Косово вызвал рост сербского национализма, который, по словам автора, привел к распаду Югославии. Здесь интересно упомянуть, что коммунистические лидеры начали апеллировать к этому мифу, когда это стало необходимо для сохранения власти: «Несмотря на то, что эти претензии [т. е. претензии этно-националистического характера в отношении Косово] поначалу порицались представителями [коммунистической] партии, начиная с 1987 года они стали открыто использоваться лидером сербских коммунистов Слободаном Милошевичем. Этот идеологический разворот на 180 градусов ускорил распад Югославии, позволил сербским коммунистам, обратившимся теперь в националистов, удерживаться у власти еще на протяжении тринадцати лет, а также на протяжении более чем десяти лет формировал агрессивную политику Сербии в отношении к Косово» (р. 89).

Таким образом, статус Косово, сначала как ключевого для сербской идентичности метафорического образа, а потом — как и онтического пространства, был конструктом, формировавшимся в рамках усилий властных элит, преследовавших вполне конкретные и в известной степени корыстные цели, а лишь потом уже усваивался и поддерживался более широкими слоями общества.

Заключение

Данная книга, помимо научных целей, которые ставит перед собой автор, демонстрирует читателям, каким образом такой компонент социальной реальности, как онтологическая безопасность, преобладающая в той или иной стране, оказывается настолько значимой, что сохраняет свое влияние на поведение страны на международной арене, даже когда вступает в прямой конфликт с ее экономическими интересами.

Данная книга не только фиксирует новые аспекты в сфере социальной онтологии, но и проливает свет на рычаги, при помощи которых может осуществляться управление теми или иными элементами соответствующей социальной реальности. Если онтологическая безопасность государства формируется элитами

посредством акцентирования одних определенных идей и компонентов и вынесения за скобки других, то и ответственность за преодоление кризисов лежит также на них. В этой связи можно предположить, что в случае с Сербией преодоление ее «онтологического дисбаланса» может произойти путем выработки правящими элитами новой ценностной и символической повестки, а также онтологической рамки, которую сможет воспринять общество, отказавшись от старого мифа, подобно тому, как это происходило ранее, когда миф о контроле над Косово был вплетен в сознание сербов, заменив устремления сербских элит в сторону Боснии и Герцеговины.

Ontological security in international relations: on the mechanics of appropriation of territories inside the consciousness of nations

Book review: *Ejdus F. Crisis and Ontological Insecurity. Serbia's Anxiety over Kosovo's Secession* (Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2020).

Petr Kusliy

Candidate of philosophical sciences, Senior researcher Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences

Address: ul. Goncharnaya, 12, bl. 1 Moscow, Russian Federation 109240

E-mail: kusliy@iph.ras.ru

Апокалипсис как образ жизни¹

ŽIŽEK S. (2020A). *PANDEMIC! COVID-19 SHAKES THE WORLD*. LONDON, NEW YORK: OR BOOKS.

ŽIŽEK S. (2020B). *PANDEMIC! 2. CHRONICLES OF A TIME LOST*. LONDON, NEW YORK: OR BOOKS.

ŽIŽEK S. (2021). *HEAVEN IN DISORDER*. LONDON, NEW YORK: OR BOOKS.

Максим Фетисов

Кандидат философских наук, научный сотрудник Центр фундаментальной социологии

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики

Адрес: Мясницкая, 20, Москва, Российская Федерация, 101000

E-mail: msfetisov@gmail.com

Пандемии, уходящей от нас (так кажется, но за прошедшие почти уже три года мы успели убедиться в изрядной бессмысленности многих прогнозов) в обстоятельствах уже более суровых, чем она сама, не только удалось на два года погрузить значительную часть мира в панику и депрессию. Еще одним ее вполне предсказуемым последствием стало появление достаточно большого числа текстов, пытающихся освоить этот очень смутный, очень неопределенный, находящийся где-то на стыке микробиологии, биомедицины, политики общественного здравоохранения и статистики, но при этом вполне наглядно данный и более чем осязаемый в нашей повседневной жизни предмет.

Не нуждающемуся в особом представлении Славою Жижеку удалось выпустить сразу три объединенные сквозной COVID-темой книги. Возможно, кому-то они покажутся не самыми значительными с точки зрения объема или содержания, однако такой продуктивности за два неполных года остается только позавидовать и констатировать тот факт, что чрезвычайные обстоятельства действительно могут выступить в роли творческой принудительной силы. Раньше мы об этом где-то слышали или читали, а теперь смогли убедиться в режиме почти что реального времени.

Надо сказать, что, несмотря на заявленное тематическое единство, все три книги представляют собой достаточно пестрое и разрозненное собрание высказываний словенского философа, сделанных им за время пандемии. Поэтому мы видим там не только вирус, но и набор тем, кажущихся зачастую не очень с ним связанными, но, по мнению автора, имеющих к нему отношение. Именно так туда попадают BLM-бунты, протесты в Белоруссии или же перевыборы Трампа. Это отличает Жижека от другой философской знаменитости, итальянца Джорджо Агамбена, у того в пандемию вышла всего одна маленькая книжка, ставшая тем

1. Публикация подготовлена в рамках исследовательского проекта «Новые социальные общности глобального мира: аффекты и культурная легитимация различий», реализуемого Центром фундаментальной социологии НИУ ВШЭ в 2022 году в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

не менее настоящим J'Accuse в адрес установленного властями Италии, но, конечно, и не только ее, биосанитарного режима². Мрачный диагноз, поставленный Агамбеном, вызвал шквал критики. Его обвиняли в непонимании опасности нового инфекционного агента (что отчасти правильно, но окончательных оценок нет до сих), в конспирологии (при первом взгляде со стороны можно действительно подумать, что все так и есть, но на самом деле итальянский философ пишет об этом уже много лет подряд, а сейчас он просто сместил акценты).

Жижек на этом фоне выглядит иначе. Он не разделяет скепсиса своего итальянского коллеги по поводу серьезности нового заболевания. Если довольно грубо приложить к собственным рассуждениям словенца его любимую, придуманную еще Лаканом, классическую триаду Реального, Воображаемого и Символического, то инфекция есть несомненное столкновение с Реальным, полностью нарушающее привычный ход вещей. При этом само Реальное непосредственно не дано, оно полностью находится за пределами каких-либо познавательных возможностей субъекта. То есть, его нет, однако оно регулярно дает о себе знать своими травматическими эффектами, как это и происходит в случае, например, эпидемии.

И действительно, вирус — непонятный фрагмент нуклеиновой кислоты, находящийся в «серой зоне» между живым и мертвым: «Это колебание между жизнью и смертью имеет решающее значение: вирусы ни живы, ни мертвы в обычном понимании этих слов, это своего рода живые мертвецы. Вирус жив в своем стремлении к репликации, но это своего рода жизнь нулевого уровня, биологическая карикатура не столько на влечение к смерти, сколько на жизнь на ее самом простейшем уровне повторения и умножения. Однако это и не элементарная форма жизни, из которой развивается более сложная; это чистый паразит, воспроизводящий себя путем заражения более развитых организмов (когда вирус заражает нас, людей, мы просто служим ему копировальным аппаратом). Именно в этом совпадении противоположностей — элементарного и паразитического — кроется тайна вирусов: они представляют собой пример того, что Шеллинг называл "der nie aufhebbare Rest": остаток наинижайшей формы жизни. Он возникает как продукт сбоя в работе высших механизмов размножения и продолжает преследовать (заражать) их, это остаток, который никогда не может быть реинтегрирован как подчиненный момент жизни более высокого уровня» (Zizek, 2020a: 78-79). Таким образом, перед нами некая зависшая между живым и мертвым «нулевая степень», неустранимый остаток-паразит, он выключен даже из обычной биологической жизни, однако, заражая ее, он тем не менее принимает в ней участие, функционируя как фактор эволюционного отбора. Как единичная сущность он доступен лишь микробиологии с ее специальными средствами, переходя же на уровень эпидемии, он превращается в гигантский распределенный объект и здесь становится предметом использующей математические методы и символы статистики, а также мобилизационных возможностей общественного здравоохранения. Прин-

2. Agamben G. (2020). A che punto siamo? L'epidemia come politica. Roma: Quodlibet.

ципиально важно в случае с вирусами то, что мы практически всегда имеем дело с их последствиями, сам же эпидемический процесс остается «вещью в себе», постоянно опровергающей догадки и предсказания экспертов, что последняя пандемия достаточно наглядно продемонстрировала.

Реальное, таким образом, непостижимо, однако столкновение с ним переживается как травматическое событие. За работу с травмой отвечает Воображаемое, именно ему предстоит «отыгрывать» ее эффекты, адаптируя и производя тот мир смыслов и значений, где нам всем приходится жить. Это «отыгрывание» не может происходить без опоры на определенную «грамматику», задающую его правила. За эти правила в триаде отвечает Символическое, именно оно устанавливает порядок работы Воображаемого, структурируя его и снабжая семантическими ресурсами.

Продолжая ту же аналогию, можно сказать, что первая часть трилогии посвящена «вторжению Реального». Поскольку, как мы помним, доступ к нему отсутствует, и речь может идти лишь о попытке совладать с последствиями его вторжения. Здесь не стоит ждать от автора развития последовательной аргументации — Жижек постоянно приводит разнородные примеры, от хорошо знакомых и уже набивших оскомину до совсем свежих, из актуальной повестки, стараясь задействовать максимально возможное число объяснительных моделей и метафор: от пресловутых пяти стадий Элизабет Кюблер-Росс до гегелевской диалектики.

Последовательность выхода в свет книг трилогии как бы следует за динамикой пандемии — эта примечательная особенность дает возможность восстановить в памяти цепочку известных событий, которую Жижек (зачастую произвольно) воспроизводит в своих коротких заметках. Неожиданное начало пандемии, события на севере Италии, отсутствие какой-либо внятной квалифицированной информации о новом инфекционном агенте, паника в СМИ и социальных медиа, разгоняющих самые чудовищные мнения экспертов, возможно, что-то понимающих в математике и статистике либо в микробиологии, но в эпидемиологии — точно ничего. В отличие от Агамбена, словенец не драматизирует суровые карантинные меры европейских правительств, иногда даже склоняясь к их принятию. Там, где первый видит окончательное торжество биополитической чрезвычайщины, разрушающей саму ткань человеческой жизни, Жижек хочет найти новые возможности. Комментируя знаменитую гегелевскую цитату из «Йенской реальной философии» о том, что «человек есть эта ночь, это пустое ничто, которое содержит все в своей простоте», он добавляет: «Этого не сможет у нас отнять никакой коронавирус. Так что можно надеяться, что телесное дистанцирование даже усилит интенсивность нашей связи с другими. Ведь именно теперь, когда я вынужден избегать многих из тех, кто мне близок, я полностью ощущаю их присутствие, их важность для меня» (Zizek, 2020a: 3).

Этого, однако, мало. Главная, повторяемая на разные лады мысль книги — надежда на то, что пандемия явочным порядком приведет к изменению существующего в глобальном масштабе либерально-капиталистического порядка. И понятно, что

речь должна идти не только лишь о возвращении к норме (популярное в тот момент рассуждение): «Основная надежда состоит в том, что после пика, который должен наступить быстро, все вернется к норме... Все дело в том, что даже если жизнь вернется в конце концов к некоему подобию нормальности, это будет не то нормальное, к которому привыкли до того, как разразилась эпидемия. Вещи, ставшие привычными нам как часть нашей повседневной жизни, больше не будут само собой разумеющимися, нам придется научиться жить намного более хрупкой жизнью с постоянными угрозами. Нам придется полностью изменить наше отношение к жизни, к нашему существованию среди других форм жизни» (Zizek, 2020a: 77-78). Жижек надеется, что эта «новая норма» даст жизнь новой, «основанной на вере в людей и науку» общности, которую он именуется ни больше ни меньше «коммунизмом». Социетальный ответ на глобальную угрозу должен выглядеть только так: «Необходимы полная безусловная солидарность и глобально скоординированный ответ, новая форма того, что некогда называлось коммунизмом. Если мы не направим наши усилия в эту сторону, то сегодняшний Ухань запросто станет типичным городом нашего будущего» (Zizek, 2020a: 56). Эта новая общественная форма не очень похожа на коммунизм Маркса или на коммунизм некоторых современных теоретиков радикальной демократии: «Это не утопическое коммунистическое видение, это коммунизм, установленный потребностями простого выживания. Это, к сожалению, версия того, что называлось “военным коммунизмом” в Советском Союзе в 1918 году» (Zizek, 2020a: 92). Признаки наступления этого так называемого «катастрофического коммунизма» Жижек уже видит в отдельных попытках западных правительств реализовать деприватизационные меры в ключевых отраслях социальной сферы и экономики (в здравоохранении, транспорте, производстве ключевых товаров и т. п.), а также в массовой раздаче «вертолетных денег»: «Именно здесь возникает мое понятие “Коммунизма”, не в качестве неясной мечты, но просто как имя для того, что уже происходит (или, по крайней мере, воспринимается многими как необходимость), меры, которые уже рассматриваются и даже частично применяются. Это образ не какого-то блестящего будущего, но скорее “катастрофического Коммунизма” в качестве противоядия от катастрофического капитализма» (Zizek, 2020a: 103). Именно на последнем, по мысли словенского философа, лежит ответственность за пандемию, которая стала возможна в результате передачи важнейших, отвечающих за функционирование сообществ, областей жизни, таких как общественное здравоохранение, во власть императивов «свободного рынка»: «Далее очевидны две вещи. Институциональной здравоохранительной системе придется опереться на помощь локальных сообществ в деле ухода за слабыми и пожилыми. На противоположном конце шкалы необходимо организовать что-то вроде международного сотрудничества, чтобы производить и распределять ресурсы. Если государства просто изолируются, то разразятся войны. Именно эти процессы я имею в виду, когда говорю о “коммунизме”, и я не вижу ему никакой альтернативы, кроме нового варварства», — завершает Жижек, перефразируя известные слова Розы Люксембург (Zizek, 2020a: 104).

Возможность такого развития событий представляет собой большой вопрос. Во всяком случае, действия правительств во время пандемийного кризиса (эгоистическая борьба за ресурсы, «вакцинный национализм» и т. п.) не продемонстрировали большого желания пойти по такому пути. Напротив, именно «катастрофический капитализм», подкрепленный санитарно-полицейской чрезвычайщиной (которой так боится Агамбен) в сочетании с последними достижениями надзорной «цифровизации», постарался развернуться максимально широко. Именно на это указывали и продолжают указывать критики Жижека, и ничто пока не говорит о том, что они могут сильно ошибаться. В отсутствие сил и интересов, готовых принять «катастрофический коммунизм», остается лишь индивидуальное (самоизолированное) переживание повседневного апокалипсиса, оставляющего выбор между параноидальным страхом и бравадой показного игнорирования невидимой опасности. Здесь у словенца не остается иного выбора, кроме как прибегнуть к рецепту, предложенному еще Лаканом: «Старайтесь отождествиться со своим симптомом, без всякого стыда, это означает (несколько упрощая) полное принятие всех малых ритуалов, формул, странностей и так далее, всего, что поможет стабилизировать вашу повседневную жизнь. Допускается все, что может здесь сработать, если это помогает избежать нервного срыва, даже фетишистского отрицания... Не думайте слишком много наперед, просто сосредоточьтесь на сегодняшнем дне, на том, что будете делать, прежде чем отправиться ко сну» (Zizek, 2020a: 112). Поскольку вся повседневная жизнь субъекта (если следовать Лакану) — это и есть один сплошной симптом, то имеет смысл перейти к Воображаемому, той области, где разворачивается львиная (правда, не всегда главная) доля происходящих с ним событий.

Во второй части трилогии, в «Пандемии-2», Жижека занимает уже не столько она сама (хотя время от времени он скатывается до малоосмысленного подсчета очередных «волн» или аналогичных рассуждений об эффективности грядущей вакцинации), сколько ее многообразные последствия для общества и политики, давшие о себе знать вскоре после того, как прошел первый ужас от столкновения с Реальным. Сам COVID здесь уже отходит на второй план, уступая дорогу своим прямым и косвенным эффектам. Неурожаи и голод: всадники Апокалипсиса не ездят поодиночке, поэтому требуются международные скоординированные усилия, а не волонтерский порыв, пусть и надежды на них мало, но наступили такие времена, когда и философу приходится писать о битве за урожай (Zizek, 2020b: 3-4). Неудержимое наступление надзорного капитализма, чьим финальным пунктом должно стать создание прямого интерфейса «мозг-машина» (об этом написана одна из предыдущих книг Жижека «Гегель в подключенном мозге»). Данное событие будет означать фактическое наступление точки сингулярности. Сколь сомнительным бы это пока все ни выглядело, хоть с научной, хоть с философской точки зрения, это будет апокалипсис почище любой пандемии, все же напоминающей нам о том, что мы по-прежнему остаемся частью природы. Сингулярность же станет апокалиптическим событием уже нового,

постчеловеческого уровня (Zizek, 2020b: 13-14). Массовые беспорядки и акции гражданского неповиновения как результат дезинтеграции установленного санитарно-полицейского режима (Zizek, 2020b: 33-34) — Жижек удивляется тому, что позиции левых и правых, участвующих в них, часто совпадают, хотя лучше поставить вопрос о том, насколько вообще это разделение применимо по отношению к подобным событиям; массовые психические расстройства, как следствие пандемийного распада публичной жизни, и даже события лета-осени 2020 года в Белоруссии (впрочем, здесь взгляд Жижека представляет исключительно исторический интерес для любопытствующих). Куда больше внимания словенский философ уделяет разгорающимся новым конфликтам и новому насилию (в том числе культурно-идеологическому), связанному с войнами идентичности и кризисом последней волны политического популизма. Судя по всему, время написания многих вошедших в книгу текстов совпадает с разворачивающейся в США президентской кампанией 2020 года, которую сопровождают волны BLM-протестов и «война с памятниками». По мнению Жижека, это новое политически корректное насилие, стремящееся к ликвидации малейших следов расизма и сексизма, является тупиковым и не ведет к появлению никаких новых форм солидарности просто потому, что не отдает себе отчета в собственных основаниях. Здесь Жижек напоминает получившего образование еще при «старом режиме» пожилого революционера, пытающегося объяснить толпе хунвейбинов, что без отменяемых ими условных Декарта и Джефферсона с их сексизмом и рабовладением никакого феминизма и антирасизма просто не существовало бы, и поэтому надо не упиваться виной и жертвенностью, а вести себя как «ответственные совершеннолетние люди» (Zizek, 2020b: 37-39). Здесь просится хрестоматийная цитата из Канта, но, видимо, автор решает, что просвещенческих увещаний и так уже было произнесено им достаточно.

Водоворот событий и новые вспышки пандемии заставляют Жижека иногда все же надеяться на глобальную координацию усилий, однако, цитируя Брехта, он честно признает, что это «das Einfache, das schwer zu machen ist» («То простое, что так сложно исполнить»). Ни глобальная капиталистическая экономика, ни политики-популисты, заходящиеся в психотическом неприятии того, что вирус представляет собой нечто Реальное, а потому опасное, не способны победить пандемию, поэтому словенцу остается только уповать на апокалиптический Kairos, момент времени, сочетающий в себе событие решения и эсхатологического обещания, событие, маркирующее собой появление в мире чего-то нового, разрушающего основания прежнего порядка, «катастрофа, которая заставит нас найти новое начало» (Zizek, 2020b: 116). Требуется новые основания для «жизни вместе», правда, нет ясности относительно того, какими они могут быть, возможно, какое-то замедление, чтобы понять происходящее: «Если мы не изобретем новый способ общественной жизни, наше положение станет хуже не чуть-чуть, а намного хуже. Опять, мое предположение состоит в том, что пандемия COVID-19 обещает новую эпоху, когда нам придется переосмыслить все, в том числе и основной

смысл того, что значит быть человеком, — наши действия должны будут следовать за нашими мыслями. Возможно, сегодня нам стоит перевернуть одиннадцатый тезис о Фейербахе у Маркса: в двадцатом столетии мы слишком быстро пытались изменить мир, пришло время заново его объяснить» (Zizek, 2020b: 116-117).

Поскольку тонущим в водовороте событий и новых волн пандемии надеждам на коммунизм, даже «катастрофический», сбыться уже не суждено, желание новых объяснений приводит Жижека к идее реабилитации идущей еще от Платона традиции «антилиберальных мыслителей “закрытого” общества» (Zizek, 2020b: 122): «Разве не становится ясно, что сегодня, когда упорно сопротивляющаяся пандемия сопровождается серией других значительных угроз, мы нуждаемся — хотя и в радикально противоположных целях — в том, что нацисты называли “*totale Mobilmachung*” (тотальной мобилизацией)» (Zizek, 2020b: 121)? Жижек призывает себе на помощь Фихте, теоретика «Замкнутого торгового государства», который, по его мнению, первым в политической мысли модерна поставил вопрос о примате политики над экономикой. Именно это, по мнению словенца, требуется в текущий момент для успешного противостояния вирусу. Эгоистической анархии неограниченного рыночного обмена, который представляется нам в виде объективно существующего естественного порядка, необходимо противопоставить реполитизацию экономики: «Хозяйственная жизнь должна контролироваться и регулироваться свободными решениями сообщества, а не доставаться слепым, хаотичным взаимодействиям рыночных сил» (Zizek, 2020b: 122, 123-124). Примечательно, что предлагаемый Фихте фактический тотальный контроль над жизнью граждан (раскритикованный еще его же современниками) не вызывает у Жижека особых вопросов: современные средства цифрового надзора это вполне позволяют. При этом словенец забывает сообщить, что появились эти средства именно благодаря тому самому капитализму, на который он, в ужасе перед вирусом, собрался накинуть ошейник. Здесь, однако, тоже не так все просто, ведь, как показывает практика, в сегодняшних обществах отсутствует не только общее определение эпидемии, но не наблюдается даже предпосылок возникновения консенсуса по этому поводу. То есть пандемия, болезнь, да и сам вирус тоже оказываются вопросами политики, попадая в точку пересечения различных противоречий и напряжений, детерминирующих современные общества: кризиса общественного здравоохранения, экологии, войн, голода, безработицы, гражданских конфликтов и т.д. Однако эта политизация болезни, накладываясь уже на кризис политического популизма с его господством нового, обшечного господства (подробно разобранный в приложении к книге), наталкивается на стремление игнорировать опасность, называемую Жижеком «волей к незнанию» (Zizek, 2020b: 140). Это доминирующая общественная реакция, хорошо всем знакомая по временам пандемии, состоящая из желания прежней «нормальности» в сочетании с высоким уровнем обобщенного недоверия к властям, медицине, науке и фармацевтике. Словенский философ называет это состояние «онтологической катастрофой», которую нельзя победить простой «волей к знанию» о том, как работает вирус, чтобы затем взять его под

контроль и ликвидировать, поскольку утрачена важная связь между различными регионами действия и знания. Это действительно похоже на правду: все мы помним, как с началом пандемии нам на голову обрушились противоречивые мнения и рекомендации бесчисленных экспертов разного уровня самозванства: медицинских начальников, микробиологов, статистиков и даже специалистов по обработке данных — благоприятная среда для того, чтобы отказаться от знания вообще. Таков, по мнению Жижека, стоящий перед нами выбор: или поддаться искушению воли к незнанию, или постараться действительно *мыслить* пандемию, не только как биохимическую проблему, но как нечто, укорененное в сложной тотальности, состоящей из нашего (человеческого) места в природе и наших социальных и идеологических отношений. Это второе весьма проблематично в силу разрушения того, что могло бы свести вместе языки науки, философии и политики, — символического универсума.

Символическое — третье измерение, набор правил, определяющих встречу Воображаемого с Реальным. Именно эти правила решают, как из этой встречи возникнет то, что мы называем «реальностью» в ее обыденном смысле. Распаду символического порядка посвящена третья книга, «Небеса в беспорядке». Название книги — парафраз известного высказывания Мао Цзэдуна: «В поднебесной царит великий беспорядок, ситуация превосходна». Однако, как указывает Жижек, есть одна существенная разница: «Мао говорит о беспорядке под *небесами*, где “небеса”, или Большой Другой в какой угодно его форме — неумолимой логики исторических процессов, законов общественного развития — тем не менее существует, тайно регулируя социальный хаос. Сегодня мы должны говорить о том, что *сами небеса* пребывают в беспорядке» (Zizek, 2021: 1). То есть речь идет не об обычном хаосе, которого достаточно и в «поднебесной» реальности: пандемия, войны, беспорядки и кризисы, а о распаде того самого Большого Другого, который вписывает это все в некий общий символический порядок, позволяющий объяснять происходящие события. И это не разделение, к примеру, надвое, на два порядка, как это было во времена холодной войны, а именно дезинтеграция символического измерения на множество не связанных друг с другом фрагментов, происходящая именно в то время, когда «глобальная солидарность и международное сотрудничество требуются в первую очередь» (Zizek, 2021: 2).

Книга, как и две предыдущие, также представляет собой набор написанных по случаю очерков. От собственно болезни здесь остается еще меньше, чем в «Пандемии 2». Здесь вирус играет двойную роль: с одной стороны, это верный симптом распада прежнего порядка, с другой — его катализатор. Основная же проблема — это «двойной зажим», в который попало человечество в постпандемийной реальности. Он состоит из двух тупиков: из невозможности вернуться к прежней, «старой» норме, а также из неспособности увидеть (хотя бы отдаленно) какие-то контуры новой. Давая определение этой ситуации, Жижек цитирует высказывание Юргена Хабермаса, сделанное им по поводу пандемии: «Еще никогда не существовало столько знания о нашем незнании и о том, что мы вынужде-

ны жить и действовать в неопределенности»³. Затем он продолжает: «И он [Хабермас] был прав, утверждая, что это незнание, касается не только самой пандемии, в конце концов, у нас есть эксперты, но куда большего — ее экономических, социальных и психических последствий. Заметьте точность формулировки: мы не просто не знаем, что происходит, но мы *знаем*, что мы не знаем, и это незнание есть само по себе социальный факт, вписанный в то, как действуют наши институты. Мы знаем, что, скажем, в Средние века или в начале Нового времени люди знали меньше, но они не знали об этом потому, что опирались на некое устойчивое идеологическое основание, гарантировавшее им, что наш универсум представляет собой осмысленную целостность. То же самое верно и для некоторых версий коммунизма, и даже для идеи конца истории у Фукуямы — они все предполагали знание о том, куда движется история» (Zizek, 2021: 117). Сейчас, по мысли словенского философа, нет именно этого, а существующие альтернативы не выдерживают критики: новые правые популисты (Трамп, Ле Пен, Орбан и т. п.) представляют собой непосредственный продукт того самого постмодернизма, с которым собрались бороться; технократическая альтернатива в лице Байдена, Макрона и подобных им политиков полностью находится в идеологических координатах того самого неолиберального капиталистического консенсуса, который и довел ситуацию до ее сегодняшнего состояния (наивные рассуждения автора о том, что Байден все же «лучше» Трампа, потому что последний разрушает «этическую ткань» нашей жизни, а Байден — нет, читаются сегодня с особым интересом); левые опять разобщены по линии «реформа или революция», а предложения, раздающиеся по обе стороны этой линии, глубоко утопичны. Впрочем, и упоминавшиеся уже надежды самого автора на новый пандемийный «военный коммунизм», который возникнет просто под давлением катастрофических обстоятельств, также далеки от воплощения в отсутствие значимого числа носителей соответствующих реальных интересов.

Достаточно высокая диагностическая точность критики (впрочем, не всегда спасающая его от распространенных страхов) в сочетании с пониманием того, что выхода из катастрофы символического измерения не просматривается, закономерно ведет автора в теологическое пространство эсхатологических упований. Тема апокалипсиса регулярно всплывает в работах Жижека, начиная как минимум с книги 2010 года «Жизнь в последние времена»⁴, а в «Гегеле в подключенном мозге» вообще есть целое приложение, озаглавленное «Трактат о цифровом апо-

3. В этом высказывании Хабермаса слышится эхо его исторической дискуссии с Никласом Луманом о возможностях классической социальной теории и теории систем. Луман в частности говорит о «слепых пятнах» системы, неизбежно ограничивающих ее восприятие и возможности распознавания рисков. Таким «слепым пятном» может быть, к примеру, недавняя пандемия. См. например, об этом Harste G. (2021). The Habermas-Luhmann Debate. New York: Columbia University Press, p. 277.

Парадоксальным образом это сближает Лумана с лакановским психоанализом, где социальная реальность также невозможна без невидимых нами «слепых пятен», пусть даже мы и догадываемся об их существовании.

4. Zizek S. (2010). Living in the End of Times. London: Verso.

калипсисе»⁵. Поэтому нет ничего удивительного в том, что «апокалиптический тон» будет регулярно всплывать и в книгах о пандемии: то в виде уже упоминавшихся надежд на некое событие, которое перевернет все и откроет новое измерение смысла (умонастроение, очень сходное с таковым у русских интеллектуалов начала XX в.), то в виде страхов, что апокалипсис уже давно происходит (Žižek, 2021: 219) и, что самое ужасное, не обещает, согласно оригинальному значению греческого слова, никаких откровений.

С момента выхода последней книги трилогии уже прошло какое-то время, оно дало нам возможность проверить на практике уже упомянутую старую истину о том, что всадники Апокалипсиса не любят ездить в одиночестве. Что касается людей интеллектуального труда, да и не только их, пример Жижека достаточно убедительно показывает, как важно, живя «в конце времен», не стать частью медийной машины, которая, если перефразировать одного философа, питаясь то надеждой, то страхом, занимается масштабным производством суеверий, парализующих нашу способность мыслить и действовать.

Apocalypse as a Way of Life

Book Review: *Slavoj Žižek* (2020). *Pandemic! Covid-19 Shakes the World*. London, New York: OR Books; *Slavoj Žižek* (2020). *Pandemic! 2. Chronicles of a Time Lost*. London, New York: OR Books; *Slavoj Žižek* (2021). *Heaven in Disorder* London, New York: OR Books.

Maxim Fetisov

PhD (Phil.), Research Fellow Centre for Fundamental Sociology, National Research University — Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya Str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: msfetisov@gmail.com

5. Жижек С. (2020). Гегель в подключенном мозге. СПб.: Скифия-принт.